

ПОВЕСТИ

Эрик Кестнер
ПОВЕСТИ



Эрик Кестнер

Эрик Кестнер

ПОВЕСТИ



Когда
я был
малень-
ким



Дуэль
и
Свицки



Дуэль
и
мое
амизнево



Мальчик
из
сиротной
коробки



Эрих Лестнер

ПОВЕСТИ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

1985

Перевод с немецкого

Составление
Н. Бунина

Вступительная статья
М. Харитоновна

Иллюстрации
Х. Лемке

К $\frac{4703080000-915}{080(02)-85}$ 915—85

© Издательство «Правда», 1985
Составление, Вступительная статья.



УРОКИ ЭРИХА КЕСТНЕРА

Эрих Кестнер был чуть старше нашего века: он родился 23 февраля 1899 года, и об обстоятельствах, сопутствовавших этому событию, сам подробно и с юмором поведал в автобиографической книге «Когда я был маленьким». Нет надобности рассказывать читателям о его детских годах, учебе и семье: они имеют возможность из первых рук, от самого Кестнера узнать даже об отдаленных его предках и родственниках, об отце, шорнике и седельщике, которому пришлось со временем оставить собственное дело и наняться рабочим на чемоданную фабрику, о матери-парикмахерше, которая «день-деньской работает», «завивает щипцами волосы», чтобы сын мог получить образование. Пропитированные слова, впрочем, взяты из повести «Эмиль и сыщики» — здесь, как и во многих других книгах писателя, тоже найдется немало автобиографического. Разве, читая описание поездки Эмиля на конке, мы не вспоминаем такую же (а может, ту же самую) конку, на которой ездил в детстве сам Кестнер? И, может, делая своего Максика, «мальчика из спичечной коробки», членом гимнастического союза Пихельштайна, писатель вспомнил себя, шестилетнего, пришедшего к старшим на занятия гимнастического общества? Фабиан, герой одноименного романа, уже взрослым человеком, в Берлине, получает от матери письмо. «Помнишь ли ты еще, — пишет мать, — как мы брали рюкзаки и отправлялись в путь?» Конечно, помнит, как помнил сам Кестнер (и описывал полвека спустя) свои собственные путешествия с матушкой. Он вообще был из тех, для кого память детства не просто дорога, но жизненно насущна: именно она, по его убеждению, позволяет человеку сохранять и поддерживать лучшее, драгоценнейшее в себе.

Роман «Фабиан», тоже в чем-то автобиографичный, может дать представление о годах позднейшей, послевоенной жизни писателя. Но о них потом. Повесть «Когда я был маленьким» завершается событиями августа 1914 года. «Началась мировая война, и кончилось мое детство». Исторический рубеж не просто совпал с возрастным. Для миллионов европейцев именно с этой даты, говоря словами поэта, начался «не календарный — Настоящий Двадцатый Век». Уже постаревший, много переживший писатель с иронией и грустью вспоминает о последних мирных годах, о «беззаботных каникулах», об опереточных правителях и войсковых парадах, напоминавших цирковые представления. С иронией, потому что зерна будущих грозных событий зрели уже под видимостью внешнего благополучия: история предьявила жестокий счет тем, у кого не хватило провидительности и ответственности вовремя «снять с носа» розовые очки. С грустью, потому что после пережитых испытаний многие, даже самые язвительные и трезвые критики эпохи поневоле ощущали нечто вроде ностальгии, оглядываясь на ту безвозвратную пору.

В 1917 году, не успев закончить учительской семинарии, Эрих Кестнер был призван на военную службу. Он вернулся домой уже в 1919 году, после революции, свергнувшей в Германии монархию, собирался сдать учительский экзамен, но в последний момент передумал (о причинах писатель рассказывает в той же книге воспоминаний) и решил продолжить образование в университете. В Берлине, Ростке, Лейпциге он изучал германистику, написал диссертацию «Возражения на статью Фридриха Великого «De la littérature allemande»¹ и все более убеждался, что подлинное его призвание — литература.

Первые стихи Кестнера появились в печати еще в 1920 году, в сборнике студенческих работ, но никем тогда замечены не были. Для заработка он начал сотрудничать в газетах, писал репортажи, рецензии, политические фельетоны, сатирические стихи. После скандала, вызванного публикацией одного из таких стихотворений, Кестнер вынужден был прекратить сотрудничество в леволлиберальной газете «Нойе лйпцигер цайтунг» и переехать в Берлин. Уже тогда сложились некоторые его рабочие привычки: он предпочитал, например, писать не дома, а в кафе, где надолго становился постоянным клиентом. Сложились и многие черты его литературного стиля; они со всей яркостью проявились в первом стихотворном сборнике Кестнера «Сердце на галии», который вышел в 1928 году и сразу же принес ему шумный успех.

Нам сейчас, пожалуй, даже трудно понять, почему эти стихи в свое время были так бурно встречены. Этого не объяснить одними лишь их поэтическими достоинствами. Они оказались на редкость созвучны веяниям времени — Кестнер удовлетворил ожидания читающей публики. «Это поэт, представляющий наше поколение, — писал один из тогдашних критиков. — Поэзия нашего времени не может звучать иначе... Рифмованные строки Кестнера были у всех на устах». Афористичные, четкие по форме, они входили в повседневный обиход, звучали с эстрады, становились крылатыми выражениями.

Мы знаем, что это было за время для Германии, читали о нем в романах Фаллады, Ремарка и многих других писателей. Время послевоенной инфляции и безработицы, массовых разорений и внезапных обогащений, время, когда среди идейной сумятицы, спекулируя на возрастающем недовольстве, обострении социальных противоречий, питаясь реваншистскими, милитаристскими, националистическими настроениями, все наглей поднимал голову фашизм.

Кестнер пишет обо всем этом. О безработных и жиреющих богачах, о самоубийцах и гибнущих детях, о драмах, что разыгрываются за стенами внешне благопристойных домов, в мебелированных комнатах. Пишет с горечью, порой с вызывающей откровенностью, не боясь оскорбить чувствительный слух. В критике его поспешили отнести к направлению так называемого «литературского цинизма», по какому-то признаку сблизкая то с Брехтом, то с Тухольским; но гораздо очевидней, пожалуй, прямая связь Кестнера с традициями гейневской иронии. Эта ирония переходит в сарказм, когда он обрушивается на обывательскую мораль, лживый

¹ «О немецкой литературе» (фр.).

лафос проповедников милитаризма и реакции («Ты знаешь край, где расцветают пушки»).

Многие темы этих первых стихов звучат и в наиболее знаменитом его романе «Фабиан» (1931). Герой романа еще полон воспоминаниями о войне. «По провинциям рассеяно множество уединенных домов, где все еще лежат искалеченные солдаты. Мужчины без рук и ног. Мужчины с устрашающе изуродованными лицами, без носа, без рта. Больничные сестры, которых ничем уже не испугаешь, вводят этим несчастным пищу через стеклянные трубочки, которые они вставляют в зарубцевавшееся отверстие, там, где некогда был рот. Рот, который смеялся, говорил, кричал».

Фабиан, молодой человек с университетским образованием, вынужден сочинять стихи для рекламной фирмы, но вдруг оказывается без работы. Мы следим за его странствиями по Берлину середины 20-х годов, наблюдаем сцены безотрадной жизни, моральной деградации. «Волшебный дар — видеть сквозь стены и занавешенные окна — сущая ерунда в сравнении со способностью стойко перенести увиденное», — замечает автор. Он называет своего героя «моралистом», и не без оснований: среди окружающей пошлости и грязи Фабиан ухитряется сохранить четкость нравственных критериев, достоинство и принципиальность. Он, несомненно, близок самому Кестнеру. Но, как и Кестнер, остро чувствуя неблагополучие, веяние надвигающейся катастрофы, не знает, что делать, как изменить жизнь.

Да, писатель чутко нащупал болевые точки времени, сумел впечатляюще об этом сказать инискал заслуженный успех. Импонировал читателю иронический стиль — автор не изображал себя знающим больше других и признавался, что рецептов от болезни предложить не может. Это не свидетельствовало о его силе, но было, во всяком случае, честно: куда хуже и опасней ложные панацеи. В одном из наиболее известных своих стихотворений, отвечая не вполне удовлетворенным читателям, поэт говорит об этом откровенно:

Вы шлете мне письма. И это мне лестно.
Но в каждом вопросе, как на страшном суде:
«Где ж все позитивное, Эрих Кестнер?»
А черт его знает, где!¹

И все-таки, все-таки... Проблема «позитивного» мучила писателя, он не переставал думать о ней. Уже в 1946 году, в предисловии к сборнику своих ранних стихов, Кестнер писал о них так: «Эти стихи — попытка молодого еще человека предостеречь других с помощью иронии, критики, упрека, издевки, смеха. Что подобные попытки бессмысленны, известно заранее, как заранее известно, что бессмысленность подобных попыток и сознание этой бессмысленности еще никогда не заставляли и не заставят замолчать ни одного сатирика. Разве что его книги сожгут. Сатирики замолчать не могут, ведь они чувствуют себя кем-то вроде школьных учителей. А школьные учителя не могут не твердить свое. Ведь в потаеннейшем уголке их сердец вопреки всему безобразному, что творится в мире, робко теплится глупая, бессмысленная надежда, что люди все-таки могут стать немножко, совсем-совсем немножко

¹ Перевод К. Богатырева.

лучше, если их достаточно часто ругать, просить, оскорблять и высмеивать. Сатирики — идеалисты».

Со школьным учителем Кестнер сравнивал себя не раз. Для него это сравнение имело особый смысл. Один из персонажей романа «Фабиан», самоубийца Лабуде, пишет в своем прощальном письме: «Мне бы стать учителем: идеалы в наше время доступны только детям». И в поисках «позитивного» сам Кестнер обращается прежде всего к детям: пишет книги о них и для них. Он остается верен давнему учительскому призванию, только пробует осуществить его другими средствами.

Читатель, который составит представление об Эррихе Кестнере лишь по работам, вошедшим в данный сборник¹, вправе усомниться: об этом ли авторе до сих пор шла речь? Где обличительная сатира, мрачный сарказм и тем более «лирический цинизм»? Перед нами ироничный, но добродушный, порой даже чуть сентиментальный рассказчик, мастер увлекательного сюжета, исполненный «юмора и понимания», если воспользоваться его собственными словами. Между тем важно иметь в виду, что детские книги писались и выходили в свет одновременно с книгами для взрослых. Первая и самая знаменитая из них, повесть «Эмиль и сыщики», была опубликована в том же 1928 году, что и сборник «Сердце на талии»; в один год с «Фабианом» появилась детская повесть «Кнопка и Антон» (1931); и в дальнейшем «детские» и «взрослые» его работы возникали и публиковались параллельно. Трудно сказать, каким из них он больше был обязан своим успехом. Пожалуй, успех больше всего обеспечивался именно его одновременным существованием в обеих ипостасях. Детскими историями зачитывались не только дети, но и взрослые, находя в них, видимо, что-то, чего им не хватало в других книгах Кестнера.

Уже в ту пору хоровым стало суждение о «двух», даже «трех Кестнерах», порой не очень друг с другом схожих: поэте-сатирике, прозаике и авторе книг для детей. А ведь он еще писал сценарии, газетные статьи и рецензии, пьесы и куплеты для кабаре. Известный американский романист Торнтон Уайлдер как-то написал ему: «Я знаю шестерых Кестнеров. А эти шестеро Кестнеров знают ли друг друга?» Вопрос не лишен смысла. В своей шутливой речи «Кестнер о Кестнере» сам писатель задумывался над ним. Можно ли, спрашивает он сам у себя, «свести в один пристойный букет» всю эту «неразбериху из жанров и точек зрения»? И получает утвердительный ответ. Просто возобновлять вновь и вновь дон-кихотские атаки «против косности сердец и несправимости умов», говорит он, становится порой так неумоготу, что, «поставив своего Росинанта в стойло и позволив ему мирно поедать овес», он испытывает «неистребимую потребность рассказывать какие-нибудь истории детям... Потому что дети... живут по соседству с добром. Надо только научить их с умом открывать туда дверь». И здесь Кестнер вновь называет себя «школьным учителем», «моралистом», «рационалистом», «правнуком немецкого Просвещения».

Эта автохарактеристика приложима ко всему его творчеству, «взрослому» и «детскому»: единство его создается именно общей системой нравствен-

¹ Кроме них, на русском языке опубликованы сборник стихов «Маленькая свобода» (1962) и роман «Фабиан» (1975).

ных ценностей, представлений о добре и зле. Не уберегаясь порой от дидактизма и некоторой облегченности, учитель Кестнер дает читателю свои уроки.

Чему учит история мальчика Эмиля Тышбайна, у которого украли в поезде сто сорок марок и который сумел заполучить их обратно с помощью берлинских мальчишек? Что людям нельзя доверять? «Глупости,— отвечает герою бабушка.— Все как раз наоборот». Это история о людской доброте и находчивости, о взаимовыручке и солидарности. Солидарность — одна из важнейших ценностей в мире детских книг Кестнера. Нет, что говорить, еще, конечно, не социальная, не классовая — от этого писатель далек, и вряд ли стоит предъявлять ему требования, которых он по характеру своего мировоззрения заведомо выдержать не готов. Будем ценить его за то, что он способен предложить. Простая человеческая, мальчишеская солидарность — тоже не так мало. Она помогает выбраться из беды не только Эмилю Тышбайну. Она облегчает жизнь Джекки, мальчику-гимнасту из повести «Эмиль и трое близнецов»: дети, не очень даже знакомые, принимают участие в его судьбе, раздобывают для него деньги. И Джекки в финале книги обещает такую же поддержку другим: «Когда я вырасту, а кому-нибудь из вас придется туго, пусть он меня найдет». Маленький Максик и его друг Йокус фон Покус на вершине успеха не соблазняются большими деньгами, остаются в родном цирке, с людьми, которые сделали для них когда-то немало доброго, — это тоже акт солидарности, человеческой, профессиональной.

Нетрудно заметить, что и в морали, и в счастливых концовках иных детских книг Кестнера, во всех этих внезапно сваливающихся деньгах, премиях, вознаграждениях, наследствах есть что-то от сентиментальных рождественских историй. Везет немногим счастливицам — а что делать другим в этом трудном, далеко не всегда добром мире, который сам по себе ничуть не изменился? Кестнер сам чувствует здесь свою слабость. Оттого он так охотно посмеивается и над собой, и над своими героями. «С вами никогда не поймешь, что всерьез, а что в шутку», — можно бы ему порой сказать, как бабушке Эмиля Тышбайна. Но самоирония тоже не всегда спасает. В своих «взрослых» книгах Эрих Кестнер куда более трезв, однако мера ценностей, не сводимых к деньгам, остается для него единой и там, и здесь. В романе «Фабиан» герой (так напоминающий нам самого автора) тайком положил в сумочку уезжавшей матери двадцать марок; вернувшись домой, он обнаружил на столе в конверте двадцать марок, которые так же тайком оставила ему мать. «С математической точки зрения результат равен нулю. Каждый остался при своих. Но добрые дела нельзя аннулировать. Моральные уравнения решаются иначе, чем арифметические».

Это справедливо для многих эпизодов «Фабиана», когда попытки героя кому-то помочь, что-то в жизни улучшить разбиваются о жестокую действительность — и особенно для пессимистического, казалось бы, финала книги. Фабиан гибнет, бросившись спасать упавшего в воду мальчика: он забыл при этом, что сам не умеет плавать. К счастью, мальчик своими силами сумел выбраться на берег. Что ж, дает ли это основания философствовать просто о безрассудной и бесполезной гибели, о несостоятельности героя? Да, он потерпел крушение. Но моральные уравнения решаются все же иначе. В памяти мальчика остантся самоотверженность человека, забывшего ради него о себе, — разве это так мало?

«Моралист» Фабиан, который лишь поверхностному взгляду может показаться циником, обнаруживает духовное родство с лучшими героями детских кестнеровских книг: он сохранил подлинную память о детстве. А это означает, как пояснял однажды писатель, способность «вдруг, без долгого размышления вспомнить, когда понадобится, что настоящее, а что фальшивое, что есть добро, а что зло».

При всей своей внешней разноликости творчество Кестнера внутренне едино. Единство это проявляется и в стиле, который характеризуется, как говорил сам автор, стремлением к «искренности чувства, ясности мысли, простоте слова и слога». Особо стоит выделить черты, которые Кестнер называет среди достоинств «настоящего учителя» и которые присущи ему как писателю: «юмор и понимание». Юмор родствен пониманию, он дает взгляду высоту, способность подняться над сиюминутными столкновениями и неурядицами, над мелочным и преходящим. Думается, именно в нем главный секрет обаяния лучших кестнеровских книг. Можно говорить об увлекательном сюжете «Эмиля и сыщиков», об удачной выдумке в «Мальчике из спичечной коробки». Но сюжет, глядишь, порой буксует, выдумка может себя исчерпать — самым интересным неожиданно оказывается совсем другое. Например, когда в повестях об Эмиле слово просто «предоставляется картинкам», и эти бессюжетные описания или рассуждения читаются с истинным удовольствием. В повести «Когда я был маленьким» вообще нет ни сюжета, ни вымысла. Главное ее очарование — в словесной ткани, в самой атмосфере книги, умной, доброй, ироничной. Рассказывая о старом Дрездене с его прекрасными улицами и зданиями, писатель произносит исполненные глубокого смысла слова: «Не из книг узнавал я, что такое красота. Мне дано было дышать красотой, как детям лесника — напоенным сосной воздухом». Лучшие книги Кестнера тоже как бы напоены легким воздухом юмора и понимания; вдыхать его благотворно.

Первый бурный успех Эриха Кестнера длился не так уж долго — около пяти лет. В январе 1933 года к власти в Германии пришли фашисты. Когда произошел гитлеровский переворот, Кестнер отдыхал в Швейцарии, но решил вернуться домой. Друзья, только что бежавшие в Швейцарию из Германии, с недоумением и ужасом пробовали его отговорить. Антифашистские, антимилитаристские настроения писателя были слишком широко известны. Ему могли припомнить многое — хотя бы стихотворение, словно предвосхищавшее то, что реально происходило сейчас в стране:

Когда бы мы вдруг победили
Под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
В огромный сумасшедший дом...
Тогда б всех мыслящих судили
И тюрьмы были бы полны...
Но, к счастью, мы побеждены¹.

¹ Перевод К. Богатырева.

О каком-либо сотрудничестве с режимом для такого человека, как Кестнер, не могло быть и речи. И все-таки он вернулся. Тому были разные объяснения. Он позже называл себя «деревом, которое в Германии выросло и, если придется, в Германии и засохнет». Он говорил: «Я остался, чтобы быть свидетелем». Решающим, возможно, было убеждение, что все это ненадолго, что гитлеровская диктатура скоро потерпит крах и он, писатель, сможет рассказать об этом как очевидец. Увы, в оценке положения этот ироничный трезвый человек на сей раз ошибся. Ждать пришлось целых двенадцать лет, трудных, опасных, в литературном отношении неблагоприятных.

Все приписки о Кестнере, конечно же, упоминают эпизод, когда 10 мая 1933 года на берлинской площади Оперы бросали в костер его книги — вместе с книгами Генриха Манна и Эриха Марии Ремарка, Альфреда Дёблина и Вертольта Брехта, Максима Горького и Эрнста Хемингуэя. То была действительно горькая честь — оказаться в одном списке с лучшими представителями немецкой и мировой литературы. Менее известно, что Кестнер, единственный из «сжигаемых», явился «лично присутствовать на этом театральном представлении». «Я стоял перед университетом, — вспоминал он после войны, — стиснутый среди студентов в форме штурмовиков (цвет нации!), смотрел, как в трепещущее пламя летят наши книги, слушал слащавые тирады этих мелких отъявленных лгунов». Каждый акт этого средневекового аутодафе сопровождался ритуальными выкриками: объяснялось, за что именно предаются огню те или иные книги. Кестнер попал в одну «обойму» с Генрихом Манном: «Против декаданса и морального разложения! За добропорядочность и нравственность в семье и государстве!» Можно ли было откровенней и саморазоблачительней продемонстрировать собственное лицемерие, убожество и примитивность интеллектуального и нравственного уровня! Какая-то женщина в толпе узнала Кестнера, крикнула: «А вот и он сам!» Писателю стало не по себе.

В тот раз все обошлось. Арестовали Кестнера позже, доставили в гестапо для объяснений по поводу стихов, появившихся в эмигрантской печати. (В гестапо его встретили насмешливыми возгласами: «А, вот и Эмиль, и сыпчики!») Удалось как-то выпутаться. Тем не менее в 1934 году было объявлено, что Кестнеру, как элементу «нежелательному и политически неблагонадежному», запрещено впредь заниматься литературной деятельностью. (За год до того он еще успел выпустить повесть «Эмиль и трое близнецов».) Позднее запрет был несколько смягчен, писателю разрешили издать несколько книг за границей, главным образом в Швейцарии. Это были далеко не лучшие из кестнеровских работ, хотя и среди них есть интересные. Например, «Пропавшая миниатюра» (1935) — история, как некий бравый мясник помогал своему земляку-берлинцу доставить в столицу ценную миниатюру; миниатюру, конечно, украли в пути; потом, впрочем, выясняется, что украдена была лишь копия, и все заканчивается благополучно. Чем-то это напоминает «Эмиля и сыпчиков». В эти годы был осуществлен, среди прочего, пересказ для детей знаменитой народной книги о Тиле Уленшпителе, написан сценарий о бароне Мюнхгаузене, по которому поставили фильм, пользовавшийся большим успехом. В 1943 году запрет на литературную деятельность был возобновлен уже окончательно.

Своеобразным документом тогдашней изоляции и одиночества стали кестнеровские «Письма самому себе». «Ты когда-то писал книги, надеясь, что

другие люди, дети и те, кто уже перестал расти, узнают из них, что ты считаешь хорошим или плохим, красивым или безобразным, смешным или печальным,— с горечью размышлял этот «правнук немецкого Просвещения».— Ты надеялся принести пользу. Это была ошибка, над которой теперь можешь лишь снисходительно усмехаться... Ты напоминаешь человека, который пробовал уговорить рыб, чтобы они выбрались, наконец, на берег, научились бегать и убедились в преимуществах сухопутной жизни».

Лишь позже, после войны, Кестнер узнал, что старые его книги все эти годы продолжали, несмотря на запреты, ходить по рукам. Его стихи переписывали от руки в Варшавском гетто, и даже в армейских казармах читали тайком «Ты знаешь край, где расцветают пушки» и «Голоса из братской могилы»:

Четыре года эта бойня длилась,
Четыре года длились, как века.

Строки, написанные о первой мировой войне, обретали новую, неожиданную злободневность.

Самого писателя еще раз доставляли в гестапо для объяснений. Он приспособился уклоняться от опасностей: когда в Берлине усиливалась волна арестов, переезжал в Дрезден, где по-прежнему жили его родители, и наоборот. Однажды, предупрежденный знакомыми об угрозе, он покинул Дрезден, едва приехав,— это было за несколько дней до того, как город был полностью разрушен англо-американской авиацией (родители выжили). Впоследствии Кестнер опубликовал дневник с записями 1945 года, где рассказывал о своей жизни в эти месяцы, когда агонизировал гитлеровский режим.

Сразу же после войны писатель, стосковавшийся по активной деятельности, с необычайной энергией включается в литературную жизнь. Обосновавшись в Мюнхене, он вместе с друзьями организует кабаре «Балаган», пишет для него спектакли и сатирические куплеты, руководит литературным отделом газеты «Нойе цайтунг», позднее начинает издавать журнал для юношества «Пингвин». Появляются сборники его старых и новых стихов («Перебирал свои книги», 1946, «Повседневные дела», 1948), пьесы («Школа диктаторов», 1949), книги для детей («Двойная Лоттхен», 1949, «Конференция зверей», 1949). Он оказывается одним из тех, кто определял облик складывавшейся западногерманской литературы; во всяком случае, он представлял ее лучшую, наиболее авторитетную часть, обеспечивая преемственность демократических, антифашистских традиций. В 1952—1962 годах Кестнер был президентом, затем почетным президентом западногерманского ПЕН-центра.

Ни одна жизненно важная тема тех лет не прошла мимо него. Он писал о необходимости расчета с нацистским прошлым: «Непреодоленное прошлое похоже на беспокойное привидение, что бродит по нашим снам и по нашей яви, ожидая, как это водится у привидений, когда же мы взглянем на него, заговорим с ним, выслушаем его. Напрасно, перепуганные до смерти, мы пелим на глаза ночной колпак. Это не способ. Это не поможет ни привидению,

ни нам. Все равно придется рано ли, поздно посмотреть ему прямо в лицо и сказать: «Говори!» Привидение должно заговорить, и нам надо выслушать его. До той поры нам не будет покоя».

Он сатирически высмеивал современную ему западногерманскую действительность — реальность «экономического чуда» и «маленькой свободы»:

Ведь мы большой свободы не добились,
Опять не повезло нам, как всегда...
Ведь мы большой свободы не добились.
А маленькой? Пожалуй, да¹.

Убеденный противник милитаризма и войны, он борется против новой угрозы, нависшей над человечеством. Показательно, что при этом Кестнер обращается к жанру детской сказки. В книге «Конференция зверей» животные, разочаровавшись в способности людей разумно уладить свои проблемы, берутся за дело сами. Они созывают собственную конференцию и решают предотвратить войну. Мыши поедают военные документы, моля уничтожает армейскую форму; наконец животные идут на самый отчаянный шаг: похищают у людей детей и прячут на необитаемом острове. Лишь таким крайним средством удается их вразумить и умерить слишком воинственный пыл.

Разумеется, и тут перед нами всего только литературное, сказочное решение проблемы. В жизни все трудней, драматичней, и Кестнер не хуже других это понимал. Скепсиса у него с годами не убавилось. Но, как и прежде, он чувствовал себя немного школьным учителем, а это, по его убеждению, налагало обязательства. Обращаясь к детям, писатель считал необходимым вспомнить о надежде — он связывал ее с ними. «Пессимизм — не позиция, когда речь идет о детях!» — говорил Кестнер в одном из выступлений 1953 года. — «В нашем печальном мире помочь молодым людям может только тот, кто верит в людей».

Написанные им в эти годы книги «Когда я был маленьким» (1957) и «Мальчик из спичечной коробки» (1963), несомненно, относятся к числу его лучших работ. Сам автор предназначал их для читателей «от восьми до восьмидесяти» — и аудитория у него действительно не ограничена возрастом.

Созданное Кестнером, разумеется, неравноценно. Немало у него вещей проходных, заведомо не рассчитанных на долгую жизнь. Никогда не терявший способности к самоиронии, писатель однажды охарактеризовал свое творчество как «прикладную лирику», и эту характеристику как-то слишком охотно подхватили иные критики. Но вот пришла пора окинуть взором все сделанное им за почти полвека интенсивной работы: полтора десятка детских книг (некоторые из них уже стали классикой) — романы, пьесы, сценарии, множество стихов, статей, — и стало очевидно, что его вклад в немецкую литературу нашего века был значительным и серьезным. Этот вклад определяется даже не только книгами: Эрих Кестнер был одним из тех, кто своим присутствием, авторитетом — моральным, литературным, человеческим — налагал отпечаток на культурную жизнь своего времени.

¹ Перевод К. Богатырева.

Он умер 29 июля 1974 года. Три четверти столетия вместились между датами его рождения и смерти. Стоит ли говорить, что это были за годы? Вряд ли какие-либо другие так резко меняли жизнь человечества, вряд ли какие-нибудь другие могут с ними сравниться по насыщенности и трагизму.

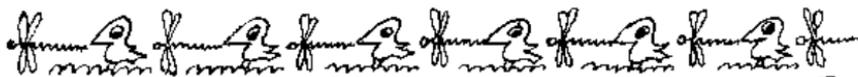
С фотографий последних лет на нас смотрит элегантный спокойный человек. Волосы тронуты проседью. Прищуренный взгляд из-под опущенных бровей, ироническая умная улыбка в уголке губ. Писатель, всегда чувствовавший себя в душе школьным учителем и лишь пока уединившийся перед очередным уроком. Что он нам сейчас скажет? Может, напомним двестишестидесятилетие из своего сборника «Коротко и ясно» (1948): «Хорошего на свете мало, сделай, чтоб побольше стало». А может быть, вот это: «Не расставайтесь с детством. Знаете, большинство людей расстаются с детством, как будто снимают старую шляпу. Они забывают его, как телефонный номер, ставший не нужным. Жизнь представляется им чем-то вроде длинной колбасы, которую помаленьку съедаешь, и что съедено, того больше не существует...» «Не забывайте незабываемого! Этот совет, кажется мне, никогда не будет преждевременным».

М. Харитонов

Дмитрий Кестнер

Когда я
был
маленьким

Товарищ
L



*Ни одной книги
без предисловия*

ДОРОГИЕ ДЕТИ И НЕ ДЕТИ!

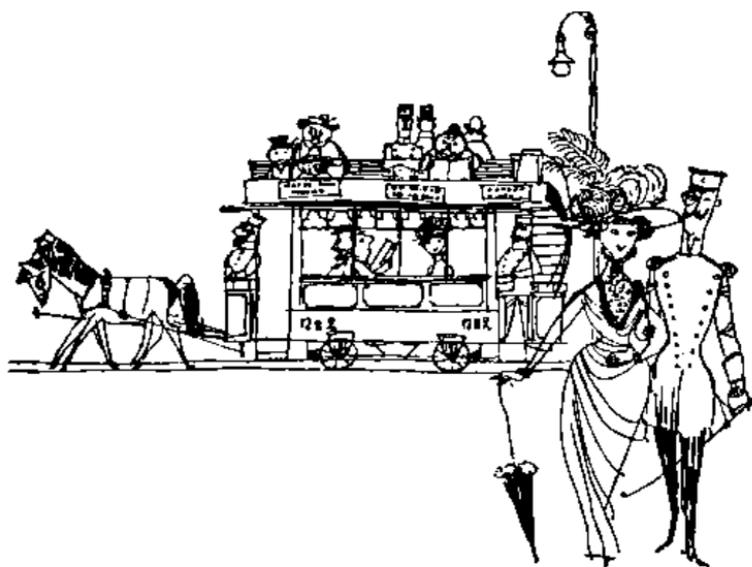


Друзья давно уже посмеиваются над тем, что ни одна моя книга, мол, не выходит в свет без предисловия. Мало того, были книги, к которым я ухитрился писать по два и даже по три предисловия! Тут я, прямо сказать, неумоим. Пусть даже это дурная привычка — меня от нее не отучить. Во-первых, от дурных привычек всего труднее отучаешься, а во-вторых, я вовсе не считаю это дурной привычкой.

Предисловие для книги все равно что палисадник перед домом: оно одно из главных ее украшений. Конечно, существуют дома и без палисадничков и книги без предисловиц... простите, без предисловий. Но книги с палисадником... тьфу, с предисловием мне куда милей. Я совсем не желаю, чтобы посетители с бухты-барахты вваливались ко мне в дом. Ничего хорошего в том нет ни для посетителей, ни для дома.

Никогда не поверю, будто разбивать палисадник с цветочными рабатками, скажем, с пестрыми-препестрыми анютиными глазками, коротенькой дорожкой к крыльцу в две-три ступеньки, по которым поднимаешься к двери и к звонку, — такая уж дурная привычка! Не спорю, многолюдные дома, даже семидесятиэтажные небоскребы, стали с течением времени необходимостью. Да и толстые книги, эдакие увесистые кирпичи, как видно, тоже. И все-таки, грешным делом, я по-прежнему всей душой привязан к маленьким уютным домикам с цветущими анютиными глазками и георгинами в палисаднике. И к тоненьким удобным книжкам с предисловием.

Может, все дело в том, что сам я рос именно в густонаселенных домах. Без всякого палисадничка. Мне палисадником был задний двор, а перекладина для выбивания ковров заменяла липу. Незачем над этим проливать слезы, да слез и не было пролито. Дворы и перекладины для выбивания ковров прекрасная штука. И я редко плакал и часто смеялся.



Однако кусты сирени и ветки бузины лучше и прекраснее, по-другому прекраснее. Это я понимал, еще когда был маленьким. А сейчас понимаю, пожалуй, и того лучше. Потому что сейчас у меня наконец появился палисадничек, а за домом — лужайка. Есть у меня и розы, и фиалки, и тюльпаны, и подснежники, и нарциссы, и лютики, и синеголовник, и колокольчики, и высоченная цветущая трава, которую поглаживает летний ветерок. А еще у меня черемуха, и кусты сирени, и два рослых ясеня, и старая, совсем трухлявая ольха. Даже лазоревки, синицы, коноплянки, поползны, снегири, дрозды, сороки и дятлы — и те у меня имеются. Иной раз я готов сам себе завидовать!

В этой книжке я собираюсь рассказать детям кое-что о своем детстве. Только кое-что, а не все. Иначе получится толстенная книга, какие я не слишком жалую, эдакий увесистый кирпич, а мой письменный стол в конце концов не кирпичный завод; и потом, не все, что выпадает на долю детей, годится для детского чтения. Звучит это странновато, но тем не менее так. Уж вы мне поверьте на слово.

Пятьдесят лет минуло с тех пор, как я был маленьким, а пятьдесят лет — худо-бедно целых полвека (надеюсь, я не

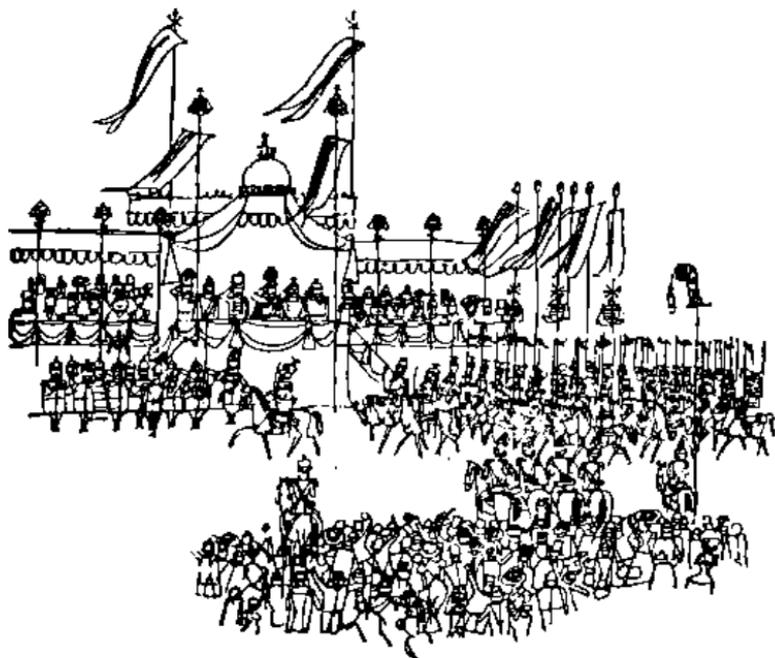
ошибся!). И вот в один прекрасный день я подумал: может быть, вам будет интересно узнать, как жили маленькие мальчишки полвека назад (надеюсь, что и тут я не ошибаюсь).

Тогда очень многое отличалось от того, что мы видим сейчас! Я еще застал конку. Вагоны бежали по рельсам, но тянули их лошади, а вожатый был заодно кучером и пощелкивал бичом. Едва горожане освоились с трамваем, в моду вошли юбки-ковьяляшки. Дамы стали носить длинные-предлинные и узкие-преузкие юбки. В них они могли только семенить мелкими шажками, а влезть в трамвай уж вовсе не могли. Кондуктор и пассажиры поздравее под общий смех подсаживали их на площадку, причем дамам приходилось к тому же наклонять голову, потому что носили они огромные, с колесо, шляпки с исполинскими перьями и аршинными шляпными булавками, на которые по особому распоряжению полиции для безопасности надевались защитные колпачки!

Тогда Германией еще правил кайзер. У него были круто закрученные кверху усы, и его берлинский придворный парикмахер рекламировал в газетах и журналах излюбленные кайзером наусники. Поэтому по всей Германии мужчины утром после бритья повязывали себе над верхней губой широкие наусники, что придавало им дурацкий вид, и целых полчаса не разговаривали, а мычали.

Кроме того, у нас в Саксонии был еще король. В честь кайзера каждый год устраивались кайзерские маневры, а для нашего короля, по случаю дня его рождения, — королевский парад. Мундиры гренадеров и стрелков, не говоря уж о кавалерийских полках, ярко горели всеми красками. И когда по Алаунплатц в Дрездене мимо королевской трибуны дефилировали конногвардейцы в блестящих касках, гроссенхайнские и бауценские гусары в отороченных ментиках и коричневых меховых шапках, ошачье и рохлицкие уланы в уланках и киверах, конные егеря, все верхом, с саблями наголом и поднятыми пиками, зрители не помнили себя от восторга и дружно кричали «ура». Трубили трубы. Звенели бунчуки. Литаврщики били в литавры так, что все дрожало. Эти парады были самыми великолепными и впечатляющими цирковыми представлениями и опереттами, какие я только видел в жизни.

Монарх, чье рождение так шумно и красочно праздновалось, носил имя Фридрих-Август. Он был последним саксонским королем. Но тогда он этого еще не подозревал. Иногда король с детьми проезжал по городу. Рядом с кучером, в шляпе с разноцветным плюмажем, скрестив руки на груди,



сидел лейб-егерь. А из открытого экипажа нам, детям, махали маленькие принцы и принцессы. Король тоже махал и при этом приветливо улыбался. Мы махали в ответ и чуточку его жалели. Потому что нам, как всем и каждому, было известно, что от него сбежала жена, королева саксонская. Сбежала с синьором Тоселли, итальянским скрипачом! Так король сделался всеобщим посмешищем, а маленькие принцы и принцессы остались без матери.

Перед рождеством, подобно другим офицерам, король, высоко подняв воротник, прогуливался в одиночку по сияющей огнями Прагерштрассе и останавливался в раздумье перед ярко освещенными витринами. Больше всего он интересовался детским платьем и игрушками. Шел снег. В магазинах сверкали наряженные елки. Прохожие, подталкивая друг друга, шептали: «Король!» — и спешили дальше, чтобы его не смущать. Он был очень одинок. Он любил своих детей. И за это его любили дрезденцы. Если б он зашел в мясную Рариша и сказал одной из продавщиц: «Парочку горячих сосисок и побольше горчицы, я съем тут!» — та наверняка не опустила бы на колени и, уж конечно, не ответила бы: «Это для нас большая честь, ваше величество». Она бы просто спросила:

«С булочкой или без?» А мы все, в том числе и я с матушкой, отвернулись бы, не желая портить ему аппетит. Но король, видимо, не рещался. Он не заворачивал к Раришцу, а шел по Зеештрассе, останавливался перед лучшей в городе гастрономией Лемана и Лейхсенринга, затем пересекал площадь Альтмаркт, брел по Шлоссштрассе, где в витрине Цойнера долго разглядывал выстроенных в боевом порядке нюрнбергских оловянных солдатиков, и на том его праздничное гулянье и кончалось! Потому что на противоположной стороне улицы стоял замо́к. Короля уже заметили. Выскакивали часовые. Гремели слова команды. Винтовки брались на караул. И последний саксонский король, приложив руку к козырьку, исчезал в своей чересчур просторной квартире.

Да, полвека — срок немалый. Но иногда думаешь: это было вчера. Чего только не перевидали мы за это время! Войны и электрическое освещение, революции и инфляции, дирижабли и Лига Наций, расшифровка клинописи и сверхзвуковые самолеты... Однако времена года и заданные на дом уроки как были, так и остались. Матушка еще обращалась к своим родителям на «вы». Но любовь родителей к детям и детей к родителям по-прежнему неизменна. Отец в школе еще писал «хлеб» по старой орфографии. Но так или этак пишется «хлеб», ели и едят его всегда с удовольствием. Почти всё изменилось, и почти всё осталось прежним.

Было это лишь вчера или в самом деле прошло полвека, как я решал арифметические задачи под коптящей керосиновой лампой? И вдруг с тонким «дзинь» лопнуло стекло, и его пришлось осторожно, с помощью тряпки, заменить. В наши дни перегорают пробки, и, чиркнув спичкой, ищешь и вворачиваешь новые. Такая ли уж большая тут разница? Конечно, свет сейчас горит ярче и электрический ток не покупаешь в бидоне. Многие стало удобнее. Но стало ли от того лучше? Не уверен. Может быть. А может быть, и нет.

Когда я был маленьким, я утром, еще до школы, мчался в лавку потребительского общества на Гренадерштрассе. «Полтора литра керосина и четырехфунтовый свежий хлеб второго сорта», — говорил я продавщице. Затем со сдачей, талонами на скидку, хлебом и полным бидоном бежал дальше. Вокруг мигающих газовых фонарей плясали снежинки. Мороз колкими стежками зашивал мне ноздри. Мой путь лежал к мяснику Кислингу: «Четверть фунта домашней кровяной и ливерной колбасы, пожалуйста; той и другой пополам!»

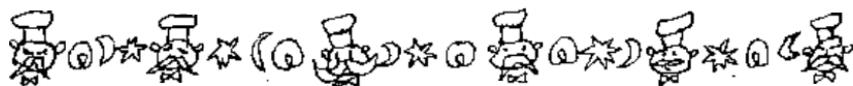
Оттуда — к зеленщице фрау Клетш: «Брусочек масла и шесть фунтов картофеля. Матушка велела кланяться и передать, что последний был подморожен!» А теперь домой! С хлебом, керосином, колбасой, маслом и картофелем! Дыхание, будто дым эльбского парохода, вырывается изо рта белыми клубами. Зажатый под мышкой теплый четырехфунтовый хлеб вот-вот выскользнет. Сдача в кармане позвякивает. Керосин в бидоне плещется. Сетка с картофелем бьет по колену. Скрипучая дверь парадной. Вверх по лестнице через две ступеньки. Звонок на четвертом этаже, но как позвонишь, если руки заняты? Колочу в дверь носком башмака. Дверь запахивается. «Не мог позвонить?» — «Нет, мамочка, сама видишь!» Она смеется. «Ничего не забыл?» — «Как это так — забыл?» — «Ну, входите, входите, молодой человек!» А потом, за кухонным столом, — чашка ячменного кофе с примесью винных ягод и ломоть, непременно горбушка, теплого еще хлеба со свежим маслом. Меж тем как уложенный ранец ждет в передней, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.

«С тех пор прошло более пятидесяти лет», — сухо заявляет календарь, этот закоснелый лысый бухгалтер в канцелярии Истории, ведущий счет времени и чернилами и линейкой подчеркивающий синим высокосные года и красным — каждое начало столетия. «Нет! — кричит воспоминание и встряхивает кудрями. — Это было вчера! — И с чуть лукавой улыбкой шепотом добавляет: — Ну, самое большее, позавчера». Кто же прав?

Оба правы. Есть два времени. Одно можно мерить на обыкновенный аршин, мерить секстантом и буссолью. Как измеряют улицы и земельные участки. Но воспоминание наше, это другое времяизмерение, знать не знает никаких метров и месяцев, никаких десятилетий и гектаров. Старо то, что позабыто. А незабываемое было лишь вчера. Масштабом служат не часы, а ценность. И самое драгоценное, все равно, радостное оно или печальное, — это детство. Не забывайте незабываемое! Этот совет, кажется мне, никогда не будет преждевременным.

И вот вступление закончено. На следующей странице начинается первая глава. Так положено. Ибо если правило «Ни одной книжки без предисловия» в какой-то мере оправданно, то обратное уж бесспорно справедливо. А именно:

НИ ОДНОГО ПРЕДИСЛОВИЯ БЕЗ КНИЖКИ.



Глава первая

КЕСТНЕРЫ И АВГУСТИНЫ

Кто начинает рассказывать о себе, начинает обычно с совершенно других людей. С людей, которых никогда не видел и не мог увидеть. С людей, которых никогда не встречал и никогда не встретит. С людей, которые давно умерли и о которых почти ничего не знает. Кто начинает рассказывать о себе, начинает обычно со своих предков.

И это вполне понятно. Без предков каждый из нас оказался бы в океане времени, как потерпевший кораблекрушение — на крохотном необитаемом острове, в полнейшем одиночестве. Сирота сиротой. Без отца-матери. Дедов-прадедов. Роду-племени. Через своих предков мы связаны с прошедшим и уже столетия как все состоим в родстве и свойстве. А придет время, и мы, в свою очередь, станем предками. Предками для людей, которые сегодня еще не родились и тем не менее нам уже родня.

В былые времена китайцы воздвигали своим предкам домашние алтари, становились перед ними на колени и не забывали об этой связи. Император и мандарин, купец и кули — каждый помнил, что он не только император или кули, но есть и останется даже после своей смерти звеном единой, неразрывной цепи. И будь цепь из золота, из жемчуга или из простого стекла, будь предки сынами неба, рыцарями или всего лишь привратниками, никто не оставался в одиночестве. Столь гордым или столь нищим не был никто.

Но оставим торжественный тон. Хотим мы того или нет, мы не китайцы. Поэтому я не собираюсь поднимать своих предков на пьедестал, а хочу о них только немножко рассказать.

... «Только немножко рассказать» о предках моего отца не представляет ни малейшего труда. Потому что я о них ничего не знаю. Или почти ничего. День свадьбы и год смерти, их имена и даты рождения добросовестно занесены протестантскими пасторами в саксонские церковные книги. Мужчины были ремесленниками, имели по многу детей и переживали своих жён, большей частью умиравших после родов. И многие

новорожденные умирали вместе с матерями. Но так было не только у Кестнеров, так было во всей Европе и Америке. Перемена к лучшему наступила лишь после того, как доктор Игнац Филипп Земмельвайс¹ покончил с родильной горячкой. Случилось это лет сто назад. Доктора Земмельвайса назвали «спасителем матерей» и на радостях позабыли воздвигнуть ему памятник. Впрочем, это к делу не относится.

Отец моего отца, Кристиан Готтлиб Кестнер, столяр по профессии, жил в Пениге, маленьком саксонском городке, стоящем на речушке под названием Мульда, и с женой Лорой, урожденной Эйдам, народил одиннадцать человек детей, пятеро из которых умерли, еще не научившись ходить. Двое сыновей пошли по стопам отца, сделавшись столярами. Третий, дядя Карл, стал кузнецом. А Эмиль Кестнер, мой отец, обучился седельному и шорному делу.

Возможно, они-то и их предки завещали мне ту чисто ремесленную добросовестность, с какой я отношусь к своей работе. Возможно, своим гимнастическим талантом — со временем, правда, несколько заржавевшим — я обязан дяде Герману, который в возрасте семидесяти пяти лет все еще лидировал в команде гимнастов-ветеранов. И не подлежит сомнению, что именно от Кестнеров я унаследовал фамильную особенность, не переставшую удивлять, а частенько и злить большинство моих друзей: глубокое и неискоренимое отвращение ко всяким путешествиям.

Нас, Кестнеров, не влечет белый свет, мы не испытываем к нему особого любопытства. Мы тоскуем не по дальним странам, а по дому. Зачем нам в Шварцвальд, на Эверест или Трафальгарскую площадь? Когда каштан перед домом, дрезденский Волчий холм и площадь Альтмаркт вполне их нам заменяют. Вот ежели б прихватить свою кровать и окно гостиной, еще можно подумать! Но отправиться в чужие края и бросить дома обжитой угол? Увольте! Нет на земле такой высокой вершины и манящего оазиса, такой экзотической гавани и грохочущей Ниагары, чтобы мы уверовали в необходимость их увидеть! Еще куда ни шло, если бы уснуть дома и проснуться в Буэнос-Айресе. Пребывание там можно бы ненадолго вынести, но путешествие туда? Да ни за что на свете! Боюсь, мы страстные почитатели привычки и уюта. Но,

¹ Игнац Филипп Земмельвайс (1818—1865) — венгерский врач, разработавший метод борьбы с инфекцией, которая была причиной родильной горячки. Его открытие по-настоящему оценили лишь после его смерти. В 1906 году в Будапеште поставили памятник Земмельвайсу с надписью: «Спаситель матерей».

помимо этих сомнительных свойств, у нас есть одно достоинство: мы неспособны скучать. Какая-нибудь божья коровка на оконном стекле занимает нас целиком и полностью. Нам вовсе не требуется лев в пустыне.

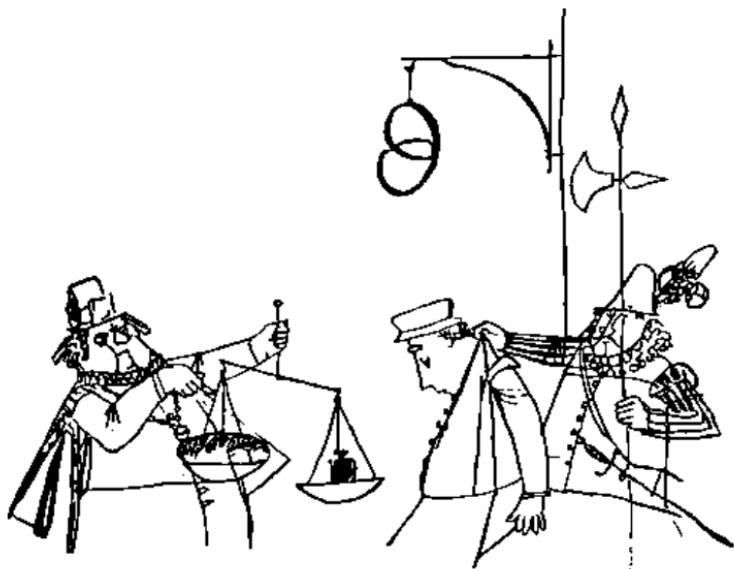
Тем не менее мои деды и прадеды и даже еще отец хоть раз в жизни, да путешествовали. На своих на двоих. Как странствующие подмастерья. С цеховым свидетельством в кармане. Но делали это не по доброй воле. Того требовали цеховые правила и установления. Кто не поработал в других городах и у чужих мастеров, не мог стать мастером. Сперва поработай на чужбине подмастерьем, если хочешь дома стать мастером. А этого все Кестнеры хотели во что бы то ни стало, будь они столярами, кузнецами, портными, печниками или седельниками! Но чаще всего странствие это оказывалось первым и последним путешествием в их жизни. Ставши мастерами, они больше не путешествовали.

Когда отец прошлым августом вылез из дрезденского автомобиля перед моим мюнхенским домом, вылез кряхтя и порядком уставший — как-никак ему девяносто лет, — он приехал только затем, чтобы узнать, как я живу, и взглянуть из моего окна на лужайку. Если бы не беспокойство обо мне, его клещами бы не оттащить от его дрезденского окошка. И там он смотрит на лужайку. И там есть синицы, зяблики, дрозды и сороки. К тому же куда больше воробьев, чем в Баварии! Так чего ему, спрашивается, если не ради меня, было пускаться в путь?

Я лично на своем веку несколько больше поездил по свету, нежели он и наши предки. Я уже побывал в Копенгагене и Стокгольме, в Москве и Петербурге, в Париже и Лондоне, в Вене и Женеве, в Эдинбурге и Ницце, в Праге и Венеции, в Дублине и Амстердаме, в Радебейле и Лугано, в Бельфасте и Гармиш-Партенкирхене. Но путешествую я неохотно. Только и в моем ремесле необходимо поколесить по свету, если желаешь у себя дома когда-нибудь стать мастером. А стать мастером у меня большое желание. Впрочем, это к делу не относится.

Моя матушка, Ида Амалия Кестнер, родом из саксонской семьи Августингов. В XVI веке эти мои предки носили имя Августен, или Августин, или Августен. И лишь в 1650 году фамилия Августин появляется в церковных книгах и годовых регистрах городского казначейства Дёбельна.

Откуда я это знаю? А существует хроника семьи Августингов. Она восходит к 1568 году. Году весьма знаменательному!



Именно в тот год Елизавета Английская заточила в тюрьму шотландскую королеву Марию Стюарт, а король Филипп Испанский проделал то же самое со своим сыном доном Карлосом. Герцог Альба казнил в Брюсселе графов Эгмонта и Горна. Питер Брейгель написал свою картину «Крестьянская свадьба». А моего предка Ганса Августина городской казначей в Дёбельне оштрафовал за то, что он выпекал хлеба меньше положенного размера. Лишь благодаря этому он угодил в годовую ведомость города Дёбельна и тем самым вместе с Марией Стюарт, доном Карлосом, графом Эгмонтом и Питером Брейгелем вошел в историю. Если б он тогда не попался, мы бы о нем ничего не знали. Во всяком случае, вплоть до 1577 года. Тогда он вновь попался в выпечке хлебов и булок-недомерков, был уличен, оштрафован и занесен в ведомость! То же самое повторилось в 1578, 1580, 1587 и в последний раз в 1605 году. Стало быть, если хочешь прославиться, надо выпекать хлеба-недомерки и попасться! Или, напротив, хлеба-перемерки. Но этого еще никто не делал! Во всяком случае, я никогда о таком не слышал и не читал.

Сын его, Каспар Августин, фигурирует в моей хронике как Каспар I. Он тоже был булочником и трижды упоминается в анналах Дёбельна: в 1613, 1621 и 1629 годах. А почему? Вы, конечно, уже догадываетесь. Каспар I тоже пек хлеба-недомерки! Да, из рода в род Августины были неустрашимы!

Но это им не очень-то помогло. Хоть они приобретали амбары, сады, луга, разводили хмель и не только пекли хлеб, но и варили пиво. Сперва на город обрушилась чума и унесла половину семьи. В 1636 году маленький саксонский городок разграбили хорваты, а в 1645 году — шведы. Ибо шла Тридцатилетняя война, солдаты забили всю скотину, сожрали урожай, погрузили подушки и перины и всю медную утварь на подводу Каспара Августина, что не могли увести — сожгли и укатили с добычей, заранее радуясь поживе в следующем городке.

Сына Каспара Августина тоже звали Каспар. В хронике он поэтому именуется Каспаром II. Он тоже был булочником, правил семьей до 1652 года и умер с горя. Потому что брат его Иоганн, живший в Данциге, явился по окончании войны и потребовал свою долю наследства, которую, как известно, прихватили шведы. Более того, поскольку Иоганн не пожелал трогаться с места в военное время, то запросил еще и солидные проценты! Дошло до тяжбы, закончившейся мировой. Мировая была аккуратнейшим образом занесена городским казначеем в книгу, и тем самым мои предки опять вошли в анналы истории. На сей раз не из-за хлебов-недомерков, а из-за семейной тяжбы. Если на то пошло, и раздор между братьями на что-то может сгодиться!

Я замечаю, что мне надо рассказывать покороче, если хочу когда-нибудь добраться до основного предмета этой книжки — до самого себя. Итак, буду краток. Да и что тут особенно распространяться? Августины опять встали на ноги, и все: будь то Вольфганг Августин или Иоганн Георг I, Иоганн Георг II или Иоганн Георг III, — все решительно были булочниками. В 1730 году город сгорел дотла. В Семилетнюю войну, когда Дёбельн только-только отстроился, пришли пруссаки. Они стали в городе на зимние квартиры. Войны позволяли себе тогда большие зимние каникулы. Тут уж сам Фридрих Великий не мог ничего поделывать. Полки располагались как у себя дома и уничтожали вражеские города и деревни не порохом и свинцом, а непомерным аппетитом. Только жители немножко пришли в себя, явился Наполеон со своей великой армией, а когда его наголову разбили в Битве народов под

¹ Тридцатилетняя война (1618—1648), в которой столкнулись интересы крупнейших держав Европы, проходила в основном на территории Германии, разоренной и опустошенной как немецкими, так и иностранными армиями.

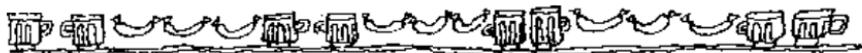


Лейпцигом, то и Августины были при последнем издыхании. Потому что, во-первых, Дёбельн лежит вблизи от Лейпцига. И, во-вторых, саксонский король являлся союзником Наполеона. Стало быть, тоже принадлежал к проигравшим. Что подданные его, в том числе и в Дёбельне, ощущали куда чувствительнее, нежели он сам.

Однако Августины не сдавались. Они снова достигли известного достатка. Снова как булочники и снова с разрешением варить и продавать пиво. Уже триста лет они были булочниками. Невзирая на чуму, пожары и войны. Но тут, в 1847 году, произошел великий и решающий перелом: булочник Иоганн Карл Фридрих Августин занялся извозным промыслом! И с этой исторической даты предки моей матери занимаются лошадьми. Не их вина, что лошади, эти благороднейшие животные, обречены на вымирание, а с лошадьми — извозный промысел и барышничество.

Третьего ребенка Иоганна Фридриха Августина при крещении нарекли Карлом Фридрихом Луисом. Позднее в Клейнпельзене возле Дёбельна он стал кузнецом и барышником. Барышниками стали и все семь его сыновей. Двое сделали даже миллионерами. На торговле лошадьми больше можно нажить, чем на хлебе да булочках, даже если те почему-то получаются недомерками. К тому же лошадей, пусть даже их покупаешь, продаешь и наживаешься на них, можно любить. А с булочками это значительно тяжелей. Наконец-то Августины нашли свое истинное призвание!

Кузнец из Клейнпельзена стал моим дедушкой. Его барышники-сыновья — моими дядьями. А его дочь Ида Амалия — моей матерью. Впрочем, это к делу не относится. Так как моя мать — это особая статья или в данном случае глава.



Глава вторая

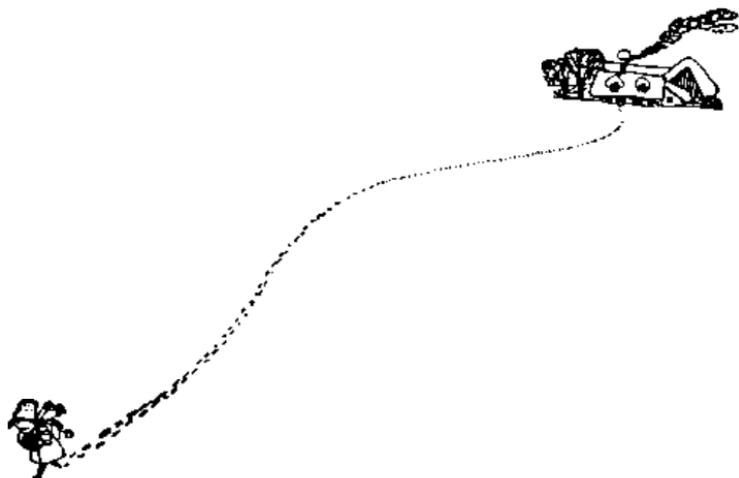
МАЛЕНЬКАЯ ИДА И ЕЕ БРАТЬЯ

Моя матушка появилась на свет 9 апреля 1871 года в деревне Клейнпельзен. И тогда тоже, как частенько в жизни, шла война. Потому-то место ее рождения куда менее знаменито, чем прогремевшее в том же году Вильгельмскойе возле Касселя, где был интернирован французский император Наполеон III, или Версаль возле Парижа, где прусский король Вильгельм был провозглашен германским императором.

Французского императора заключили в немецкий замок, а германского провозгласили императором во французском замке. По существу, куда проще и значительно дешевле было бы поступить наоборот. Но на всемирную историю денег не жалеют! Если б бакалейщик в своей маленькой лавчонке совершил столько глупостей и ошибок, сколько творят государственные мужи и генералы в своих больших странах, он бы через месяц обанкротился. И не только не вошел в золотую книгу истории, а угодил бы в каталажку. Впрочем, это опять-таки к делу не относится.

Маленькая Ида Августин, моя будущая мама, выросла в крестьянском доме. А в деревне к дому много чего прилагается: сарай, палисадничек с анютиными глазками и астрами, орава братьев и сестер, двор с копошащимися курами, старьёй плодовый сад с вишнями и сливами, хлев, много работы и дальний путь в школу. Потому что школа находилась в соседней деревне. И не больно-то многому можно было научиться в этой школе. Был там один-единственный учитель и имелось всего два класса. В одном сидели дети с шестилетнего до девятилетнего возраста, а в другом — с десятилетнего до конфирмации. Учили только чтению, письму и счету, и дети посмышленнее умирали со скуки. Четыре года просидеть в одном классе, да это сбеситься можно!

Тогда зимы были холоднее, чем теперь, а лета — жарче. Отчего это так было, не знаю. Есть люди, которые утверждают, будто знают. Но я лично подозреваю, что они просто бахвалятся.



Зимой, случалось, снегу навалит столько, что дверь из дому не откроешь! И дети, если хотели попасть в школу (или дед считал, что они обязаны хотеть), вылезали в окошко. Если же дверь, несмотря на снег, все же удавалось открыть, приходилось сперва еще лопатами прокопать туннель, по которому дети чуть ли не ползком выбирались на волю! Хотя это было очень весело, но веселье длилось недолго. Потому что над полями завывал ледяной ветер. На каждом шагу ребятки по пояс проваливались в снег. Руки, ноги, уши до того стыли, что на глаза наворачивались слезы. А когда, промокшие до нитки и вконец промерзшие, они с опозданием приходили в школу, ничего занимательного и стоящего там нельзя было узнать!

Все это не отпугнуло маленькую Иду. Она вылезала из окна. Она ползла на карачках по снежному туннелю. Она мерзла и потихоньку плакала по дороге в школу. Ей это было ни о чем, ибо она жаждала и алкала знаний. Она стремилась узнать все, что знал сам старый учитель. И хоть знал он не так-то много, но все-таки побольше маленькой Иды!

Ее старшие братья, особенно Франц, Роберт и Пауль, совсем по-другому относились к школе и к занятиям. Они считали сидение в классе пустой тратой времени. Те «азы» чтения и письма, которые могли им пригодиться в будущем, они усвоили очень быстро. А счет? Я склонен думать, что эти трое мальчишек умели считать еще в колыбели, прежде чем

научились выговаривать «мама» и «папа». Умение считать было у них врожденным. Все равно что дыхание, слух, зрение.

Поэтому школа, правда, давала им повод уйти из дому, но попадали они частенько отнюдь не в школу. Где же сорванцы околачивались и что вытворяли? Может, играли в мяч на какой-нибудь укромной лужайке? Или разбивали оконные стекла? Или дразнили рвущегося с цепи злого пса? Конечно, и такое случалось. Но главным образом, вместо того чтобы сидеть в сельской школе, они занимались одним: торговали кроликами!

Разумеется, они и тогда предпочли бы торговать лошадьми. Но лошади — животные привередливые и чересчур велики, их не упрячешь в деревянный ящик. Кроме того, кролики, как известно, и плодятся, «как кролики». То и дело производят на свет потомство. Достаточно разжиться пучком моркови, репы, кочанчиком-другим салата, чтобы милые зверьки были сыты и приносили отличный приплод.

Так вот, трое братцев разживались нужным кормом. Подозреваю, что им не приходилось даже за него платить. А кто дешево покупает, может дешево продавать. Дело процветало. Братья Августины долго и бесперебойно поставляли всему Клейнпельзену с округой кроликов, пока слух о знаменитой фирме не достиг дедушкиных ушей. Он вовсе не так уж гордился коммерческим размахом сыновей, как можно было бы предположить. И поскольку, призванные к ответу, они упорно молчали и продолжали молчать, хотя дедушка лупил их, пока у самого руки не заньбли, он взялся за маленькую Иду. И та рассказала ему, что знала. А знала она не так уж мало.

Роберту, Францу и Паулю это отнюдь не понравилось. Поэтому, не откладывая в долгий ящик, они втихомолку побеседовали с сестрицей, и после этой беседы Ида надолго разукрасилась синими пятнами, которые сперва позеленели, потом пожелтели и только тогда уж исчезли окончательно.

По существу, беседа, если не считать синяков, закончилась безрезультатно. Почти как международная конференция. Сестра заявила, что отец хотел знать правду, а правду надо говорить при любых обстоятельствах. Этому учат дома и в школе. Однако братья слишком редко бывали дома и в школе, чтобы разделять подобные воззрения. Они утверждали, что Ида просто наябедничала. Она плохой товарищ и никудышная сестра. Постыдилась бы лучше!

Кто тут прав, решить трудно, и спор этот древнее всех Августинов. Он стар, как мир! Допустимо ли из любви к



братьям лгать родителям? Или же надо из любви к родителям чернить братьев?

Если бы дед лучше присматривал за своими сорванцами, ему бы не пришлось допрашивать маленькую Иду. Но он часто отлучался, чтобы купить или продать лошадь. Так в чем же его вина?

Будь трое сорванцов честными, примерными мальчиками, маленькой Иде не пришлось бы ябедничать. Но дух предпринимательства сидел у них в крови. Отец торговал лошадьми. Они, вместо того чтобы ходить в школу, торговали кроликами. Так в чем их вина?

Единственный человек, терзавшийся угрызениями совести, была маленькая Ида! А почему, собственно? Она честно ходила в школу. Усердно помогала дома по хозяйству, присматривала за меньшими братишками и сестренками и, когда ее спросили, сказала правду. Так в чем же тут вина?

Дорогие дети, не пропустите без внимания эти строки! То, о чем здесь идет речь, возможно, менее интересно, чем франко-германская война 1870—1871 годов или недозволенная торговля кроликами, но не в пример важнее того и другого, вместе взятых! Поэтому я повторяю все три пункта снова.

Первое: отец, стараясь заработать достаточно денег на содержание семьи, уделяет ей слишком мало времени, уличает и порет трех из своих двенадцати детей, после чего считает, что все снова в полном порядке. Второе: трое мальчишек пропускают занятия в школе, отец порет их, они колотят сестренку, после чего считают, что все снова в порядке. И третье: маленькая, на редкость честная девочка любит родителей и братьев, должна сказать правду и говорит ее. После чего все приходит для нее в полнейший беспорядок!

Так случилось, и это очень дурно. Моя мать всю жизнь — а она дожила до восьмидесяти лет — страдала от того, что она, тогдашняя маленькая Ида, сказала правду! Не совершила ли она предательства? Не следовало ли ей солгать? Сколько вопросов! И никакого вразумительного ответа.

Много-много лет спустя, когда юный кроликовод Франц уже давно превратился в барышника-богатея Августина, с виллой, автомобилем и шофером, оказалось, что он отнюдь ничего не забыл. Так же не забыл, как и моя мать. Даже если мы и навещали их на рождество и мирно сидели под елкой, попивая глинтвейн и закусывая дрезденской рождественской коврижкой с изюмом... Впрочем, это к делу пока не относится.

Жизнь в Клейнпельзене шла своим чередом. Скончалась мать моей матери. В доме появилась мачеха, родила кузнецу и барышнику Карлу Фридриху Луису Августину троих детей и привязалась к детям от первого брака не менее горячо, чем к своим собственным. Это была добрая и благородная женщина. Я еще застал ее в живых. Когда я был маленьким, дочь ее Альма, сводная сестра моей матери, держала в Дёбельне на Банхофштрассе табачную лавку.

Как бы часто ни звякал колокольчик на двери лавки, пожилая седовласая женщина поднималась с кресла и, по-молодому прямая, шла в лавку обслуживать покупателей. Флотского табаку крупной резки. Пачку десятипфенниговых сигарет. Плитку жевательного. Десяток сигарет и еще одну, чтобы закурить тут же. Вся лавка была пропитана удивительным ароматом. И пожилая женщина, рядом с которой я стоял



за прилавком, была настоящей дамой. С таким достоинством могла бы держаться императрица Мария-Терезия, торгуй она в Дёбельне табаком! Впрочем, это к делу не относится.

Мы пока что все еще в Клейнпельзене! Старшие сестры и братья маленькой Иды, которая тем временем тоже подросла, расстались со школой. И с родительским домом. Лина и Эмма пошли, как это тогда называлось, «в люди». Стали служанками. И служанками очень сноровистыми, потому что дома их основательно приучили к труду.

А братья? Разоблаченный тайный союз торговцев кроликами? Чему обучились братья? Торговле лошадьми? Для этого требовались две вещи: так называемое чутье лошадирика и так называемый капитал. Ну, что касается чутья лошадириков, то оно у них имелось в избытке! Они выросли на конюшне, как другие дети вырастают в детском саду или в церковном хоре. Но денег, которые требовались, у их отца, моего деда, не было. Покупка или продажа хотя бы одной лошади представляли для него и для всей семьи целое событие. А когда лошадь в его конюшне заболела мытом или погибала от колик, это уже была катастрофа.

Если б дедушке тогда сказали, что его сыновья Роберт и Франц когда-нибудь будут покупать на крупнейших европейских конских ярмарках в Гольштейне, Дании, Голландии, Бельгии по сотне, какое там — по две сотни лошадей!.. Что целые товарные составы, нагруженные топчущими лошадьми, покатаются в Дрезден и Дёбельн в адрес конюшен известнейших фирм Августинов!.. Что ремонтеры кавалерийских полков и генеральные директора пивоваренных заводов чуть не дойдут до драки, когда Роберт в Дёбельне и Франц в Дрездене будут выводить на круг свежих лошадей!

Если б дедушке тогда это сказали, он, несмотря на начинающуюся астму, громко бы расхохотался. Он не поверил бы ни слову. Он, правда, не поверил бы и тому, что эти самые достижения благосостояния сыновья, когда сам он обеднеет и будет смертельно болен, о нем и не вспомнят. Впрочем, это к делу не относится. Пока что нет.

Дедушка отдал их в учение к мяснику, что их устраивало. Деды и прадеды триста лет оставались булочниками. Внуки стали мясниками. Почему бы и нет? Быки и свиньи хоть не лошади, но все же четвероногие. И если не один год забивать свиней, овец, быков и делать из них котлеты и ливерную колбасу, может, в один прекрасный день все же удастся купить себе лошадь! Настоящую, большую, живую лошадь, а заодно овес и солому!

А если дешево купил первую лошадь, хорошо ее кормил, чистил скребницей, холил и выгодно перепродал, уже легче купить двух лошадей и, походив за ними на совесть, с прибылью перепродать. Удача, сноровка и усердие помогли. Три лошади. Четыре лошади. Пять лошадей. Сперва у чужих людей на конюшне. Потом в глубине заднего двора своя первая собственная конюшня! Собственные стойла, собственные кормушки, собственная сбруя!

И при всем этом еще мясная лавка! В пять часов утра ехать на бойню, в холодильный зал, потом в убойную, готовить свежую колбасу и сосиски, укладывать в бочки с рассолом свинину, потом в белоснежном фартуке и с напояженным пробором в лавку, улыбаться покупательницам и, взвешивая мясо, украдкой надавливать большим пальцем на чашку весов, потом на конюшню к лошадям, с арендатором фабричного буфета в пивную в надежде добыть контракт на поставку, потом по дешевке выторговать партию овса и сбить шестилетку за трехлетку, потом нафаршировать шесть батончиков чесночной колбасы, опять встать за прилавок, к колоде для рубки мяса и по окончании торговли подсчитать выручку, затем на конюшню, опять в трактир, где надо умаслить владельца ломового двора мебельно-транспортной фирмы, и, наконец, в кровать, все еще во сне считая и торгуя лошадьми, а утром в пять часов на бойню и в холодильник. И так далее. Год за годом. Надрываясь от работы. И молодым фрау Августин доставалось не меньше. Лошадей они, правда, не касались, но зато с утра до вечера, улыбаясь, простаивали за прилавком и растили двух, а то и трех детей. Но вот в один прекрасный день мясная лавка либо продавалась, либо сдавалась в аренду. И тут торговля лошадьми разворачивалась полным ходом.



Таким путем трое братьев матушки добились своего. Трое торговцев кроликами! Роберт, Франц и Пауль тоже. Только Пауль специализировался на упряжных и верховых лошадях и, сам правя, важный, будто граф какой, разъезжал по дрезденским улицам в кабриолете. Роберт и Франц, крепьши с железной хваткой, достигли еще большего.

Остальные братья—Бруно, Райнхольд, Арно и Хуго—пытались было идти по их стопам. Они тоже стали мясниками и довели дело до двух-трех лошадей. Но потом их покидала удача. Или покидали силы. Или покидало мужество. Они своего не добились.

Райнхольд умер молодым. Арно стал трактирщиком. Бруно помогал своему брату Францу, он был у него за управляющего. Лошадь раздробила ему подбородок, другая перешибла ногу. И вот он ковьялял по конюшне, безропотно сносил рывканье своего брата и хозяина и, в свою очередь, рывкал на конюхов. А любимый мой дядя Хуго, после многих неудачных вылазок в страну лошадей, как был, так и остался на всю жизнь мясником. И сыновья его мясники. И дочери вышли замуж за мясников. И внуки стали мясниками. Все они любят лошадей. Но лошади вымирают, и потому чутье лошадиников теперь Августинам уже ни к чему. Торговать преемником лошади, автомобилем, у них нет ни малейшей охоты. Автомобили ведь не живые. Они только притворяются.

Мой племянник Манфред еще желторотым юнцом попробовал было нечто новое. Он стал борцом-профессионалом! В конце концов, и борец имеет дело с живыми существами. Пусть не с быками и уж тем более не с лошадьми, но как-никак с живыми тварями. Однако со временем дело это ему разонравилось. Причем он отнюдь не был плохим борцом! Я его неоднократно видел на арене мюнхенского цирка Кроне. Зрителям и особенно зрительницам он очень пришелся по душе. Даже если иной раз, схватив противника за горло или зажав его обеими ногами, вынужден бывал прекращать борьбу.

Конечно, легче перенести через двор из убойной в лавку половину туши телянка, чем положить на обе лопатки весящего полтора центнера «Быка пампасов», особенно если сам едва дотягиваешь до ста килограммов!

Так или иначе, но теперь и Манфред стал дипломированным мясником. И он тоже! Как-нибудь, когда у меня появится

много свободного времени, я подсчитаю, сколько же всего у нас в семье мясников. Да их десятки! Кузнецов, барышников, мясников хоть отбавляй, и лишь один-единственный из всех стал писателем — маленький Эрих, единственный ребенок маленькой Иды...

И когда мы встречаемся и сидим все вместе, они всякий раз наново бывают немного удивлены. И я тоже немножко удивляюсь. Не столько им, сколько себе. Потому что если я больше понимаю в сервелатах и телячьих филе, чем большинство простых смертных, и даже обладаю известным чутьем лошадника, все же я всегда кажусь себе каким-то пасынком среди Августинов.

С другой стороны, ведь и писание книг вроде бы тоже связано с живыми существами. И даже с тем, что делаешь себе из жизни профессию и перерабатываешь ее в гуляши и свиные рулеты! Впрочем, это, дорогой читатель, уж действительно вовсе к делу не относится!



Глава третья

МОИ БУДУЩИЕ РОДИТЕЛИ НАКОНЕЦ ЗНАКОМЯТСЯ

Когда маленькая Ида превратилась в хорошенькую шестнадцатилетнюю девушку, она тоже стала «жить в людях». Ее младшие сестры Марта и Альма настолько подросли, что могли помогать матери. Дом по сравнению с прежними временами, казалось, совсем опустел. Ида оставила родителей и всего-навсего пятерых братьев и сестер. А новых крестин не справляли. Она устроилась горничной. В поместье близ Лейснига. Прислуживала за столом. Гладила тонкое белье. Перетирала посуду на кухне. Вышивала монограммы на скатертях и салфетках. Работа ей нравилась. И она нравилась господам. Пока однажды вечером чересчур не понравилась помещику, блестящему кавалерийскому офицеру! Он пристал к ней с нежностями, и она, вне себя от страха, бросилась вон из дому. Бежала в потемках через страшный лес и по сжатым полям. И только далеко за полночь, вся в слезах, прибежала к родителям. На следующий же день дедушка отправился на подводе за сундучком дочери. Молодцеватый офицер, на свое счастье, не показывался.

Немного погодя Ида нашла себе новое место. На этот раз в Дёбельне. У старой парализованной дамы. Она поступила к ней чтицей, компаньонкой и сиделкой. Кавалерийских офицеров, которым она могла бы чересчур понравиться, здесь поблизости не было.

Зато поблизости оказались старшие сестры—Лина и Эмма! Они тем временем вышли замуж и жили в Дёбельне. Обе в одном и том же доме: на Нижней мельнице. Это была самая настоящая мельница с большим водяным колесом и деревянными запрудами. Крестьяне привозили мельнику пшеницу и рожь, а увозили белую муку в мешках и продавали местным булочникам и бакалейщикам.

Тетя Лина вышла замуж за двоюродного брата, который извозничал, а потому и после замужества по-прежнему носила ту же фамилию—Августин. Тетя Эмма, жившая этажом выше, именовалась теперь Эмма Ханс. Ее муж торговал фруктами. Он арендовал бесконечные аллеи слив



и вишен, соединявшие между собой окрестные деревни. И, когда деревья сгибались под тяжестью спелых вишен и слив, нанимал множество поденщиков и поденщиц на сбор урожая. Фрукты поступали в больших плетеных корзинах и продавались на дёбельнском рынке в базарные дни.

В одни годы урожай выдавался хороший. В другие — плохой. Засуха, дожди и град были дядюшкиными злейшими врагами. Частенько вся выручка не покрывала даже стоимости аренды. Тогда дяде Хансу приходилось занимать деньги, и часть этих денег он с горя пропивал в трактирах.

В такие дни тетя Эмма спускалась вниз к тете Лине плакаться на судьбу. А поскольку извозный промысел тоже не слишком процветал, и тетя Лина плакалась на свое горе. Так что они плакались в унисон. А ползавшим по комнате малышам только того и надо было. Они тут же принимались хором реветь. И если сестрица Ида, моя будущая мама, оказывалась у них в гостях и слышала печальный концерт, то поневоле задумывалась. И продолжала думать на обратном

пути к дому парализованной старой дамы, которой обязана была допоздна читать вслух глупейшие романы. Иной раз Ида от усталости засыпала над книжкой и просыпалась до смерти напуганная, только когда старая дама злобно стучала по полу клюкой и бранила позабывшую свои обязанности особу!

Что лучше избрать красивой, но бедной девушке? Бежать от офицеров? Читать вслух парализованным дамам глупейшие романы, засыпая над книжкой? Или выйти замуж и сменить старые горести на новые? Град ведь выпадает всюду. Не только там, где вдоль проселков тянутся шпалеры вишен.

В наши дни молодая трудолюбивая девушка, если у нее нет денег для получения высшего образования, становится секретаршей, администратором в гостинице или универмаге, медицинской сестрой, агентом по продаже холодильников или приданого для новорожденных, переводчицей, банковской служащей, манекенщицей, натурщицей, может даже по прошествии многих лет стать заведующей отделением в обувном магазине или уполномоченной какого-нибудь филиала коммерческого банка, но всего этого тогда еще не было и в помине. А тем более в маленьком провинциальном городке. Ныне, читал я в газете, насчитывают сто восемьдесят пять женских профессий. А тогда либо девушка оставалась стареющей горничной, либо выходила замуж. Чем стирать, шить, стряпать в чужом доме и на чужих людей, не лучше ли делать то же самое в собственной квартире и для собственного мужа?

Сестры на Нижней мельнице долго о том судили и рядили. И в конце концов пришли к заключению, что свои заботы все же чуточку легче чужих забот. После чего, несмотря на свои горести и печали, несмотря на домашние хлопоты и детский плач, стали в свободное время подыскивать сестрице Иде жениха!

И так как искали они вдвоем и весьма энергично, то вскоре нашли претендента, который показался им подходящим. Ему было двадцать четыре года, работал он у дёбельнского седельника, жил поблизости, снимая комнату от жильцов, был старательным и трудолюбивым, пил, но знал меру, мечтал открыть собственное дело, для чего берег каждый грош, был родом из Пеннга на Мульде и присматривал себе мастерскую, лавку и молодую жену; звали его Эмиль Кестнер.



Тетя Лина стала приглашать его по воскресеньям на Нижнюю мельницу выпить чашечку кофе с домашним пирогом. Так он познакомился с сестрицей Идой, и она ему чрезвычайно понравилась. Раза два или три он водил ее на танцы. Но он был плохим танцором, и они эту затею скоро оставили, что нисколько его не огорчило. Он ведь искал не танцовщицу, а работающую жену для семейной жизни и для будущей лавки! А для этой цели двадцатилетняя Ида Августин казалась ему как нельзя более подходящей.

Для Иды дело обстояло не так просто.

«Я же его совсем не люблю!» — твердила она старшим сестрам.

Но Лина и Эмма ни в грош не ставили любовь, какую описывают в романах. Да и что может понимать молоденькая девушка в любви! Любовь приходит с замужеством. А если нет, тоже не беда, потому что замужество — это прежде всего работа, экономия, стирания и дети. Любовь не важнее воскресной шляпки. А без лишней шляпки на воскресенье можно прекрасно прожить!

Итак, 31 июля 1892 года Ида Августин и Эмиль Кестнер венчались в протестантской церкви деревни Бертевид. Свадьбу играли в доме моего деда в Клейнпельзене. Присутствовали родители, сестры и братья невесты и родители и родня жениха. Пировали вовсю. Отец невесты не поскупился. Он поставил жаркое из свинины с клецками, вино, домашние пироги с корицей и с творогом и настоящий кофе! В честь молодых произносились бесчисленные тосты. Им желали счастья, много денег и здоровых детей. Все чокались

и были растроганы. Как и водится на таких семейных торжествах.

...Подумать только, от каких случайностей зависит, будешь ли ты когда-нибудь лежать в колыбели, орать во всю глотку и представлять собой «себя».

Если б молодой седельник из Пенига перебрался не в Дёбельн, а, скажем, в Лейпциг или Хемниц или если б горничная Ида вышла не за него, а, к примеру, за какого-нибудь жестянщика Шанце или бухгалтера Питша, никогда бы я не появился на белый свет! Такого вот Эриха Кестнера, который сейчас сидит за своим письменным столом и рассказывает вам о своем детстве, просто бы не существовало! Вообще не существовало!

И, если разобраться, мне бы это было очень даже жаль. С другой стороны, если бы меня не существовало, я никак не мог бы сожалеть о том, что меня нет на свете! Но я существую и, в общем и целом, весьма этому рад.

Жизнь приносит нам немало радостей. Правда, и достаточно огорчений. Ну, а если б совсем не жить, что бы у нас было тогда? Никаких радостей. И даже никаких огорчений. Ничего! Ровным счетом ничего! Тогда уж, по мне, пусть лучше будут огорчения.

Молодая чета открыла на Риттерштрассе в Дёбельне седельную мастерскую. Ида Кестнер, урожденная Августин, когда звенел колокольчик, выходила в лавку и продавала кошельки, бумажники, школьные ранцы, портфели и собачьи поводки. Эмиль Кестнер сидел в мастерской и работал. Больше всего любил он делать седла, уздечки, хомуты, дорожные сумки, сапоги для верховой езды, плетки и вообще всякие изделия из кожи, необходимые верховым, упряжным и рабочим лошадям.

Мастером он был превосходным. Артистом своего дела! К тому же девятые годы прошлого столетия благоприятствовали начинаниям молодого седельника. Это была эпоха промышленного подъема, и многие богачи имели собственные выезды или держали верховых лошадей. Пивоварни, фабрики, строительные фирмы, конторы по перевозке мебели, крестьяне, торговцы-оптовики и помещики — все нуждались в лошадях, а лошади нуждались в шорных изделиях. В окрестных городках гарнизоном стояли кавалерийские полки — в Борне, в Гримме, в Ошаце. Гусары, уланы, конная артиллерия и егерская конница! Все верхами! А лейтенанты, а коман-

диры эскадронов, сплошь фанфароны, на собственных скакунах с особо изысканной седельной сбруей. И повсюду бега, скачки, конские выставки. В наши дни — засилье грузовиков, спортивных автомобилей, танков, а тогда были одни лошади, лошади и лошади!

Мой будущий отец, хоть и первоклассный мастер, артист во всем, что касалось кожи, был плохим дельцом. А ведь одно тесно связано с другим. Школьный ранец, который он стачал мне в 1906 году, в 1913-м, когда я пошел на конфирмацию, оставался все таким же новеньким, как в мой первый школьный день. Его потом подарили какому-то малышу из нашей родни, и ранец затем так и передавался дальше по наследству, когда очередной его владелец покидал школу. Не знаю, где и у кого теперь мой добрый старый коричневый ранец. Но вполне допускаю, что он и сейчас еще отправляется в школу на спине какого-нибудь маленького Кестнера или Августина! Впрочем, это к делу не относится. Мы пока дошли только до 1892 года. (И должны еще семь лет ждать, пока я появлюсь на свет!)

Во всяком случае, тот, кто тачает не знающие износу ранцы, хоть и достоин величайшей похвалы, но работает в убыток себе и своим братьям по ремеслу. Если ребенку требуется три ранца, сбывается больше товара, чем когда трем ребятам требуется всего один ранец. В первом случае трем детям потребовалось бы девять ранцев, во втором — один-единственный. Это все же некоторая разница.

Итак, седельник Кестнер изготавливал несокрушимые ранцы, нервущиеся портфели и вечные мужские и дамские седла. Естественно, его изделия стоили дороже, чем у других. Он употреблял самую лучшую кожу, самый лучший войлок, самую лучшую дратву и все свое умение. Покупателям его изделия нравились несравненно больше его цен, и многие уходили из лавки, так ничего и не купив.

Однажды ротмистр, гусарского полка будто бы все же решил приобрести особенно красивое седло, несмотря на его дороговизну. И вдруг отец уперся, отказался отдать седло. Уж очень оно ему самому нравилось! А ведь он не умел ездить верхом и лошади у него не было — просто с ним случилось то же, что с художником, которому представилась возможность продать лучшую свою картину, а он предпочитает голодать, лишь бы не отдать ее постороннему за деньги! Ремесленники и художники, видимо, в чем-то друг друг сродни.

Историю с ротмистром рассказала мне матушка. А отец, когда я прошлым летом его об этом спросил, утверждал, что тут нет ни слова правды. Тем не менее я готов биться об заклад, что история правдива.

Во всяком случае, правда то, что отец был чересчур хорошим седельником и плохим коммерсантом и потому не мог преуспеть. Торговля шла неважно. Оборот оставался низким. Издержки высокими. Из маленьких долгов выросли большие. Матушка забрала все свои деньги из сберегательной кассы. Но и этих денег хватило ненадолго.

В 1895 году двадцативосьмилетний седельник Эмиль Кестнер с убытком продал свою лавку и мастерскую, и молодая чета стала раздумывать, что же предпринять. А тут пришло письмо из Дрездена. От родственника отца. Все звали его дядюшкой Риделем. Когда-то он был плотником и долго работал на стройке, пока ему не пришла в голову удачная мысль. Он, правда, не изобрел талей, но зато надумал применять тали на строительстве домов. Если хотите, дядюшка Ридель предвосхитил массовое применение талей. Он напрокат поставлял тали и прочие механизмы строительным фирмам и подрядчикам и нажил на этом кое-какое состояние.

Что такое тали, пусть лучше объяснит вам ваш отец или учитель. На худой конец, и я бы смог, но мне потребуется уйма бумаги и времени на размышления. А суть заключалась в том, что каменщики и плотники, вместо того чтобы таскать на собственном горбу по лесам каждый кирпич и балку, могли теперь поднимать их на стройку посредством системы блоков и троса на нужный этаж и там сгружать.

Таким путем дядюшка Ридель зарабатывал немалые деньги и впоследствии не раз дарил мне к рождеству или на день рождения десяти- а то и двадцатимарковый золотой! Да, да, дядюшка Ридель с его таями был славным и достойным стариком! И тетушка Ридель тоже. То есть тетушка Ридель была, конечно, не слав-



ным стариком, а славной старушкой. У них в гостиной на камине стоял большой фарфоровый пудель. И еще у них было кресло-качалка.

Итак, дядюшка Ридель написал своему племяннику Эмилю: пусть, мол, переезжает в Дрезден, столицу Саксонии. С собственным делом и широкими планами, как видно, придется надолго распрощаться. Но для умелого седельника открываются другие возможности. Так, например, отжили свой век большие вышитые дорожные саки и бесформенные плетеные корзины. Будущее — возможно, также будущее умелого племянника — принадлежит кожаным чемоданам. В Дрездене уже открылось несколько чемоданных фабрик!

И вот мои будущие родители со всем своим скарбом переехали в королевскую резиденцию и столицу Саксонии Дрезден. В город, где мне суждено было родиться. Но с этим я еще четыре года повременил.



Глава четвертая

ЧЕМОДАНЫ, НАБРЮШНИКИ И БЕЛОКУРЫЕ ЛОКОНЫ

Дрезден был изумительным городом, сокровищницей искусства и истории и тем не менее отнюдь не музеем, случайно заселенным шестью с половиной сотнями тысяч дрезденцев. Прошлое и настоящее уживались рядом созвучно. Собственно, даже составляли дуэт. А вместе с ландшафтом, с Эльбой, мостами, береговыми откосами, лесами и цепью гор на горизонте получался даже терцет. История, искусство и красота самой природы осеняли город и долину от Мейсенского собора до Гроссзедлицкого дворцового парка, слитые в единый, будто завороченный собственной гармонией аккорд.

Когда я был маленьким и отец однажды светлым летним вечером повел меня гулять к Вальдшлоссен, потому что там играл обожаемый мною кукольный театр с петрушкой, он вдруг остановился.

— Здесь, — сказал он, — раньше стоял трактир. Странное у него было название: «В тиши музыки».

Я взглянул на отца с удивлением. «В тиши музыки»? И в самом деле странное название! Оно звучало так удивительно и так чарующе безмятежно, что я его навсегда запомнил. Тогда же я подумал: «Либо в трактире играет музыка, либо там тишина. Но тишина музыки — такого ведь не бывает».

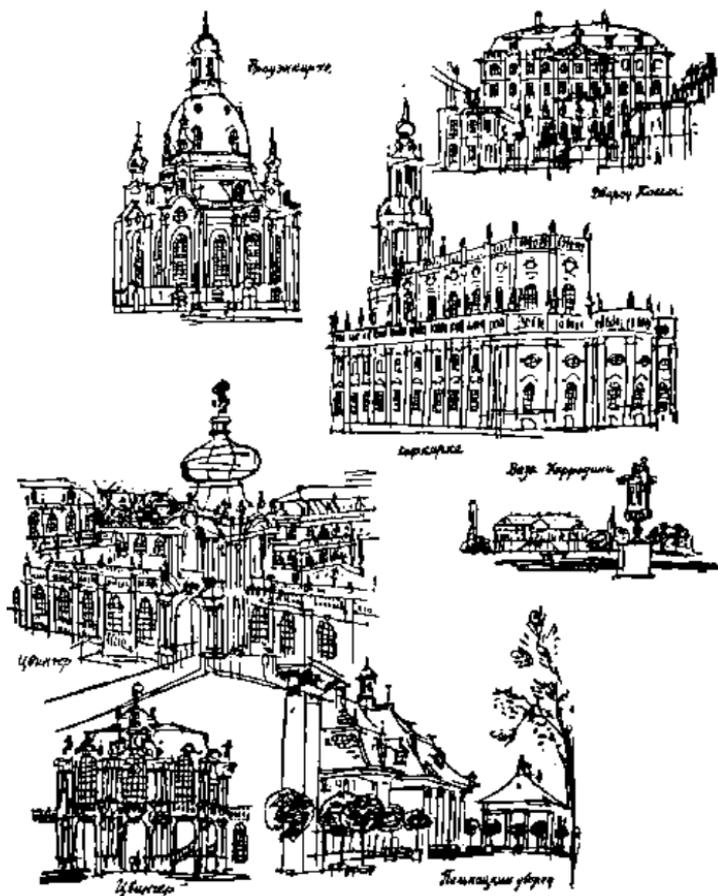
Однако когда мне впоследствии случилось останавливаться на том же месте и глядеть на раскинувшийся внизу город, в сторону Вилиша и в сторону Бабиснауэр Паппель и вверх по Эльбе к замку Кенигштайн, я от года к году все больше понимал этого трактирщика, хоть он давно уже умер да и харчевня его давно исчезла. Один философ — это я знал и тогда — назвал архитектуру, соборы и дворцы «застывшей музыкой». Этот саксонский философ был, по существу, поэт. Ну, а трактирщик, любясь на серебряную реку и золотой Дрезден, назвал свой трактир «В тиши музыки». Что ж, и мой саксонский трактирщик тоже, видно, был, по существу, поэтом.

Если я действительно обладаю даром распознавать не только дурное и безобразное, но также и прекрасное, то потому лишь, что мне выпало счастье вырасти в Дрездене. Не из книг узнавал я, что такое красота. Не в школе и не в университете. Мне дано было дышать красотой, как детям лесника — напоенным сосной воздухом.

Католическая Хофкирхе, Фрауэнкирхе работы Георга Бера, Цвингер, Пильницкий ансамбль, Японский дворец, Еврейское подворье и дом Динглингера, Рампишентрассе с ее барочными фасадами, ренессансный эркер на Шлосситрассе, дворец Коссель, дворец в Гроссер-Гартен с маленькими кавалерскими павильонами и, наконец, с Лохвицких высот общий вид на силуэт города с его изящно-благородными башнями — но какой смысл отбарабанивать всю эту красоту, будто таблицу умножения!

Словами даже стула не опищешь так, чтобы столяр Кунце мог воспроизвести его в своей мастерской! Что же говорить тогда о замке Морицбург с четырьмя круглыми башнями, отражающимися в водной глади! Или о вазе итальянца Коррадини у дворцового пруда, почти напротив кафе Поллендера! Или о коронных воротах в Цвингере! Нет, я уже предвижу, мне придется просить художника-иллюстратора изготовить для этой главы побольше рисунков. Чтобы вы, глядя на них, хоть немножко представили себе и почувствовали, насколько прекрасен был мой родной город!

Может быть, я даже попрошу художника, если у него хватит времени, нарисовать один из кавалерских павильонов, стоявших по обе стороны дворца в Гроссер-Гартен! «Много бы ты дал, — думал я в юности, — чтобы жить в одном из этих павильонов! Кто знает, может, ты когда-нибудь станешь знаменитым, и тогда к тебе явится бургомистр с золотой цепью на шее и презентует тебе его от имени города». И тогда я бы въехал туда со своей библиотекой. Утром я ходил бы завтракать в Дворцовое кафе и кормил лебедей. Потом шел бы прогуляться по старым аллеям, цветущей рододендроновой роце и вокруг озера Каролы. В полдень кавалер жарил бы себе глазунью из двух яиц, а вслед за тем мог бы часок соснуть с открытым окном. Позднее — это же оттуда в двух шагах — отправился бы в зоологический сад. Или на большую цветочную выставку. Или еще в Музей гигиены. Или на бега в Рейк. А ночью, тоже с открытым окном, чудесно спал бы. Единственная живая душа в большом старинном парке.

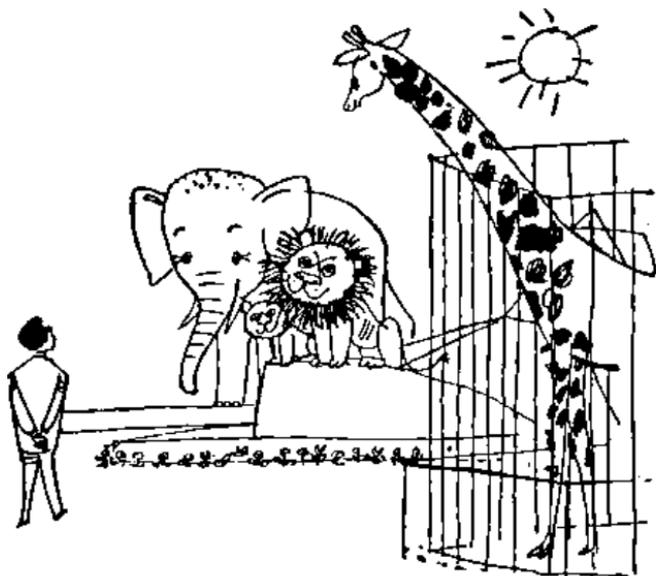


И снились бы мне Август Сильный¹, Аврора фон Кенигсмарк и столь же красивая, сколь несчастная графиня Коссель².

Когда бы я тогда работал, хотите вы знать? Нельзя быть такими любопытными! За меня работу справляли бы гномы! Потомки придворных карликов королей польских и курфюрстов саксонских! Крохотные и очень трудолюбивые созданы-

¹ Август Сильный—курфюрет Саксонский (1694—1733); разорил страну войнами и расходами на содержание блестящего двора.

² Аврора фон Кенигсмарк и графиня Коссель—фаворитки Августа Сильного. Графиня Коссель была заточена им в крепость на долгие годы.



ища! Следуя кратким моим указаниям, они бы за меня писали на малюсеньких пишущих машинках стихи и романы, а я тем временем, оседлав своего любимого серого в яблоках коня Альмансора, скакал бы по широким темно-коричневым дорожкам для верховой езды. До «Пикардии». Там бы мы с Альмансором выпивали кофе и съедали по куску пирога с корицей. Однако придворные карлики, пишущие стихи, и кони, лакомящиеся пирожным, никак к делу не относятся, и здесь им не место.

Да, Дрезден был изумительным городом. Можете мне поверить. И должны будете мне поверить! Никто из вас, каким бы богатым ни был ваш отец, не в состоянии поехать туда по железной дороге и посмотреть, прав ли я. Ибо города Дрездена более не существует. Он, за малым исключением, исчез с лица земли. Его стерла вторая мировая война за одну ночь и одним мановением руки. Сотнями лет создавалась его ни с чем не сравнимая красота. Всего несколько часов потребовалось, чтобы обратить все в прах. Это произошло 13 февраля 1945 года¹. Восемьсот самолетов сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы. И осталась пустыня. С полдюжиной

¹ В эту ночь Дрезден был разрушен англо-американской авиацией.



торчащих в небе огромных остовов, похожих на опрокинутые кверху килем океанские лайнеры.

Два года спустя я стоял среди этой необозримой пустыни и не понимал, где я. Между кирпичной крошкой и обломками валялась табличка с названием улицы. «Прагерштрассе», — с трудом разобрал я. Значит, я на Прагерштрассе? На всемирно известной Прагерштрассе? На роскошнейшей улице моего детства? На улице с самыми красочными витринами? Самой притягательной для детворы улице перед рождеством? Я стоял среди тянувшейся на километры в длину и ширину пустоты. В степи битого кирпича. В изначальном Ничто.

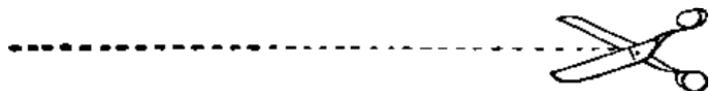
И по сей день спорят, погребены ли под этим Ничто пятьдесят, сто или двести тысяч мертвецов. Открещиваются, перелагают вину друг на друга. Беспольный спор! Этим Дрездена не воскресить. Ни красоты его, ни мертвых! В будущем карайте правительства, а не народы! И карайте не задним числом, а немедленно! Это проще сказать, чем сделать? Нет. Проще это сделать.

Итак, в 1895 году мои родители со всем скарбом перебрались в Дрезден. Эмиль Кестнер, которому очень хотелось остаться независимым ремесленником, стал фаб-

ричным рабочим. Век машин прошелся танком по ремеслу и независимости. Обувные фабрики победили башмачников, мебельные фабрики — столяров, текстильные фабрики — ткачей, фарфоровые фабрики — гончаров и фабрики чемоданов — седельников. Машины работали быстрее и дешевле. Появились уже хлебозаводы и колбасные фабрики, шляпные фабрики, мармеладные фабрики, бумажные фабрики, укусные фабрики, пуговичные фабрики, фабрики маринованных огурчиков и фабрики искусственных цветов. Ремесленники вели упорные арьергардные бои и теперь все еще отбиваются. Достойная восхищения, но безнадежная борьба.

В Америке вопрос давно решен. Там к мужскому портному, который обстоятельно снимет мерку и заставит вас прийти два-три раза, обращаются разве что миллионеры. Остальные представители мужского пола входят в магазин готового платья, снимают старый костюм, надевают новый с иголочки, платят деньги в кассу и спустя минуту уже на улице. Костюмы пекутся, как блины. Но как блины, которые пекутся не по-кустарному, а на блинной фабрике.

Прогресс имеет свои преимущества. Сберегаешь время, сберегаешь деньги. Но я лично предпочитаю обращаться к портному. Он знает, что мне нравится, я знаю, что ему нравится, а господин Шмиц, его закройщик, знает, что нравится нам обоим. Это хлопотно, дорого и старомодно. Но нам, троем мужчинам, по душе. И во время примерок мы много хохочем. Я был там только позавчера. Шью себе светло-синий летний костюм, легкий, как пушинка, материал называется «фреска», свободный пиджак, двубортный, всего пара пуговиц и одна внутренняя, чтобы не обвисал, ширина брюк внизу сорок четыре сантиметра... Бог ты мой, чуть не забыл, да мне же на примерку! А я вместо того сижу за пишущей машинкой! Когда мне давно пора к портному!



Уф! Вот я и вернулся. Костюм получится отличный. Мы все трое очень довольны. Так на чем же я остановился? Да, на моем будущем отце. На несбывшейся мечте Эриха Кестнера. Старая поговорка «Ремесло — золотое дно» больше не соответствовала действительности. Собственной мастерской рядом с жильем не существовало больше. Годы учения и голода,

годы голода и странствий, три года самостоятельной работы и лишений пошли насмарку. Мечта разлетелась в прах. Деньги пропали. Надо было платить по долгам. Машины победили.

В шесть утра трещал будильник. Бегом по мосту Альберта, бегом через весь Дрезден до Тринитатиштрассе. Чтобы добраться до чемоданной фабрики Липольда, молодому человеку требовалось полчаса. Здесь он с другими бывшими ремесленниками заготавливал кожаные части, которые затем стачивались или склепывались в чемоданы, похожие один на другой как две капли воды. А вечером, усталый, возвращался домой к жене. По субботам он приносил получку. Новое обзаведение, старые долги, денег не хватало.

Пришлось Иде Кестнер, урожденной Августин, тоже подыскивать себе работу. Но работу надомную. Она ненавидела фабрики, для нее они были хуже тюрьмы. Достаточно того, что муж вынужден работать на фабрике. Тут уж ничего не поделаешь. Ему пришлось пойти в рабство к машине. Но она? Ни за что! Даже если придется не разгибая спины работать дома по шестнадцать часов вместо восьми на фабрике, она это предпочтет! И предпочла.

Она стала сделать шитье для одной фирмы набрюшники. Плотные, широкие, похожие на корсеты набрюшники из холста для толстых женщин. Таскала на себе домой тяжелые, громоздкие тюки со скроенными кусками. Допоздна сидела за швейной машинкой с ножным приводом. То привод соскакивал с колеса, то ломались иголки. За жалкие гроши из нее все жилы вытягивали. Но сотня набрюшников как-никак приносила несколько марок. Хоть какая-то помощь. Лучше, чем ничего.

Поздней осенью 1898 года Ида Кестнер перестала брать надомную работу и вместо того стала шить детские распашонки и чепчики. Она всегда мечтала иметь ребенка. И ни минуты не сомневалась, что родится мальчик. И так как она всю жизнь любила настоять на своем, то и на сей раз на своем настояла.

23 февраля 1899 года, около четырех часов утра, на Кенигсбрюкерштрассе, 66, она на седьмом году замужества произвела на свет мальчика, вся головенка которого была в золотисто-белокурых кудряшках. На что акушерка, фрау Шредер, весьма решительная дама, не преминула с одобрением заявить: «Какой красавчик!»

Правда, белокурые локоны продержались недолго. Но у меня и поныне хранится пожелтевшая фотография, относя-

щаяся к первым дням моей жизни; на ней будущий автор известных и любимых читателями книг запечатлен лежащим в коротенькой распашонке на шкуре полярного медведя, и на голове новорожденного в самом деле выются шелковистые белокурые кудряшки! А поскольку фотографии не лгут, снимок может служить бесспорным доказательством. С другой стороны, вы не обращали внимания, что у всех людей на фотографиях, у всех до одного, без исключения, огромнейшие уши? Куда большие, чем в жизни. Уж такие, такие лопухи, что, кажется, они могли бы ими ночью накрываться. Не значит ли это, что фотографии тоже могут при случае прилгнуть?

Так или иначе, блондин ли, брюнет, меня вскоре затем по-протестантски окрестили в прекрасной старой церкви Трех Волхвов на Хауптштрассе и торжественно нарекли Эмилем Эрихом. И в той же церкви, тот же пастор Винтер в вербное воскресенье 1913 года меня конфирмовал. А еще несколько лет спустя я по праздничным утрам работал там младшим преподавателем в воскресной школе.

Впрочем, это к делу не относится.



Глава пятая

КЕНИГСБРЮКЕРШТРАССЕ И Я

Кенигсбрюкерштрассе, являвшаяся продолжением оси Прагерштрассе, Шлосштрассе, моста Августа, Хауптштрассе и площади Альберта, начиналась вполне благопристойно и мирно. По одну ее сторону стоял за палисадником старый трактир «У зеленой ели», по другую — частный пансион «для благородных девиц». Тогда еще существовали «благородные» девицы! То есть девицы высокого происхождения. Их отцы либо были дворянами, либо зашибали кучу денег. Высокородные девицы высоко задирали нос. Но еще выше были гимназии, а еще выше гимназий — высшие школы.

Тогда мало кто отличался скромностью. На парадных дверях богатых домов можно было прочесть: «Только для господ», а на двери черного хода: «Для поставщиков и посыльных». У господ была своя лестница, устланная мягкими ковровыми дорожками. А поставщики и посыльные должны были пользоваться черной лестницей. Иначе швейцар в ливрее бранился и поворачивал их обратно. На дверях барских особняков барственные таблички сурово и непреклонно возвещали: «Нищим и разносчикам вход воспрещен!» Другие таблички обращались к вам более вежливо и замечали: «Просьба вытирать ноги». Я и по сей день не знаю, как это делается. Не стану же я в самом деле разуваться, пусть даже это самая барская-разбарская вилла!

В таких случаях отец обычно говорит: «Есть вещи, которых и нет вовсе».

Что ж, почти все эти дощечки со временем исчезли. Отжили свой век. Так же, как обнаженные богини и нимфы из бронзы и мрамора, сконфуженно и неприкаянно стоявшие на площадках лестниц. Благородные девицы и высокородные господа, правда, есть и сейчас. Только называются они иначе. И об этом на табличках не провозглашают.

В трех домах моего детства не было ни мраморных богинь, ни бронзовых нимф, ни благородных девиц. Чем дальше от Эльбы, тем невзрачнее и беднее становилась Кенигсбрю-

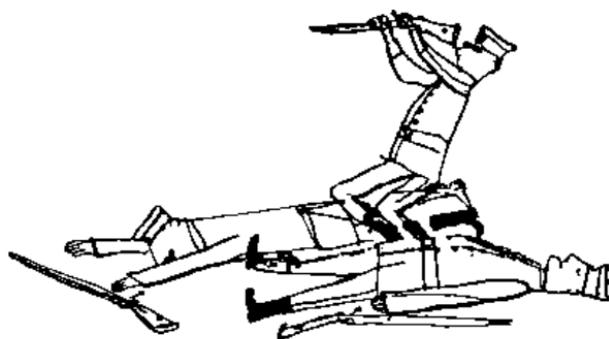
керштрассе. Палисадники встречались все реже, да и то самые крохотные. Дома были выше, по большей части пятиэтажные, а квартирная плата была ниже. Там стоял Народный дом, благотворительное учреждение, с народной столовой, народной библиотекой и площадкой для игр, которую зимой заливали водой, превращая в каток. Затем следовали лавка потребительского общества, булочные, мясные и овощные лавки, мастерская часовщика, обувной магазин и закупочная контора герлицкого потребительского союза.

В этом-то квартале стояли три дома моего детства. Под номерами 66, 48 и 38. Родился я на пятом этаже. В доме № 48 мы жили на четвертом этаже, а в доме № 38 — на третьем. Мы спускались все ниже, по мере того как шли в гору. Приблизились даже к домам с палисадниками, но так до них и не добрались.

Чем ближе к городской окраине, тем больше преображалась наша улица. Она пересекала район казарм. По соседству, на небольших пригорках, располагались казармы стрелков, обе гренадерские казармы, казарма 177-го пехотного полка, казарма конногвардейцев, казарма обозных войск и две казармы артиллеристов. А на самой Кенигсбрюкерштрассе стояли казармы саперов, военная пекарня, военная тюрьма и арсенал, складу боеприпасов которого однажды суждено было взлететь на воздух.

«Арсенал горит!» Крик этот по сей день стоит у меня в ушах. Пламя и дым заволокли все небо. Пожарные, полиция и санитарные кареты города и окрестностей мчались колоннами в сторону пламени и дыма, а за ними, задыхаясь, бежали мы с матерью. Шла война, и отец работал там поблизости в военных мастерских. Огонь распространялся, и взрывались всё новые склады боеприпасов и груженные составы. Район был оцеплен. Дальше нас не пустили. К счастью, вечером, хоть и закопченный, но здоровый и невредимый, отец возвратился домой.

А горящий и взрывающийся арсенал, собственно говоря, не имеет никакого отношения к этой книжке. Потому что тогда я уже принял конфирмацию и не был маленьким. Да, а еще чуть попозже, новобранцем, с карабином за плечом, я стоял на часах перед казармой саперов. И, конечно, на той же Кенигсбрюкерштрассе! Эта улица и я — мы были просто неразлучны.



Расстались мы, только когда я переехал в Лейпциг. Причем я ничуть бы не удивился, если б она последовала за мной туда. Такая она была привязчивая. Да и сам я, кем бы я там ни сделался, был и остался мальчишкой с Кенигсбрюкерштрассе. Этой диковинно расчлененной на три части улицы, с палисадниками в начале, доходными домами посредине и казармами, арсеналом и Хеллером, песчаным учебным плацем, в самом ее конце, уже на окраине города. Здесь, на Хеллере, я мальчишкой играл, а новобранцем не в очередь упражнялся в строевой подготовке. Приходилось ли вам когда-нибудь, держа перед собой карабин образца 98 года, делать по двести пятьдесят приседаний? Нет? Так благодарите бога! После того за всю жизнь не отдышились. Некоторые мои товарищи валились на землю после пятидесяти приседаний. Они были поумнее меня.

Квартиру на пятом этаже по Кенигсбрюкерштрассе, 66, я совершенно не помню. Всякий раз, как мне случалось проходить мимо этого дома, я говорил себе: «Вот где ты, значит, появился на свет». Иногда я даже входил в подъезд и с любопытством озирался. Но ничто не откликалось. Чужой, незнакомый дом. А ведь матушка сотни и сотни раз втаскивала меня вместе с коляской на пятый этаж! Мне это было заведомо известно. Но ничего не помогало. Дом так и оставался для меня чужим. Обычное казарменного вида здание, как тысячи других.

Зато я прекрасно помню дом под номером 48. Лестничную площадку. Подоконник, сидя на котором я глядел на задний

двор. Ступеньки, на которых играл. Потому что лестница служила мне местом для игр. Здесь я строил свой рыцарский замок. Замок с бойницами, островерхими башнями и подвижным подъемным мостом. Здесь происходили ожесточеннейшие сражения. Здесь после смелого обходного маневра через две лестничные ступеньки французские кирасиры ударяли с тыла по егерям Холька и аркебузникам Валленштейна¹. Санитары с красным крестом на рукаве стояли наготове с носилками, чтобы выносить с поля боя раненых. Они всем желали помочь, будь то шведы и императорские войска семнадцатого века, будь то французская кавалерия девятнадцатого. Моим санитарам была хороша любая нация и любой век. Но сперва должна была решиться жаркая схватка за средневековый подъемный мост.

Потери в боях были огромные. Одним мановением руки я уничтожал по несколько полков сразу. И наполеоновская старая гвардия умирала, но не сдавалась. Еще во внутреннем дворе после взятия приступом подъемного моста бой продолжался. Нюрнбергские оловянные солдаты отличались необыкновенной стойкостью. Почтальон и маленькая фрау Вильке с пятого этажа вынуждены были, переступая пожуравлиному, делать гигантские шаги, дабы не помешать победе или поражению. Они осторожно перешагивали через друга и недруга, а я ничего не замечал. Ибо был главнокомандующим и начальником генерального штаба обеих армий. От меня одного зависела участь всех столетий и народов. Так неужто мне помешает какой-то почтальон из Дрезден-Нойштадта! Да я на него и не посмотрю! Или миниатюрная фрау Вильке из-за того, что ей, видите ли, нужно купить себе пяток кольраби и немножко соли и сахару!

А когда исход битвы был решен, я укладывал убитых, раненых и невредимых оловянных солдатиков в нюрнбергские деревянные коробки между слоями тонкой древесной стружки, разбирая гордый рыцарский замок и тащил весь этот игрушечный мир и игрушечную мировую историю в паццу крохотную квартиру.

...Кенигсбрюкерштрассе, 48,—второй дом моего детства. Стоит мне сейчас, в Мюнхене, и, как говорится, пожилым уже человеком, закрыть глаза, как я тотчас ощущаю под ногами

¹ Альбрехт Валленштейн — верховный главнокомандующий германского императора Фердинанда II во время Тридцатилетней войны. Хольк — фельдмаршал, соратник Валленштейна.

лестничные ступени, а сидалищем — край ступенек, на которых сидел, хотя по прошествии более полувека сидалище мое весьма отличается от тогдашнего. А когда я представляю себе набитую доверху продуктовую сумку коричневой кожи, которую тащил вверх по лестнице, то мне сначала оттягивает левую и лишь потом правую руку. Потому что до третьего этажа я нес сумку в левой руке, чтобы не задеть стенку, и потом уже перекидывал сумку в правую и левой рукой крепко держался за перила. А под конец я с облегчением перевожу дух, совсем как тогда в детстве, когда, поставив сумку перед дверью, я нажимал кнопку звонка.

Память и воспоминание — таинственные силы. Причем наиболее таинственная и загадочная из них обеих — воспоминание. Память касается только нашей головы. Сколько будет семью пятнадцать? И вот уже Паульхен кричит: «Сто пять!» Он это учил. И это удержалось в голове. Или забылось. Или же Паульхен восторженно восклицает: «Сто пятнадцать!» Правильно или неправильно мы запомнили или позабыли и должны заново сосчитать — и хорошая и плохая память обитают в голове. Здесь помещаются ящички для всего, что мы учили. Они похожи, как мне кажется, на ящички шкафа или комода. Иногда ящик заедает. Иногда в них ничего не лежит, иногда лежит шпигот-наоборот-наоборот. А иногда ящички вовсе не открываются. И тогда и они и мы — ни с места. Бывают большие и малые комоды памяти. Например, у меня в голове комод довольно маленький. Ящички лишь наполовину заполнены, но в них относительный порядок. Когда я был маленьким, все обстояло иначе. Тогда мой чердачок был все равно что пустая гардеробная!

Воспоминания лежат не в ящиках, не в шкафах, не в голове. Они обитают в нас самих. Обычно воспоминания дремлют, но они живы, дышат и время от времени открывают глаза. Они обитают, живут, дышат и дремлют повсюду. В наших ладонях, в ступнях ног, в ноздрях, в сердце и в затылке. Что мы однажды в прошлом пережили, спустя годы и десятилетия вдруг возвращается и глядит на нас. И мы чувствуем: оно и не уходило вовсе. А только спало. И когда воспоминание пробуждается и спросонок протирает глаза, бывает, что оно будит другие воспоминания. Тогда поднимается такая кутерьма, как по утрам в дортуаре.

Особенно загадочны самые ранние воспоминания. Почему я вспоминаю что-то, приключившееся со мной в двухлетнем возрасте, и ничего не помню о себе в возрасте трех-четырёх



лет? Отчего мне запомнился тайный советник Хэнель, заботливая медицинская сестра и садик частной клиники? Мне оперировали ногу. Перевязанная рана горела как в огне. И матушка, хотя я тогда уже умел ходить, несла меня домой на руках. Я всхлипывал. Она меня утешала. Я и сейчас чувствую, каким я был тяжелым и как у нее устали руки. У боли и страха хорошая память.

Ладно, но почему же тогда мне вспоминается господин Патиц и его Ателье художественной фотографии на Баутценштрассе? На мне матросский костюмчик с белым пикейным воротником, черные кусачие чулки и башмачки на шнурках. (В наши дни маленькие девочки ходят в брюках. Тогда маленькие мальчики ходили в юбочках!) Я стою возле низенького резного столика, а на столике стоит ярко раскрашенный парусник. Господин Патиц — он за фотоаппаратом на высоких ножках — прячет свою художническую голову под черную тряпку и велит мне улыбаться. Но так как ничего не получается, он достает из кармана игрушечного паяца, несколько раз взмахивает им в воздухе и, очень довольный собой, радостно кричит: «Ку-ку! Ку-ку!» Господин Патиц кажется мне ужасно глупым, но тем не менее в угоду ему и ради стоящей поблизости матушки я заставляю себя стеснительно улыбнуться. Артист-фотограф нажимает на резиновую грушу, принимается медленно и сосредоточенно считать вслух, закрывает кассету и помечает заказ: «Двенадцать карточек визитного формата».

Одна из этих двенадцати карточек хранится у меня и поныне. На обороте — надпись поблекшими чернилами: «Мой Эрих в три года». Это написала матушка в 1902 году. И когда я смотрю на малыша в юбочке, на круглое, стеснительно улыбающееся детское личико под аккуратно подстриженной челкой и нерешительно задержавшуюся на уровне пояса правую пухлую ручонку, у меня и сейчас зудят подколенки.



Они вспоминают тогдашние шерстяные чулки. Почему? Как они этого не забыли? Неужели посещение Художественной фотографии Альберта Патица было настолько уж важно? Неужели оно составляло для трехлетнего ребенка целое событие? Не думаю... не знаю. А сами воспоминания? Они живут, и они умирают по им и нам неизвестным причинам.

Иногда мы думаем и гадаем, бьемся над этим вопросом. Пытаемся приподнять краешек завесы и увидеть причины. Пытаются это делать и ученые и неученые, но по большей части загадка так и остается загадкой. И мы с матерью однажды пробовали. На примере жившего по соседству мальчика, моего сверстника, некоего Рихарда Наумана. Он был на целую голову выше меня, хороший мальчик и терпеть меня не мог. Не терпит так не терпит, я бы с этим, на худой конец, примирился. Но я не понимал, за что. И это сбивало меня с толку.

Наши матери, когда мы еще лежали в детских колясках, сидели рядом на зеленых скамейках в саду Японского дворца на берегу Эльбы. Несколько позже мы с ним, сидя на корточках в ящике с песком, пекли в формочках куличики. Мы вместе ходили в гимнастическое общество Ной- и Антонштадта на Алаунштрассе и в четвертую городскую школу. И при всяком удобном случае он старался мне всыпать.

Он кидал в меня камнями. Он подставлял мне ножку. Налетал на меня сзади, сбивая с ног. Подстерегал идущего, ничего не подозревая, своей дорогой, в подворотне, давал по шее и с торжествующим хохотом пускался наутек. Я бежал за ним, и, если мне удавалось его догнать, ему было уже не до смеха. Я не трусил. Но я его не понимал. Почему он меня преследует? Почему не оставляет в покое? Я же ему ничего

плохого не сделал. Он мне скорее нравился. Так чего же он задирается?

Как-то матушка, которой я об этом рассказал, заметила:

— Он тебя царапал, когда вы оба еще сидели в детских колясках.

— Но почему же? — в недоумении спросил я.

Она задумалась. Потом ответила:

— Может быть, потому, что все тобой восхищались. Старухи, садовники, бонны, проходя мимо нашей скамейки, заглядывали в обе коляски и находили тебя не в пример красивее его. Ахали и охали, превозносили тебя до небес!

— И ты думаешь, он это понимал? Годовальный ребенок?

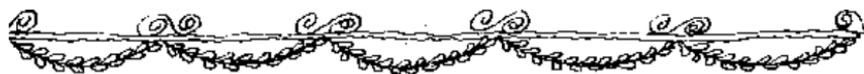
— Не слова. Но смысл. И тон, которым это говорилось.

— И он это вспоминает? Хотя ничего не смыслил?

— Может быть, — сказала матушка. — А теперь садись готовить уроки.

— Я давно приготовил, — ответил я. — Пойду играть.

И только вышел из дому, как споткнулся: Рихард Науман подставил мне ножку. Я помчался за ним, догнал его и дал ему в ухо. Вполне возможно, что он ненавидит меня еще со времени наших прогулок в детских колясках. Что он это вспоминает. И вовсе не задирает первый, как я думал, а только защищается. Однако это еще не значит, что я позволю подставлять себе ножку.



Глава шестая

УЧИТЕЛЕМ, ТОЛЬКО УЧИТЕЛЕМ

Я лежал в колыбели и рос. Я сидел в детской коляске и рос. Я учился ходить и рос. Детскую коляску продали. Колыбель получила новое назначение: ее стали именовать бельевой корзиной. Отец по-прежнему работал на чемоданной фабрике Липольда. Мать по-прежнему шила набрюшники. Из своей детской кровати, предусмотрительно снабженной деревянной решеткой, я за ней наблюдал.

Она шила до глубокой ночи. От певучего жужжания швейной машинки я, естественно, просыпался. Мне это даже, в общем, нравилось. А вот матушке совсем не нравилось. Потому что главная цель жизни маленьких детей, по мнению родителей, состоит в том, чтобы возможно больше спать. И поскольку домашний врач, санитарный советник, доктор медицины Циммерман с Радебергштрассе, придерживался того же взгляда, матушка покончила с шитьем набрюшников. Прихлопнула зингеровскую швейную машинку полированной крышкой и недолго думая решила сдать комнату.

Квартира была маленькая, а денег было и того меньше. Без приработка, объявила она отцу, не вытянем. Папа, по обыкновению, с ней согласился. Мебель сдвинули теснее. Освободившуюся комнату обставили. И на двери дома повесили купленную в писчебумажном магазине Винтера картонную дощечку: «Сдается хорошая, солнечная комната. Можно с завтраком. Справиться у Кестнеров, 4-й этаж».

Первый наш жилец носил фамилию Франке и был учителем народной школы. Что его звали Франке, не имело существенного влияния на мою дальнейшую судьбу. Но то, что он был учителем, оказалось для меня весьма важным. Конечно, родители тогда не могли этого знать. Это была случайность. Хорошую, солнечную комнату вполне мог бы снять и бухгалтер. Или продавщица. Но туда въехал учитель. И эта случайность, как выяснилось потом, была с закорючкой.

Учитель Франке был молодой и веселый. Комната ему нравилась. Завтрак был по вкусу. Он много смеялся. Маленький Эрих его забавлял. Вечерами он сидел у нас на кухне. Рассказывал о школе. Проверял тетради. В гости к нему приходили молодые коллеги. Было весело, шумно. Отец стоял, ухмыляясь, у теплой плиты. Матушка говорила: «Опять Эмиль печь подпирает». Все чувствовали себя превосходно. И господин Франке заявлял: «Никогда я от вас не уеду». Он твердил это несколько лет кряду, а потом взял и уехал.

Он надумал жениться, и ему потребовалась собственная квартира. Повод съехать с квартиры скорее радостный. Однако мы все почему-то грустили. Он перебрался в пригород, именуемый Трахенберге, и увез с собой не только чемоданы, но и свой задорный смех. Иногда он приходил с фрау Франке и своим смехом к нам в гости. Мы слышали его смех, когда он только еще входил в дом. И слышали его смех, когда на прощанье махали ему и его жене из окна.

Когда он предупредил, что съедет, матушка хотела было вновь вывесить на двери объявление «Сдается хорошая, солнечная комната». Но он сказал, что это совершенно излишне. Он сам позаботится о приемнике. И позаботился. Правда, приемник оказался приемницей. Учительницей французского языка из Женевы. Она куда реже смеялась, чем он, и в один прекрасный день родила ребенка. Что вызвало некоторый переполох. А помимо того, немало огорчений и неприятностей. Впрочем, это к делу не относится.

Мадемуазель Т., учительница французского, вскоре затем съехала от нас со своим маленьким сыном. Матушка отправилась в Трахенберге и рассказала господину Франке, что наша хорошая, солнечная комната опять пустует. Он рассмеялся и пообещал на этот раз быть осмотрительнее. И прислал нам в качестве следующего жильца уже не приемницу, а приемника. Учителя? Ну разумеется, учителя! Своего коллегу из той же школы на Шанценштрассе. Очень рослого, очень белокурого, очень юного молодого человека, которого звали Пауль Шуриг и который все еще у нас жил, когда я сдавал экзамен на аттестат зрелости. Он и переехал с нами вместе. Долгое время он даже занимал две комнаты в нашей трехкомнатной квартире, так что на троих Кестнеров оставалось не слишком много места. Но в его отсутствие мне разрешалось у него в кабинете читать, писать и упражняться на рояле.



Со временем он сделался для меня как бы дядей. Первое сравнительно большое путешествие я совершил вместе с ним. В свои первые же школьные каникулы. В его родную деревню Фалькенхайн возле Вурцена под Лейпцигом. У его родителей была там лавка скобяных изделий и великолепнейший из всех мною виденных до того плодовый сад. Мне разрешали влезать на стремянку и наравне с другими снимать урожай. Все эти золотые пармены, добрые луизы, боскопы, графенштейнеры, александры и как там еще называются лучшие сорта яблок и груш.

Были осенние каникулы, и мы до боли в поясище собирали в лесу грибы. Мы совершили пешеходную экскурсию в Шильду, где, как известно, живут шильдбюргеры, давно служащие нарицательным именем для простофиль. И в мансарде я пролил первые слезы тоски по дому. Там я написал первую в своей жизни открытку и успокаивал матушку. Ей незачем за меня тревожиться. В Фалькенхайне нет трамваев, разве что изредка проедет навозница, а уж ее-то я как-нибудь поберегуся.

Итак, с годами Пауль Шуриг стал мне своего рода дядей. И чуть было не стал также своего рода двоюродным братом! Потому что чуть было не женился на моей кузине Доре. Ей этого очень хотелось. Ему этого очень хотелось. Но отцу Доры этого вовсе не хотелось. Дело в том, что отец Доры, Франц Августин, был одним из бывших торговцев кроликами и ни в грош не ставил учителей народных школ и всяких там «голодранцев».

Когда во время большой конской выставки в Рейке, понадеявшись на благотворное действие золотых и серебряных медалей, наш жилец подошел к облюбованному тестю и представился: «Моя фамилия Шуриг», дядя Франц, сдвинув коричневый котелок на затылок, сверху донизу оглядел рослого, красивого белокурого претендента в женихи и произ-

нес знаменательные слова: «По мне, можете называться хоть Муриг!», повернулся к нему и к нам спиной и направился к своим премированным лошадям.

Сватовство провалилось. Против дяди Франца и разрыв-трава была бы бессильна. И так как дядя подозревал, что брачные планы вынашивались не без матушкиного участия, ей в будущем пришлось от него всякого наслушаться. Дядя Франц был деспот, тиран, конский Наполеон. А по сути, великолепный малый. Что никто не осмеливался ему прекословить — не его вина. Может, он был бы в восторге, если б кто-нибудь наконец его хорошенько осадил. Может, он всю жизнь этого дожидался! Но никто не оказал ему такого одолжения. Он рявкал, а окружающие трепетали. Они трепетали и тогда, когда он шутил. Они трепетали, даже когда под рождественской елкой он оглушительно пел: «Тихая ночь!..»

Он упивался этим и сожалел. Повторяю, на случай, если вы при чтении пропустили: не его вина, что никто ему не прекословил. И тут я покидаю дядю Франца и вновь обращаюсь к основному предмету шестой главы — к учителям. А с дядей Францем мы еще встретимся. И остановимся на нем несколько подробнее. Его не отнесешь к второстепенным персонажам. В этом он схож с другими великими людьми. Например, с Бисмарком, основателем Германской империи.

Когда Бисмарк созвал международную конференцию и собирался вместе с другими государственными деятелями сесть за стол переговоров, все участники перепугались. Стол, хоть и очень большой, оказался круглым! А за круглым столом, при всем желании, не разместишься согласно положению и рангу. Но Бисмарк усмехнулся, сел и сказал: «Где сяду я, там и верх». То же самое вполне мог бы сказать и дядя Франц. Будь к столу придвинут всего один стул, его бы и это не смутило. Уж дядюшка место бы себе нашел.

Итак, я рос среди учителей. Не в школе встретился я с ними впервые. Они у меня были дома. Я нагладелся на синие школьные тетради и красные чернила задолго до того, как сам стал писать и мог делать ошибки. Синие горы тетрадей с диктантами, тетрадей с задачами, тетрадей с сочинениями. А персидскими и весенними каникулами — коричневые



горы табелей. И везде и всюду — разбросанные хрестоматии, учебники, учительские журналы, журналы по педагогике, психологии, отечествоведению и саксонской истории. Когда господина Шурига не было дома, я незаметно проскальзывал в его комнату, садился на зеленый диван и боязливо и вместе с тем восхищенно таращил глаза на красочный ландшафт из исписанной и печатной бумаги. Передо мной, так близко, что рукой подать, лежал неизвестный континент, а я все еще его не открыл. И когда взрослые, как они это любят делать, спрашивали меня: «Кем же ты хочешь стать?», я от всего сердца отвечал: «Учителем!»

Еще не умея читать и писать, я уже хотел стать учителем. Никем другим. И все-таки я заблуждался. Это была, пожалуй, величайшая в моей жизни ошибка. И выяснилось это в самую последнюю минуту. Выяснилось, когда я семнадцатилетним юношей стоял перед классом и, поскольку старшие семинаристы все воевали на фронте, должен был вести урок. Профессора, присутствовавшие в качестве моих педагогов на занятии, ничего не заметили, не заметили и того, что я сам наконец тут понял, как ошибся, и у меня оборвалось сердце. Зато ребята за партами почувствовали это не хуже меня. Они смотрели на меня с недоумением. Они молодцом отвечали. Поднимали руку. Вставали. Садились. Все шло как по маслу. Профессора благожелательно кивали. И тем не менее все было не так. Дети это понимали. «Этот малец на кафедре, — думали они, — никакой не учитель и никогда настоящим учителем не станет». И они были правы.

Я был не учителем, а учащимся. Я не учить хотел, а учиться. И захотел стать учителем лишь для того, чтобы возможно дольше оставаться учеником. Вбирать и вбирать в себя новое, а вовсе не делиться и делиться все тем же старым. Голодный, а не булочник. Жаждающий, а не трактирщик. Нетерпеливый и неуравновешенный, а не будущий воспитатель. Потому что учителя и воспитатели должны быть уравновешенны и терпеливы. Они обязаны думать не о себе, а о детях. И не вправе путать терпение с любовью к покойной

жизни. Учителей, любителей покойной жизни, предостаточно. Подлинные, призванные, прирожденные учителя встречаются почти так же редко, как герои и святые.

Несколько лет назад я беседовал с одним базельским университетским профессором, знаменитым специалистом-ученым. Он недавно вышел на пенсию, и я спросил его, что он сейчас делает. В глазах его засветилось блаженство, и он воскликнул: «Учусь! Наконец-то у меня есть время!» Семидесятилетний старик каждый день проводил в аудиториях и узнавал новое. Он ходил в отцы доцентам, чьи лекции слушал, и в деды студентам, с которыми вместе сидел. Он был членом многих академий. Имя его произносилось с уважением во всем мире. Всю свою жизнь он учил других тому, что знал. И вот наконец мог сам учиться тому, чего не знал. Он был на седьмом небе. Пусть другие над ним посмеивались и считали его чудачком — я-то понимал его, словно он приходился мне старшим братом.

Я понимал старика, как тридцать лет до того меня поняла матушка, когда, не сняв еще военной шинели, я предстал перед ней и, подавленный, сознавая свою вину, сказал: «Я не могу быть учителем!» Она была простая женщина и прекрасная мать. Ей было уже под пятьдесят, и она долгие годы работала не покладая рук и сэкономила, чтобы я мог стать учителем. И вот цель почти достигнута. Остается один лишь экзамен, который я через две-три недели, конечно, играючи и с блеском сдам. Тогда ей можно будет наконец передохнуть. Можно будет посидеть сложа руки. Тогда уж я сам смогу о себе позаботиться. А я вдруг говорю: «Я не могу быть учителем!»

Это было в нашей большой комнате. То есть в одной из двух комнат, занимаемых учителем Шуригом. Пауль Шуриг молча сидел на зеленом диване. Отец молча прислонился к кафельной печи. Матушка стояла под лампой с зеленым шелковым абажуром, отделанным бисерной бахромой, и спросила:

— А что бы ты хотел делать?

— Получить в гимназии аттестат зрелости и учиться в университете, — выпалил я.

Матушка на миг задумалась. Потом улыбнулась, кивнула и сказала:

— Хорошо, мой мальчик! Учись!

Но тут я опять самоуправствую с колесом времени. Со спицами будущего. Опять опережаю календарь. И опять мне следовало бы написать: «Впрочем, это к делу пока не

относится!» Но это было бы неверно. Многие из того, что пережил в детстве, обретает смысл лишь годы спустя. И многое, что случается с нами потом, осталось бы вовсе не понятным без наших детских воспоминаний. Годы и десятилетия нашей жизни переплетаются, как пальцы сцепленных рук. Все друг с другом связано.

Попытка рассказать историю своего детства обращается в танцевальную процессию. Скачешь вперед и назад, вперед и назад. И читателям, бедняжкам, тоже приходится скакать вместе со мной. Но я не могу иначе. И скачки в сторону неизбежны. Вот так вот. А теперь скакнем снова на два шага назад. Вернемся к тому времени, когда я еще не ходил в школу и тем не менее уже хотел стать учителем.

В те времена, если мальчик был смышленный, но не сын врача, адвоката, священника, офицера, купца или директора фабрики, а ремесленника, рабочего или служащего, то родители не определяли его в гимназию или реальное училище и затем в университет — это стоило слишком дорого. Они определяли его в учительскую семинарию. Что было намного дешевле. Мальчик до конфирмации ходил в народную школу и лишь затем держал вступительный экзамен. Провалится, так станет служащим или бухгалтером, как его отец. Выдержит, так спустя шесть лет он помощник учителя, получает жалованье, в состоянии поддерживать родителей и имеет «должность с правом на пенсию».

Тетя Марта, младшая сестра матушки, из всех тетушек самая мною любимая, тоже высказалась за семинарию. Она вышла замуж за старшего рабочего на сигарной фабрике, некоего Рихтера, за него и двух его дочерей от первого брака, родила ребенка, имела садовый участок, пятók кур и была веселой, жизнерадостной женщиной. Ей всегда приходилось туго, и никогда она не унывала. Две из трех ее дочерей умерли в первый год после первой мировой войны от голодного тифа. А у нас в родне было столько мясников! Умерла одна из падчериц и ее собственная дочь, белокурая Элене. Но вот я опять скакнул на два шага вперед!

Итак, тетя Марта тоже сказала:

— Пусть Эрих будет учителем. Учителям хорошо живется. Сами видите. Взгляните хоть на своих жильцов. На Франке и на Шурига. А его друзья Тишendorфы!

Тишendorфы были друзьями Пауля Шурига и, как он, учителя. Они часто приходили к нам в гости. Сидели на

кухне или в большой комнате, склонившись над картами, обсуждали втроем маршруты на летние каникулы. На один месяц в году они становились отважными альпинистами. В башмаках на триконах, с ледорубами, кошками, связкой веревок, аптечкой и невероятными рюкзаками они каждый год отправлялись в Альпы совершать восхождения на Мон-Сени, Монте-Розу, Мармолладу или Вильден Кайзера. И слали на Кенигсбрюкерштрассе великолепные цветные открытки с видами. А когда по окончании каникул возвращались домой, то походили на светловолосых негров. Темно-коричневые от загара, здоровущие, веселые, голодные как волки. Под их башмаками на триконах прогибались половицы. Стол гнулся под тарелками с колбасой, фруктами и сыром. А когда они рассказывали о своих траверсах, прохождении снежных каминов и ледовых трещин, то и сами напропалую погибали.

— Кроме того,— добавила тетя Марта,— учителя отдыхают еще в рождественские каникулы, в пасхальные каникулы и в картофельные каникулы. В промежутках дадут десяток-другой уроков, всегда одно и то же, всегда ребятишкам одного возраста, поправят красными чернилами тридцать тетрадей, сводят класс в зоологический сад, где расскажут детям, что у жирафа длинная шея, а каждое первое число получают себе жалованье и покойненько готовятся уйти на покой.

Ну, разумеется, работа учителя отнюдь не такая легкая и приятная. И в те времена она не была сплошным удовольствием. Но тетя Марта была не единственной, кто так думал. Так думали очень многие. В том числе немало учителей. Не каждому дано быть Песталоцци¹.

Итак, я хотел стать учителем. Не только потому, что алкал знаний. У меня вообще был хороший аппетит. И когда я по вечерам помогал матери накрывать стол к ужину для госпо-дина Шурига, когда, балансируя подносом, приносил в нашу лучшую комнату тарелку с глазуньей из трех яиц с колбасой или ветчиной, я думал: «Ведь учителям неплохо живется».

А белокурый великан Шуриг даже не замечал, как охотно я променял бы свой ужин на его.

¹ Песталоцци (1746—1827)— выдающийся швейцарский педагог.



Глава седьмая «СОЛНЦЕ» И ФУНТИКИ С КОНФЕТАМИ

И со мной и с нашей книжкой дело подвигается. Я уже появился на свет. Это основное. Меня уже сфотографировали, я переехал с родителями на новую квартиру и с той поры окружен учителями. В школу я не хожу еще. У меня учителя на дому. Но это не домашние учителя. Они не приносят мне светоча знаний в виде таблицы умножения или даже счета до десяти. Это я приношу им на подогретых тарелках скворчащую глазунью в лучшую нашу комнату, которая вовсе не наша, а их лучшая комната. «Когда вырасту, — думаю я, — буду учителем. Тогда прочитаю все книжки и съем все глазуньи, какие только есть на свете!»

За год до того, как пойти в школу, я шести лет от роду стал самым юным членом гимнастического общества Ной- и Антонштадта. Я долго упрашивал матушку. Она была решительно против. Я, мол, еще слишком мал. Но я приставал, кланчил, канючил, терзал ее. «Подожди, пока тебе не исполнится семь», — неизменно отвечала она.

И все-таки в один прекрасный день мы стояли в меньшем из двух гимнастических залов перед господином Захариасом. Мальчишки как раз делали вольные упражнения. Он спросил:

— Сколько же годков вашему сыну?

— Шесть, — отвечала она.

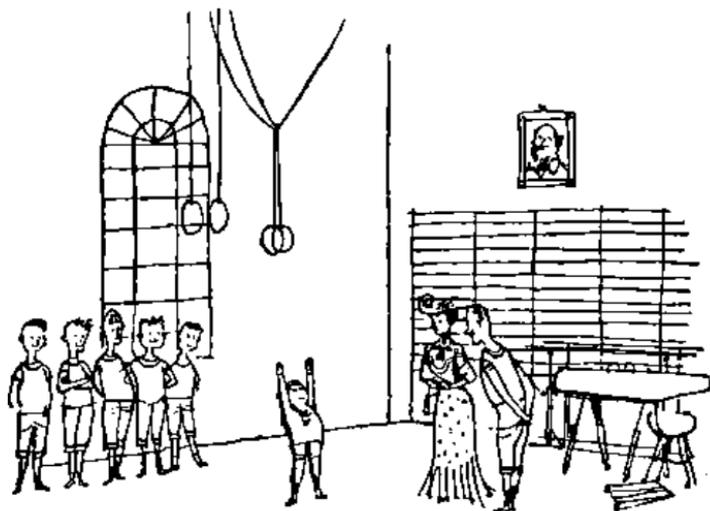
Он сказал:

— Придется подождать, пока тебе не исполнится семь.

Тогда, приставив, как полагается, сжатые в кулак руки к груди, я прыгнул ноги врозь и продемонстрировал ему целый набор гимнастических упражнений! Он смеялся. Смеялась вся группа. Зал сотряснулся от веселого смеха. И господин Захариас сказал моей опешившей матушке:

— Ладно уж, купите ему пару гимнастических тапочек. В среду к трем первый урок.

Я не помнил себя от счастья. Мы зашли в ближайший обувной магазин. Вечером я порывался лечь в постель в



тапочках. А в среду еще за час до занятий был в зале. И кем же, думаете вы, оказался господин Захариас по профессии? Учителем, конечно. Учителем в семинарии. Впоследствии, будучи семинаристом, я у него учился. И он не раз еще хохотал, вспоминая нашу первую встречу.

Я очень любил гимнастику и стал недурным гимнастом. Упражнялся и с железными гантелями, и с деревянными булавами, на шесте, на кольцах, на брусках, на коне и, наконец, на высокой перекладине. Перекладина стала моим любимым снарядом. Но это позже, много позже. Я наслаждался всеми этими махами, подъемами разгибом, висами, перемахами, оборотами, боковыми соскоками и полетом в воздухе после вращения на подколенках с завершающим приземлением в стойку на кокосовом мате. Чудесно, когда твое тело с каждым ритмическим взмахом делается все легче и легче, пока не станет совсем невесомым и, удерживаемое одними лишь послушными руками, описывая изящные и замысловатые круги, пляшет вокруг упругой стальной штанги!

Я стал недурным гимнастом. Я блистал на показательных выступлениях. Считался лучшим гимнастом команды. Но очень хорошим гимнастом так и не стал. Потому что боялся «солнца». И знал, почему боялся. Однажды я присутствовал при том, как другой гимнаст, крутя «солнце», сорвался и кувырком полетел с перекладины. Подстраховывавшие товарищи не успели его подхватить. И его отвезли в больницу.

С тех пор «солнце» и я стали друг друга избегать. Конечно, это был срам, и кому же охота срамиться? Но я ничего не мог с собой поделать. Страх перед «солнцем» меня преследовал. И я решил, что срам пусть на чуточку, но предпочтительнее проломленного черепа. Прав ли я был? Да, прав.

Я хотел заниматься гимнастикой и занимался гимнастикой ради собственного удовольствия. Я вовсе не хотел и не собирался стать героем. Да и не стал им. Ни ложным героем, ни героем настоящим. А вы знаете разницу? Ложные герои не боятся, потому что лишены воображения. Они тупы, и у них нет нервов. Настоящие герои боятся, но преодолевают свой страх. Много раз в жизни мне бывало страшно, и, видит бог, не всякий раз я свой страх преодолевал. Иначе я сейчас, возможно, был бы настоящим и уж наверняка мертвым героем. Однако я также вовсе не намерен изображать себя хуже, чем я есть. Подчас я держался молодцом, а это временами было совсем не так легко. Но героизм как основная профессия не для меня.

Я занимался гимнастикой, потому что моя грудная клетка, мои мускулы, мои руки и ноги хотели двигаться и развиваться. Тело хотело развиваться так же, как и ум. Оба в один голос нетерпеливо требовали того же самого: расти гибкими и, подобно здоровым близнецам, стать одинаково большими и сильными. Мне было жаль детей, которые охотно учились и неохотно занимались гимнастикой. И я жалел детей, которые охотно занимались гимнастикой и неохотно учились. А были и такие, которые не желали ни учиться, ни заниматься гимнастикой! Этим я всех больше жалел. Я страстно хотел и того и другого! И заранее радовался дню, когда наконец пойду в школу. Этот день настал, а я плакал.

Четвертая городская школа на Тикштрассе, неподалеку от Эльбы, помещалась во внушительного вида мрачном здании с отдельным подъездом для девочек и отдельным — для мальчиков. В те времена все школы выглядели мрачными: все почему-то темно-красные или грязно-серые, казенные и зловещие. Вероятно, они были построены теми же архитекторами, что строили казармы. Школы походили на детские казармы. Почему архитекторы не придумали школ поприветливее, не знаю. Может, фасады, лестницы и коридоры призваны были наводить на нас такой же трепет, что и трость на кафедре. Видно, хотели еще в детстве посредством страха воспитать из нас покорных граждан. Посредством



страха и запугивания, а это было, конечно, совершенно неправильно.

Меня школа не испугала. Веселых школьных зданий я не видывал. Должно быть, им полагается быть такими. А кругленький, добродушный учитель Бремзер, встречавший матерей, отцов и будущих школьников, тем более не мог меня испугать. Мой домашний опыт говорил мне, что и учителя умеют смеяться, едят глазуньи, мечтают о каникулах и после обеда не прочь часок вздремнуть. Чего ж дрожать?

Господин Бремзер усадил нас всех по росту за парты и записал наши имена. Родители толпились у стен и в проходах, ободряюще кивали сыновьям и охраняли фунтики со сладостями. Это было их главной задачей. Они держали в руках маленькие, средние и большущие конусообразные кульки со сладостями, сравнивали их объемы и, смотря по результатам, завидовали или гордились. Посмотрели бы вы на мой фунтище! Яркое раскрашенный, будто сотня видовых открыток, тяжелый, как ведро с углем, и такой большой, что он доходил мне до кончика носа! Я сидел очень довольный на своем месте, подмигивал матушке и чувствовал себя своего рода чемпионом. Два-три мальчика громко разрыдались и бросились к своим взволнованным матерям.

Но все быстро кончилось. Господин Бремзер нас отпустил, и родители, дети и фунтики со сладостями зашагали, оживленно болтая, домой. Я нес свой фунтище перед собой, будто древко знамени. Время от времени я, крихтя, опускал его на тротуар.

Время от времени меня сменяла матушка. Мы вспотели, как грузчики. Даже сладкая ноша остается ношей.

Так, объединенными усилиями, мы одолели Гласисштрассе, Баутценштрассе, пересекли площадь Альберта и вышли на Кенигсбрюкерштрассе. От угла Луизенштрассе я уже не выпускал своего трофея из рук. Это было триумфальное шествие. Прохожие и соседи дивились. Дети останавливались и бежали за нами следом. Они слетались, будто пчелы на мед.

— А теперь к фройляйн Хаубольд!— сказал я из-за объемистого конуса.

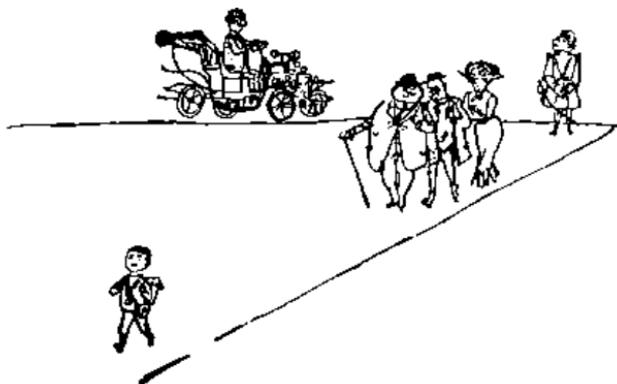
Фройляйн Хаубольд заведовала помещавшимся у нас в доме отделением известной всему городу красильни Меркша, и я проводил немало часов в тихом, чистеньком магазинчике. Там пахло свежевыстиранным бельем, химически очищенными лайковыми перчатками и накрахмаленными блузками. Фройляйн Хаубольд была старой девой, и мы друг другу очень симпатизировали. Пусть на меня полюбуется. Она всех больше достойна увидеть это великолепие.

Матушка отворила дверь. Держа перед собой громоздкое сооружение с бантом, я поднимался по ступенькам к магазинчику, но так как за бантом и кульком ничего не видел, то споткнулся, и, уж не знаю как, кончик бумажного конуса оторвался! Я превратился в соляной столп. В соляной столп, судорожно обхвативший кулек со сладями. На мои башмаки со шнурками что-то струилось, хлопалось, сыпалось. Я поднял кулек как можно выше. Это было не тяжело, потому что он становился все легче. Под конец у меня остался в руках только пестро раскрашенный усеченный конус из плотной бумаги; я опустил его и взглянул на пол. Я стоял по шиколотку в конфетах, пралине, финиках, шоколадных зайцах, винных ягодах, апельсинах, пряниках, вафлях и обернутых в золотую фольгу майских жуках. Дети ржали. Матушка закрыла лицо руками. Фройляйн Хаубольд держалась за прилавок, чтобы не упасть. Настоящий потоп! А я стоял посередине.

Из-за шоколада тоже можно плакать. Даже если он принадлежит тебе... Мы зачихали уцелевшие после кораблекрушения сласти и паданцы в прекрасный новый коричневый ранец и малодушно бежали через магазин и черный ход на лестничную площадку и вверх по лестнице к себе на квартиру. Слезы омрачили безоблачный детский небосклон. Содержимое кулька лежало клейким месивом в ранце. Из двух подарков стал один. Расписной кулек для сладостей купила

и наполнила матушка. Ранец стачал отец. Когда отец вечером вернулся с работы, он старательно его отмыл. Потом взял свой острый, как бритва, нож седельника и вырезал мне сумку. Из той же несокрушимой кожи, что пошла на ранец. Сумку на длинном ремешке, который можно было по желанию укорачивать и удлинять. Чтобы носить через плечо. Для завтрака. Для школы.

...Самой большой проблемой была не сама школа, а дорога туда. В классную комнату допускался лишь единственный взрослый — учитель Бремзер. Он мог там находиться, потому что должен был там находиться. Как бы мы без него выучили буквы и цифры, азбуку и умножение до десяти? Но чтобы мать взяла тебя за руку и довела до школьного подъезда — это было просто нестерпимо. В семь лет ты в конце концов уже не ребенок! Или кто-нибудь осмелится утверждать обратное? Фрау Кестнер осмелилась. Она была храбрая женщина. Но осмеливалась только в течение недели. Потому что она была умная мать. Она уступила. И, вооружившись ранцем и сумкой с завтраком, гордый и независимый, мужчина с головы до пят, я один отправлялся утром на Тикштрассе и один возвращался днем домой. Я победил, ура!



Много лет спустя матушка мне рассказала, что тогда происходило в действительности. Она ждала, пока я не уйду из дому. Потом быстро надевала шляпку и тайком бежала за мной следом. Она ужасно боялась, как бы со мной по дороге чего не случилось, и в то же время не хотела препятствовать моей тяге к самостоятельности. И вот она надумала провожать меня в школу так, чтобы я об этом ничего не знал.

Когда она опасалась, что я обернусь, она нырнула в подъезд или укрывалась за афишную тумбу. Она пряталась за высокими, толстыми прохожими, которые шли в ту же сторону, и выглядывала из-за них, ни на миг не теряя меня из виду. Больше всего ее страшила площадь Альберта с трамваями и ломовыми фургонами. Но окончательно она успокаивалась, лишь когда с угла Курфюрстенштрассе видела, как я исчезаю в подъезде школы. Тут она переводила дух, поправляла шляпку и уже вполне благопристойно и безо всяких индейских повадок шла домой. Спустя несколько дней она отказалась от своей утренней уловки. Страх, что я могу зазеваться, пропал.

Зато у нее осталась другая, правда, меньшая забота: рано утром вовремя вытащить меня из постели. Это была нелегкая задача, особенно зимой, когда на улице еще темно. Матушка придумала мелодичную побудку. Она пела: «Э-ри-их, вста-вать, пора в шко-о-о-лу!» И пела это до тех пор, пока я, ворча и зевая, не сдавался. Стоит мне сейчас закрыть глаза, как я слышу этот сперва ласковый, а затем все более грозный напев. Впрочем, песенка не помогла. Я и сейчас с трудом встаю.

Мне только что пришло в голову: а что бы я подумал, если б рано утром вышел прогуляться по городу и на моих глазах привлекательная молодая женщина вдруг юркнула за афишную тумбу! И если б, из любопытства последовав за ней, я увидел, как она, то замедляя, то убыстряя шаг, крадется за толстыми прохожими, прячется в подворотни и выглядывает из-за угла. И что бы подумал, обнаружив, что преследует она маленького мальчика, который паинькой, оглядываясь налево и направо, переходит улицы и площади? Подумал бы я: «Бедняжка рехнулась?» Или: «Неужели я стану очевидцем трагедии?» Или: «Может, это снимают кинофильм?»

Нет, я бы тотчас догадался. Но бывает ли такое сейчас? Представления не имею. Я ведь не любитель рано вставать.

...В самой школе трудностей не было. Кроме одной-единственной. Я был ужасно невнимателен. По мне, дело шло слишком медленно. Я скучал. Поэтому я затевал оживленные беседы со своими соседями сбоку, спереди и сзади. Молодым людям семилетнего возраста, понятно, есть о чем друг другу порассказать. Добрейшему, в сущности, господину Бремзеру моя болтливость чрезвычайно мешала. Его усилия сделать из тридцати маленьких дрезденцев к чему-то пригодных грамотеев в значительной мере пропадали даром, оттого что треть класса вела частные разговоры, а зачинщиком был я. В один

прекрасный день у него лопнуло терпение, и он рассерженно заявил, что, если я не исправлюсь, он напишет письмо моим родителям.

Вернувшись в полдень домой, я тотчас поделился интересной новостью.

— Если это не прекратится,— доложил я, снимая ранец, еще из коридора,— он напишет письмо. У него иссякло терпение.

Матушку ужаснуло и мое сообщение и невозмутимость, с какой я его преподнес. Она старалась всячески меня усовестить. Я обещал ей исправиться. Поручиться, что сразу же и всегда буду теперь внимательным, я не мог, но твердо обещал впредь не отвлекать других учеников. Разве не честное предложение?

На следующий день матушка тайком от меня отправилась к господину Бремзеру. Когда она ему все рассказала, он рассмеялся.

— Ну и ну!— воскликнул он.— Забавный мальчонка! Всякий другой бы помалкивал, пока родители не получают письма!

— Эрих ничего от меня не скрывает,— с гордостью отвечала фрау Кестнер.

Господин Бремзер покачал головой и произнес только:

— Так-так.— А потом спросил:— Он уже решил, кем станет в будущем?

— О да,— заверила матушка.— Учителем!

Тут он кивнул и сказал:

— Что ж, он у вас смыщленьй.

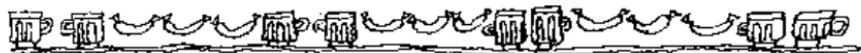
Конечно, об этом разговоре в учительской я тогда ничего не узнал. Я сдержал свое слово. Больше не мешал на уроках и даже сам изо всех сил старался быть повнимательнее, хотя никакого твердого обязательства в этом смысле на себя не брал. Тут мне пришло в голову, что я и сейчас поступаю точно так же. Предпочитаю обещать меньше, чем обещать слишком много. И предпочитаю выполнить больше, чем обещал. Как, бывало, говорила матушка: «Всяк блажит по-своему».

Когда ребенок научился читать и охотно читает, он открывает и завоевывает новый мир, царство букв. Страна чтения— чудесный и бескрайний континент. Из типографской краски возникают предметы, люди, дужи и боги, которых иначе ты никогда бы не увидел. Кто еще не умеет читать, видит только то, что у него под носом лежит или торчит: отца, дверной звонок, фонарщика, велосипед, букет цветов, а из

окна, может быть, колокольню. Кто умеет читать, сидит над книгой, и перед ним вдруг возникает Килиманджаро, или Карл Великий, или Гекльберри Финн в кустах, или Зевс в виде быка, уносящий на спине прекрасную Европу. У того, кто умеет читать, вторая пара глаз, и он должен только следить, чтобы при чтении не испортить себе первую.

Я читал, читал и читал. Ни одной букровке не было от меня спасения. Я читал книги и тетради, афиши, вывески с названиями фирм, фамилии на дверных дощечках, проспекты, правила пользования, надгробные надписи, альманахи Общества защиты животных, прейскуранты блюд, матушкину поваренную книгу, поздравления на открытках, учительские журналы Пауля Шурига, «Красочные пейзажи Саксонии» и мокрые обрывки газеты, в которых нес домой три кочана салата.

Я читал, словно вбирал в себя воздух. Словно иначе бы задохнулся. Это стало почти опасной страстью. Я читал и то, что понимал, и то, чего не понимал. «Это тебе еще рано,— говорила матушка.— Этого ты не поймешь!» А я все равно читал. И думал: «А понимают ли взрослые всё, что читают?» Сейчас я сам взрослый и могу со знанием дела ответить: и взрослые не всё понимают. А если б они читали лишь то, что понимают, и рабочие книгоиздательств и наборщики газетных типографий перешли бы на неполную неделю.



Глава восьмая ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ПРИМЕРНО ВОСЬМИЛЕТНЕГО

И пятьдесят лет назад в сутках было всего двадцать четыре часа, из которых десять мне полагалось спать. Остальное время было заполнено не хуже, чем заполнен настольный календарь какого-нибудь генерального директора. Я бежал на Тикштрассе и учился. Я шел на Алаунштрассе и занимался гимнастикой. Я сидел на кухне и готовил уроки, следя за тем, чтобы не переварилась картошка. Я ел днем с матушкой, вечером — с обоими родителями и должен был учиться держать вилку в левой руке, а нож — в правой, что представляло известную трудность, поскольку я был и остался левшой. Я ходил за покупками и должен был подолгу ждать, пока мне отпустят, потому что был маленьким и не лез вперед. Я сопровождал матушку в город и должен был останавливаться с ней перед витринами и разглядывать товары, которые меня совсем не интересовали. Я играл с Фрицем Форстером и Эрной Гросхенниг на задних дворах. Играл с ними и с Густавом Кислингем на краю Хеллера, среди сосен, песка и вереска, в разбойников и сыщиков или в индейцев и бледнолицых. На площади Бишофа я держал сторону Кенигсбрюкерштрассе против Хехтштрассе, где главенствовала орава жаждущих подраться переростков, которых все боялись. И я читал, читал и читал.

Взрослым никогда столько не успеть. Когда я пишу книгу, у меня не остается времени читать книги. Если же я все-таки попытаюсь, то недосыпаю. А высыпаясь, так опаздываю на деловое свидание в гостиницу «Четыре времени года». И тогда сдвигаются все остальные дела на этот день. Секретарше приходится целых полчаса меня дожидаться в моем любимом кафе, чтобы я продиктовал ей самые неотложные письма. А когда я разделался или хотя бы наполовину разделался с письмами, то опаздываю в кино. Или уже вообще туда не иду. Время и я перестали жить в ладу. Оно съезжилось, укоротилось, будто простыня, севшая после стирки.

Дети куда больше успевают. И между делом успевают еще расти! Некоторые тянутся вверх, будто спаржа. Ну, этого

сказать про меня нельзя. Мои успехи в учебе, чтении, гимнастике, хозяйственных покупках и чистке картофеля намного превышали мои способности к росту. Когда я в последний — покамест — раз стоял у мерной рейки, ефрейтор медицинской службы сказал фельдфебелю медицинской службы, который и занес мой рост в военный билет: «Один шестьдесят восемь! Мелкозга». Но ведь и Цезарь, Наполеон и Гёте были маленького роста. А Адольф Менцель, великий художник и рисовальщик, был и того меньше! Когда он сидел, думали, что он стоит. А когда вставал, думали, что он садится. Среди великих мужей очень много людей маленьких, так что нечего отчаиваться.

Я очень охотно ходил в школу и за все школьные годы не пропустил ни одного дня. Будто ставил себе целью установить рекорд. Каждое утро с ранцем за плечами я выходил из дому независимо от того, был ли я здоров или охрип, болели у меня гланды или зубы, крутило ли в животе или выскочил на задку фурункул. Я хотел учиться и не потерять ни одного дня. Более серьезные заболевания я откладывал до каникул. Единственный раз я чуть было не капитулировал. В этом виноват был несчастный случай, а произошел он вот как.

В субботу я был на гимнастике, по пути домой забежал к крохотной фрау Штамниц купить воскресный букетик цветов и, войдя в подъезд, услышал, что двумя-тремя этажами выше шваброй моют лестницу. Зная, что очередь на уборку матушки, я, прыгая через две ступеньки, ринулся наверх, громко и радостно крича: «Мама! Мама!», поскользнулся и, все еще крича и потому с открытым ртом, трахнулся подбородком о ступеньку. Ступеньки были каменные. А мой язык — нет.

Это была ужасная история. Я прокусил себе края языка. Большого санитарный советник Циммерман, наш добрейший домашний доктор с бородкой клином, не мог пока ничего сказать, потому что язык у меня ужасно раздулся и забил всю полость рта, будто больщущая клетка. Но клетка адски болезненная и вовсе не вкусная. Не исключено, сказал доктор Циммерман, что раны придется зашивать, ибо язык — мышечный орган, безусловно необходимый как для речи, так и для еды и питья. Зашивать язык! Родители и я чуть не упали в обморок. Да и доктор Циммерман чувствовал себя неважно. Он знал меня с самого рождения и, вероятно, предпочел бы, чтобы вместо меня ему самому залатывали язык иголкой с ниткой. Для начала он предписал постельный режим и настой

ромашки. Ночь прошла мучительно. Во рту едва умещался какой-нибудь десяток капель настоя. Глотать я совсем не мог. А о том, чтобы уснуть, и говорить нечего. Облегчения не наступило и в воскресенье.

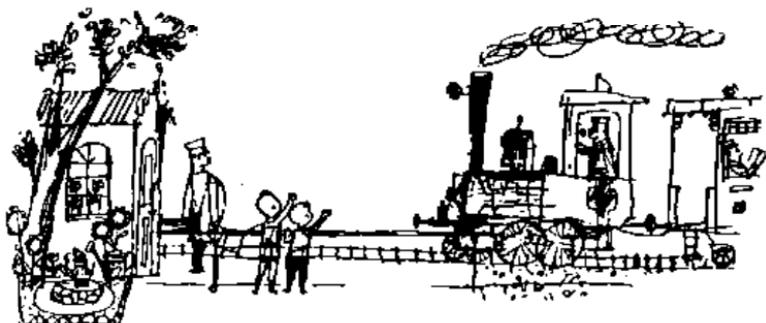
Однако в понедельник утром, с подгибающимися коленками и против воли родителей и врача, я отправился в школу! Никто не мог бы меня удержать. Встревоженная и измученная матушка бежала рядом; в школе она рассказала учителю, что произошло, и просила не спускать с меня глаз, после чего, бросив последний взгляд на мою распухшую физиономию, покинула онемевший от изумления класс.

Язык заживал полтора месяца. Три недели я питался молоком, которое сосал через стеклянную трубочку. И еще три недели питался молоком с крошечными в него сухарями. В большую перемену я сидел один в классной комнате, морщась, глотал и прислушивался к доносившимся ко мне со школьного двора шуму и смеху. На уроках я оставался нем. Иногда, когда никто не вызывался отвечать, я писал ответ на бумажке и относил записку на кафедру.

Язык не пришлось зашивать. Опухоль постепенно спала. Спустя полтора месяца я снова мог есть и разговаривать. Остались два рубца, слева и справа, они у меня сохранились и сейчас. По прошествии десятилетий они сделались меньше и придвинулись ближе к корню языка. Только не требуйте, чтобы я продемонстрировал вам рубцы! Я не показываю язык своим читателям.

Путь к Хеллеру, где мы летом играли, был недалек, и тем не менее путь этот уводил нас от уличной сутолоки в другой мир. Мы собирали чернику. Благоухал вереск. Бесшумно покачивались вершины сосен. Усталый ветер доносил к нам из военной пекарни запах свежего, еще теплого солдатского хлеба. Изредка мимо громыхал по рельсам пригородный поезд в Клоцце. Или двое вооруженных солдат вели с работ в военную тюрьму команду утрюемых арестантов. Они все были в тиковых кителях, фуражках без кокард, и под их неуклюжими сапожищами хрустел песок.

Мы видели, как они переходили полотно у переезда и исчезали в воротах тюрьмы. Некоторые тюремные окна были забраны решетками, другие заколочены темно-коричневыми досками, так что в камеры лишь сверху едва просачивался дневной свет. За обшитыми окнами, как мы знали понаслышке, сидели особо опасные преступники. Они не видели солнца,

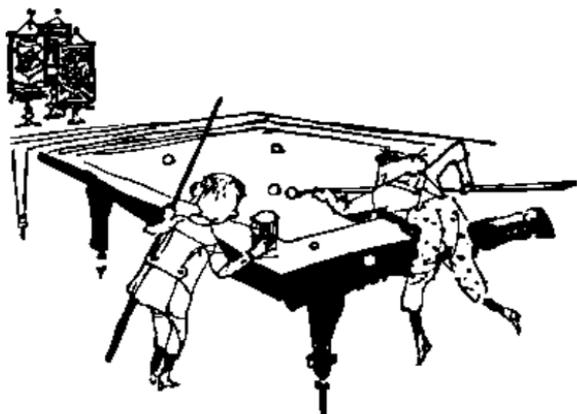


не видели сосен и не видели нас, уставших от игры в индейцев детей среди цветущего вереска. Но, как и мы, они слышали, когда перед будкой путевого сторожа раздавались сигнальные гудки паровозов. Какое такое преступление могли они совершить? Мы никак себе этого не представляли.

Колокольчики вереска и солдатский хлеб благоухали. Но вот раздавался сигнальный гудок паровоза. Поливавший свои цветы путевой сторож надевал служебную фуражку и, став навытяжку, ждал поезда. Поезд пыхтел мимо. Мы махали, пока он не исчезал за поворотом. Потом шли домой. Назад в наши дома-казармы. Нас ждали родители, Кенигсбрюккерштрассе и ужин.

Чаще мы играли в задних дворах, упражнялись на перекладине для выбивания ковров и требовали, чтобы бутерброды к полднику нам бросали из кухонного окна. Это было как в сказке: обернутые в бумагу, они летели штопором вниз и шмякались о деревянную брусчатку. И хотя это были самые обыкновенные бутерброды с ливерной колбасой или свиным смальцем, нам казалось, будто падает манна небесная. Ах, до чего же они были вкусны! В жизни не ел я ничего лучше ни у «Баур о лак» в Цюрихе, ни у Рица в Лондоне. Но ничего не получится, даже если я попрошу шеф-повара впредь бросать мне паштет из гусиной печени с трюфелями из окна кухни на террасу гостиницы. Потому что, даже если он за солидные чаевые и согласится, все равно паштету далеко до тех бутербродов со свиным смальцем.

В дождливую погоду мы играли в подъезде или на сеновале над конюшней мясника Кислинга, где пахло соломенной сечкой, сеном и отрубями. Или мы забирались на козлы



развозочной фуры и, щелкая бичом, с гиканьем и грохотом мчались по прерии. А не то беседовали с бьющим копытом жеребцом в деннике. Иногда мы навещали также отца моего приятеля Густава, владельца мясной лавки, в убойной, где он с подмастерьями орудовал среди деревянных корыт, свиных кишок и чанов для варки колбас. Из всех дней мы предпочитали пятницу. В этот день варили, замешивали и фаршировали свежую кровяную и ливерную колбасу, и нам как знатокам и ценителям разрешалось ее пробовать. Наша оценка, разумеется, гласила: превосходно! Это касалось в равной мере и такой специальной области, как «горячая чесночная колбаса».

И сейчас еще за пишущей машинкой у меня слонки текут. Да что толку. Чесночной колбасы не стало. Она отжила свой век. Даже в Саксонии. Может, мясники моего детства, запрятав рецепт в карманы черных сюртуков, унесли его с собой в могилу? Это было бы великой потерей для цивилизации.

Одно время я увлекался бильярдом. Отец моего школьного товарища неподалеку от Иоханштедской набережной имел пивную. В послеобеденное время там было пусто, отец товарища спал наверху в квартире, а на случай, если какой-нибудь заблудший странник все же зайдет промочить горло, оставалась официантка. Она полоскала за стойкой стаканы, готовила нам сладкое пиво или к простому пиву добавляла малиновый сок и вручала каждому из нас по длинной деревянной ложке-мешалке, после чего мы скромно удалялись в зал для собраний. Там стоял бильярд!

Мы вешали наши курточки на спинки стульев: до крючков нам было не дотянуться. Выпскивали себе у стойки самые маленькие кии и, натирая их мелом, становились на цыпочки. Потому что кии были слишком длинными, не говоря уж о том, что они были и слишком толстыми и слишком тяжелыми. Нелегкое это было занятие. Бильярд был слишком высок и слишком широк. Костяные шары не получали нужного разгона. Если же предстояло особенно тонко срезать шар, мы ложились животом на борт, а ноги у нас болтались в воздухе. Кто желал записать результат на доске, должен был лезть на стул. Мы мучились, как Гулливер в стране великанов, а, по существу, должны бы над собой смеяться. Однако мы отнюдь не смеялись, а, напротив, держались и двигались серьезно и степенно, как взрослые мужчины на среднегерманском чемпионате по бильярду. В этой серьезности и заключалась для нас главная потеха.

Пока в один прекрасный день мы не продырявили зеленое сукно! Не помню уже, кто из нас оказался этим несчастливцем, но что в дорогом сукне зияла большущая треугольная дыра, это я хорошо помню. Тише воды ниже травы, я потихоньку оттуда смылся. А школьный товарищ в тот же вечер, как и следовало ожидать, был собственноручно выпорот прозорливым отцом. Так с нашими бильярдными турнирами и сладким пивом было раз и навсегда покончено. Названия пивной и улицы, даже имя своего школьного товарища я начисто забыл. Оно проскочило сквозь знакомое всем большое решето. Куда? В пустоту, которая остается пустой, сколько бы туда ни проскакивало. Память несправедлива.

...Дети очень любят представлять. Маленькие девочки пеленают своих кукол и бранят их. Маленькие мальчики нахлобучивают на головы алюминиевые кастрюли, стараются говорить басом и мгновенно обращаются в храбрых рыцарей и могущественных императоров. Да и взрослые любят всякие переодевания и маскирады. Особенно в феврале. Тогда они покупают, берут напрокат или шьют себе костюмы, пляшут в виде одалисок, марсиан, негров, апашей и цыганок в бальных залах и ведут себя совсем-совсем по-другому, чем бывает всегда и есть на самом деле.

Этот счастливый дар целиком мне чужд. Как бы я из кожи вон ни лез, мне ее не скинуть. Я могу выдумывать персонажи, но не способен их представлять. Я всей душой люблю театр, но лишь в роли зрителя. И если, собираясь на карнавал, чтобы не портить другим удовольствие, я накле-

иваю себе усы под императора Вильгельма, то стою или сижу в бальном зале как истукан и не участвую в игре, а лишь наблюдаю. То ли я чересчур робок? То ли чересчур трезв? Я и сам не знаю.

Но в конце-то концов должны же существовать и зрители! Если никто не будет сидеть в партере, актерам вообще незачем надевать свои парики и короны. Пусть сразу несут коробки с гримом в ломбард и ищут себе другую работу, где без зрителей можно обойтись. Так что поистине счастье, что существую я и мне подобные!

Моя карьера зрителя началась очень рано и по чистой случайности. Мне было не то семь, не то восемь лет, когда матушка у своей модистки, фрау Венер, познакомилась с некоей фрау Ганс и с ней подружилась. Фрау Ганс была очень импозантной дамой. Наперекор своей фамилии¹ она скорее напоминала лебедя или паву, дружила с одним театральным деятелем и имела двух маленьких дочерей. Старшая была кроткой и на редкость красивой, все больше лежала больная в постели и умерла, кроткая и красивая, еще в детстве. Другую звали Хильдой, она не была ни красивой, ни кроткой, но зато темперамент у нее был как гигантский праздничный фейерверк. Этот бешеный темперамент прямо-таки расpirал ее, он был неукротим и рвался, словно огороженный двумя высокими стенами, к одной-единственной цели: представлять на сцене.

Маленькая Хильда только и делала, что представляла. Есть публика, нет публики—все равно. Публика, когда мы приходили в гости на Курфюрстенштрассе, состояла из четырех лиц: из ее и моей матери, меня и больной сестры. Представление начиналось с того, что Хильда сперва играла кассиршу и продавала нам билеты. Повязав голову платком, она садилась в проеме двери между спальней и гостиной и выдавала нам за соответствующую плату исчерченные каркулями обрезки бумаги. Первые места стоили два пфеннига, вторые—один пфенниг.

Никакой разницы в цене, в сущности, не требовалось. Так как сестра все равно лежала в постели, а остальные трое зрителей никак не могли быть уж настолько неловкими, чтобы друг другу что-то загородить. Но порядок превыше всего, и, выступая в роли билетерши, Хильда неумолимо

¹ Gans—по-немецки «гусь».

отсылала каждого заплатившего только один пфенниг во второй ряд. Как билетерша она выступала уже не в платке, а с белым бантом в волосах.

Как только мы рассаживались, начиналось представление. Труппа состояла всего из одной актрисы — Хильды Ганс. Но это ровно ничего не значило. Она выступала во всех амшпау. Она играла старух, детей, ведьм, фей, убийц и наивных девушек. Все переодевания и превращения происходили на открытой сцене. Она пела, прыгала, плясала, смеялась, кричала и плакала так, что в гостинной все дрожало. Нет, билеты не стоили слишком дорого! Потраченные нами деньги окупались с лихвой! И время от времени к нам из спальни доносился сбивающийся на кашель ломкий смех кроткой больной сестры.

Друживший с фрау Ганс, матерью молодой артистки, театральный деятель, в прошлом сам известный артист, был связан с дирекцией обеих сцен дрезденского Народного дома. Одна сцена называлась «Зеленым театром» и, огороженная высоким некрашеным деревянным забором, находилась под открытым небом в лесу. Тут играли три вечера в неделю. Зрители сидели полукругом на грубых деревянных скамьях и наслаждались сказками, грубоватыми пьесами из народного быта, комедиями и фарсами. Пахло сосновой хвоей. По чулкам взбирались муравьи. Безбилетники высовывали носы поверх ограды. Лето мурлыкало на солнце, как кошка.

Иногда надвигались черные тучи, и мы озабоченно поглядывали на небо. Иногда ворчал гром, и актеры возвышали голос против подло громогласного и все громче заявлявшего о себе конкурента. А иногда тучи разрывались, сверкали языкастые молнии, и в последнем акте хлестал дождь. Тогда мы спасались бегством, да и актеры спешили сами укрыться и укрыть свои костюмы. Природа одерживала верх над искусством.

Набросив на голову плащи, мы стояли под раскидистыми деревьями. Они гнулись от ветра. Я прижимался к матушке, пытался угадать, чем кончается пьеса, которую по злобе не дала нам досмотреть гроза, мок и становился всё мокрей.

Другая сцена Народного дома, не зависящий от гроз и погоды закрытый зал, находилась в Трабантенгассе. И здесь мы были завсегдатаями. И здесь регулярно шли представления. И здесь-то маленькая Хильда Ганс впервые вышла сама на подмостки! В сценической переработке замечательной сказки Гауфа «Карлик Нос» она играла заглавную роль! Играла в красном парике, с огромным наклейным носом,

горбом на спине, голосом-фистулой и таким темпераментом, что покорила публику. Да и мы с матушкой, давние поклонники Хильды Ганс, были в восторге. Что ж говорить о гусыне, то бишь мамаше Ганс!

Этот триумф окончательно и бесповоротно решил судьбу моей подружки Хильды. Еще ребенком она сделалась профессиональной актрисой, училась петь и выступала в ролях субреток. И так как, особенно для певицы, фамилия Ганс звучала не слишком привлекательно, то с того времени она стала именоваться Инге фон дер Страатен. Почему она не сделалась знаменитой, не знаю. Жизнь своеирравна.

Вскоре дрезденские театры стали мне родным домом. И отец часто садился ужинать один, потому что мы с матушкой, как правило, на стоячих местах, поклонялись музе Талии. Сами мы ужинали во время большого антракта. Где-нибудь в уголке на лестнице. Там мы разворачивали булочки с колбасой. А потом аккуратно сложенная бумага из-под бутербродов опять исчезала в матушкиной коричневой сумке.

Мы ходили в Альберттеатр, в Королевский драматический и в оперу. Часами стояли на улице, дожидаясь открытия кассы, чтобы достать самые дешевые билеты. Если нам это не удавалось, мы шли домой как побитые, будто проиграв сражение. Но мы проигрывали немного сражений. Мы завоевывали наши места на галерке ловкостью и терпением. И держались стойко. Кто в буквальном смысле слова выстоял однажды всего «Фауста»¹ или оперу Рихарда Вагнера, тот не откажет нам в признании. Один-единственный раз матушке сделалось дурно, это случилось в жаркий летний вечер на представлении «Мейстерзингеров»². Так неожиданно-негаданно нам достались два сидячих места на ступеньках последнего яруса, и мы хотя бы услышали торжество на праздничном лугу.

Моя любовь к театру была любовью с первого взгляда и останется любовью до последнего вздоха. А в промежутке я писал театральные рецензии, иногда пьесы, причем мнения по поводу этих моих попыток вполне могут расходиться. Но от одного я никогда не отступлюсь: как зритель со мной никто не сравнится.

¹ «Фауст» — опера французского композитора Ш. Гуно (1818—1893).

² «Нюрнбергские мейстерзингеры» — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883).



Глава девятая ОБ АРИФМЕТИКЕ ЖИЗНИ

Первые школьные годы текли тихо и мирно. Учителю Бремзеру не приходилось чересчур на нас сердиться, да и мы были им вполне довольны. Перед пасхальными каникулами торжественно вручались табеля с отметками. Родителям разрешалось при этом присутствовать, и, чтобы их порадовать, мы пели детские песенки и декламировали стихи из хрестоматии. Поскольку я тогда в особо парадных случаях надевал бархатный костюмчик и как мастер художественного чтения, по-видимому, был незаменим, взрослые, лишь только я вставал и шел на середину зала, улыбаясь, кивали друг другу и перешептывались: «Бархатные штанишки опять тут как тут». Бархатные штанишки—это был я. А фрау Кестнер, которую распирала гордость, сидела, неестественно выпрямив спину. В отличие от меня она несколько не волновалась и даже мысли не допускала, что я могу сбиться. И, как всегда, оказывалась права. Я не сбивался. Отметки были, как всегда, отличные. И по пути домой мы заходили в кондитерскую, и матушка угощала меня миндальным пирожным, слойкой и горячим шоколадом. (Знаете, что такое слойка? Не знаете? Эх вы, бедняги!)

Поскольку я собирался и должен был стать учителем, предстояло заблаговременно о многом подумать. И было заблаговременно подумано. За подготовку придется платить. За годы пребывания в интернате придется платить. За школу придется платить. За уроки музыки придется платить. И за сам рояль тоже придется платить. Рояль стоил тогда, я и сейчас еще помню, «подержанный из первых рук», восемьсот марок. Целое состояние!

Отец давно уже начал дома, после работы, чинить родным и соседям сумки и портфели, ставить подметки, латать ранцы и чемоданы и, к восторгу своих клиентов, тачать нервущиеся кошельки и бумажники. С сигарой в зубах он сидел на табуретке возле кухонного окна и без усталости орудовал



железными и деревянными гвоздиками, шкуркой, дратвой, потягом, воском, шилом, иглой, молотком, клещами, лапой, сантиметром и ножом, а на плите рядом с супом грелся в горшке клей. Знаете ли вы, как пахнет кипящий и булькающий сапожный клей? Вдобавок еще на кухне? Для седельника или обивщика он, может, ароматнее розовой воды, но для хозяйки, которая стоит у плиты и вечером стряпает обед на завтра, он воняет, как тысяча невымытых чертей! Суп с лапшой, говядина, белые бобы, чечевица — что бы она ни готовила, заявила матушка, все пахнет и на вкус отдает клеем. Нет, с нее хватит!

Так отца изгнали из кухонного рая. Он отправился в ссылку. С того времени, в вязаной кофте и толстых войлочных туфлях, он по вечерам сидел внизу в подвале, в дощатом закутке, где у нас хранились уголь, брикеты и картошка. Здесь помещалась теперь его мастерская. Здесь вился теперь дымок его ситары. И здесь же, внизу, с того времени грелся и пузырился на спиртовке клей. И клей и отец с той поры чувствовали себя свободней.

Здесь же, внизу, отец уже на восьмом десятке, пустив в ход дюжины горшков с клеем, смастерил натуральной величины лошадь! Лошадь со стеклянными глазами, но с настоящей гривой и настоящим хвостом, а уж на седло и наборную уздечку приходили с благоговением любоваться все соседи. На этой лошади — ниже холки ею можно было управлять, так как, скрытые под попоной, у благородного животного были две пары колес на резиновом ходу, — на этом гордом скакуне отец намеревался участвовать в карнавальном шествии. К сожалению, ничего из его затеи не получилось. Потому что мотор этой лошади — тоже уже семидесятилетний давний отцовский приятель, который, спрятанный под попоной, должен был катить лошадь и всадника, — захворал гриппом. Так прекрасный план сорвался. Но отец и это разочарование перенес со свойственным ему терпением. В его исполненной терпения жизни у него лопалось терпение в редчайших случаях. Он всегда мастерски работал и почти всегда мастерски улыбался. Причем не утратил этой способности и по сей день.

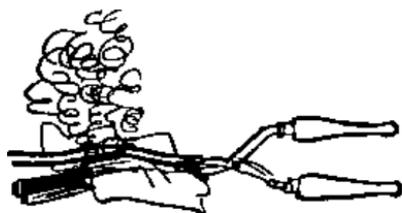


Когда я был маленьким, отец и не думал мастерить лошадей в натуральную величину. Он думал лишь о том, как бы побольше заработать денег, чтобы я мог стать учителем. И он работал и зарабатывал сколько мог, но денег все равно недоставало.

Поэтому матушка решила обучиться какому-нибудь ремеслу. А уж если матушка что решала, никто не осмеливался становиться ей поперек дороги. Ни случай, ни судьба не дерзнули бы на такое! Ида Кестнер, ей тогда было уже под сорок, решила овладеть ремеслом и овладела им. Ни она, ни судьба даже глазом не моргнули. Величие человека не зависит от величия его дел. Это элементарнейшее и основное правило арифметики жизни. Только в школах о нем редко упоминают.

Матушка хотела, несмотря на свой возраст, пойти в ученицы, выучиться парикмахерскому ремеслу и стать самостоятельным парикмахером. Не с собственным заведением, это встало бы слишком дорого. Но получить право причесывать, завивать, мыть голову и делать шведский массаж на дому. Старшина цеха, к которому она обратилась, возражал и привел кучу доводов. Но она ни одного не признала и тем самым отмела все. Кончилось тем, что ее направили к господину Шуберту, известному дамскому парикмахеру на Штреленерштрассе. Тут она с жаром и талантом обучалась всему, чему следовало обучиться, и неделями приходила домой лишь вечером, после закрытия парикмахерской. Приходила усталая и счастливая.

В ту пору я был почти целиком предоставлен самому себе. В полдень я за пятьдесят пфеннигов обедал в Народном доме. Там было самообслуживание, и столовый прибор, который полагалось приносить с собой, я извлекал из ранца. Вернувшись, я, брэнча матушкиной связкой ключей, изображал хозяина дома: приготовив уроки, шел за покупками, приносил из подвала дрова и уголь, накладывал в печь брикеты, заваривал и пил с учителем Шуритом кофе, когда тот возвращался домой, а пока он, улетшись на зеленый диван, похрапывал, шел гулять во двор. После его ухода я мыл и



чистил картошку, всякий раз ухитряясь немножко порезаться, и читал до наступления темноты.

Или я отправлялся через весь город к Шуберту за матушкой. Если, боясь опоздать, я приходил слишком рано, то

наблюдал, как она крутила в воздухе щипцами для завивки и пробовала их сперва на клочке папиросной бумаги, а затем уже на метровых волосах клиенток. Женщины тогда еще носили длинные волосы, у иных они доходили до коленей! В парикмахерской пахло духами и березовой водой. Клиентки не отрываясь смотрели в зеркало и следили за прической, которая под матушкиными ловкими руками с помощью накладок, бриллиантина и шпилек-невидимок вырастала на глазах. Иногда мастер Шуберт в белом халате останавливался возле ученицы и ее жертвы, хвалил или что-то подправлял, с каждым днем все более и более довольный ею.

Наконец он уведомил цех, что практикантка обучилась у него всему, что требуется, проявила в своей работе много вкуса и изобретательности и что он, как мастер и обладатель золотых и серебряных медалей, рекомендует допустить заявительнице к работе. А вслед за тем фрау Ида Амалия Кестнер, урожденная Августин, получила свидетельство, в котором «вышепоименованной» разрешалось называться и самостоятельно работать парикмахером. В тот же вечер я принес из ресторации «Встреча сивилл» на Иорданштрассе два литра простого пива, и мы на славу отпраздновали победу.

Под парикмахерскую за неизмением другого места приспособили левый передний угол спальни. Оборудовали его стенным зеркалом, лампой, раковиной, подключением для сушильного аппарата и кронштейнами, чтобы нагревать щипцы для завивки. От горячей воды мужественно пришлось отказаться: это обошлось бы слишком дорого. Обеспечение горячей водой для мытья головы — она грелась на газу в кухне — лежало на мне, и в последующие годы я, наверно, перетаскал из кухни в спальню тысячи кувшинов.

Надо было приобрести щетки и гребни, махровые и ручные полотенца, жидкое мыло, туалетную воду, бриллиантин, шпильки, заколки, сетки для волос, накладки и помаду для массажа. Раздавались проспекты. На двери дома прибили фарфоровую вывеску. Отпечатали абонементы на прическу и массаж головы. Да, много о чем пришлось подумать!



А в заключение на день-два тете Марте еще пришлось подставить голову: старшая сестра завивала, массировала, причесывала младшую, пока обе от усердия и смеха едва дышали. У одной болела рука, у другой — голова. Но такая генеральная репетиция была необходима. Премьер без генеральной репетиции не бывает. Лишь после того может являться публика. И публика явилась.

Булочница фрау Вирт и булочница фрау Цише, супруга мясника фрау Кислинг и зеленщица фрау Клетш, жены жестянщика, торговца велосипедами и столяра, владельцев цветочного, аптекарского и писчебумажного магазинов, дражайшие половины портного Гросхеннига, торговца бельем и галантереей Кюне, ресторатора, фотографа, провизора, виноторговца, угольщика, собственника прачечной Бауэра, а также владелица молочной, дочери всех этих дам, заведующие отделениями и продавщицы — все валом повалили к нам. Во-первых, им полагалось хорошо выгладеть за прилавком. Во-вторых, в нашем районе было мало дамских парикмахерских. В-третьих, мы сами у них покупали, и, в-четвертых, матушка работала отлично и брала недорого.

Работы у матушки было сверх головы. Дело процветало. И сплошь и рядом мне приходилось следить, чтобы обед на плите окончательно не выкипел. «Ешь, не жди меня, Эрих!» — кричала она из спальни. Но я ждал, прикручивал пониже пламя горелок, подливал в кипящие кастрюли воды, готовил сковороду, накрывал в кухне на стол и читал, пока после нескончаемых разговоров клиентки и многоуважаемой парикмахерши не хлопала наконец в коридоре входная дверь.

Многоуважаемая парикмахерша работала и вне дома. Тогда она укладывала свои инструменты вместе со спиртовкой в портфель и беглым шагом отправлялась, если нужно, в самые отдаленные концы города. Эти служебные форсированные марши совершались в первую очередь ради клиенток, имевших «постоянный абонемент». Они заслуживали особого внимания, так как на них в конечном счете держалось все

дело. Они ведь платили вперед сразу за десять — двадцать причесок или массажей! Среди абоненток числилась супруга богатого ювелира, но также совсем бедная разносчица, она-то мне и запомнилась всех лучше.

Звали ее фройляйн Иенихен, жила она на Турнервег, в неприятной комнате над трактиром, и не могла сама приче-саться, потому что была калекой. Руки у нее, как, впрочем, и ноги да и все тело, были скрючены, искривлены, скособочены. Никто не заботился о несчастной. И вот с тяжелым коробом за спиной, опираясь на короткий и длинный костыли, она, хромая, ковляла по деревням. Стучала в крестьянские дома и предлагала всякие нужные в хозяйстве мелочи: пуговицы, ленты, английские булавки, тесемку, шнурки для ботинок, фартуки, оселки, зажигалки, шелковые нитки, шерстяную пряжу, вязаные скатерки, перочинные ножики, карандаши и многое другое. И именно потому, что бедняжка так отпугива-юще выглядела, она особенно старалась быть всегда красиво причесанной.

Уже в шесть утра матушка выходила из дому. Я часто сопровождал ее, словно ей оттого легче будет вынести за-тхлый воздух комнатенки и вид этой злосчастной калеки. Полчаса спустя мы помогали фройляйн Иенихен взвалить на плечи тяжелый короб на широких кожаных лямках. И, опираясь на свои разные костыли, она вперевалку тащи-лась на Нойштадтский вокзал, отку-да в пригородных поездах ездила в деревню. Мы видели, как, сгорблен-ная, раскачиваясь из стороны в сторону, она ковляла вдоль желез-нодорожной насыпи в свежести раннего утра — ей требовалось в де-сять раз больше времени, чем дру-гим людям, которые ее обгоняли. Издали казалось, что хромоножка топчется на одном месте.



...Очень важны были также для нас, если говорить о доходе, свадьбы. Тут уж предстояло причесать на квартире родителей невесты десять, двенадцать, а то и пятнадцать особ женского пола: подружку невесты, ее мать, свекровь, сестер, теток, приятельниц, бабушку и золовок и прежде всего, конечно, саму счастливую невесту. Квартиры были маленькие. Кутерьма — большой. Пили сладкое южное вино. На кухне пригорал пирог с творогом. Портниха с подвенечным платьем являлась поздно. Невеста рыдала. Жених являлся рано. Невеста рыдала еще пуще. Отец невесты чертыхался, он никак не мог найти шкатулку с запонками. Разодетые в тафту и шелк дамы без умолку трещали. «Фрау Кестнер!» — звали из одного угла. «Фрау Кестнер!» — звали из другого. А фрау Кестнер тем временем прилаживала фату и, так как фата оказывалась чересчур длинной, ножницами отхватывала полметра белого тюля.

Перед домом останавливались свадебные кареты. Жених с дружкой, грохоча, спускались по лестнице с бутылками пива, чтобы кучера не соскучились ждать. Но и это был не лучший выход. Господин пастор у брачного алтаря дожидаться не станет. Свадьбы играют не только у Мюллеров, но и у Шульцев, Мейеров и Грундманов. Где букеты и корзиночки с цветами, которые будут разбрасывать дети, и куда подевались сами дети? Конечно, они на кухне и, конечно, все перемазались какао! Где жидкость для выведения пятен? Где картонка с цилиндром? Где миртовые бутоньерки? Где молитвенники?

Наконец входная дверь захлопывается. Наконец кареты едут в церковь. Наконец в квартире пусто. Почти пусто! Соседка, обещавшая присмотреть за жарким, начинает составлять столы и стулья и накрывать к свадебному пиру. Камчатные скатерти. Мейсенский с голубой росписью фарфор. (Я называл его «фанфор».) Серебро-альпака¹. Цветные хрустальные бокалы дудочкой. И по скатерти искусно разбросанные цветы.

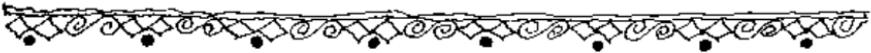
А тем временем матушка, сидя за кухонным столом — ноги и руки у нее гудели от усталости, — выпивала чашку настоящего кофе, пробовала пирог, заворачивала кусок для меня, совала в свою большую сумку и подсчитывала заработанные деньги и чаевые. Все кости ломило. В голове шум и звон. Но свадьба стояла того. Можно уплатить следующий

¹ Альпакá — сплав меди, цинка и никеля, похожий на серебро.

взнос за рояль. А также за следующий урок у фройляйн Курцхальц.

Фройляйн Курцхальц жила со своими родителями в том же доме, что и мы, но двумя этажами выше. И, к сожалению, была очень мною недовольна. И, к сожалению, вполне справедливо. Дорогая, отделанная золотом звучащая машина стояла ведь в кабинете учителя Шурига! Когда он находился в своей школе, я находился в моей школе. Когда я был дома, и он большей частью бывал дома. Когда же, спрашивается, мне было по-настоящему упражняться? С другой стороны, если я хотел стать учителем, мне, кровь из носу, надо было обучиться таинственной черно-белой магии клавиш!

В тяжелые минуты у меня оставалось одно слабое утешение. Пауль Шуриг тоже отвратительно играл на рояле. И тем не менее он стал учителем, так что вот!



Глава десятая

ДВЕ РОКОВЫЕ СВАДЬБЫ

Самая странная свадьба, какую я помню, запечатлелась у меня в памяти потому, что она вообще не состоялась. И вовсе не оттого, что жених перед алтарем уперся или улизнул из церкви. А оттого, что никакого жениха и не было вовсе! Но лучше я расскажу все по порядку.

Однажды к нам явилась старая дева по фамилии Штремпель, рассказала, что в ближайшую субботу венчается в церкви Сент-Паули, и просила матушку прийти к восьми часам утра. На Оппельштрассе, дом 27, третий этаж, слева. Предстоит причесать к торжеству десять голов. Свадебная карета и пять пролетов уже заказаны. Угощение доставит ресторан гостиницы «Бельвю» с пломбирной бомбой на десерт и официантом во фраке. Фройляйн Штремпель закатывала глаза и восторгалась, как гимназистка. Мы поздравили ее, а когда она ушла, поздравляли себя. Однако поздравлять было рано.

Когда в субботу я вернулся из школы, матушка сидела на кухне убитая и с заплаканными глазами. Она ровно в восемь позвонила на третьем этаже слева в доме 27 на Оппельштрассе, там на нее в недоумении уставились и раздраженно отчитали. Никакая фройляйн Штремпель здесь не проживает и в церкви Сент-Паули никто в полдень венчаться не собирается!

Может, матушка неправильно пометила себе номер дома? Она спрашивала в соседних лавках. Звонила в другие двери. Перевернула вверх дном всю Оппельштрассе. Никто такой знать не знал. И никто не собирался причесываться, а тем более в полдень венчаться. Среди тех, кого она расспрашивала, попадались и люди услужливые, но настолько любезным не оказался никто.

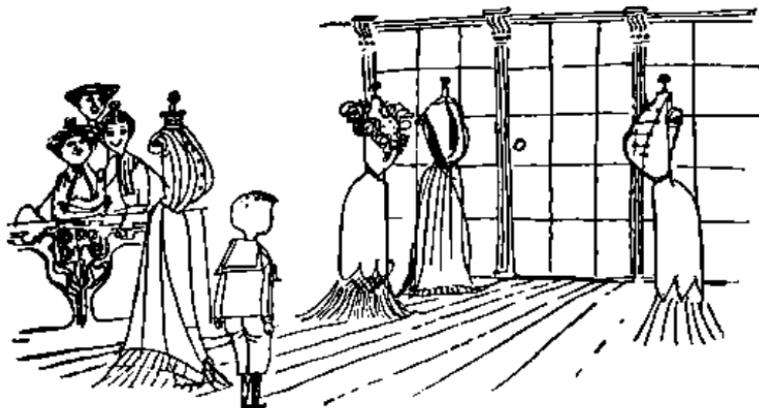
И вот мы сидели на кухне и терялись в догадках. Что нас провели, мы понимали. Но почему эта особа нас надула? Почему? Она навредила матушке, но какая ей-то от этого польза?

Недели две спустя я ее встретил! Мы шли с Густавом Кислингом из школы, и она прошла мимо, не узнав меня. Она, видимо, торопилась. Нельзя было терять ни минуты. Сейчас или никогда! Я скинул с себя ранец, отдал его товарищу, шепнул: «Отнеси моей матери, скажешь, что я сегодня запоздаю!» — и помчался за ней. Густав, вытаращив глаза, посмотрел мне вслед, пожал плечами и, как верный друг, отнес ранец к Кестнерам. «Эрих сегодня запоздает», — передал он. «Это почему еще?» — спросила матушка. «Право, не знаю», — ответил Густав.

А я тем временем изображал из себя сыщика. Поскольку фройляйн Штремпель, которую, по всей вероятности, вовсе не звали Штремпель, меня не узнала, это не представляло труда. Мне незачем было прятаться. Незачем было подвязывать себе фальшивую бороду. Да и откуда бы я ее взял? Надо было только следить за тем, чтобы от нее не отстать. Но даже это оказалось не такой простой задачей, потому что фройляйн Штремпель или Нештремпель торопилась, шла ходким шагом, а ноги у нее были длинные. Мы быстро продвигались.

Площадь Альберта, Хауптштрассе, Нойштадтский рынок, мост Августа, Шлоссплатц, Георгентор, Шлосштрассе — да когда же этому будет конец! И вдруг конец наступил. Обманщица повернула налево, на Альтмаркт, и исчезла за стеклянными дверьми Шлезингера и К°, фирмы готового дамского платья. Набравшись духу, я последовал за ней. Я и представления не имел, как поступлю. Директор, заведующие и продавщицы на меня уставились, и я чувствовал себя страшно неловко. А главное, что толку? Обманщица пересекла зал нижнего этажа, отдел верхнего платья. Я за ней. Поднялась по лестнице на второй этаж, отдел костюмов, прошла и этот зал насквозь, стала опять подниматься. Я за ней. Она ступила на третий этаж, отдел летнего и детского платья, подошла к стенному зеркалу, отодвинула его... и исчезла! Зеркало, пропустив ее, стало на старое место. Прямо как в «Тысяче и одной ночи»!

А я так и остался стоять среди прилавков, зеркал, передвижных гардеробов и незанятых продавщиц, от страха и сознания ответственности не двигаясь с места. Если б по крайней мере тут находились покупательницы, что-то мерили, выбирали! Но время было обеденное, и все они дома, а не у Шлезингера. Продавщицы начали уже подсмеиваться. Одна ко мне подошла и озорно спросила:



— Как насчет элегантного летнего платьица для молодого человека? У нас сейчас в продаже чудесных рисунков крепдешии. Не соблаговолите ли пройти в примерочную кабину?

Остальные девушки, прикрыв рот рукой, давились со смеху. Дуры такие! Но как это фройляйн Нештремпель исчезла за зеркалом? И где она сейчас? Я стоял как на угольях. Минута может тянуться бесконечно.

А ко мне уже приближалась новая мучительница! Она сняла с вешалки цветастое платье, приложила его мне под подбородок и, оценивая прищурив глаза, протворила:

— Вырез отлично подчеркивает вашу прекрасную фигуру!

Девушки покатывались с хохоту. Я обозлился, покраснел. Тут появилась пожилая дама, и на этаже разом воцарилась мертвая тишина.

— Что ты здесь делаешь? — строго спросила она.

Так как ничего лучшего мне не пришло в голову, я ответил:

— Ищу свою маму.

Одна из девушек воскликнула:

— Среди нас ее нет! — И смех возобновился.

Даже старая дама осклбила лицо.

В этот миг зеркало бесшумно отошло в сторону, и из-за него выступила фройляйн Нештремпель. Без пальто и шляпы. Она пригладила волосы, сказала остальным: «Добрый день!», и встала за прилавок — она служила у Шлезингера на третьем этаже продавщицей! Я кинулся вниз по лестнице. Надо разыскать директора. Предстоял мужской разговор!

Выслушав мой рассказ, директор велел мне подождать, поднялся на третий этаж и несколько минут спустя вернулся с фройляйн Нештремпель. Она снова была в пальто и шляпе. И смотрела сквозь меня, словно я был из стекла.

— Слушай меня внимательно,— сказал директор.— Фройляйн Ницше сейчас вместе с тобой отправится к вам. Она договорится с твоей матерью и в рассрочку возместит ей нанесенный ущерб. Здесь на записке адрес фройляйн Ницше, спрячь его и передай матери. В случае чего, она может в любое время обратиться ко мне. Всего доброго!

Стеклянные двери качнулись вперед-назад, и мы с фройляйн Штремпель, которую звали Ницше, очутились на площади Альтмаркт. Не удостоив меня взглядом, она свернула на Шлоссптрассе, и я повернул следом за ней. Это был ужасный путь. Я победил, но чувствовал себя премемерзко. Я казался себе одним из тех вооруженных солдат, которые на Хеллере конвоировали заключенных. Я и гордился и стыдился. То и другое одновременно. Такое бывает. Шлоссптрассе, Шлоссплатц, мост Августа, Нойштадтский рынок, Хауптштрассе, площадь Альберта, Кенигсбрюкерштрассе— и все время она шла, прямая как палка, передо мной. А я все время держался за ней на расстоянии пяти шагов. Даже на лестнице. Перед нашей дверью она отвернулась к стене. Я трижды позвонил. Мать бросилась к двери, распахнула ее и закричала:

— Хотела бы я знать, почему ты...— Но тут она заметила, что я не один, и увидела, кого я привел.— Прошу, фройляйн Штремпель,— сказала она.

— Фройляйн Ницше,— поправил я.

Они пришли к соглашению. Договорились, что фройляйн Ницше расплатится частями в трехмесячный срок, и со справкой матушки в сумке она возвратилась к Шлезингеру и К°. Она держалась стойко. Потерю денег еще можно бы вынести. И все-таки это была катастрофа. Мы узнали об этом впоследствии. Со всех сторон являлись кредиторы. Ресторан, вино торговец, прокатная контора, приславшая карету, цветочный и бельевой магазины— все считали, что понесли убытки, и все требовали хотя бы частичного их возмещения. И фройляйн Ницше всем выплачивала. Выплачивала месяцами.

К счастью, она сохранила свое место у Шлезингера. Она была хорошей продавщицей. И потом, управляющий понял

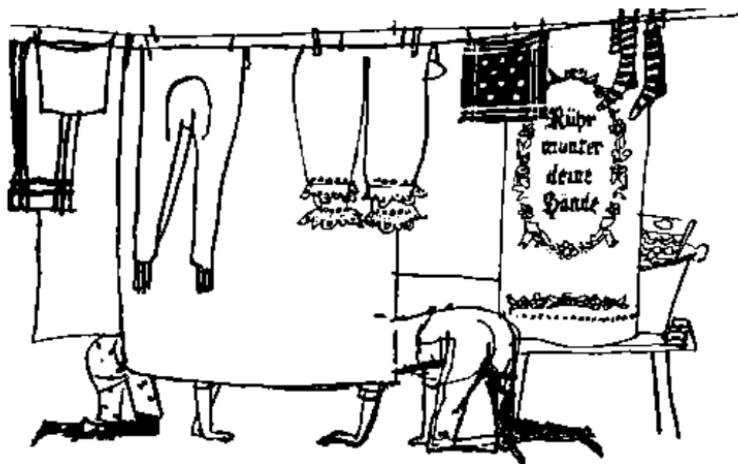
то, чего я еще понять не мог. Стареющая девица не находит себе мужа и хочет замуж, и, так как ничего у нее не получается, она выдумывает себе свадьбу. Дорого стоившая мечта. И мечта напрасная. И когда фройляйн Ницше пробудилась, то долгие месяцы за нее расплачивалась, с каждым месячным взносом старясь на целый год. Иногда мы встречались с ней на улице. И отводили взгляд. Мы оба были правы и не правы. Но я был в лучшем положении. Она расплачивалась за развешенную мечту, ну а я был маленьким мальчиком.

Другая свадьба, которая мне запомнилась, принесла нам еще большую беду, хоть и не была неудавшейся мечтой, а состоялась по всем правилам. На этот раз жених был не выдуманный. Он действительно существовал и не предпринял никаких попыток к бегству. Но дом родителей невесты и церковь находились в Нидерпойрице, далеко за городом, в долине Эльбы, а зимний день между рождеством и Новым годом выдался неприветливый, суровый и лютото холодный.

Я ждал в трактире. Сидел, ел, читал, и часы отнюдь не бежали. Они вяло ползли, еле кружась вокруг раскаленной печурки. За окном расстилалась серо-белая голая равнина, и ветер мел поля, будто пьяный батрак. Швырял старьё, заледенелый снег из одного угла в другой. Поднимал его пылью в воздух и выл и гоготал так, что дребезжали стекла. Время от времени я смотрел в окно и думал: «Так должно быть в Сибири!» Но это было всего-навсего в Нидерпойрице возле Дрездена на Эльбе.

Когда часов через пять матушка зашла за мной, она до того устала, что не решилась даже присесть отдохнуть. Она торопила с отъездом. Хотела скорей домой. И мы тут же пустились в дорогу. В дорогу без дорог. Среди бела дня — без света. Мы проваливались в сугробы. Вьюга набрасывалась на нас со всех сторон, сбивала с ног. Мы держались друг за дружку. Промерзли до костей. Руки онемели. Ноги стали как деревянные. Нос и уши белые.

Мы были уже у самой остановки, как у нас из-под носа ушел трамвай, хоть мы и кричали и махали. Следующий подошел лишь через двадцать минут. Вагон был нетопленный и весь залеплен снегом. Всю долгую поездку мы молча и неподвижно сидели друг подле друга и стучали зубами. Дома



матушка слегла в постель и два месяца не вставала. У нее были сильные боли в коленных суставах. Санитарный советник Циммерман говорил что-то о воспалении слизистой сумки и предписал горячие, только что не на крутом кипятке компрессы.

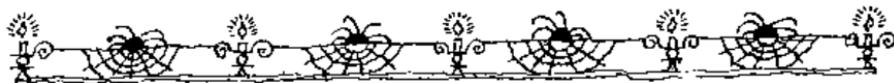
На эти два месяца я превратился в сиделку, ошпарил себе руки и присыпал их картофельной мукой. Превратился в повара и днем, вернувшись из школы, готовил омлеты, рубленые бифштексы, жареную картошку, рисовые и лапшовые супы с мясом, почками и кореньями, чечевичу с сосисками и даже тушеную говядину в горчичной, с изюмом подливе. Превратился в официанта и гордо и неукложе подавал матушке в кровать свои пересоленные, переваренные и пригоревшие творения. Вечером я накрывал учителю Шуригу на стол, ставя все больше холодные закуски, и, случалось, тайком отхватывал себе кусочек колбасы. Нам самим на ужин я приносил в судках еду из Народного дома, и, когда отец возвращался с чемоданной фабрики, мы ее подогревали. Поужинав, мы мыли посуду, и Пауль Шуриг помогал нам вытирать. Тарелки и чашки так звенели и гроыхали, что матушка в спальне то и дело подсакивала.

Иногда мы даже брались стирать и вешали белье на протянутую через всю кухню веревку. Потом, пригнувшись, как индейцы на военной тропе, пролезали под и между сочащимися платками, рубашками, простынями, полотенцами и подштанниками, каждые четверть часа шупая, не

просохло ли наконец белье. Но оно не давало себя подгонять, и нам то и дело приходилось тряпкой подтирать лужи, чтобы на линолеуме не осталось пятен.

Это было настоящее холостяцкое хозяйство. И матушка страдала не только от боли в коленях, но также и за нас. Она боялась за посуду. Боялась, что клиентки изменят ей и уйдут к конкурентам. Это третье опасение было не лишено оснований. На Эшенштрассе открылась дамская парикмахерская, и парикмахер уже начал обходить окрестные лавки с визитами. Нельзя было мешкать.

Санитарный советник Циммерман заявил, что пациентка еще больна. Пациентка утверждала, что здорова. И тут уж не могло быть сомнений относительно того, кто из двух окажется прав. Матушка, стиснув зубы, встала с постели, передвигалась по комнате, незаметно держась за столы и стулья, и была здорова. Я побежал из лавки в лавку сообщить радостную весть. Конкуренцию отбили. Хозяйство опять пришло в порядок. И жизнь потекла по-старому.



Глава одиннадцатая

У РЕБЕНКА ГОРЕ

На свете много умных людей, и порой они бывают правы. Но правы ли они, утверждая, будто ребенок непременно должен иметь братьев и сестер, иначе, вырастая в одиночестве, он избаловывается и на всю жизнь делается неподдающимся, я не уверен. И умным людям следует остерегаться обобщений. Дважды два всегда и всюду четыре: в Джакарте, на острове Рюген, даже на Северном полюсе; и было четыре еще при императоре Фридрихе Барбароссе. Но со многими другими утверждениями дело обстоит по-другому. Человек не арифметический пример. Что верно для маленького Фрица, не обязательно правильно для маленького Карла.

Я был единственным ребенком в семье, и меня это вполне устраивало. Я не избаловался и не чувствовал себя одиноким. У меня же были друзья! Мог бы я любить брата больше, чем любил Густава Кислинга, или сестру нежнее, чем свою кузину Дору? Друзей мы находим себе сами, а братьев и сестер — нет. Друзей мы выбираем по своей воле и если видим, что ошиблись, то можем и расстаться. Отсекать привязанность очень больно, и для этого не существует наркоза. Но сама операция возможна и заживление сердечной раны тоже.

С братьями и сестрами обстоит иначе. Мы их себе не выбираем. Их доставляют на дом. Они прибывают наложенным платежом, и обратно их не отошлешь. Судьба не присылает нам братьев и сестер на пробу. Но, к счастью, они могут стать и друзьями. Часто они остаются только братьями и сестрами. Иногда становятся врагами. На эту тему жизнь и романы рассказывают немало прекрасных и трогательных, но также печальных и страшных историй. Об иных я слышал, другие читал. Но судить не берусь, потому что был, как сказано, единственным ребенком и меня это устраивало.

Лишь раз в году я жаждал иметь братьев и сестер: в сочельник. А на первый день рождества, по мне, пусть бы улетали, но, так уж и быть, после жареного гуся с клецками,

красной капустой и салатом из сель-дерей. Я даже уступил бы им собственную порцию и сам ел гусиные потроха, лишь бы в вечер 24 декабря не быть одному! Половину подарков бы им отвалил, а подарки в самом деле были прекрасные!



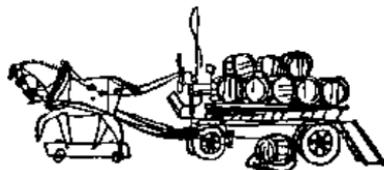
Но почему именно в этот вечер, самый лучший для ребят вечер в году, я не хотел оставаться один и быть единственным ребенком? Я боялся. Меня страшила раздача подарков! И страх свой я к тому же не должен был показывать. Не мудрено, что вам это пока непонятно. Я долго раздумывал, говорить об этом или нет. И я решил сказать! Значит, мне надо объяснить вам.

Мои родители из любви ко мне меня друг к другу ревновали. Они старались это скрывать, и часто им это удавалось. Но в лучший день в году им это удавалось плохо. Обычно ради меня они, насколько могли, держали себя в руках, но в сочельник они не очень-то могли. Это было свыше их сил. Я все это знал и должен был ради нас всех делать вид, будто ничего не замечаю.

Неделями подряд отец полночи просиживал в подвале, сооружая, например, чудо-конюшню. Он вырезал и приколачивал, клеил и красил, вырисовывал надписи, тачал и шил крохотные уздечки, вплетал ленты в конские гривы, наполнял кормушки сеном, но постоянно при свете коптящей керосиновой лампы ему приходило в голову что-то новое — еще какая-нибудь щеколда, еще какой-нибудь крючок, еще какая-нибудь метла, какой-нибудь ларь с овсом, пока он, наконец, с довольной ухмылкой не решал: «Ну, такого никому больше не сделать!»

В другой раз он смастерил фуру с пивными бочками, складной лесенкой, колесами со ступицами и железными ободьями — заправскую надежную повозку с осями и сменяемым дышлом, на тот случай, если я вздумаю запрячь не пару, а только одну лошадь, с кожаной подушкой для выгрузки бочек, с кнутом и тормозами на козлах. И эта игрушка представляла собой тоже верх мастерства и искусства!

При виде таких подарков даже принцы запрыгали бы и захлопали в ладоши, но принцам отец никогда бы их не подарил.

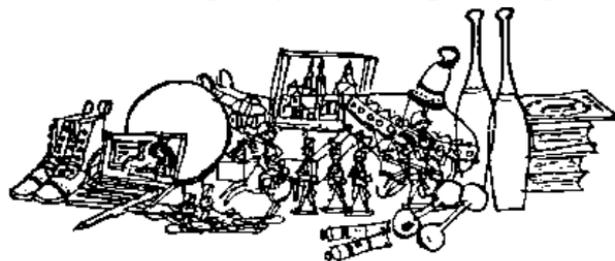


Неделями подряд матушка полдня бегала по городу, рыская по магазинам. Каждый год она накупала столько подарков, что комод, куда она их до времени прятала, буквально ломился. Она покупала ролики, ящички-

конструкторы, цветные карандаши, тюбики акварельных красок, альбомы для рисования, гантели и булавы для занятий гимнастикой, кожаные мячи для игры во дворе, коньки, норвежские санки, туристские башмаки, однажды дорогу готовальню с циркулями и рейсфедерами на синем бархате, игрушечные лавки, волшебные шкатулки с фокусами, музыкальные волчки, калейдоскопы, оловянных солдатиков, маленькие типографии с наборной кассой и литерами и, по совету Пауля Шурига и рекомендации Саксонского учительского союза, много-много хороших детских книжек. А о носовых платках, чулках, гимнастических брюках, вязаных шапочках, шерстяных перчатках, свитерах, матросках, купальных трусиках, рубашках и подобных нужных вещах и говорить нечего.

Это была конкурентная борьба из любви ко мне, и борьба ожесточенная. Драма с тремя действующими лицами, последний акт которой разыгрывался каждый год в сочельник. Главную роль играл маленький мальчик. И от его таланта импровизатора зависело, обернется ли пьеса комедией или трагедией. Еще и сейчас, когда я об этом вспоминаю, у меня начинает колотиться сердце.

Я сидел на кухне и ждал, чтобы меня позвали в лучшую нашу комнату, под сверкающую елку, для раздачи подарков. Собственные подарки я держал наготове: для отца — ящичек с десятком, а то и двумя десятками сигар, для матушки — шаль, акварель своей работы или, когда однажды от всех моих сбережений оставалось всего шестьдесят пять пфеннигов, купленный в галантерее у Кюне красиво уложенный в



картоночку швейный набор. Набор? Шпилька белого и шпилька черного шелка, книжечка с булавками и книжечка с иголками, катушка белых ниток, катушка черных ниток и дюжина среднего размера черных кнопок — целых семь предметов за шестьдесят пять пфеннигов! На мой взгляд, рекордное достижение! И я очень бы им гордился, если б меня не одолевал страх.

Итак, я стоял у кухонного окна и смотрел на дом напротив. Тут и там уже зажигали свечи. В свете фонарей блестел на улице снег. Звучали рождественские песни. В печи трещало пламя, но я зяб. Дивно пахло коврижкой с изюмом, ванильным сахаром и цедрой. А у меня кошки на душе скребли. Сейчас придется улыбаться, тогда как хочется плакать.

Но тут до меня доносился голос матушки: «Теперь можешь идти!» Я брал красиво завернутые подарки для обоих и входил в переднюю. Дверь в комнату открыта настежь. Елка сияет. Отец и матушка стоят слева и справа от стола, каждый — у своих подарков, словно комната вместе с праздником разделена пополам. «Ой, — восхищался я, — какая красота!» — имея в виду обе половины. Я держался еще возле двери, так что не могло быть сомнений, что моя насильственная счастливая улыбка относится к ним обоим. Отец с погасшей сигарой в зубах ухмылялся на сверкающую лаком конюшню. Матушка торжествующе оглядывала гору подарков справа от себя. Мы все трое улыбались, прикрывая улыбками общую всем троим тревогу. Но ведь нельзя же бесконечно топтаться у двери!

Я решительно приближался к великолепию разделенного пополам стола, и с каждым шагом во мне росли сознание ответственности, страх и решимость спасти положение в эти будущие четверть часа. Ах, если б остаться одному, наедине со своими подарками и с райским чувством, что вдвойне одарен их общей любовью! Как бы я блаженствовал и каким бы был счастливецом! Но чтобы рождественское представление окончилось благополучно, мне надо было разыгрывать роль. И, становясь дипломатом, взрослее и искушеннее своих родителей, я заботился о том, чтобы наша торжественная тройственная конференция под рождественской елкой прошла в духе согласия. Уже в возрасте пяти-шести лет, а позже тем болес, я в сочельник являлся церемониймейстером и выполнял эту трудную обязанность с большим искусством.

Я стоял у стола и радовался, уподобляясь маятнику. Радовался направо — к радости матушки. Радовался на левую половину стола, восхищаясь отцовской конпошней в целом. Потом снова радовался направо, на сей раз любуюсь санками, и снова налево, особенно выделяя уздечки. И еще раз направо, и еще раз налево, и ни тут, ни там чересчур долго, и ни тут, ни там чересчур коротко. Я радовался искренне, а вынужден был свою радость отмерять и унижать. Я целовал обоих по одному разу в щеку. Сперва матушку. Я раздавал свои подарки и начинал с сигар. Так мне удавалось, пока папа перочинным ножом открывал ящик и нюхал сигары, постоять рядом с матушкой чуть подольше. Она любовалась моим подарком, а я исподтишка прижимал ее к себе, исподтишка, словно это был невесть какой грех. Неужели он все-таки заметил? И неужели огорчится?

Рядом у Грютнеров пели: «Тихая ночь, святая ночь!» Отец доставал из кармана кошелек, который стачал и спил в подвале, и протягивал его матушке со словами: «Ну вот, чуть не забыл!» Она указывала на свою сторону стола, где для него лежали носки, теплые подштанники и галстук. Но случалось, только за сосисками с картофельным салатом их вдруг осеяло, что они позабыли преподнести друг другу подарки. И матушка говорила: «Это не к спеху, сперва поедим».

Затем мы шли к дяде Францу. Пить кофе с коврижкой. Дора показывала мне свои подарки. Тетя Лина, по обыкновению, жаловалась на вены. Дядя дотягивался до ящичка с гаванами, совал его под нос отцу и говорил: «Вот, Эмиль! Запали-ка лучше порядочную сигару!» Папа слегка обиженно заявлял: «У меня свои есть!» Но дядя Франц раздраженно настаивал: «Да бери же! Такую ты ведь не каждый день куришь!» На что отец говорил: «Тогда, с твоего разрешения...»

Фрида, экономка и добрая душа, приносила коврижку, мятные пряники, рейнвейн или, если зима выдавалась колодная, горячий пунш и тоже садилась с нами за стол. Мы с Дорой пытались в четыре руки играть на роле рождественских песни, «Петербургскую тройку» и «Вальс конькобежцев». А дядя Франц принимался дразнить матушку, рассказывая истории из времен торговли кроликами. Матушка, как могла, зашрицалась. Но дядю Франца с его голосищем трудно было переспорить. «Старая сплетница и ябеда, вот ты кто! — кричал он во все горло и, обращаясь к отцу, категорически заявлял: — Эмиль, твоя жена, когда еще пешком под стол ходила, задирала нос, словно барыня!» Отец удовлетворенно помаргивал поверх очков, отпивал глоток вина и

вытирал усы, всей душой наслаждаясь тем, что наконец-то последнее слово останется не за матушкой. Для него это был лучший рождественский подарок! А у нее от вина разгорались щеки. «А вы, вы были подлыми, мерзкими, ленивыми мужланами!» — ядовито кричала она. Дядя Франц радовался, что она злится. «Ну и что, ваше сиятельство? — отвечал он. — Тем не менее мы вышли в люди!» И принимался так хохотать, что звенели стеклянные шары на елке.



...Квадрат не круг, а человек не ангел. Квадраты, по-видимому, смирились с тем, что они не круглы. Во всяком случае, до сегодняшнего дня мы обратного не слышали. Так что можно предположить, они довольны своими четырьмя прямыми углами и четырьмя равно длинными сторонами. Они самые совершенные четырехугольники, какие только можно себе представить. Этим их честолюбие удовлетворено.

У людей дело обстоит по-другому, по крайней мере у тех, кто стремится превзойти самих себя. Они не просто хотят быть совершенными людьми, что представляло бы собой прекрасную и посильную цель, а хотят быть ангелами. Они стремятся, если вообще что-то реально делают, к ложному идеалу. Несовременная фрау Леман не хочет стать совершенной фрау Леман, а своего рода святой Цецилией. К счастью, она не достигает ложной цели, иначе господину Леману и его детям было бы не до смеха. Толку от святой или ангела им никакого. А вот от совершенной фрау Леман толк был бы. Но ее-то они не получают. Потому что совершенной фрау Леман не желает быть. И в конечном итоге она походит на кривой, перекошенный на сторону четырехугольник, пожелавший стать кругом. Зрелище не из приятных.

Матушка не была ангелом и не собиралась им стать. Ее идеал был куда более земным. Ее цель хоть и лежала вдалеке, но не в заоблачных высях. И была достижимой. И поскольку никто не мог сравниться с матушкой в энергии и она не позволяла никому вмешиваться, то своего достигла. Ида Кестнер хотела стать совершеннейшей из матерей для своего сына. И поскольку она этого по-настоящему хотела, то не считалась ни с кем, даже с собой, и действительно стала совершеннейшей из матерей. Всю свою любовь и фантазию, все свои силы, каждую минуту времени и каждую свою

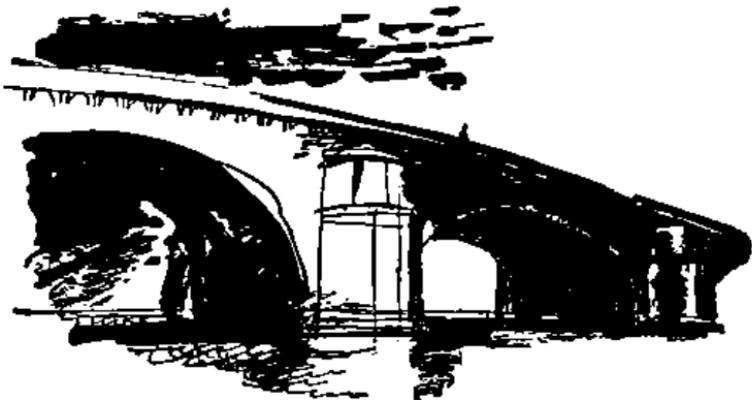
мысль, само существование свое она с азартом страстного игрока поставила на одну-единственную карту — на меня. Ставкой была вся жизнь ее целиком, без остатка!

Картой в игре был я. Поэтому я обязан был выиграть. Поэтому я не смел ее разочаровать. Поэтому я стал первым учеником и хорошим сыном. Если бы она проиграла свою крупную игру, я бы этого не вынес. И так как она хотела стать совершеннейшей из матерей и ею стала, для меня, ее карты в этой игре, оставалось лишь одно: я должен стать совершеннейшим из сыновей. Стал ли я им? Во всяком случае, я старался. Я унаследовал ее качества: упорство, честолюбие и сообразительность. С этим уже кое-что можно было начать. И когда я, ее капитал и ставка в игре, случалось, по-настоящему уставал от обязанности всегда только выигрывать, в поддержку у меня оставался последний резерв: я ведь любил свою совершеннейшую из матерей. Я ее очень любил.

Достижимые цели особенны тем и тем особенно изматывают, что мы хотим их достичь. Они как бы бросают нам вызов, и мы, не оглядываясь по сторонам, устремляемся в путь. Матушка не оглядывалась по сторонам. Она любила меня и никого больше. Она была добра ко мне, и этим доброта ее исчерпывалась. Она дарила мне свою веселость, и окружающим ничего не оставалось. Она думала только обо мне, и других дум у нее не было. Матушка жила и дышала только мной.

Потому-то она и казалась всем холодной, строгой, высокомерной, властной, нетерпимой, эгоистичной. Она отдавала мне всю себя и все, что имела, и представляла перед окружающими с пустыми руками, гордая, несгибаемая и все-таки нищая душой. Это ее удручало. Делало ее несчастной. А порой доводило до отчаяния. Я говорю это неспроста, и это не пустые слова. Я знаю, что говорю. Ведь это при мне у нее темнели глаза. Еще тогда, когда я был маленьким. И именно я, вернувшись из школы, находил эти напех нацараланные записки! Они лежали на кухонном столе. «Я больше не могу!» — стояло там. «Не ищите меня!» — стояло там. «Будь счастлив, мой дорогой мальчик!» — стояло там. А в квартире было пусто и мертво.

Тогда, подгоняемый и подхлестываемый невыносимым ужасом, громко плача и почти ослепший от слез, я бежал по улицам в сторону Эльбы, к ее каменным мостам. В висках стучало. В голове гудело. Сердце бешено колотилось.



Я наталкивался на прохожих, они ругались, а я мчался дальше. Задыхаясь от бега, я шатался, обливался потом и леденел, падал, вставал на ноги, не замечая, что расшибся в кровь, и мчался дальше. Где она может быть? Найду ли я ее? Неужели она что-то с собой сделала? Спасли ее или нет? Поспею я еще или уже поздно? «Мамочка, мамочка, мамочка! — бормотал я без конца. — Мамочка, мамочка, мамочка!» Ничего другого не приходило мне на ум. Это было единственной и нескончаемой моей молитвой в беге наперегонки со смертью.

Почти всякий раз я ее находил. И почти всякий раз на одном из мостов. Она стояла там неподвижно, смотрела вниз на реку и была похожа на восковую фигуру. «Мамочка, мамочка, мамочка!» — теперь я кричал это громко и все громче. Из последних сил я бросался к ней. Хватал ее, тащил, обнимал, кричал и плакал и теребил ее, как будто она была большой бледной куклой, и тогда она внезапно пробуждалась, словно спала с открытыми глазами. Тут только она меня узнавала. Тут только замечала, где мы находимся. Тут только пугалась. Тут только давала волю слезам и, крепко прижимая меня к себе, хрипло, через силу говорила: «Пойдем, мой мальчик, отведи меня домой!» И после первых нетвердых шагов шептала: «Все уже хорошо».

Иногда я ее не находил. Тогда я в смятении блуждал от моста к мосту, бежал домой проверить, не вернулась ли она тем временем, опять спешил к реке, спускался по ступенькам моста к краю воды и шел вдоль Нойштадтской набережной, всхлипывая и трепеща от страха, что вдруг увижу лодки, с которых баграми вылавливают кого-то спрыгнувшего с моста. Потом, еле волоча ноги, бред домой и, трясясь в ознобе

надежды и отчаяния, бросался на ее кровать. И тут же, обессиленный, почти в беспомощности, засыпал. А когда проснулся, она сидела рядом со мной и крепко прижимала меня к себе. «Где же ты была?» — ничего не понимая, счастливый, спрашивал я. Она не знала. Сама в недоумении качала головой. Потом, силясь улыбнуться, шептала, как и всегда: «Все уже хорошо».

Однажды после обеда, вместо того чтобы пойти играть, я тайком отправился к санитарному советнику Циммерману в часы приема и выложил ему то, что меня мучило. Покрутив коричневыми от никотина пальцами свою клинообразную бородку, он ласково взглянул на меня и сказал:

— Твоя матушка слишком много работает. У нее больны нервы. Это припадки — сильные и короткие, как летние грозы. Они необходимы, чтобы природа вновь пришла в равновесие. Потом воздух становится намного свежее и чище.

Я с сомнением на него посмотрел.

— Ведь и люди, — сказал он, — часть природы.

— Но не всех людей тянет бросаться с мостов, — возразил я.

— Нет, — согласился он, — к счастью, нет. — Он погладил меня по голове. — Матушке твоей надо бы месяца два хорошо отдохнуть. Где-нибудь поблизости. В Тарандте, в Вайксдорфе, в Лангебрюке. А ты прямо из школы мог бы туда ездить и оставаться с ней до вечера. Уроки можно готовить и в Вайксдорфе.

— Она не согласится, — возразил я. — Из-за клиентуры. Два месяца — это слишком долго.

— А меньше — слишком мало, — ответил он. — Но ты прав, она не согласится.

Я виновато произнес:

— Она из-за меня не согласится. Она из-за меня выбивается из сил. Из-за меня ей нужны деньги.

Проводив меня до двери, он похлопал меня по плечу:

— Не вини себя. Если б у нее не было тебя, было б много хуже.

— Вы ей не скажете, что я к вам приходил?

— Ну что ты! Разумеется, нет!

— Так вы не считаете, что она в самом деле может... когда-нибудь... с моста?..

— Нет, — сказал он, — не считаю. Даже если она забудет все на свете, сердце ее будет думать о тебе. — Он улыбнулся: — Ты ее ангел-хранитель!

Эти его последние слова я в своей жизни часто потом вспоминал. Они меня и утешали и печалили. И я вновь их припомнил, когда пятидесятилетним мужчиной пришел навещать матушку в санаторий. За это время много чего произошло. Дрезден лежал в развалинах. Родители пережили бомбежку. Мы долго были разлучены. Почта и железные дороги долгое время не работали. И вот наконец мы встретились. В санатории. Потому что матушка — ей было под восемьдесят, — истощенная жизнью, в которой знала лишь труд и заботы, страдала потерей памяти и нуждалась в уходе и присмотре.

Она держала на коленях платок и безостановочно, без усталости расстилала его, то складывала, с растерянной улыбкой подняла на меня глаза, словно бы меня узнала, кивнула и вдруг спросила:

— А где же Эрих?

Она спрашивала меня о своем сыне! У меня сердце перевернулось. Как раньше, когда она с отсутствующим взглядом стояла на мосту.

«Даже если она позабудет все на свете, сердце ее будет думать о тебе». Теперь и глаза ее меня забыли, свою единственную цель и радость! Но только глаза. Не сердце.



Глава двенадцатая

ДЯДЯ ФРАНЦ СТАНОВИТСЯ МИЛЛИОНЕРОМ

Предыдущая глава звучала не слишком весело. У ребенка горе, и этим ребенком был я сам. Может, не следовало вам этого рассказывать? Нет, это было бы неверно. Горе существует, думается мне, как существуют град и лесные пожары. Конечно, можно представить себе более счастливый мир, чем наш. Мир, в котором никто не голодает и никому не надо идти на войну. Но даже и тогда останется достаточно горя, которое даже самым разумным правительствам и самыми решительными мерами никак не искоренить. И умалчивать об этом горе — значит лгать.

Сквозь розовые очки мир кажется розовым. Картина, может, и привлекательная, однако тут оптический обман. Дело в очках, а не в мире. Кто смешивает одно с другим, здорово удивится, когда жизнь снимет у него с носа очки.

Существуют и такие оптики — я, собственно, имею в виду писателей и философов, — которые продают людям черные стекла, и вот уже наш мир — юдоль скорби и безнадежно померкшая звезда. Кто рекомендует нам темные очки, чтобы солнце не слишком нам глаза резало, честный торговец. А кто их нам насаживает, чтобы мы поверили, будто солнце не светит, тот мошенник.

Жизнь не сплошь розовая и не сплошь черная, она пестрая. Есть добрые люди и злые люди, и добрые временами бывают злыми, а злые — иной раз добрыми. Мы смеемся и плачем, и порой плачем так, будто никогда уже больше не засмеемся, или от души смеемся, будто никогда и не плакали. Иногда нам приваливает счастье, иногда — несчастье, а бывает, что не было бы счастья, да несчастье помогло. А кто думает, что знает лучше, тот зазнайка. Кто строит из себя умника и утверждает, будто дважды два пять, правда, выделяется среди прочих, но это и всё. Он недалеко уедет со своей оригинальностью. Старые истины не бывают и не выглядят оригинальными, но тем не менее они есть и остаются истинами, а это главное.

Я плакал так, будто никогда уже больше не засмеюсь. И снова смеялся, будто никогда и не плакал. «Все уже хорошо»,—говорила матушка, и все было хорошо. Или почти хорошо.

Хехтштрассе была узкой, неприглядной и густо заселенной улицей. И здесь-то, потому что лавки стоили дешевле, дядя Франц и дядя Пауль молодыми мясниками начали свою карьеру. И хотя обе тесные, в одно окно, мясные, разделенные лишь мостовой, помещались прямо друг против друга и их владельцы носили одну фамилию Августин, братья не ссорились. Оба ловкие, расторопные, жизнерадостные, они пользовались в квартале симпатией; их куртки и фартуки отличались белоснежной чистотой, колбасы, мясные салаты и заливные были превосходны. Тетя Лина и тетя Мари с утра до вечера стояли за прилавком и время от времени весело друг другу махали через улицу.

У тети Мари было четверо детей, в том числе слепой от рождения Ханс. Всегда веселый, он и ел и смеялся с удовольствием, но после смерти тети Мари, своей матери, попал в приют для слепых. Там его обучили плести корзины и настраивать рояли, и дядя Пауль женил его совсем еще молодым на бедной девушке, чтобы было кому о нем заботиться. Отцу доставало времени на сына с пустыми, незрячими глазами.

Все трое бывших торговцев кроликами—также старший, живший в Дёбельне, Роберт Августин,—были здоровяками. Они о себе-то не думали, а о других не думали и по-прежнему. Они думали только о торговле. Будь в сутках сорок восемь часов, может, они были бы помягче. Тогда, может, у них осталось бы немного времени на посторонние вещи и на такую мелочь, как жены, дети, братья, сестры и собственное здоровье.

Но в сутках всего двадцать четыре часа, и потому они не считались ни с кем. Даже с собственным отцом. Он страдал астмой, обеднел и знал, что скоро умрет. Но из гордости не просил старших сыновей о помощи. Он, видно, помнил пословицу: отцу легче прокормить дюжину детей, чем дюжине детей единственного отца.

Дёбельнские сестры—что та, что другая были бедны, как церковные мыши,—написали матушке, как плохо обстоит дело с моим дедом. Матушка побежала на Хехтштрассе и молила брата Франца что-то предпринять. Он обещал и сдержал слово. Послал почтовым переводом несколько марок

и открытку с сердечным приветом и пожеланиями быстреешего выздоровления. Нет, не подумайте, чего доброго, что открытку он написал сам! Это сделала за него жена: У сына не нашлось времени послать привет отцу. Но на похороны старика, вскоре вслед за тем, он отправился самолично. Тут уж он не скупился.

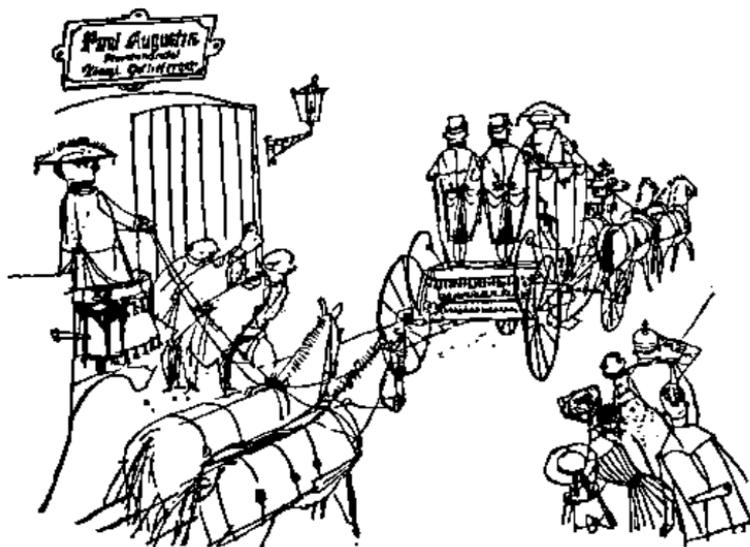
Ибо в семействе свадьбы, серебряные свадьбы и в первую очередь похороны составляли исключение. На это находилось время. На кладбище, у гроба, тут и встречались. В сюртуках и цилиндрах. С носовыми платками, чтобы утирать слезы. Глаза и кончики носов краснели. И слезы-то были самые настоящие.

Потом еще сидели все вместе на поминках. За обедом, как и подобает, в удрученном молчании. Но за кофе с пирогами уже смеялись. А за коньяком отставные торговцы кроликами украдкой доставали из черных жилеток золотые часы. Им уже было недосуг. «Прощайте!», «Заглядывайте!», «Жаль, так приятно сидели!»

Только на собственных похоронах они оставались дольше.

Франц Августин и Пауль Августин продолжали жить на Хехтштрассе и после того, как выгодно перепродали свои мясные лавки и окончательно сделались барышниками. В задних дворах было достаточно места под конюшни, в особенности для дяди Пауля, который покупал и продавал только легковых и чистокровных лошадей, только упряжных и верховых и только лучших из лучших. Уже спустя несколько лет он вправе был именовать себя «поставщиком двора его величества». Он велел вписать этот титул в фирменную вывеску над воротами и мог теперь потягаться в благородстве с придворным ювелиром. Тот торговал лишь самым отборным жемчугом и бриллиантами чистой воды, а дядя Пауль выставлял на продажу коней лишь самой чистой крови. Для этого ему было достаточно и десяти стойл. Иногда король приезжал самолично! Можете себе представить! На узкую, закудалую Хехтштрассе! С принцами, гофмаршалом и лейб-егерем! К моему дяде Паулю!

И все же я куда охотнее и несравненно чаще крутился во дворе и на конюшне по другую сторону улицы. Хоть дядя Франц был по-мужички груб и, конечно, никак не годился в поставщики двора. Кто знает, что бы он еще наговорил Фридриху-Августу III Саксонскому и как по-свойски хлопал бы его величество могучей пятерней по плечу. Уж гофмаршал и адъютант из свиты наверняка упали бы в обморок. Но



по-мужицки грубый дядя Франц нравился мне больше, чем шибко благородный дядя Пауль, которого родные братья и сестры в шутку прозвали «господин барон». И среди конюхов и лошадей дяди Франца я чувствовал себя как дома.

В коричневых деревянных стойлах, тянувшихся по обе стороны глубокого узкого двора, помещалось до тридцати лошадей датской и восточнопрусской породы, ольденбургской и гольдштинской, фламандские тяжеловозы и брабансоны с мясистыми крупами и длинными светлыми гривами. Конюхи едва успевали центнерами подтаскивать сено, овес и сечку и гектолитрами, ведро за ведром, свежую воду. Лошади столько съедали и выпивали, что я просто диву давался. Они были здоровенными копытами, хлестали себя по спине хвостами, стоя на полчища мух, и ржали из конца в конец конюшни, дружески обмениваясь приветствиями. Когда я подходил поближе, они поворачивали морды и отчужденно и снисходительно смотрели на меня из глубины своих непроницаемых глаз. После чего иногда кивали, а иногда покачивали огромными головами. Но я не понимал, что они хотят сказать. Расмус, сухопарый старший конюх из Дании, не выговаривавший букву «с», для проверки, обходил стойло за стойлом. А дядя Бруно, прихрамывая по булыжнику двора, деловито сопровождал ветеринара. Толстый ветеринар был здесь частым гостем.

У лошадей те же болезни, что и у нас. Многие, как инфлюэнца и кишечные колики, даже называются одинаково, другие именуются «мыт», «мокрец», «сап», «шпат» — и все одна другой опасней. Мы не умираем от кашля, насморка, боли в горле, свинки и рези в животе. А у лошадей, этих древнейших вегетарианцев, бабушка еще надвое сказала. Стоит им наестся мокрого сена, и вот уже у них раздувается живот, как воздушный шар, уже боль ножом режет внутренности, уже может случиться заворот кишок, и смерть стучится в дверь конюшни. Стоит им, разгоряченным, напиться воды чуть похолодней, и сразу же они начинают кашлять, железы распухают, из ноздрей течет, температура поднимается, в бронхах хрипы, глаза мутнеют, и опять курносая тут как тут. Иногда толстый ветеринар поспевал вовремя. Иногда опаздывал. Тогда во двор с грохотом въезжал фургон живодера и увозил павшую лошадь. Кожу, копыта и волос еще можно было пустить в дело.

Самым огорчительным в смерти лошади был понесенный убыток. А в остальном не очень-то печалились, да это и понятно. Лошади не входили в семью. Скорее они напоминали четвероногих гостиничных постояльцев, остановившихся в Дрездене на несколько дней и живших тут на всем готовом. А затем путешествие продолжалось — в какое-нибудь поместье, на пивоваренный завод, в казарму, когда как. А иной раз и на живодерню. Владельцы гостиниц не плачут, когда умирает постоялец. Они тайком выносят его по черной лестнице.

Неуютная, мецдански обставленная квартира находилась над мясной лавкой, где давно уже рубил и отбивал обухом котлеты другой мясник. В квартире распорядилась Фрида, худенькая девушка из Рудных гор, молчаливая и энергичная служанка. Фрида стряпала, стирала, убирала комнаты и заменяла моей кузине Доре мать. У самой матери, тети Лины, не было времени заниматься своим ребенком.

Не имея никакого коммерческого образования и подготовки, она сделалась управляющей фирмы и с утра до вечера сидела в конторе. Чеками, счетами поставщиков, налогами, жалованьем, пролонгадией векселей, взносами в больничную кассу, текущим счетом в банке и всякими подобными мелочами дядя Франц заниматься не желал. Он сказал ей: «Это будешь делать ты!» — и она делала. Скажи он ей: «Спрыгни сегодня в шесть вечера с башни Кройцкирхе», — и она бы прыгнула. Разве что оставила бы там, на башне, записку:

«Дорогой Франц! Прости, что прыгаю с опозданием на восемь минут, но меня задержал бухгалтер-ревизор. Любящая тебя жена Лина». По счастью, подобная мысль не пришла ему в голову. Не то он бы лишился своей уполномоченной. Что было бы с его стороны глупо, а он был совсем не глуп, мой дядя Франц.

Контора, называвшаяся еще бюро, помещалась в глубине двора между двумя рядами стойл, в нижнем этаже небольшого флигелька. Здесь прислуживала и царила тетя Лина. Здесь за письменным столом она торговалась с поставщиками. Здесь по субботам выдавала конюхам жалованье. Здесь выписывала чеки. Здесь вела книги. Здесь ревизор проверял ее записи. У задней стенки стоял несгораемый шкаф, и только у тети был от него ключ. Связка ключей и кошелек с деньгами бренчали у нее в кармане фартука. Карандаш она засовывала себе наискось в прическу. Она была весьма рещительна и никому не давала себя провести. Лишь один-единственный человек на свете вызывал у нее сердцебиение — «хозяин». Так она его за глаза называла. Если же он находился в комнате или у телефона, то она говорила: «Франц», «Да, Франц», «Конечно, Франц», «Разумеется, Франц», «Непременно, Франц». И ее обычный напористый голос звучал как голосок школьницы.

Когда она была ему нужна, он орал во всю глотку, где бы ни находился, одно лишь слово: «Жена!» И она мгновенно откликнулась: «Да, Франц?» — и опрометью неслась к нему, будто дело шло о спасении жизни. Тогда ему оставалось только добавить: «Сегодня в ночь я еду с Расмусом на ярмарку во Фленсбург. Дашь мне с собой двадцать тысяч марок. Купюрами по сто!» Убегая, она на ходу развязывала фартук. И через час, побывав в банке, была уже дома. С двумястами сотенных бумажек. Позднее, когда они жили на «вилле», я за нее бегал в банк. Но моя пора банковского посыльного к делу пока не относится.

По возвращении с ярмарок и аукционов, после того как лошадой выгружали у наклонной платформы Нойштадт-Товарная и нанятые для сопровождения конюхи отводили их вдоль железнодорожной насыпи и через Бишофплац на Хехтциграссе, для дядюшки начиналась самая ответственная пора. Сперва коням надо было откормиться, потому что поездка в теплушках и перемена климата дурно отзывались на живом товаре.

Но уже спустя несколько дней клиенты толклись во дворе, как на ярмарке. Все важные персоны с чутьем лошадиников и



толстыми бумажниками. Офицеры со своими вахмистрами, помещики, зажиточные крестьяне, директора пивоварен, владельцы экспедиционных контор, господа из городского отдела мусороуборки и представители фирмы Пфунд «Торговля молочными продуктами» — создавалось впечатление, что здесь торгуют не лошадьми, а толстяками! Дядя Бруно с ящичком сигар, прихрамывая, обходил одного за другим, предлагая гаваны. Из окон домов, выходящих на задний двор, высовывались любопытные женщины и дети, наслаждались даровым спектаклем и ждали главного исполнителя — Франца Августина, хозяина лошадей. А когда он наконец появлялся, когда, улыбаясь, входил в ворота с сигарой в зубах, покручивая толстой бамбуковой тростью, в ловко, чуть набок надетом коричневом котелке, даже те, кто никогда его в глаза не видели, тотчас понимали: «Это он! Такой тебя миг облапошит, а ты еще будешь думать, что он тебе рыжего мерина задарма отдал!» Против этого человека, против такой самоуверенной силы и веселого простодушия и разрыв-трава



была бы бессильна. Где бы он после нескольких рукопожатий и похлопываний по спине уверенно и неуклюже ни становился, там и был центр, и все слушались его команды: конюхи, лошади и покупатели!

Лошадей одну за другой прогоняли во всех аллеях. Конюхи держали их за недоуздки и бегали с ними взад и вперед по двору. Особенно норовистых выводил Расмус. У него даже самые тугоуздые глонуны бежали рысью, как кроткие овечки. Иногда дядя Франц щелкал бичом. Но большей частью просто махал белым своим большим носовым платком. У него это выходило, как у артиста варьете. Платок хлопал, будто флаг на ветру, и взбадривал самых ленивых одров.

После выводки очередной лошади заинтересованные покупатели подходили ближе и осматривали у нее зубы и бабки. Дядя называл свою цену и не давал с собой долго торговаться. Покупка скреплялась тем, что, оглушительно хлопая, ударяли по рукам. У меня от одного звука болели ладони. Тетя Лина доставала из прически карандаш и записывала покупателя. Это, собственно, было излишне: ударив по рукам, покупатель все равно что давал клятву. Кто такой уговор нарушал, был как коммерсант конченным человеком. А этого никто не мог себе позволить.

Иногда дядя привозил столько лошадей, что был вынужден больше половины размещать по чужим конюшням: у своего брата Пауля и своего приятеля, коммерции советника Геблера. Тогда выводка лошадей продолжалась неделями, а в выходящем на Хехтштрассе трактирчике, не прекращаясь,



шел пир горой. Дым от сигар и духота были такие, что хоть топор вешай. Крик и хохот слышались даже на улице. Дядя Францпил как сапожник и сохранял ясную голову. Дядя Бруно после четвертой рюмки был пьян в стельку. А тетя Лина вообще не пила, а молча и усердно принимала деньги. Сотенными, пятисотенными и тысячными бумажками. Толстые бумажники вокруг худели на глазах. Тетя выписывала квитанции, засовывала химический карандаш обратно в прическу и шла складывать пачки денег в негоряемый шкаф. В бюро в глубине двора.

«Наш-то Франц Августин,— говорили люди,— так все и будет деньги лопатой грести до одурения!» До одурения? Плохо же они его знали. Впрочем, они не понимали это так буквально. Втайне они даже очень им гордились. Как же, он доказал миру, что и на Хехтштрассе можно сделаться миллионером! Они это ставили ему в большую заслугу. Его успех был сказкой, которой они тешились. И они складывали ее продолжение. «Кто так разбогател,— говорили они,— обязан свое богатство показывать! Ему нужен дворец. Пусть с Хехтштрассе съезжает, это его долг перед Хехтштрассе». — «Какой вздор! — ворчал дядя Франц. — Мне вполне



достаточно моей квартиры над мясной. Да меня и дома почти не бывает». Но Хехтштрассе была сильнее его. И в конце концов он сдался.

Он купил дом на Антонштрассе под номером 1. «Дом», собственно, не то слово. Это была трехэтажная, просторная вилла с тенистым садом, почти парком, узкой стороной граничившим с площадью Альберта. Той самой площадью Альберта, через которую я каждый день ходил в школу. Оживленнейшей и вместе с тем наряднейшей площадью с театром и двумя большими фонтанами, носившими название «Тихие струи» и «Бурные волны».

Во владение, помимо большой виллы и маленького парка, помимо высоченных старых деревьев, входили еще оранжерея, две беседки и надворное строение с конюшней, каретным сараем и квартирой для кучера. В квартиру кучера въехала Фрида, эта жемчужина, получившая звание экономки. Ей дали в подмогу горничную и садовника, и она взяла в свои руки бразды правления. С первого же дня она прекрасно управлялась со своими новыми обязанностями, словно выросла в трехэтажной вилле. Тетя Лина привыкала много хуже. Она не желала быть барыней и так ею и не стала. И она и Фрида — обе родились и провели юность в Рудных горах, отцы их работали на одной шахте забойщиками.



Глава тринадцатая

ВИЛЛА НА ПЛОЩАДИ АЛЬБЕРТА

С Кенигсбрюкерштрассе, 48, до Антонштрассе, 1, было рукой подать. И поскольку тетя Лина никак не могла освоиться на своей новой вилле, она радовалась, когда мы ее навещали. В хорошую погоду я приходил сразу же после обеда. Дядя сидел в купе какого-нибудь скорого поезда. Тетя за письменным столом на Хехтштрассе выписывала счета и квитанции. Дора, моя двоюродная сестра, пропадала в гостях у школьной подружки. Так что дом и сад принадлежали мне.

Больше всего я любил, взобравшись на садовую ограду, наблюдать кипучую жизнь площади. Трамваи, ходившие в Альтштадт, в Вайсен Хирш, на Нойштадтский вокзал, в Клоппе и Хеллерау, останавливались прямо передо мной, словно делали это исключительно ради меня. Сотни пассажиров выходили, входили, пересаживались, чтобы мне было на что посмотреть. Фуры, пролетки, автомобили и пешеходы тоже для меня старались как могли. Оба фонтана показывали свои водные художества. Мимо с грохотом, отчаянно сигналив рожком и звеня в колокол, проносились пожарные. Потные гренадеры, шагая в ногу, с песней возвращались с учения в казармы. Чинно проезжала по мостовой королевская карета. Мороженщики в белых фартуках продавали на углах вафли по пять и десять пфеннигов. С пивной фуры скатывался бочонок, и тут же его окружала толпа любопытных. Площадь Альберта была сценой, а я, среди деревьев и кустов жасмина, сидел в ложе, смотрел и не мог наглядеться.

Спустя час-другой Фрида трогала меня за плечо и говорила: «Я тебе принесла кофе!» Тогда я усаживался в тенистую, из решетчатого чугуна сквозную беседку и полдничал, как принц. Потом шел осматривать смородину и вишни или осенью длинным бельевым шестом сбивал орехи с дерева. Или еще бегал для Фриды в зеленую лавку напротив. За укропом, пиленным сахаром, репчатым и зеленым луком или еще за чем. Рядом с лавкой, почти скрытый в саду, стоял маленький домик, и возле калитки была прибита дощечка: «Здесь жил и умер Густав Нириц». Он был учителем и

школьным инспектором, написал множество детских книжек, и все эти книжки я прочитал. В 1876 году он скончался в этом домике на Антонштрассе не менее знаменитым, чем его дрезденский современник — рисовальщик и художник Людвиг Рихтер. Людвиг Рихтера любят и почитают поныне. А Густав Нириц всеми забыт. Время решает, чему оставаться и продолжать жить. И большей частью оно решает правильно.

Мы и вечерами захаживали на виллу. В особенности когда дядя Франц был в отъезде. Без него тетя Лина, хоть с ней оставалась Дора, чувствовала себя такой одинокой и покинутой, что была счастлива, если мы составляли им компанию за ужином в гостиной. Фрида щедрой рукой и с большим искусством готовила бутерброды, и мы бы кровно оскорбили ее, оставив на блюде даже один-единственный ломтик хлеба с деревенской ливерной колбасой или копченой ветчиной. Никто, конечно, не желал ее обижать, и мы вовсю налегали на угощение.

Это были уютные вечера. Над диваном висела точная копия картины из художественной галереи. На ней изображен был старик извозчик; он стоит рядом с лошадейю и только что засветил фонарь на комуте. Скопировал картину в Цвингере художник Хофман из Трахау; он, собственно, был импрессионист, но хотел заработать немного денег, и тетя Лина преподнесла ее дяде Францу по случаю новоселья. «Картина? — презрительно наморщил нос дядя. — Да уж ладно, как-никак лошадь нарисована!»

Менее уютно проходили вечера, когда дядя не был в отъезде. Не то чтобы он оставался дома, боже упаси! Он сидел в пивной или в винном погребе, закладывая за воротник с другими мужчинами, любезничал с официантками и продавал лошадей... Но... ведь он мог, против всякого ожидания, внезапно вернуться домой! На свете нет ничего невозможного. И потому мы сидели на кухне.

Кухня была чистой и просторной. Чего ж тут особенного? У себя дома мы всегда вечерами сидели на кухне. А Фридины бутерброды были так же аппетитны на вид и хороши на вкус, как в гостиной. И, однако, что-то тут было не так. Заразившись страхом тети Лины, мы все теснились за кухонным столом, когда весь большой дом стоял пустой, и у тети был такой вид, словно она сама находилась у себя в гостях. И вот мы сидели и ели, но при этом прижимали уши, как кролики.



Придет он или не придет? Еще неизвестно. И вообще-то маловероятно. Но изредка он приходил.

Сначала мы слышали, как в саду кто-то с силой захлопывал калитку, и Фрида говорила: «Хозяин идет». Вслед за тем входная дверь с таким грохотом распаивалась, что дребезжали цветные стекла в свинцовых переплетах, и, обуреваемая страхом и радостью, тетя вскрикивала: «Хозяин идет!» Потом из коридора слышался львиный рык: «Жена!» И с возгласом: «Да, Франц!» — тетя, а за ней Фрида и Дора бросались в переднюю, где хозяин лошадей, начиная уже терять терпение, протягивал им навстречу шляпу и трость. Они поспешно вырывали эти предметы у него из рук, втроем помогали ему снять пальто, уносили трость, шляпу и пальто на вешалку и, обгоняя его, бежали вперед по коридору, чтобы открыть дверь в гостиную и зажечь свет.

Он, кряхтя, садился на диван и протягивал одну ногу. Тетя Лина опускалась перед ним на колени и снимала ему штиблет. Фрида, став на колени рядом с ней, нащаривала под диваном шлепанцы. Пока тетя снимала второй штиблет, а Фрида натягивала ему на ногу первый шлепанец, он буркал: «Сигару!» Дора бежала в кабинет, поспешно возвращалась с ящиком сигар и спичками, открывала ящик и, когда сигара была выбрана, ставила ящик на стол и держала наготове

спичку. А лишь только он откусывал у сигары кончик и выплевывал на ковер, она давала ему закурить.

Все трое окружали его и стояли перед ним на коленях, как невольницы перед султаном, смотрели ему в рот и ждали дальнейших приказаний. Сначала он молчал, а они продолжали благоговейно его окружать и стоять перед ним на коленях. Он попыхивал сигарой, поглаживал белокурые усы, в которых уже поблескивала седина, и походил на сытого разбойника. Потом он спрашивал: «Что нового?» Тетя Лина докладывала. Он бурчал что-то. «Не желаете ли закутить?» — спрашивала Фрида. «Уже, — буркал он, — с Геблером в «Грозди». «Стаканчик вина?» — спрашивала дочь. «Пожалуй, — милостиво соглашался он, — только быстро! Я снова ухожу». И все трое вскакивали и кидались к серванту и в погреб.

...Мы между тем сидели, притаившись, на кухне. Матушка иронически улыбалась, отец злился, а я время от времени уплетал бутерброд. То, что разыгрывалось в гостиной, было нам давно известно. Оставалось лишь узнать, какой из трех возможных концовок завершится комедия сегодня.

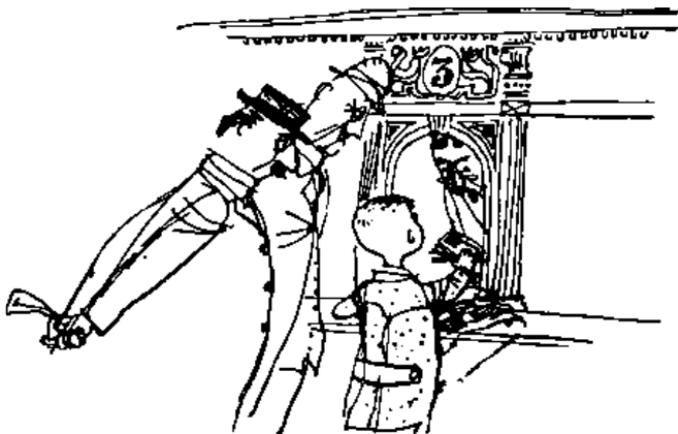
Либо дядя Франц в самом деле уйдет и три рабыни вернутся на кухню, весьма вероятно, с початой бутылкой вина и мы побудем еще часик, либо дядя останется дома. В этом, втором случае на сцене появится одна Фрида и, несколько смущенная, выпроводит нас через черный ход. Мы, крадучись, как грабители, пройдем по гравиевой дорожке и вздрогнем, если скрипнет калитка. Но всего драматичней была третья концовка комедии, которая тоже имела место не так уж редко.

Случалось, что дядя искося подозрительно глядел на тетю и с намеренным безразличием спрашивал: «А в доме больше никого нет?» Тогда нос тети Лины белел и заострялся. Следовавшее затем молчание само по себе служило ответом, и он продолжал попытываться: «Кто у тебя? Отвечай!» — «Ах, — шептала тетя, бледно улыбаясь, — это всего-навсего Кестнеры». «А где ж они? — угрожающе вопрошал он и пригибался. — Где они, я спрашиваю!» «На кухне, Франц». И тут разражалась буря. Дядя выходил из себя. «На кухне? — ревел он. — Всего-навсего Кестнеры? Ты прячешь наших родственников на кухне? Вы что, вовсе все сдурели?» Он вскакивал, швырял сигару на стол, стонал от бешенства и, топая, тяжело шел по коридору. К великому сожалению, он был в шлепанцах. В сапогах вся сцена получилась бы несравненно эффектнее.

Дядя с размаху открывал кухонную дверь, мерил нас взглядом с головы до ног, подбоченивался, набирал воздуха и возмущенно орал: «И вы такое терпите?» Матушка хладнокровно и тихо отвечала: «Мы не хотели тебе мешать, Франц». Одним мановением руки он отметал ее замечание. «Кто,— кричал он,— кто в этом доме рассказывает, что мне мешают мои родственники? Это же неслыханно!» Затем повелительно протягивал руку, подобно полководцу, посылающему в бой резервы: «Вы сейчас же перейдете в гостиную! Ну! Нельзя ли побыстрее? Или вы ждете письменного приглашения? Ида! Эмиль! Эрих! Вперед! Живо! Да шевелитесь же!»

Он, тяжело шагая, шел впереди. Мы робко за ним следовали. Как приговоренные к смерти, которым предстоит взойти на костер. «Жена! — гаркал он. — Фрида! Дора! — гаркал он. — Две бутылки вина! Сигары. И чего-нибудь закусь!» Три рабыни рассыпались в разные стороны. «Мы уже поели на кухне», — говорила матушка. «Значит, поедите еще раз! — раздраженно отрезал он. — Да садитесь же наконец! Эмиль, сигару?» «Благодарю, — говорил отец, — но у меня свои есть». Обычная их игра. «Бери! — приказывал дядя. — Такие хорошие ты не каждый день куришь!» «Тогда с твоего разрешения...» — говорил отец и двумя пальцами осторожно извлекал сигару из ящика.

Когда все сидели под лампой перед едой и питьем, дядя Франц потирал руки. «Ну вот, — говорил он с удовлетворением, — теперь можно и уютненько посидеть! Угощайся, мой мальчик! Ты же ничего не ешь». К счастью, я мог тогда есть куда больше, чем сейчас. И ради мира и согласия жевал один бутерброд за другим. Дора, глядя на меня, плутовски прищуривала один глаз. Фрида подливала вина. Дядя принимался вспоминать Клейнпельзен, торговлю кроликами и, по обыкновению, поворачивал на то, какой ябедой была матушка, и чем больше она злилась, тем веселее становился он. Но, доведя матушку до белого каления, он постепенно утрачивал интерес к этой теме и начинал обсуждать с тетей всякие свои дела. Потом вдруг поднимался, громко зевал и объявлял, что отправляется в постель. «Сидите-сидите», — буркал он и исчезал за дверью. Иной раз он высказывался еще прямо и преспокойно говорил: «Так. А теперь можете отправиться домой». Да, дядя Франц был редкий экземпляр. И нервы у него были воловы.



...Поскольку я и днем крутился на вилле и в саду, меня, как и следовало ожидать, стали использовать при случае в качестве посыльного. Я выполнял самые различные поручения одинаково аккуратно и неизменно добросовестно. Так получилось, что девяти лет от роду я сделался левой рукой тети Лины, и можно даже сказать, ее левой ногой! От долгих лет стояния за прилавком мясной и позднее в конюшне и на дворе у тети Лины стали тяжелеть и быстро уставать ноги. Она предпочитала сидеть, а не ходить, и на меня легли обязанности, которые обычно маленьким мальчикам не доверяют. Я приносил нотариусу договоры для засвидетельствования и векселя, которые надо было опротестовать. И относил после продажи больших партий лошадей деньги в банк.

Никогда не забуду изумленных глаз посетителей, когда я в филиале Дрезденского банка подходил к кассе, открывал толстый портфель и выкладывал пачки денег, которые мы с тетей предварительно пересчитывали. Теперь очередь была за кассиром. Он считал, считал и считал. Наклеивал вокруг пачек печатные бандерольки и делал себе пометки, которые я тщательно сверял со своими. Пять тысяч марок, десять тысяч марок, пятнадцать тысяч, двадцать тысяч, двадцать пять тысяч, тридцать тысяч и даже, случалось, сорок тысяч марок и больше! Посетители, стоявшие за мной и возле меня, ожидая, когда их обслужат, бывали до того поражены, что даже забывали терять терпение.

И если у кассира под конец получался на записке другой итог, чем у меня, он знал, кто ошибся. Он сам, конечно. У меня

при сложении сумма всегда сходилась. И он начинал считать сначала. В конце концов я гордо удалялся с квитанцией и пустым портфелем.

Тетя меня хвалила, запирала квитанцию в письменный стол и дарила мне пять марок. А иногда даже десять. Да она и просто так часто совала мне какую-нибудь монетку. Тетя Лина была славная и добрая женщина. И не только тогда, когда дарила мне деньги.

Однажды, сколько тетя ни пересчитывала, у нее все недоставало двухсот марок. Подсчет правильный, а денег нет. И неизвестно, куда они девались. Неизвестно куда? Такого не бывает. Где же они? И вот уже из-за угла навязчиво высовывался следующий вопрос. Кто эти двести марок украл? Кто вор? Кого можно вообще заподозрить? Дядя Франц и тетя Лина обсудили дело с глазу на глаз и для начала установили, кто в доме не мог этого сделать. Метод старый и испытанный. Если повезет, преступник окажется в остатке.

По кратком размышлении под сомнение были взяты два лица: горничная Мета и я. Мета, которую допрашивали первой, клялась и божилась, что это не она, и, поскольку пришлось ей поверить, тете не оставалось ничего другого, как призвать меня к ответу. Разговор был недолог. Тетя и договорить не успела, как меня и след простыл. Матушка, выслушав мой рассказ, проронила: «Жаль. В общем-то они славные люди были». И на этом все для нас было покончено.

...Несколько дней спустя тетя случайно нашла деньги в ящике комода. Она, видимо, сама их туда положила и за более важными делами совсем забыла о них. Первой посланкой к нам явилась и позвонила у дверей кузина Дора. Она рассказала, что произошло, и передала сердечные приветия.

— Ты, конечно, тут ни при чем,— сказала ей матушка,— но лучше всего тебе сейчас же уйти.

На другой день наведальась Фрида, эта жемчужина, но и она очень быстро очутилась на улице.

На следующий день, несмотря на расширение вен, тетя Лина, кряхтя, взобралась к нам по лестнице.

— Полно, Лина,— сказала матушка.— Я тебя всегда любила, ты это знаешь. Но кто может заподозрить, что мой сын вор, того я больше знать не желаю,— и захлопнула дверь перед тетушкиным носом.

Еще через день перед домом остановилась коляска, и из нее вышел дядя Франц! Он проверил, этот ли номер дома,

исчез в воротах и вскоре за тем впервые в жизни стоял перед нашей дверью.

— Ты?! — изумилась матушка. — Чего тебе здесь надо?

— Взглянуть, как вы живете, — пробурчал он. — Ты что ж, не хочешь меня впустить?

— Нет! — отрезала матушка.

Но он отстранил ее и вошел. Она опять попыталась загородить ему дорогу.

— Не глупи, Ида! — неловко пробормотал он, подталкивая ее перед собой, как паровой каток.

Беседа брата и сестры в комнате Пауля Шурита велась достаточно громко. Я сидел на кухне и слышал, как они кричали. Это был исполненный страсти дуэт-перебранка, в котором разгневанный голос матушки получал все больший перевес. Уходя, дядя утирал лоб своим большим носовым платком. Однако было заметно, что он чувствует облегчение. В двери он остановился и сказал:

— А у вас тут хорошо!

И ушел.

— Он извинился, — сказала матушка. — Просил нас все это забыть и бывать у них по-прежнему.

Она подошла к кухонному окну и выглянула наружу. Дядя внизу как раз садился на козлы, он освободил тормоз, подобрал вожжи, прицелкнул языком и укатил.

— Как ты считаешь, — спросила матушка, — забудем?

— Да уж, забудем, — сказал я.

— Ну и хорошо, сказала она. — Наверное, это самое правильное. Как-никак он брат мне.

И все снова пошло по-старому. Я снова смотрел с садовой ограды на площадь Альберта, снова пил в беседке кофе и снова носил крупные суммы в банк. Портфель, в котором я таскал денежные купюры и чеки, становился раз от разу все толще, и старик садовник говорил мне: «Хотел бы я знать, что он с того имеет! Больше одного шницеля он все равно не съест. Больше одной шляпы на голову все равно не наденет. А в могиле на что ему деньги? Черви его и так съедят, задарма». «Это все честолюбие», — утверждал я. Садовник скривил лицо: «Честолюбие! Даже слышать не хочу! Да он в собственной вилле живет, как последний бродяга-ночлежник. Он даже не знает, что у него при вилле сад умеется. В жизни отгульного дня себе не брал. Нет, он не успокоится, пока не будет лежать в земле и из него лопух не вырастет». «Вы



что-то много говорите о смерти», — заметил я. Он швырнул окурок сигары на грядку, размельчил его лопатой и сказал: «Ничего удивительного. Я всю жизнь был кладбищенским садовником».

Конечно, он был прав. Что могло быть нелепей жизни дяди Франца и тети Лины? Им некогда былодохнуть. Некогда было полюбоваться цветами в собственном саду. Они только богатели и богатели. Но ради чего? Однажды доктор предписал тете курс лечения в Бад-Эльстере. Не прошло и десяти дней, как она вернулась. Она места себе там не находила, ей мерещились хворые лошади и дутые векселя. В каникулы Дора ездила и путешествовала с матушкой и со мной, причем дядя считал это пустым баловством. «Разве мы детьми ездили на море? — раздраженно спрашивал он. — Какие-то все новомодные фокусы!» И когда в пятнадцать лет подошла пора отдавать Дору в пансион, он отправил ее отнюдь не в Лозанну, Женеву или Гренобль, а в Хернхут в Саксонии, в закрытое учебное заведение для девиц при Хернхутской общине, где девочек держали в такой строгости и благочестии, что бедняжка вернулась оттуда совсем бледненькая, исчахшая и запуганная.

Двадцати лет она вышла замуж за дельца, который понравился дяде Францу, и умерла в первых же родах, произведя на свет мальчика. Его окрестили Францем и воспитывали дед с бабушкой. Инфляция их разорила. Однако дядя Франц не сдался. Он еще раз составил себе состояние. Но тут ему пришел конец. Он рухнул, как подрубленное под корень дерево, чтобы уже не подняться. Денег он оставил достаточно, так что тетя Лина могла по-прежнему жить на вилле и вместе с Фридой хорошо воспитать внука. Внука с белокурыми кудрями и голубыми глазами, до самой смерти напоминавшего ей Дору!

Не до ее смерти, а до его смерти. Студент-медик и лекарский помощник, он погиб в 1945 году, незадолго до разгрома, при отступлении из Венгрии, оставив молодую жену и маленького белокурого и голубоглазого сына, напоминавшего тете теперь уже две пары навсегда закрывшихся голубых глаз. Но тут умерла и сама тетя Лина.

Изменило бы что-либо, если б, скажем, в 1910 году ночью в скором поезде, идущем в Голландию, сосед по купе сказал дяде Францу: «Простите, что я вас тревожу, господин Августин, но я архангел Михаил, и мне велено вам передать, что вы очень неправильно поступаете!» В самом деле, изменило бы это что-либо? «Я попросил бы вас оставить меня в покое!» — буркнул бы дядя Франц. И если б его визави вздумал настаивать, что поручение его чрезвычайно важно и он действительно архангел Михаил, дядя Франц только надвинул бы котелок на глаза и сказал: «По мне, можете быть хоть самим господом богом!»



Глава четырнадцатая

ДВА ГОСПОДИНА ЛЕМАНА

После первых четырех лет учения чуть ли не половина моих одноклассников распрощались со школой, исчезли с Тикштрассе и после пасхи, гордые, в разноцветных фуражках, вынырнули вновь уже в шестых классах классических и реальных гимназий, высших реальных и просто реальных училищ. Это была отнюдь не лучшая половина, но самые глупые среди них так о себе воображали. А мы, хоть и застряли на Тикштрассе, по умственному своему развитию никак не остались позади. И те и другие понимали, что вопрос «гимназия или нет» решался не нами, а отцовским кошельком. Это было решением не с того конца. И в детском сердце оно неизбежно оставляло осадок горечи. Жизнь несправедлива и не ждала конфирмации, чтобы нам это показать.

Поскольку из параллельного класса тоже много мальчиков ушло в страну цветных гимназических фуражек, остатки двух классов слили в один. Нашего нового учителя, которому предшествовала грозная слава, звали Леман. Нам сообщили, что у него за год проходят больше, чем у других учителей за два, и сообщения эти, как мы вскоре убедились, не были преувеличены. Кроме того, нам рассказали, что каждую неделю он расходует одну камышовую трость, и эти рассказы тоже примерно подтвердились. Мы тряслись еще до того, как его узнали, а узнав и узнавая все лучше, тряслись еще больше. Он учил нас так, что у нас пухли головы и зады!

Учитель Леман не шутил и не понимал шуток. Он до потери сознания загружал нас домашними заданиями. Потчевал нас таким обилием учебного материала, диктантами и контрольными, что даже самые бойкие и лучшие ученики начинали нервничать. Когда он входил в класс и невозмутимо говорил: «Достаньте тетради!», каждый рад был бы забиться в мышиную нору. Только где ее было взять, да еще на тридцать мальчиков. А то, что он расходовал по трости в неделю, оказалось верно лишь наполовину: он расходовал две.

Не было дня, чтобы господин Леман не выходил из себя. Его выводили из себя ленивые ученики, дерзкие ученики,

глупые ученики, молчащие ученики, трусливые ученики, упрямые ученики, запинаящиеся ученики, хнычущие ученики, отчаявшиеся ученики. А кто из нас время от времени не бывал тем или другим? Так что у гнева учителя Лемана был широкий выбор.

Он раздавал нам пощечины, от которых вздувались щеки. Брал трость, приказывал нам протянуть руку и хлестал пять или десять раз по открытой ладони, пока она не становилась багрово-красной, не вспухала, как тесто, и не начинала зверски болеть. А затем, поскольку у человека с самого детства две руки, наступала очередь второй. Кто со страху сжимал руку, того он бил по пальцам и костяшкам. Он приказывал шестерке учеников лечь друг подле друга на первый ряд парт и обрабатывал шесть поджатых задов в справедливом чередовании и быстрой последовательности, пока ужасающий шестиголосый мальчишеский хор не оглашал воздух и все остальные не зажимали себе уши. Кто у доски слишком долго думал, того он бил по икрам и подколенкам, а кто повертывался лицом, тому доставалось еще больней. Иногда камышовая трость расщеплялась вдоль. Иногда раскалывалась поперек. Куски со свистом пролетали по воздуху и мимо наших голов. Тогда до перемены сыпались оплеухи. Руки Лемана на куски не разлетались! А к другому уроку он приносил другую трость.

Тогда встречали учителя, сладострастно выбиравшие трость у швейцара, как знатоки-курильщики сигару. Находились и такие, которые перед наказанием вымачивали трость в умывальнике, чтобы было больней. Это были негодяи, которым доставляло удовольствие пороть. Учитель Леман к этой пакостной разновидности скотов не относился. Он был менее зауряден, но куда более опасен. Он дрался не потому, что хотел насладиться нашей болью. Он дрался, доведенный до отчаяния. Он не понимал, как это мы не понимаем того, что понимает он. До него не доходило, что его объяснения могут до нас не дойти. Вот что приводило его в бешенство. Вот отчего он терял голову и самообладание и кидался на всех как помешанный. Временами класс походил на сумасшедший дом.

Родители беспрестанно бегали к директору с жалобами, угрожали, плакали. Они приносили врачебные свидетельства, где говорилось о телесных и душевных травмах, нанесенных тому или другому мальчику. Предупреждали, что будут через суд требовать денежного возмещения. Директор ломал руки.

Все это он и сам знал, знал задолго до нас и наших родителей. Он давал обещание серьезно побеседовать с коллегой. И всякий раз директор заканчивал разговор одной и той же фразой: «Это просто ужасно, ведь, по существу, он наш лучший учитель». Но это, конечно, было неверно.

Господин Леман был человеком знающим, человеком старательным, человеком толковым, который хотел сделать из нас знающих, старательных и толковых учеников. Цель была прекрасна. А путь к ней отвратителен. Знающий, старательный, толковый человек был не только не лучшим, а никаким не учителем. Ему недоставало главной добродетели воспитателя — терпения. Я имею в виду не то терпение, что граничит с равнодушием и ведет к рутине, а другое, настоящее терпение, слагающееся из понимания, юмора и твердости. Он был не учителем, а укротителем с пистолетом и хлыстом. И превратил классную комнату в клетку с хищными зверями.

Когда он не стоял в клетке перед тридцатью молодыми и ленивыми, скрытными и упрямыми хищниками, он был другим человеком. Тогда обнаруживался истинный господин Леман, и в один прекрасный день мне привелось с ним познакомиться. Этот прекрасный день мы провели вместе, до самого вечера. Тогда уж стало ясно, что за целый год до конфирмации трое его учеников ускользнут от нагоняющей страх камышовой трости: Иоганнес Мюллер, мой лучший друг Ганс Людвиг и я сам.

Мы с честью и даже блеском выдержали приемные испытания на подготовительное отделение в учительскую семинарию. Господа профессора явно поражались нашим знаниям. Они не ведали, какому укротителю мы были обязаны своими курбетами, и потому их похвалы обращались не по адресу: к питомцам вместо дрессировщика. Тем не менее и он, видимо, гордился результатами, и с тех пор его трость обходила нас троих.

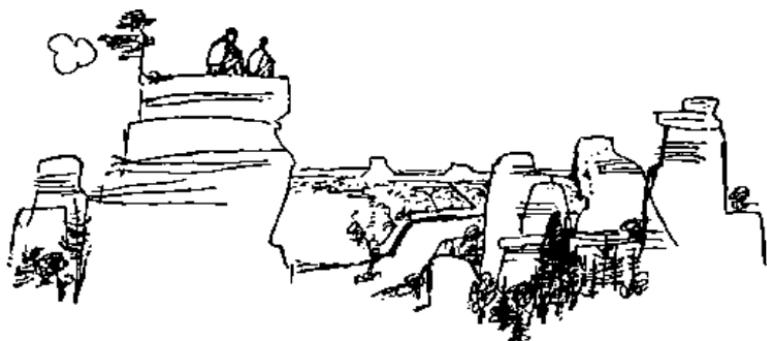
Как-то во время большой перемены он на школьном дворе подошел ко мне и небрежно спросил:

— Хочешь в воскресенье поехать со мной в Саксонскую Швейцарию?

Я опешил.

— Мы к вечеру вернемся, — пояснил он. — Кланяйся родителям и спроси у них разрешения! Встретимся ровно в восемь в купольном зале главного вокзала.

— С удовольствием, — смущенно ответил я.



— И захвати тапочки!

— Тапочки?

— Мы немного полазаем.

— Полазаем?

— Да, по скальным столбам. Это не опасно.

Он кивнул мне, откусил кусок от своего бутерброда и отошел. Дети расступались перед ним, словно перед ледоколом.

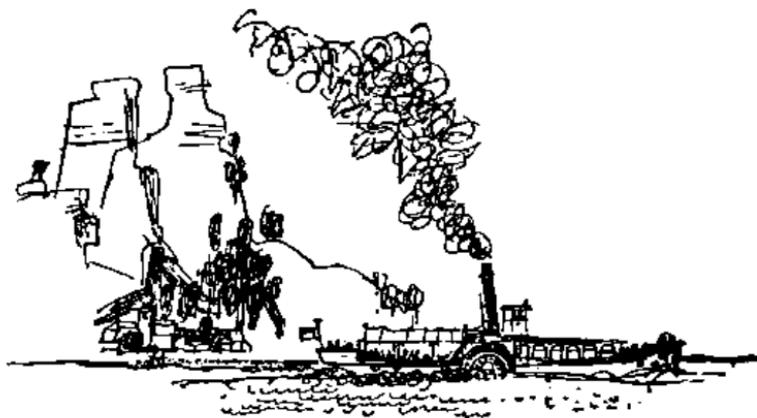
— Чего он хотел?— спросил мой друг Людвиг. И, когда я ему рассказал, покачал головой, потом усмехнулся:— Ничего себе! У тебя в рюкзаке тапочки, а у него— трость!

Ползли ли вы когда-нибудь вверх по более или менее отвесной песчаниковой скале? Как муха по обоям? Прижимаюсь к стенке. Цепляясь пальцами рук и носками ног за узкие желобки и бороздки. Нашаривая над собой следующий карнизик или выступ. Ваша левая рука нашла новую точку опоры, и вы начинаете подтягивать левую ногу, пока носком не нащупаете новый буторок. Затем, перенеся вес на левую половину тела, повторяете тот же маневр с правой рукой и с правой ногой. Сантиметр за сантиметром вы карабкаетесь все выше, метров на десять — пятнадцать, пока на выступе скалы не найдете наконец место и время передохнуть. А затем с таким же самообладанием и осторожностью опять лезете ввверх на следующую отвесную стенку. Вы этого никогда еще не пробовали? Так я предостерегаю любопытных.

На самой вершинке, где уцепилась крохотная кривая сосна, мы отдыхали. Долина Эльбы раскинулась перед нами в пронизанной солнцем дымке. Призрачно-причудливые скалы, циклопы с чудовищными головами великанов, выстроились, словно стража, на горизонте. Пекло немилосердно.

Где-то в долине лежали наши башмаки, куртки и рюкзаки. И туда нам предстояло спуститься, мне было себя искренне жаль.

Хотя учитель Леман, чего я раньше не подозревал, был мастером по лазанию и знал окрестные скалы как свои пять пальцев, все наперечет, а кроме того, помогал мне тактическими указаниями и раза два связывался со мной веревкой, все же, если не считать перехода по уютному карнизу, я ничего хорошего не нашел в таком лазании по фасадам на лоне природы. Страх, который я испытывал, не доставлял мне ни



малейшего удовольствия. И даже вид с вершины, как ни был он великолепен, не так уж меня радовал. Втайне я все время думал об обратном пути и опасался, что он будет еще тяжелее подъема. Я не ошибся.

Комнатным мухам, во всяком случае, на вертикальной стенке приходится лучше, чем людям, в особенности при спуске. Они спускаются головой вперед. А человек этого не может. Даже когда он ползет вниз по отвесной скале, голова у него поднята кверху. И все внимание его перенесено на ноги, которые слепо сантиметр за сантиметром нащупывают путь вниз и ищут следующей опоры. И когда этот следующий узкий выступ из рыхлого, выветренного песчаника под тобой осыпается и нога повисает в воздухе, у тебя на миг, к счастью только на миг, останавливается сердце. В такие мгновения глаза невольно хотят помочь ноге, и тебе грозит опасность опустить голову. Последнее весьма не рекомендуется.



И по сей день помню, что со мной сделалось, когда я взглянул вдоль отвесной стены вниз. Прямо подо мной на огромной глубине, крохотные, будто игрушечные, лежали наши куртки и рюкзаки на тонюсенькой ниточке дороги, и я в ужасе зажмурился. Голова пошла кругом. В ушах поднялся звон. Сердце остановилось. Наконец оно вспомнило о своих обязанностях и снова заработало. Что я все же спустился к нашим рюкзакам жив и невредим, видно, в частности, из того, что сейчас, в 1957 году, я об этом рассказываю. Утверждать, что моя жизнь тогда висела на волоске, не вполне соответствовало бы действительности. И волоска никакого не было.

Когда мы у подножия скалы переобулись и надели куртки, господин Леман показал мне по карте, на какие вершины он еще не взбирался. Таких было раз, два и обчелся. Здесь риск слишком велик, пояснил он, нельзя играть жизнью. Мы вскинули на плечи рюкзаки.

— А обычно,— спросил я,— вы странствуете всегда один?

Он попытался улыбнуться. Это далось ему нелегко, у него не было навыка.

— Да,— подтвердил он,— я одинокий странник.

Вторая половина дня прошла куда приятней. Тапочки оставались в рюкзаке. Скалы не представляли более гимнастических снарядов, а были первозданными отложениями мелового периода, диковинными свидетелями того, что у нас под ногами древнее морское дно, бесчисленные тысячелетия назад поднявшееся к свету. Об этом рассказали отпечатки ракушек в песчанике. Скалы хранили увлекательнейшие истории о воде, льдах и огне, и учитель Леман умел к ним прислушиваться. Он разбирал разговоры птиц. Изучил следы зверей. Показал мне фонарики со спорами мха в маленьких остроконечных колпачках, которые потом отлетают. Он знал все травы по именам, и, полдничая на лугу, мы восхищались их зеленым многообразием и нежным цветением. Природа раскрывалась перед ним, как книга, и он читал мне из нее вслух.

На борту колесного пароходика, спустившегося из Боденбаха-Дечина, на котором мы преудобно поплыли домой, он

листал книгу истории. Рассказал о Богемии, стране чехов, где всего час назад стоял на причале наш пароход, о короле Оттокаре и Карле IV, о гуситах¹, о злосчастных религиозных войнах, о гибельном и роковом соперничестве Пруссии и Австрии, о младочехах и грозящем распаде Дунайской монархии. Европа вновь и вновь пытается с собой покончить, с грустью сказал он. А тех, кто знает нечто лучшее, обзывают зазнайками. Поэтому горячечный план Европы истребить самое себя когда-нибудь да удастся. Он показал на Дрезден: возникшие перед нами башни горели золотом в вечернем солнце. «Там лежит Европа!» — тихо произнес он.

Когда я на мосту Августа благодарил его за чудесно проведенный день, он снова попытался улыбнуться, и на сей раз это ему почти удалось.

— Из меня бы вышел неплохой домашний учитель, — сказал он. — Воспитатель и гувернер для трех-четырёх детей. С ними бы я сладил. Но тридцать учеников — это на двадцать пять больше, чем мне нужно, — затем повернулся и пошел.

Я смотрел ему вслед.

Вдруг он замедлил шаг и воротился обратно.

— Мы напрасно поднимались на скалу, — сказал он. — Я больше боюсь за тебя, чем ты сам.

— Все-таки мы чудесно провели день, господин Леман!

— Если так, очень рад, мой мальчик.

И пошел, уже не оборачиваясь. Одинокий странник. Ушел один. Он и квартировал один. И жил один. У него было на двадцать пять учеников больше, чем нужно.

¹ Оттокар, Пржемысл II — чешский король (XIII век), сыгравший важную роль в национальной истории. Карл IV — под этим именем вступил на престол Священной Римской империи чешский король Карл I (1346—1378). При нем Прага стала столицей империи. Гуситы — участники национально-освободительного и антикатолического движения в Чехии в XV веке.

² Дунайская монархия — Австро-Венгрия, в состав которой входила Чехия.



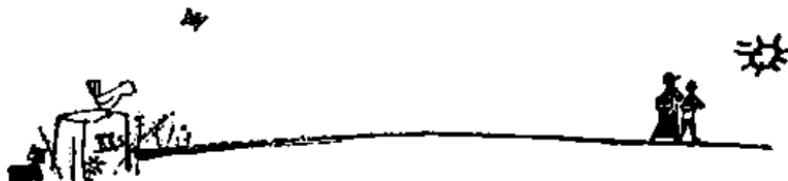
Глава пятнадцатая

МАТУШКА НА СУШЕ И НА МОРЕ

И снова — раз уж зашла речь о скалах, реке и лугах — я хочу приложить фанфару к губам и протрубить хвалу моей матери так громогласно, чтобы отозвались горы. Со всех концов земли отвечает эхо, и кажется, будто сотни валторн и труб подхватывают мой гимн в честь фрау Кестнер. И вот уже включаются в концерт ручьи и водопады, гуси на деревенских улицах, молоты перед кузницами, пчелы в клевере, коровы на косогоре, мельничные колеса и лесопилки, гром над долиной, петухи на навозных кучах и церковных шпилях и под вечер бьющие в кружки струи пива в трактирах. Утки в лужах, крикая, аплодируют, лягушки квакают браво, кукушка-похвальбишка издали знает выкрикивает свое имя. Даже впряженные в плуг лошади, отрываясь от пахоты, вскидывают головы и звонким ржанием желают неравной парочке на проселке счастливого пути.

Кто же эти двое, что, коричневые от загара, с песнями разгуливают по всей стране? Что, ни дать ни взять два подмастерья, поочередно пьют из булькающей фляги? Что, забравшись высоко над холмами и долами, на привале едят к завтраку крутые яйца и на сладкое пожирают глазами чарующую панораму? Что, не глядя на дождь и ветер, в пелеринах и капюшонах, упрямые и неунывающие, шагают по лесу? Что вечером за столом деревенской гостиницы хлеблют горячий суп и затем с приятной усталостью валяются на клетчатые крестьянские перины?

Ради меня фрау Кестнер полюбила пешеходные путешествия и взялась за это полезное для души и тела занятие своевременно и всерьез. Так, например, когда мне было еще восемь лет, она, к удивлению своей портнихи, заказала ей непромокаемый костюм из особого, неваленого, зеленого сукна. Купить костюм в магазине обошлось бы намного дешевле, но в магазинах таких костюмов не продавали. Женщины тогда не путешествовали пешком, такой моды еще не завелось. Юбка, согласно тогдашним требованиям, доходила ей почти до щиколоток! Модистка фрау Венер по матушки-



ным указаниям соорудила ей из того же непромокаемого сукна широкополую зеленую шляпу, намертво прикрепляющуюся к шиньону двумя раздвоенными, как вилки, патентованными шляпными булавками. Заказу этому немало удивилась и фрау Венер. Затем были приобретены две зеленые дождевые пелерины. Отец, который давно отвык удивляться, с истым рвением изготовил в своей подвальной мастерской два нервущихся рюкзака, меньший предназначался мне. Так что вскоре мы были наилучшим и наизеленейшим образом экипированы.

Ничего не было забыто. Все необходимое матушка заготовила: два альпенштока с железными наконечниками, дорожная фляга, банки под масло и колбасу, яйца, соль, сахар и перец, кастрюля для гороховой колбасы Кнорра и супов магги, спиртовка и два легких прибора. К крепким башмакам полагалась банка с жиром, и лишь один-единственный раз на пикнике где-то в Лужицких горах ее перепутали с банкой масла. Достаточно было только надкусить бутерброд, чтобы нам стало ясно: сапожной мазью мазать хлеб не рекомендуется. Правда, говорят, о вкусах не спорят. Но на вопрос о том, причислять ли сапожную мазь к гастрономическим продуктам, может быть лишь один ответ. Во всяком случае, это мое вполне обоснованное с тех пор мнение. И противоположные утверждения я вынужден был бы категорически отвергнуть.

Мы были целиком и полностью готовы к странствиям, нам оставалось только научиться странствовать. Наши годы странствий стали годами учения. Вначале мы, например, верили, что даже на перепутье человек всегда изберет правильный путь, ведущий к правильной цели. Но после того как мы неоднократно через пять, даже шесть часов, совершенно ошарашенные, попадали туда, откуда утром вышли в дорогу, мы начали сомневаться в инстинкте европейцев. Нет, до индейцев нам было далеко. Ничего у нас не выходило, и когда мы пробовали определять направление по солнцу. Особенно если из-за леса или облаков его не было видно!

Поэтому мы взяли себе за правило не кидаться очертя голову в путь, а сверяться с обзорными и крупномасштабными картами, что со временем привело нас к почти безошибочным результатам. Волдыри на ногах, одышку и боль в пояснице мы быстро одолели. Мы не сдавались. Шаг за шагом мы шли вперед. И наконец постигли все тонкости пешеходных странствий. Отмахивали за день сорок, даже пятьдесят километров, не очень даже уставая, и обошли таким манером всю Тюрингию, Саксонию, Богемию и частично Силезию. Мы медленным шагом всходили на горы высотой в 1200 метров и, без сомнения, одолели б куда более высокие вершины, если б таковые имелись. Где нам особенно нравилось, мы разрешали себе дневку и лодырничали, мурлыча, как кошки. А затем продолжали путь неделю, а то и две, иногда с моей двоюродной сестрой Дорой, но большей частью и чуть ли не охотнее без нее. Длиннейшие переходы были для наших ученых теперь ног прогулками. В наших отношениях с природой исчезла напряженность. Реки, ветер, облака и мы жили в едином ритме. Это было изумительно. И здорово к тому же. С ног до головы и с головы до ног. *Mens sana in corpore sano*¹, как говорим мы, латинисты.

Так мы покорили Тюрингский лес и Лужицкие горы, Саксонскую Швейцарию и Богемское среднегорье, Рудные горы и Изер² и при этом пели: «О доли, о вершины, зеленый лес — краса!»³. От Иешкена⁴ до Фихтельберга и от Росстрапте до Миллешауера мы поднялись на все вершины и вершинки. На нашем пути лежали развалины и монастыри, замки и музеи, соборы и дворцы, церкви, посещаемые паломниками, и сады в стиле рококо, и все это мы торжественно обозревали. А затем парикмахерша в зеленом непромокаемом сукне и ее сын продолжали свой путь вдоль и поперек по стране. Иногда я брал с собой украшенную яркими лентами лютню, тогда пелось еще лучше. «Там, в городе, обманут, хлопочет мир дельцов», — пели мы, и господин фон Эйхендорф, сочинивший эту песню, порадовался бы, глядя на нас, если б давно не умер. Двух более счастливых наследников романтизма он вряд ли бы сыскал.

¹ В здоровом теле — здоровый дух (лат.).

² Изер — теперь Йизерские горы в ЧССР.

³ Здесь и ниже — строки из стихотворения «Прощание» немецкого поэта Йозефа фон Эйхендорфа (1788—1857).

⁴ Иешкен — теперь гора Ештед в ЧССР.

По-видимому, такого или сходного мнения оказался также другой господин, еще здравствующий. Мы с матушкой после многодневного странствия по Саксонской Швейцарии зашли в «Линковы купальни», сад-ресторан на берегу Эльбы, прославившийся благодаря советнику апелляционного суда Э. Т. А. Гофману¹, тоже романтику, коллеге Эйхендорфа. До Кенигсбрюкерштрассе было рукой подать, но нам хотелось пить и еще не хотелось домой. Поэтому мы не спешили, пили прохладный лимонад, а когда рассчитались с официанткой, так и покатались со смеху. Весь наш капитал, сколько мы ни рылись в кошельке, составляла одна-единственная монета — медный пфенниг! И это в «Золотом горшке»! (Последнее замечание предназначается только людям начитанным.)

Господин за соседним столом пожелал узнать причину столь бурного веселья. И когда мы ему объяснили, он сделал матушке предложение по всей форме. Господин рассказал, что он немец, разбогател в Соединенных Штатах и подыскивает себе туда жену. Матушка, как он сразу понял, именно то, что ему нужно, и, если к такому счастливому приобретению он получит в придачу смышленного и забавного сынка, это будет необыкновенной удачей. Наш безудержный смех, вместо того чтобы охладить его пыл, лишь подогревал его. Наличие мужа и отца нисколько его не смущало. Такие вещи при больших деньгах и некоторой доброй воле решаются очень просто, самонадеянно утверждал он. Что бы мы ему ни говорили, намерение его жениться на нас обоих и увезти в Америку было непоколебимым. И в конце концов нам оставался лишь один выход — бежать. Бывалые путешественники, мы были лучшие ходоки, чем он. Американец скоро потерял нас из виду, и нам удалось спастись и сохранить себя для Германской империи.

Если бы мы с матушкой не умели так быстро бегать, то, может быть, я был бы сейчас американским писателем или, если учесть мое знание немецкого с колыбели, главным представителем кока-колы, Крайслера или Парاماунта в земле Северный Рейн-Вестфалия или Баварии! И в 1917 году мне не пришлось бы стоять на часах в постовой будке как раз напротив только что упомянутого ресторана «Линковы купальни». Но вместо того я, может, был бы американским

¹ Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822) — великий немецкий писатель-романтик. «Линковы купальни» упоминаются в его повести «Золотой горшок».

солдатом! Потому что в этом безумном мире, как быстро и как далеко ни бегай, где-нибудь тебя уж непременно забреют в солдаты! Впрочем, это к делу не относится.

Отец был едва ли не более придирчивой хозяйкой, чем матушка. Перед нашим возвращением из дебрей отец начинал расходовать ядровое мыло, соду и мастику для пола в несметном количестве. Как безумный бросался он с веником, половой тряпкой, щеткой, замшей скоблить, мыть, чистить, натирать нашу квартиру. Гонялся за каждой пылинкой. И громыхал до поздней ночи. Днем он работал на чемоданной фабрике и не мог наводить красоту в комнате. Грюцнеры и Стефаны, жившие с нами стенка в стенку, не могли уснуть и говорили: «Ага, наши два путешественника возвращаются завтра!»

И всякий раз повторялось то же самое. Мы входили в коридор и вдруг казались себе вдвое более пыльными и грязными, чем были на самом деле. Дверные ручки, плита, печные дверцы горели как жар. Оконные стекла сверкали безукоризненной чистотой. В линолеум при желании можно было глядеться, как в зеркало. Но мы отнюдь не желали. Мы знали и без того, что похожи на бродяг. И тут оставалось одно — нырнуть в ванну.

Едва мы начинали сколько-нибудь походить на цивилизованных горожан, меня отряжали герольдом, и я обходил улицы, возвещая клиенткам, что парикмахерша Ида Кестнер возвратилась с каникул и жаждет женских голов. А в следующие дни шла усиленная прическа, завивка, массаж голов и головомойка, куда все торговки и продавщицы за прилавками опять не становились как новенькие. Они оставались верны своей парикмахерше. Однажды даже, из-за того что мы путешествовали, была отложена свадьба. На этом настояла невеста, продавщица в лавке потребительского общества.

Вечером, в день нашего приезда, отец, убрав велосипед в подвал, входил в кухню и с удовлетворением говорил: «Ну, вот вы и дома!» Больше он ничего не говорил, да больше и не требовалось. Зато наперебой рассказывали мы.

Как правило, из-за матушкиной клиентуры наши бродяжничества больше двух недель не длились. Но летние каникулы длились дольше. И мы проводили полдня, а бы-

вало, и целые дни из оставшихся каникул на лесных прудах поблизости от Дрездена или в купальне короля Фридриха-Августа в Клоцше-Кенигсвальде. Хотя мне ровно ничего не дали ни уроки плавания на удочке под глупейшие команды, ни барахтанье с пробковым поясом вокруг живота, я мало-помалу, самоучкой, стал довольно приличным пловцом.

Матушка, конечно, не могла смириться с тем, чтобы с берега или из лягушатника в полной беспомощности следить за моим только и выстулавшим из воды чубом, и решила научиться плавать. Знаете, как тогда выглядели дамские купальные костюмы? Нет? Ваше счастье! Они походили на мешки из-под картошки, только что были пестрые и с длинными штанами. И вместо плотно прилегающих купальных шапочек женский пол носил пышные поварские колпаки из красной резины. Глядя на это, сердце обливалось кровью.

В таком клоунском и неудобном костюме матушка опустилась в струи Вайксдорфского пруда, легла плашмя на водную гладь, сделала несколько энергичных движений, раскрыла рот, чтобы что-то сказать, и пошла ко дну! Что она собиралась сказать, не знаю, но, конечно, совсем не то, что она спустя несколько секунд, яростно вынырнув, произнесла на самом деле. Сыновний долг и приличия не велят мне повторять ее слова. Грядущие поколения примерно представляют себе, что было сказано. А грядущие поколения, как известно, всегда правы. Одно лишь твердо установлено: не приводимые здесь заявления были сделаны уже после того, как матушка выплонула порядочную долю идиллически расположенного в лесу пруда и, поддерживаемая мною, шатаясь, пошла к берегу.

Дальнейших попыток плавать матушка не предпринимала. Стихия, о которой говорят: «на воде ноги тонки», ей не покорилась. Пусть пеняет на себя. Последнее с самого начала было ясно всем, кто коротко знал матушку. В своей жизни она справлялась и не с такими элементами! Вода не повинуетя? Ида Кестнер перестала здороваться с ней.

В купальне короля Фридриха-Августа, помимо украшенной саксонской короной кабины для монаршего переодевания, которой король, впрочем, редко пользовался и которая при большом наплыве посетителей за небольшую доплату сдавалась и не королевским особам, существовала долгие годы еще одна не меньшая достопримечательность. Господин



Мюллер. Несмотря на свою фамилию, родом из Швеции, он был изобретателем гимнастики на открытом воздухе, которую в свою честь окрестил «мюллеровской» с производным отсюда глаголом: «мюллерить». Господин Мюллер носил маленькие черные усики и маленькие белые плавки, был атлетически сложен, с головы до пят покрыт бронзовым загаром, и в наше время, сохранись он в тогдашней своей форме, непременно был бы избран «мистером Универсумом».

Господин Мюллер был, бесспорно, самым красивым мужчиной девятнадцатого столетия. При всей своей скандинавской скромности это считал даже он сам. Мужская купальня — купальни были строжайшим образом друг от друга отделены, и встретиться со своей матушкой можно было только в «ресторане» (о тюрингские жареные сардельки с картофельным салатом!), — мужская купальня безоговорочно разделяла мнение господина Мюллера о господине Мюллере, и так как гимнастика среди зелени, по-видимому, являлась прекрасным косметическим средством, все мы, мужчины, с восторгом и надеждой «мюллерили». У меня сохранилась фотография, где мы запечатлены в купальных костюмах и выстроены друг за дружкой. Господин Мюллер-закрывает ряд. А я стою первым. Уже почти такой же красавец, как наш швед. Только без усов и значительно меньше ростом.

Что дамская купальня не хотела да и не могла восхищаться шведом меньше нашего, понятно само собой. В качестве изобретателя и инструктора господин Мюллер был единственным мужчиной, допущенным в женский рай, и дрезденские дамы «мюллерили», облаченные в некие воздушные сорочки, так, что сотрясалась вся лужайка. Тем не менее швед оставался красавцем, и, когда ему удавалось вырваться от



дочерей и матерей Евы, он ради отдыха делал гимнастику с нами, мужчинами.

С плаванием матушка рассорилась. А вот с велосипедом поладила. Тетя Лина подарила Доре велосипед. Я научился ездить на отцовской машине. И так как возникла мысль, что велосипедными поездками можно будет внести большее разнообразие в программу каникул, матушка приобрела себе у Зейделя и Наумана новешенький, прямо с фабрики, дамский велосипед и тут же, исполненная любопытства, на него села. Отец держал велосипед за седло, бежал возле своей описывающей зигзаги супруги и, запыхавшись, подавал советы. Не только он, но и успех сопутствовал этим попыткам, поэтому ничто вроде бы не препятствовало нашим велосипедным экскурсиям. Отец одолжил мне свой, опустив седло возможно ниже, и пожелал нам удачи.

Удача всегда может стодиться. Ровная дорога и легкие подъемы не представляли достойных упоминания трудностей, а от моста Мордгрунд до Вайсен Хирш, где дорога очень круто идет в гору, мы велосипеды вели. Потом снова сели на свои машины, покатали в Бюлау и свернули в лес. Мы собирались на Улерсдорфской мельнице выпить кофе с ватрушками. Или с айершке (айершке — это саксонское пирожное, которое, к несчастью человечества, совершенно неизвестно на остальной части нашей планеты). А может, мы собирались полакомиться и тем и другим — айершке и ватрушками, — что мы затем и сделали, кроме матушки, которая сидела мрачная и пила настой ромашки. Почти у цели и прямо напротив мельницы она въехала в чей-то палисадник. При этом палисадник и безрассудно смелая велосипедистка слегка пострадали. Ма-

тушка не столько ушиблась, сколько испугалась, но это отбило у нее охоту к кофе и вкус к ватрушкам. Спускаясь с горы, она забыла притормозить и не могла этого простить ни себе, ни тормозу.

Что сперва представлялось случаем, невезением и простой неопытностью, со временем оказалось законом. Матушка неизменно забывала нажимать на тормоз! Лишь только дорога шла под гору, она вырывалась вперед, словно гонщики на велогонке вокруг Франции, спускаясь с Пиренеев. Мы с Дорой мчались за ней, и, когда у подножия горы наконец ее настигла, матушка стояла возле велосипеда бледная и говорила: «Опять забыла!» Это становилось опасно для жизни.

От замка Августа она пролетела по крутой дороге вниз к Эрдмансдорфу так, что мы, дети, похолодели. Но и тут все обошлось благополучно. Видно, с ней, как на tandeme, ехал ангел-хранитель. Однако наши велосипедные прогулки все больше превращались из увеселительных в устрашающие. Такое могло привидеться в кошмаре. Иногда она посреди спуска соскакивала, и падал велосипед. Иногда заворачивала велосипед в канаву и падала сама. Кончалось всё всегда хорошо. Но ее и наши нервы были на пределе. Какой уж тут отдых и удовольствие! И вот мы навсегда расстались с колесами и колесили только на своих двоих. Дамский велосипед отправился в подвал, а мы, как раньше, отправлялись пешочком. Тут не было тормоза, о котором можно позабыть...

Все мы вздохнули с облегчением, когда эти устрашающие прогулки кончились, и к тому же кончились благополучно. Всех больше радовался отец. Велосипед снова вернулся в его распоряжение, и ему больше не надо было во время школьных каникул ездить на фабрику в трамвае.



Глава шестнадцатая

1914 ГОД

Я становился старше, а матушка не становилась моложе. Двоюродная сестра Дора рассталась со школой, а я стал подростком. Она начала высоко подкалывать волосы, а я начал презирать женщин, этих коротконогих каракатиц. Дора сохранила новую прическу, я же позднее отказался от своего нового мировоззрения. Но на несколько лет мы отдалились друг от друга.

Лишь позже, когда я уже не был маленьким, наша дружба возобновилась; это было, когда она, давись от смеха, помогала мне переодеться девушкой. Я задумал разыграть преподавателей и семинаристов на вечере в учительской семинарии, и затея моя удалась на славу. Никогда уже впоследствии у меня не было такого числа почитателей, как в празднично украшенном гимнастическом зале учительской семинарии барона фон Флешера, куда я явился, наряженный девушкой-подростком! Лишь когда я со своей белокурой косой и в набитой ватой блузке подбежал к турнику и, подтянувшись, закружился так, что взлетела юбка, поклонники отстали. Впрочем, это к делу не относится.

Когда Дору конфирмировали, матушку пригласили ее опекать и вывозить, поскольку у тети Лины не было на это времени, и матушка неоднократно ездила с племянницей на Балтийское море. Курортное местечко называлось Мюриц, и они усердно присылали оттуда открытки с видами и групповые снимки, сделанные пляжным фотографом.

В отсутствие матушки я проводил свободные от школы часы на вилле возле площади Альберта. Вечером туда же с фабрики прикатывал на велосипеде отец. Мы ужинали с Фридой и тетей на кухне и шли домой, лишь когда нас выпроваживали. Дядя Франц лаконично заявлял, что все эти поездки дочери и сестры на Балтийское море — чистейший

идиотизм. Однако тут тетя перед ним не пасовала. Если б дело касалось ее, она вряд ли выказала бы такую твердость. Но ради Доры она, в известных границах, могла быть мужественной. Пауль Шуриг, учитель и жилец, не менее, чем я с отцом, чувствовал отсутствие в доме хозяйки. В доме не доставало женщины. А мне не доставало матери. Но когда мальчик становится подростком, он в этом ни за что не признается. Скорее язык проглотит.

Однако школьные каникулы по-прежнему посвящались мне, тут ничего не изменилось. Иногда к нам присоединялась и фройляйн Дора в своей высокой прическе. Но достопамятные времена пешеходных путешествий в Богемию и ожесточенных сражений подушками перед сном в маленьких деревенских гостиничках безвозвратно канули в прошлое. Золотой век уступил место серебряному, тоже не лишенному своего блеска.

Матушке исполнилось сорок, а тогда в сорок лет люди были намного старше, чем в наши дни. Сейчас и молодость удлинилась. И жизнь удлинилась. И люди удлинлись. Прогресс человечества, по-видимому, происходит в длину. Это довольно-таки односторонний рост, как приходится признать и ежедневно убеждаешься. Длиннейшая плотина, длиннейшая воздушная линия, длиннейшая жизнь, длиннейшая торговая улица, длиннейшая рождественская коврижка, длиннейшие искусственные волокна, длиннейший фильм и длиннейшая конференция — тут может лопнуть человеческое «длиннотерпение».

Матушка становилась старше, и путешествия становились короче. Мы ограничивались однодневными вылазками, но и они дарили нам в избытке красоту и радость. В какую бы сторону света мы ни поехали на трамвае и на какой бы конечной станции ни вышли из вагона: в Пильнице или Вейнбёла, в Хайнсберге или Вейсите, в Клоцне или Плауэншен Грунде — всюду мы оказывались на природе и были счастливы. С любым местным поездом можно было за полчаса так далеко уйти от большого города, словно ты находился в пути неделю. Велен, Кенигштайн, Кипсдорф, Лангебрюк, Росвейн, Готлейба, Тарандт, Фрейберг, Мей-



сен—где бы мы ни выходили, всюду был праздник. Семимильные сапоги не сказка.

Конечно, ступив за порог маленькой станции, мы должны были пользоваться уже собственными сапогами. Но ведь мы учились странствовать из первых рук. И нас ноги не подводили. Там, где отдыхающие горожане кряхтели и потели, мы прогуливались. Большой из двух рюкзаков нес теперь я! Так уж получилось. И матушка не возражала.

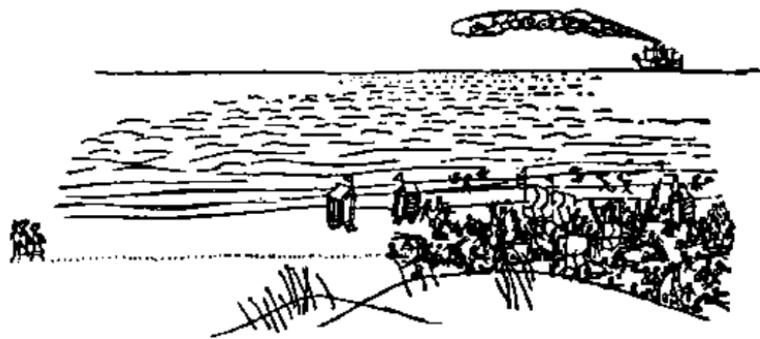
В летние каникулы 1914 года тетя Лина раскошелилась. Она отправила не только матушку с Дорой, но и меня на Балтийское море. Это было мое первое большое путешествие, и вместо рюкзака я впервые нес два чемодана. Не могу сказать, чтобы такая замена доставила мне особое удовольствие. Терпеть не могу носить чемоданы. У меня при этом всегда жуткое ощущение, будто руки удлиняются, а на что мне длинные руки? Они достаточно длинны и так, даже мальчишкой я не желал, чтобы они у меня были длинней.

От Ангальтского до Штеттинского вокзала мы позволили себе нанять извозчицью пролетку «второго разряда», и, выглядывая из-за чемоданов, я впервые увидел кусочек столицы империи Берлина. А проезжая через мекленбургские пшеничные поля и луга клевера, я из окна вагона в первый раз увидел край без гор и холмов. Горизонт казался вычерченным по линейке. Земля была плоская, как стол, и на ней паслись коровы. Вот уж где бы мне не хотелось путешествовать пешком!

Росток с его гаванью, судами, шлюпками, мачтами, доками и кранами понравился мне несравненно больше. А когда, выйдя на железнодорожной станции, носившей название Реверсхаген, мы пошли темно-зеленым бором, где нам дорогу перебегали олени и косули, а раз даже чета кабанов с выводком розовых пятнистых кабанят, я окончательно примирился с Северогерманской изменчивостью. Я впервые увидел растущий прямо в лесу можжевельник, и мне не оттягивали руки чемоданы. Мы сдали их возчику. Он обещал доставить их к вечеру в рыбацкий трактир в Восточном Мюрице. Ветер, колебавший вершины сосен, уже имел запах и вкус моря. Мир был другим, чем дома, и не менее прекрасен.

Час спустя, весь исцарапанный песчаным камышом, я уже стоял среди дюн и глядел на море. На это захватывающее дух бескрайнее зеркало бутылочного стекла с оттенками синего и в серебряных блестках. Глазам было страшно, но то был благоговейный страх, и их первый взгляд в беспредельное, которое само глаз не имеет, туманила слеза. Море было огромным и слепым, жутким и исполненным тайны. На дне его лежали затонувшие корабли и мертвые матросы с загубившимися в волосах водорослями. И погружившийся в волны город Винета лежал там внизу, город, по улицам которого плавают русалки и заглядывают в витрины шляпных и обувных магазинов, хотя вряд ли нуждаются в шляпках, а в обуви тем более. Далеко на горизонте показался дымок, потом труба и лишь вслед за тем пароход, потому что земля ведь круглая, и даже вода. Однообразно и мокро шлепались о берег отороченные белыми кружевами волны. Они выплевывали на берег радужных медуз, которые обращались на песке в бесцветный студень. Приносили глухо шумящие раковины и золотисто-желтый янтарь, где покоились, словно в стеклянных саркофагах, пролежавшие там десятки тысяч лет muži и мошки, крохотные свидетели далекого прошлого.

Все это в качестве сувениров продавалось в киоске возле мола вместе со сливами, детскими совочками, резиновыми мячиками, соломенными шляпками и вчерашними газетами.



С великим соприкасается смешное. Люди бежали из городов и сидели тут, перед лицом беспределности, скученные еще тесней, чем в Гамбурге, Дрездене или Берлине. Горланя и обливаясь пóтом, все теснились на клочочке пляжа, будто в телячьем вагоне. Справа и слева пляж пустовал. Пустовали дюны. Леса и вересковая степь пустовали. На время каникул дома-казармы лежали у моря. У них не было крыш, что было хорошо. У них не было дверей, что было плохо. И соседи были новые, что для жаждущих новизны истинная находка. Люди ходили на баранов и собирались стадом.

Мы ходили на пляж купаться и сидели на молу, когда стадо обедало или ужинало в своих пансионах. А в остальное время гуляли и делали вылазки, как у себя в Дрездене. Вдоль по берегу в Граль и Арендзе. В леса, мимо тлеющих угольных куч, к одиноким домикам лесников, где можно было получить свежее молоко и чернику. Мы брали напрокат велосипеды и как-то раз даже проехали через ростокскую вересковую степь в Варнемюнде, где человеческое стадо на курортном пастбище было еще куда многочисленнее, чем в Мюрице. Тут тысячи людей жарились на солнце, словно стадо закололи, разделали и оно лежало теперь на гигантской сковороде. Иногда они перевертывались. Как добровольные отбивные. На целых два километра стоял запах человеческого жаркого. Тогда мы повернули велосипеды и опять углубились в пустынную вересковую степь. (Здесь, в Мекленбурге, матушка наконец снова отважилась сесть на велосипед. Берег Балтийского моря не горист. Здесь проклятый тормоз излишен.)

Всего лучше было на море в звездные ночи. Над нами искрилось и мигало намного больше звезд, чем дома, и горели они ярче. Лунный свет лежал на воде, как серебряный половичок. Волны отбивали о берег свой извечный такт. С Гесера нам подмаргивал световой сигнал маяка. Это был привет из Дании, которую я тогда еще не знал. Мы сидели на молу. Столько было здесь для нас нового, и мы хранили молчание. Вдруг вдалеке зазвучала опереточная музыка и стала медленно приближаться. Украшенный разноцветными фонариками катер возвращался с очередной «незабываемой прогулки в открытое море при луне». Он, раскачиваясь, привалил к оконечности мола. С катера сошло несколько десятков отдыхающих. Громко хохоча и разговаривая, они протопали мимо нашей скамейки. Вскоре смех затерялся за дюнами, и мы снова остались наедине с морем, луной и звездами.

1 августа 1914 года, в самый разгар счастливых каникул, германский кайзер отдал приказ о мобилизации. Смерть надела каску. Война схватилась за факел. Всадники Апокалипсиса¹ вывели коней из конюшни. И рок ткнул сапогом в европейский муравейник. Тут уже было не до прогулок при луне, и никто уже не расслаживался в своей пляжной кабинке. Все уложили чемоданы. Все хотели домой. И как можно скорей!

В один миг все повозки, вплоть до последней тачки, расхватали. Нам пришлось тащить наши чемоданы пешком через лес. На этот раз ни косули, ни кабаны не перебежали песчаной дороги. Они все попрятались. Целыми семьями, с детьми, чемоданами, тюками, корзинами поток людей устремился прочь. Мы бежали, будто спасаясь от землетрясения. И лес походил на зеленый вокзальный перрон, на котором теснятся и толкуются тысячи отъезжающих. Только бы уехать!

Поезд был переполнен. Все поезда были переполнены. В Берлине столпотворение. Первые резервисты уже мар-

¹ Всадники Апокалипсиса—три всадника: Голод, Чума и Смерть—из библейской книги «Апокалипсис», мистического пророчества о «конце света».



шировали с цветами и картонками в казармы. Они махали и пели: «Победить хотим француза, храбро голову сложить!» Газетчики выкрикивали специальные выпуски. Приказ о мобилизации и последние известия были расклеены на всех углах, и каждый вступал с каждым в разговор. Муравейник взбудоражился, и полиция его регулировала.

На Ангальтском вокзале под парами стояли специальные поезда. Мы пропихнули матушку и чемоданы в окно купе и сами влезли следом. По пути нам навстречу шли воинские эшелоны, войска переправляли на восток. Солдаты размахивали транспарантами и пели: «Верна и незыблема стража стоит, стража на Рейне!» Курортные беженцы махали им. А Дора сказала: «Теперь папа будет продавать куда больше лошадей». Когда мы, потные и до смерти усталые, прибыли в Дрезден, мы как раз еще успели попрощаться с Паулем Шуригом. Ему тоже предстояло отправиться в казармы.

Началась мировая война, и кончилось мое детство.

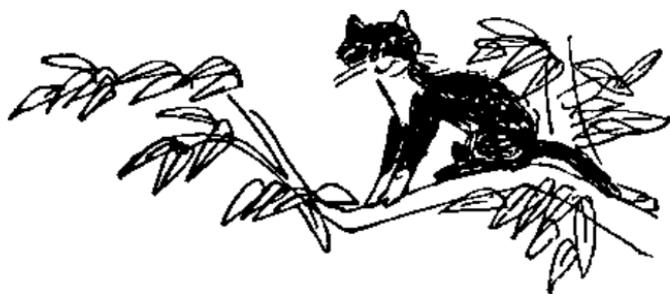


И ПОД КОНЕЦ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Работа сделана, книга готова. Получилось ли у меня то, что я задумал, не знаю. Ни один человек, только что написавший слово «конец», не может знать, получился ли его замысел. Он еще слишком близко стоит к выстроенному дому. Ему недостает дистанции. А будет ли хорошо постояльцам в его словесной постройке, он тем более не знает. Я хотел рассказать, как жили маленькие мальчики полвека назад, и я это рассказал. Я хотел вытащить свое детство из царства воспоминаний на свет. Когда Орфей в Гадесе взял свою Эвридику за руку, ему заказано было на нее смотреть. Но заказано ли мне обратное? Должен ли я был только оглядываться назад и ни разу не взглянуть вперед? Но я бы этого все равно не смог, да вовсе к этому и не стремился.

Пока я сидел у окна и писал свою книжку, по саду проходили времена года и месяцы. Иногда они стучали в стекло, тогда я выходил из дому и беседовал с ними. Мы говорили о погоде. Времена года любят эту тему. Говорили о подснежниках и поздних заморозках, замерзшем крыжовнике и плохо распускающейся сирени, о розах и дожде. Всегда находилось, о чем поговорить.

Вчера в окно постучал август. Он был весел, немного поругивал июль — это повторяется почти каждый год — и очень торопился. Вытаскивая из грядки редиску, он раскритиковал мой бобовый цвет, тут нет его вины, и похвалил георгины и помидоры. Потом с аппетитом откусил большой кусок редиски и тут же выплюнул. Она совсем одревеснела. «Попробуйте другую!» — предложил я. Но он уже перескочил через забор, и я только услышал, как он крикнул: «Привет от меня сентябрю! Пусть меня не подводит!» — «Я передам ему!» — крикнул я ему вдогонку. Месяцы спешат. Годы — те вовсе бегут. А десятилетия мчатся. Лишь воспоминания могут терпеливо ждать. Особенно если мы с ними терпеливы.



Есть воспоминания, которые, будто клад в военное время, зарываешь так глубоко, что их и сам не отыщешь. И есть воспоминания, которые, подобно счастливому медному грошику, всегда носишь с собой. Они ценны только нам. И тот, кому мы их с гордостью и тайком показываем, возможно, скажет: «Пф, грош! И вы такое бережете? Чего собирать медяки?» Между нашими воспоминаниями и чужими ушами всегда могут быть недоразумения. Я недавно в этом убедился, когда вечером вздумал прочесть на террасе своим четырем кошкам одну-две главки.

Впрочем, Анна, самая молоденькая, в черном фраке с белой манишкой, не стала долго слушать. Она еще не понимает читаемого вслух. Она забралась на ясень и уселась в развилке ветвей, ни дать ни взять миниатюрный метрдетель, решивший выиграть дурацкое пари.

Пола, Буччи и Лолло слушали с несравненно большим терпением. Иногда они мурлыкали. Иногда зевали, к сожалению, не прикрываясь лапкой. Пола раза два почесала за ухом. А когда я, слегка нервничая, свернул рукопись и положил на стол, сказала: «Кусок с прачечной, развешиванием белья и бельевым катком у булочника Цице вам надо убрать».

«Это почему же?» — осведомился я. В голосе у меня явно прозвучало раздражение. Мне всегда был дорог весь ритуал превращения грязного белья в свежее, гладкое, благоухающее. Как часто помогал я матушке почти во всех работах! Бельевые веревки, бельевые защипки, бельевая корзина, солнце и ветер на сушильной площадке угольщика Вендта на Шенхофштрассе, опрыскивание простыней перед тем, как наворачивать их на скалку, визг и скрипение слоноподобного гладильного катка, отдача и ловля рукоятки — и я должен

уничтожить весь этот белоснежный мир белья! И все из-за черной ангорской кошки?

«Пола совершенно права,— сказал Буччи, большой четырнадцатифунтовый седовласый кот,— уберите белое белье! Не то мы на него уляжемся, и вы будете ругаться». — «Или опять нас отстегаете за милую душу», — обиженно добавила Лолло, красавица персианка. «Это я вас стегаю за милую душу?» — возмутился я. «Нет,— отвечала Пола,— но вы всегда грозитесь, а это ничуть не лучше». — «Уберите вы это белоснежное белье!» — сказал Буччи и решительно заколотил хвостом по кирпичному полу террасы. «Не то опять выйдет неприятность,— пояснила Лолло,— как недавно из-за ваших новых белых рубашек. В конце концов мы не виноваты, что дверцу шкафа оставили открытой и на улице шел дождь!»

«Ради всего святого! — воскликнул я. — Ведь есть же разница между настоящим и написанным бельем! Настоящие кошки, какими бы грязными они ни пришли с дождя, все же не могут улечься на написанное белье!» — «Это все казуистика», — бросила Пола и начала умываться. Лолло посмотрела на меня из глубины своих золотисто-желтых глаз и скучающе проронила: «Типичный человек! Белье — это белье. А побои — это побои. Нас, кошек, вы не проведете!» Потом все трое потянулись и отправились на лужайку. Буччи напоследок обернулся и сказал: «Если б в вашей книжке хоть попадались мыши! Я и написанных ем! Люди милы, но о других они не думают. Для нас, котов, это не новость». На полпути он опять обернулся. «Сегодня ночью я вернусь попозже,— сообщил он мне.— Сейчас полная луна. Так что обо мне напрасно не беспокойтесь!» После чего и он исчез. Только шевелившиеся метелочки травы поведали мне, куда он направился. Через два дома живет его лучший в настоящее время друг.



Что ж, главу о стирке белья я вычеркнул. Не по приведенным ими причинам, но в данном случае кошки, может быть, и правы. Я показал им один из своих счастливых грошей, и вот я его снова прячу в карман. Мне было чуточку жаль, и я был чуточку обижен, но огорчения неизбежны в любом деле. Вместо стирки белья я мог бы без особого труда в угоду коту ввести двух-трех мышей, но так далеко моя любовь не заходит. Ибо, когда пишешь воспоминания, надо руководствоваться двумя правилами. Первое: можно и должно многое опускать. А второе гласит: нельзя ничего добавлять, даже мышку.

...Только что я не спеша прогуливался по лужайке и остановился у забора. Пастух и его черный шпиц гнали мимо стадо бляющих овец. Крохотные пасхальные ягнятки буквально за несколько месяцев превратились в довольно-таки больших баранов. У нас, людей, это продолжается значительно дольше. У дороги стоял маленький мальчик, глядел на стадо, на неуклюжую трусцу и скачки овец и при этом подтягивал чулки. Потом весело побежал с ними рядом.

Шагов через двадцать он вдруг остановился. У него снова спустились чулки, и ему опять надо было их подтянуть. Перегнувшись через забор, я с любопытством стал смотреть ему вслед. Овцы ушли вперед, и он хотел их догнать. Они хоть и поставляют нам чулки, однако сами их не носят. Возможно, они умнее, чем кажутся. Кто не носит чулок, у тех они не спускаются.

Возле парников садоводства мальчик опять стал. Он дернул вверх чулки и на этот раз очень обозлился. Потом, торопясь, бегом завернул за угол. По моим расчетам, он мог добраться до Геллертштрассе, пока все не повторится сначала. По этой части я кое-что да смыслю. Ох, эти чулки, ох, эти воспоминания! Когда я был маленьким, матушка дарила мне вместе с чулками круглые резинки, но они...

Не пугайся, любезный читатель, я умолкаю. Главы о чулках не последует, как не последует и главы о резинках. Работа сделана. Книга готова. Все, конец, точка!

Эрик Кестнер

**ЭМИЛЬ
И СЫЩИКИ**

Рассказы
и повести



ЭТО ЕЩЁ НЕ НАЧАЛО

Вам-то я могу откровенно признаться: историю про Эмилия и сыщиков я сочинил совершенно случайно. Дело в том, что я собирался написать совсем другую книгу. Книгу, в которой тигры от страха лязгали бы клыками, а с финиковых пальм так и сыпались кокосовые орехи. Ну и конечно, там была бы чёрно-белая в клеточку девочка-канибалка, и она бы вплавь пересекла Великий, или Тихий океан, чтобы, добравшись до Сан-Франциско, получить в фирме «Дрингвэтер и компания» бесплатно зубную щётку. И звали бы эту девочку Петрозилья, но это, конечно, не фамилия, а имя.

Одним словом, я хотел написать настоящий приключенческий роман, потому что один бородатый господин сказал мне, что вы, ребята, больше всего на свете любите читать именно такие книги.

Три главы были уже совсем готовы. Я остановился как раз на том, как вождь по имени Великий Ворон, прозванный также Скороходом, скинул насаженное на лезвие своего перочинного ножика печёное яблоко и, сохраняя полное хладнокровие, быстро сосчитал до трёхсот девяноста семи...

И вдруг всё застопорилось, потому что я забыл, сколько ног у кита. Я тут же улёгся на пол — а надо вам сказать, что лучше всего я думаю, лёжа на полу, — и принялся вспоминать, но так ничего и не вспомнил. Тогда я стал листать толковый словарь — сперва на букву «К», а потом, из добросовестности, на букву «Р» — «Рыба-кит», но про китовые ноги нигде не было сказано ни слова. А я не мог писать дальше, не зная точно, сколько у кита ног. Совершенно точно!

Дело в том, что если бы кит встал в то утро не с той ноги, то вождь по имени Великий Ворон, прозванный также Скороходом, никогда не встретился бы с ним в джунглях. А если бы он не повстречался с китом именно в тот момент, когда на лезвие его перочинного ножика было наколото печёное яблоко, то клетчатая канибальская девочка, которую звали Петрозилья, никогда бы не увидела мойщицу бриллиантов фрау Лёман, а не столкнусь Петрозилья с фрау Лёман, она никогда

не получила бы драгоценного талона, по которому в Сан-Франциско фирма «Дрингватер и компания» бесплатно выдаёт совершенно новую зубную щётку, и тогда бы...

Короче говоря, мой приключенческий роман — а я так радовался, сочиняя его, — споткнулся, так сказать, о китовую ногу. Я был очень огорчён. А когда я рассказал об этом фройляйн Фидельбоген, она пришла в такое отчаяние, что чуть не заплакала. Но плакать ей было некогда, потому что она как раз накрывала на стол к ужину, и она отложила слёзы на потом, а потом забыла, что собиралась поплакать. Таковы женщины!

Книгу я хотел назвать «Петрозильда из джунглей». Мирное заглавие, верно? А теперь три готовые главы лежат у меня под ножкой письменного стола, чтобы он не штался. Но разве это подходящее место для приключенческого романа, действие которого происходит не где-нибудь там, а в тропиках?

Старший официант Нитенфюр, с которым я иногда беседую о моей работе, спросил меня несколько дней спустя, бывал ли я когда-нибудь там.

— Где — там? — не понял я.

— Ну, в этих самых тропиках, в южных морях, в Австралии, на Суматре, Борнео и тому подобном?

— Нет, — ответил я. — А почему вы спрашиваете?

— Потому что писать можно только о тех вещах, которые хорошо знаешь, которые видел собственными глазами.

— Но позвольте, любезнейший господин Нитенфюр...

— Да это же ясно, как дважды два, — сказал он. — У Нойгебауэров — они часто ходят к нам в ресторан — была прислуга, которая никогда не видела, как жарят птицу. И вот в прошлое рождество, когда ей велели приготовить гуся, хозяйка, вернувшись домой с покупками, застала такую картину: в духовке жарился гусь в том виде, как его купили на рынке. Не опалённый, не опалённый, не выпотрошенный. Ну и вонь стояла, доложу я вам!

— При чём тут гусь? — удивился я. — Не станете же вы утверждать, что жарить гусей то же самое, что писать книги. Уж не обижайтесь на меня, дорогой Нитенфюр, но это же просто нелепо.

Он дал мне отсмеяться вволю, впрочем, смеялся я не так уж долго, и сказал:

— И тропическое море, и ваши каннибалы, и коралловые рифы, и вся прочая мура — это ваш гусь. А роман ваш — это

противень, на котором вы собираетесь зажарить и Тихий океан, и Петрозилью, и всех этих диковинных зверей. А если вы не знаете, как жарят такую дичь, то получится такая дичь, что стыда не оберёшься. Точь-в-точь, как у прислуги Нойгебауэров.

— Но именно так поступает большинство писателей! — воскликнул я.

— Приятного вам аппетита!

Вот и всё, что он сказал мне в ответ.

Некоторое время я молчал и думал. Потом возобновил разговор:

— Господин Нитенфюр, вы знаете Шиллера?

— Шиллера? Вы имеете в виду того Шиллера, что работает управляющим на пивоваренном заводе?

— Нет! — говорю я. — Писателя Фридриха Шиллера, который больше ста лет тому назад написал уйму пьес.

— Ах, вот что! Того Шиллера, которому памятники ставят?

— Точно! Он сочинил драму, действие которой происходит в Швейцарии. Называется она «Вильгельм Телль». Раньше детей в школах всегда заставляли писать сочинение на эту тему...

— Мы тоже писали, — перебивает меня Нитенфюр. — Этого Телля я прекрасно знаю. Верно, мировая пьеска, — Шиллер силён, ничего не скажешь. Что правда, то правда. Но писать сочинения — это просто ужасно. Одну тему я и посейчас помню: «Почему Вильгельм Телль не дрогнул, когда стрелял в яблоко?». Я получил тогда пару. Вообще, надо признаться, я никогда толком не умел...

— Дайте же мне закончить, — говорю я. — Так вот, хотя Шиллер никогда не был в Швейцарии, в его пьесе «Вильгельм Телль» всё — чистая правда, до мельчайших подробностей...

— А это потому, — возражает Нитенфюр, — что он предварительно прочёл поваренные книги.

— Поваренные книги?

— Ну да. Поваренные книги по своей специальности. В них можно почерпнуть много полезного: и какой высоты горы в Швейцарии, и когда там тает снег, и как всё было, когда крестьяне подняли восстание против губернатора Гёслера.

— Вы, несомненно, правы, — соглашаюсь я. — Шиллер всё это, конечно, читал.

— Ну вот видите! — подхватывает Нитенфюр и убивает полотенцем муху. — Вот видите, если вы поступите, как Шиллер, и почитаете книги, то, может быть, вам и удастся дописать вашу историю про этих самых австралийских кенгуру.

— Нет, читать книги у меня нет никакой охоты. Были бы деньги, я бы съездил туда и посмотрел бы всё сам на месте. А читать про это — нет...

— Тогда я дам вам один совет, — говорит он, — пишите о вещах, которые вы хорошо знаете. О метро, о гостиницах и о тому подобном, ну, и о детях, конечно, которые всё время путаются у нас под ногами. Да и давно ли мы сами были детьми?

— Но ведь бородатый господин, этот крупнейший специалист по детям — он уверяет, что знает их как свои пять пальцев, — толковал мне, что всё это их не интересует.

— Чуть! — бурчит господин Нитенфюр. — Уж мне-то вы можете поверить. В конце концов у меня тоже есть дети: двое мальчишек и девочка. И в свободные дни я рассказываю им, что здесь, в ресторане, происходит. А у нас ведь дня не бывает без историй: то кого-нибудь обсчитают, то — вот недавно был случай — один подвыпивший посетитель размахнулся, чтобы дать затрещину парнишке, продающему сигареты, а вместо этого врезал по шее проходившей мимо элегантной даме. И ребята мои, скажу вам по секрету, слушают эти рассказы, развесив уши.

— Вы в этом уверены, господин Нитенфюр? — спрашиваю я.

— Ещё бы! Голову даю на отсечение! — восклицает он и убегает, потому что за соседним столиком какой-то господин стучит ножом о стакан, прося счёт.

И вот только потому, что этого требовал старший официант Нитенфюр, я решил написать историю про то, что все мы — и вы, и я — очень хорошо знаем.

Я вернулся домой, уселся на подоконник и стал глядеть на Пражскую улицу в надежде, что как раз под моими окнами пройдёт та История, которую я ищу. Тогда бы я её окликнул и сказал: «Прошу вас, поднимитесь ко мне на минутку. Я так хочу вас написать!»

Но История всё не шла и не шла, а я начал мёрзнуть. Тогда я с раздражением захлопнул окно и пятьдесят три раза обежал вокруг письменного стола, но и это не по-

могло. Наконец, я, как в тот раз, улёгся на пол и стал думать.

Когда вот так долго лежишь на полу, то мир выглядит совсем по-другому. Видишь ножки стульев, домашние туфли, цветы на ковре, пепел, пыль, тумбы письменного стола, а под диваном вдруг находишь перчатку с левой руки, которую позавчера тщетно искал в шкафу.

Итак, я с любопытством рассматривал свою комнату, глядел на всё теперь не сверху вниз, а снизу вверх и с удивлением обнаружил, что у ножек стульев, оказывается, есть икры, да, настоящие тугие тёмные икры, словно это икры каких-нибудь негрятят или школьников в коричневых гольфах.

И вот когда я стал пересчитывать ножки стульев, чтобы выяснить, сколько негрятят или школьников в коричневых гольфах стоят на ковре, мне пришла в голову история про Эмиля. Быть может, потому, что я как раз думал о школьниках в коричневых гольфах, а быть может, потому, что фамилия Эмиля — Тыпбайн, что в переводе на русский значит «ножка стола».

Но так или иначе, история про Эмиля пришла ко мне именно в тот момент. Я лежал на полу, боясь пошевелиться: ведь с мыслями и воспоминаниями, которые пытаешься приманить, надо вести себя, как с бездомными собаками. Стоит только сделать резкое движение, или заговорить с ними, или протянуть руку, чтобы погладить, как — гоп! — их и след простыл. А потом ищи-свищи!

Я лежал, значит, не двигаясь, и приветливо улыбался своей находке. Я хотел её немножко приручить. И, представьте, она успокоилась. Стала доверчивей и даже отважилась сделать несколько шагов мне навстречу. Вот тут-то я и вцепился ей в загривок. И поймал.

Но, увы, только загривок. Пока, кроме загривка, мне ничего ухватить не удалось, потому что поймать собаку — это совсем не то, что вспомнить какую-нибудь историю. С собакой дело просто: стоит схватить её за шиворот, и ты её держишь всю как есть — с лапами, с мордой, с хвостиком, ну и со всем остальным, конечно, а с воспоминаниями дело обстоит куда хитрее. Воспоминания ловят по частям. Сперва их хватаешь за вихры, потом ловишь левую переднюю лапу, потом — цап! — и вцепился в заднюю, и так постепенно одно за другим. И когда кажется, что вся история полностью собрана,

вдруг откуда ни возьмись прилетает забытое ухо. И наконец — о счастье! — ты понимаешь, что всё целиком у тебя в руках.

Я как-то видел в кино одну короткометражку, в которой изображено примерно то, что я сейчас описал. В комнате стоял мужчина в одной сорочке. Вдруг распахнулась дверь, и к нему прилетели брюки. Он их надел. Потом примчался левый башмак. Затем прискакала тросточка, за ней галстук. Потом воротничок, за ним влетел жилет, а следом — носок и другой башмак. Затем шляпа, пиджак и ещё один носок. Потом появились очки. Просто бред какой-то! И всё же в конце концов человек этот оказался одетым как надо, и всё было на своём месте.

Точно то же происходило с моей историей, когда я лежал на полу, пересчитывая ножки стульев, и думал об Эмиле. И с вами, наверно, не раз такое случалось. Я лежал и ловил воспоминания, которые летели ко мне со всех сторон, как и положено воспоминаниям.

Наконец я всё собрал воедино, и повесть была готова. Оставалось только сесть за письменный стол и приняться за работу.

Но перед тем как начать писать всё подряд, я быстро записал все мои находки в том порядке, как они прилетали ко мне: сперва левый башмак, потом воротничок, потом тросточка, потом галстук, потом носок, ну, и так далее...

Теперь мне хотелось бы, перед тем как рассказать эту историю, перечислить вам сперва тех персонажей, которые нахлынули на меня в тот вечер, когда я лежал на полу в своей комнате, — нахлынули и обрушили на меня множество отдельных эпизодов, событий и подробностей, из которых я и составил потом целое.

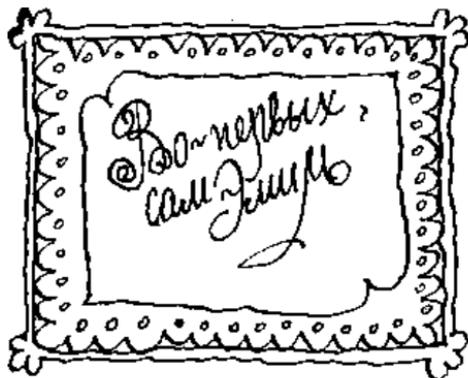
Быть может, вы окажетесь такими молодцами, что сами сумеете из всех этих элементов сложить связную историю, прежде чем я расскажу вам свою. Это как игра в кубики. Вам надо из набора строительного материала соорудить вокзал или там замок, не имея перед собой картинки, но с тем условием, чтобы все кубики — все до единого — были использованы.

Это что-то вроде экзамена.

Бр-р-р!

Но отметок ставить не будут.

Слава богу!

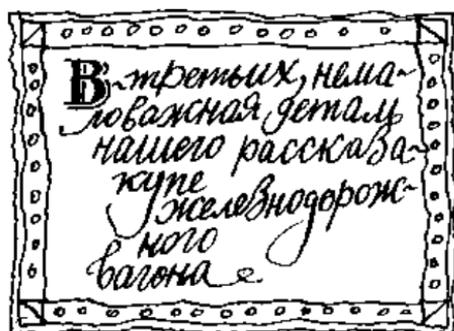


Итак, вот он, Эмиль. В тёмно-синем выходном костюмчике. Надевает он его неохотно, только когда заставляют. Ведь на синем костюме видны все пятна! И тогда мама Эмиля, зажав сына между коленями, чистит ему костюм влажной щёткой, приговаривая: «Эх, сынок, сынок, ты же знаешь, что я не могу купить тебе новый». И только тогда он вспоминает — как всегда, слишком поздно, — что мать день-деньской работает, чтобы заработать на хлеб и дать ему возможность учиться в реальном училище.



Когда Эмилю исполнилось пять лет, умер его отец, жестянщик, господин Тышбайн. И с тех пор мать Эмиля завивает щипцами волосы, делает причёски и моет головы продавщицам и другим женщинам, живущим по соседству. Кроме того, она готовит, убирает квартиру и даже с большой стиркой управляет сама. Она очень любит Эмиля и рада;

что может работать и зарабатывать деньги. Иногда она поёт весёлые песенки, а иногда болеет, и тогда Эмиль сам делает личнику для неё и для себя. Это он умеет. Жарить бифштексы он тоже умеет. В сухарях и с луком.



Поезд, в котором есть это купе, идёт в Берлин. Забегая вперёд, скажу вам, что в этом купе уже в ближайших главах будут происходить весьма удивительные события. Вообще странная штука такое вот купе. Совершенно чужие люди сидят здесь рядышком, и за несколько часов они успевают столько порассказать друг другу, словно знакомы уже долгие годы. Иногда это очень мило и вполне уместно. А иногда — вовсе нет. Ведь никто не знает, что за люди ваши попутчики.



Кто он — неизвестно. Правда, считается, что о людях нельзя плохо думать, пока не убедишься, что они того заслуживают. И всё же я попрошу вас быть в этом отношении крайне осторожными, ибо, как говорится, не зная броду, не суйся в воду. Нас учат, что всякий человек хороший. Что ж,

вероятно, так оно и есть, но этому хорошему человеку не всё должно сходить с рук, иначе может случиться, что он станет плохим.



Эта девочка на детском велосипеде — берлинская кузина Эмиля. Кое-кто считает, что надо говорить не кузина, а двоюродная сестра. Уж не знаю, как говорят у вас дома. Но лично я зову своих кузин кузинами, а не двоюродными сёстрами. И в семье Тышбайнов их тоже так зовут. Но кому это не нравится, может зачеркнуть иностранное слово «кузина» и написать сверху «двоюродная сестра». Из-за такой чепухи мы с вами ссориться не будем. А в остальном Пони-Шапочка очень милая девчонка, и зовут её, конечно, совсем по-другому. Её мать — родная сестра фрау Тышбайн. А Пони-Шапочка, как вы уже догадались, — это прозвище.



Есть в Берлине площадь Ноллендорф, и на этой площади, если не ошибаюсь, находится гостиница, где встретятся некоторые герои этой истории, но они не подадут друг другу

руки. Впрочем, не исключено, что эта гостиница находится на площади Фёрбеллинер. По правде сказать, я-то точно знаю, где она находится, но хозяин этой гостиницы, как только он услышал, что я собираюсь написать книгу про Эмиля и същизиков, прибежал ко мне и стал просить не называть её адреса. Если станет известно, что в его гостинице останавливались «такие» типы, сказал он, то это создаст ей дурную славу. С этим я не мог не согласиться. И хозяин гостиницы ушёл, несколько успокоившись.



Зовут его Густав. И по физкультуре у него всегда пятёрка. Чем он ещё может похвастаться? Довольно добрым сердцем и автомобильным клаксоном. Густава знают не только все ребята с его улицы, но и с соседних улиц тоже, и он всеми командует. Когда он обегает дворы и жмёт на группу клаксона так, что она ревёт, будто сирена, все мальчишки бросают свои дела и мчатся вниз по лестницам, чтобы узнать, что случилось. Обычно он всего лишь набирает две футбольные команды, и ребята отправляются гурьбой на пустырь стучать мячиком. Но иногда клаксон служат и для других целей. Вот как, например, в истории с Эмилем.



Во всех районах города большие банки имеют свои отделения. Там можно — конечно, если есть деньги, — купить акции и получить деньги наличными, конечно, если есть текущий счёт. Часто туда прибегают ученики продавцов, чтобы разменять деньги по поручению кассирши, у которой нет мелочи, чтобы давать сдачу. Вместо одной бумажки в десять марок они получают сто десятипфенниговых монет. Там можно также обменять иностранную валюту — доллары, швейцарские франки или итальянские лиры на немецкие марки. Даже ночью люди иногда посещают банк, несмотря на то, что он закрыт на замок. Поэтому им приходится, так сказать, заниматься самообслуживанием.

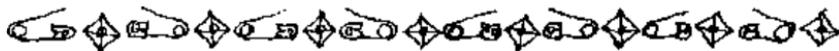


Это самая прекрасная бабушка из всех бабушек, которых я знал, хотя всю свою жизнь она провела в заботах и хлопотах. Просто есть на свете люди, которым не составляет ни малейшего труда быть весёлыми. А для других, напротив,

это тяжёлая, мучительная работа. Прежде бабушка Эмилия жила вместе с ним, а когда умер жестянщик Тыпбайн, отец Эмилия, ей пришлось переехать в Берлин к другим своим дочерям, потому что мама Эмилия зарабатывает слишком мало, чтобы прокормить троих. И вот теперь бабушка живёт в Берлине, и каждое письмо, которое она пишет Эмилию и его маме, она заканчивает одной и той же фразой: «У меня всё хорошо, чего и вам желаю».



В газетах пишут обо всём, что происходит. Но, конечно, только если это что-то хоть немножко из ряда вон выходящее. Если рождается телёнок с четырьмя ногами, это никого не интересует. А вот если у него пять или шесть ног, что иногда случается, то взрослые охотно читают про это за завтраком. Если господин Мюллер честный мальч, то до него никому нет репнительно никакого дела. Но вот если он разбавляет водой молоко и продаёт эту бурду за сливки, то о нём напишут в газете. Напишут, как бы он ни протестовал. Вы проходили когда-нибудь мимо типографии, где печатаются газеты? Там всё гудит, звенит, стучит так, что стены дрожат.



Глава первая

ЭМИЛЬ ПОМОГАЕТ МЫТЬ ГОЛОВУ

— А ну-ка,— сказала фрау Тышбайн,— возьми этот кувшин с горячей водой.

Сама она взяла другой кувшин и синий флакон с шампунем и направилась из кухни в комнату. Эмиль схватил кувшин и поспешил за матерью.

В комнате, наклонившись над белым тазом, сидела женщина. Её волосы были распущены и свисали, закрывая лицо, словно охапка нечёсаной шерсти. Мама Эмиля полила эту белокурую копну шампунем и так энергично принялась тереть чужую голову, что сразу же взбилась пена.

— Не горячо? — спросила она.

— Терпеть можно,— ответила голова.

Ах, да ведь это жена булочника, фрау Вирт!

— Здравствуйте, фрау Вирт,— сказал Эмиль и поставил кувшин под туалетный столик.

— Тебе повезло, Эмиль, я слышала, ты едешь в Берлин,— раздалось из-под намыленных волос, и голос звучал так, словно говорившую окунули в сбитые сливки.

— Правда, сперва он не хотел ехать,— сказала мама, не переставая тереть голову фрау Вирт.— Ну, а чего мальчишке здесь зря болтаться во время каникул? В Берлине он никогда не был, а моя сестра Марта нас уже давно приглашает. Её муж зарабатывает вполне прилично, он служит на почте. Я, конечно, ехать никак не могу. Под праздники у меня самая работа. Да он уже не маленький, сам доедет, а в Берлине на вокзале Фридрихштрассе его встретит бабушка. Она будет его ждать у цветочного киоска, чтобы с ним не разминуться.

— Берлин ему понравится. Детям там интересно. Мой муж ездил туда полтора года назад на соревнование по игре в кегли, и я с ним. Ну и сутолока! Там есть улицы, где ночью светлее, чем днём. А машин сколько!..— бубнила фрау Вирт из глубины таза.

— Заграничных машин много? — спросил Эмиль.

— А почём я знаю,— сказала фрау Вирт и чихнула, потому что мыльная пена попала ей в нос.

— Ну, а теперь походи переоденься, да поживей,— поторопила его мама.— Я всё тебе приготовила. Выходной костюм лежит на кровати. Уже пора собираться в путь. Как только я причешу фрау Вирт, мы будем обедать.

— А какую надеть рубашку?— осведомился Эмиль.

— Всё лежит на кровати. Носки смотри не порви. Да не забудь сперва как следует помыться. И вдень, пожалуйста, новые шнурки в ботинки. Ну, иди— и не возись, слышишь!

— Ага,— подтвердил Эмиль и исчез.

Когда с причёской было покончено и фрау Вирт, с удовлетворением бросив взгляд в зеркало, наконец удаллась, мама открыла дверь в спальню и увидела, что Эмиль с несчастным видом мечется по комнате.

— Скажи мне, пожалуйста, кто выдумал все эти выходные костюмы?

— Не знаю, а что?

— Укажи мне на этого типа, и я его убью.

— Ах ты, бедняжка! Как мне тебе не посочувствовать? Другие ребята огорчаются, что у них нет приличного костюма, а ты... Но, конечно, у каждого свои заботы... Да, чтоб не забыть: обязательно попроси у тётки Марты вечером плечики и аккуратно повесь на них костюм. А перед тем вычисти его как следует щёткой, слышишь? Смотри только, не забудь! Ну, а завтра, уж ладно, можешь снова влезть в твой любимый старый свитер. Как будто всё? Чемодан твой я сложила, цветы для тётки Марты в бумагу завернула. Деньги для бабушки я дам тебе в последнюю минуту. Что ж, давай обедать. Разрешите вас пригласить к столу, молодой человек!

Фрау Тышбайн обняла сына за плечи и повела его в кухню. К обеду были макароны с тёртым сыром и ветчина. Эмиль уплетал за двоих и лишь изредка вопросительно поглядывал на маму, словно желая убедиться, не обижена ли она тем, что он ест с таким аппетитом, несмотря на предстоящую разлуку.

— Как только приедешь, сразу же напишешь открытку. Я её положила в чемодан, прямо сверху.

— Слушаюсь,— сказал Эмиль и поспешно, стараясь не привлечь внимание мамы, смахнул со штанины макаронину. К счастью, мать ничего не заметила.

— Всем передай от меня привет. И смотри, не зевай там на улице. Берлин— это не Нойштадт. В воскресенье дядя Роберт поведёт тебя в музей кайзера Фридриха. Так ты веди себя хорошо, чтобы потом не говорили, что здесь, в провинции, дети невоспитанны и не знают приличий.

— Всё будет как надо, даю тебе честное слово,— пообещал Эмиль.

Пообедав, они вернулись в спальню. И тогда мама вынула из шкафа жестяную коробочку, в которой лежали деньги, и стала их считать. Потом она покачала головой и снова пересчитала.

— Кто приходил ко мне вчера? — спросила она.

— Фройляйн Томас и фрау Хомбург,— ответил Эмиль.

— Да, верно. Но всё равно не сходится,— сокрушённо сказала мама и опять погрузилась в какие-то расчёты.

Она достала бумажку, на которой записывала, сколько кто заплатил, опять стала что-то высчитывать, и в конце концов объявила:

— Не хватает восьми марок.

— Да ведь сегодня утром приходил газовщик.

— Забыла! Тогда, увы, всё сходится!

Мама даже свистнула с досады и вынула из жестяной коробочки три купюры.

— Послушай, Эмиль! — сказала она. — Вот тебе сто сорок марок. Смотри, три бумажки: одна стомарковая и две по двадцать. Сто двадцать марок ты отдашь бабушке и скажешь, чтобы она не сердилась, что я в тот месяц ничего ей не послала, иначе мне бы не свести концы с концами. Зато теперь ты сам привёз ей деньги, и даже больше, чем обычно. И крепко поцелуй её. Понял? У тебя останется двадцать марок. Когда придет время возвращаться домой, ты купишь себе билет на поезд. Это будет стоить около десяти марок. Точно я не знаю. А остальные деньги ты истратишь на то, чтобы платить за себя, когда вы будете куда-нибудь ходить. Да и вообще не мешает иметь в кармане две-три марки на всякий случай. Вот в этот конверт от письма тёти Марты я вложу деньги. Смотри, не потеряй. Куда ты его спрячешь?

Мама положила три купюры в аккуратно вскрытый конверт, затем сложила его пополам и протянула Эмилю.

Эмиль подумал и сунул конверт с деньгами в правый внутренний карман, на самое дно. Потом для проверки похлопал по пиджаку в том месте, где был карман, и сказал уверенно:

— Теперь они никуда не денутся.

— Ты только никому в поезде не рассказывай, что везёшь столько денег.

— Ну что ты, мамочка!

Эмиль был просто оскорблён, что мать может заподозрить его в такой глупости! Фрау Тышбайн положила несколько марок в свой кошелёк и поставила жестяную коробочку назад, в шкаф. Затем она ещё раз пробежала глазами письмо сестры, где было указано время отправления и прибытия поезда, которым Эмиль должен ехать в Берлин.

Некоторым из вас, возможно, покажется, что сто сорок марок не стоят того долгого разговора, который затеяла из-за них парикмахерша Тышбайн со своим сыном. И в самом деле, когда кто-нибудь зарабатывает две тысячи, или двадцать тысяч, или сто тысяч марок в месяц, то ему незачем так долго говорить о ста сорока марках.

Но имейте в виду, если вы этого не знаете, что большинство людей зарабатывают куда меньше. И когда ты получаешь в неделю не больше тридцати пяти марок, то сто сорок марок, сэкономленные с большим трудом,— сумма огромная. Нравится вам это или нет, но это так. Для очень, очень многих людей сто сорок марок—это всё равно что миллион, и мысленно они пишут эту цифру с шестью нулями. А что такое миллион на самом деле, они даже и во сне представить себе не могут.

Как вы знаете, отца у Эмиля не было, и мама его трудилась, не покладая рук, завивала блондинок и брюнеток, мыла им головы, чтобы заработать на жизнь и заплатить за квартиру, за газ, за уголь, чтобы купить одежду и учебники для Эмиля и внести плату за его обучение. Иногда она болела, тогда приходил доктор и прописывал лекарства. В такие дни Эмиль ставил маме компрессы и сам варил обед. А когда мама спала, он даже мыл пол, чтобы мама не сказала: «Придётся мне встать, а то такая грязь в квартире».

Можете вы это понять? И вы теперь не будете смеяться, если я вам скажу, что Эмиль во всех отношениях образцовый мальчик. Видите ли, он просто любит свою маму и умер бы со стыда, если бы бил баклуши, когда она работает, не щадя себя, и экономит буквально каждый пфенниг. Вот почему он не может пойти в школу, не выучив уроков, или списать задачку, скажем, у Рихарда Ноймана. Или прогулять при случае занятия. Он видит, как мама выбивается из сил, чтобы у него было всё, что есть у других реалистов. Разве можно в ответ её обманывать и огорчать?

Итак, Эмиль был, что называется, образцовым мальчиком. Это так. Но не подумайте, что он из той породы

пай-мальчиков, которые ведут себя образцово из трусости, из жадности или из стариковской рассудительности. Он был образцовый потому, что хотел быть образцовым! Он принял такое решение, как принимают решение не ходить больше в кино или не есть конфет. И хотя он и принял такое решение, выполнять его ему часто бывало очень трудно.

Но когда в конце учебного года он приходил домой и говорил: «Мама, вот мой табель. Я опять первый в классе», он был счастлив. Похвалам, которые он слышал в школе, да и не только в школе, он радовался не из-за себя, а из-за матери, потому что ей было приятно, когда его хвалили. Он гордился, что может хоть как-то отплатить ей за всё, что она, не зная усталости, делала всю свою жизнь для него...

— Ой! — воскликнула мама. — Нам пора выходить. Уже четверть второго. А поезд уходит без пяти минут два.

— Что ж, пошли, фрау Тышбайн, — сказал Эмиль матери шутливым тоном, — но имейте в виду: чемодан я понесу сам!



Глава вторая

СЕРЖАНТ ЙЕШКЕ МОЛЧИТ

Когда они вышли из дому, мама сказала:

— Если подойдёт конка, давай сядем и доедем до вокзала.

Знает ли кто-нибудь из вас, как выглядит конка? Она как раз выехала в эту минуту из-за угла и остановилась, потому что Эмиль махнул рукой. Я воспользуюсь этим, чтобы вам её быстро описать, пока она не покатила дальше.

Конка — это прежде всего совершенно невероятная штука. Представьте, она катится по рельсам, как настоящий взрослый трамвай, и вагоны у неё как у трамвая, но тащит её не мотор, а лошадь. По мнению Эмиля и его друзей, эта кляча была позором для их родного города, и они мечтали о настоящем трамвае, который приводил бы в движение электрический ток, о трамвае с пятью прожекторами спереди и тремя сзади. Однако городской совет Нейштадта считал, что для их четырёхкилометровой линии вполне достаточно одной живой лошадиной силы. Так что об электрическом моторе пока и речи не было, и вожатый не нажимал на рычаг, а дёргал левой рукой за вожжи, а правой помахивал кнутом. Эй, пошла, пошла!

И если кто-нибудь жил, скажем, на Магистратной улице, 12, и хотел сойти у своего дома, он просто-напросто стучал вожатому в стекло, и тогда тот кричал: «Тпру!» — Лошадь останавливалась, и пассажир сходил, где ему надо, хотя трамвайная остановка была расположена у дома 30 или там 46. Но нейштадтский трамвай не считался с официальными остановками. У трамвая времени было хоть отбавляй. Лошадь никуда не торопилась. И вожатый тоже. А жители города Нейштадта и подавно. Если же кто-нибудь случаем и в самом деле спешил, то он шёл пешком...

На Вокзальной площади фрау Тьпцбайн и её сын сошли. И пока Эмиль стаскивал с площадки свой чемодан, он вдруг услышал, как за его спиной прогудел густой бас:

— Что, в Швейцарию отправляетесь?

Голос этот принадлежал полицейскому сержанту Йёшке. Мать ответила:

— Нет, мой мальчик едет на неделю в Берлин, к родным.

А у Эмиля прямо в глазах потемнело. Потому что совесть у него была не чиста. Дело в том, что на днях он вместе с товарищами — их было человек двенадцать — отправились после урока физкультуры к памятнику великого герцога, прозванного Кривощёким Карлом, и нахлобучили на его лысую голову старую фетровую шляпу. А потом ребята уговорили Эмиля, потому что он рисовал лучше всех, взобраться на пьедестал и нарисовать великому герцогу красный нос и чёрные, как смола, усы. И в самый разгар его вдохновенной работы на углу Базарной площади появился сержант Йешке! Ребята не растерялись — их словно ветром сдуло. Тем не менее они опасались, что сержант их узнал.

Однако Йешке ничего не сказал про тот случай, даже напротив, приветливо пожелал Эмилю доброго пути и осведомился, как идут дела у фрау Тышбайн.

Но всё же Эмилю было как-то не по себе. И пока он тащил свой чемодан по площади к зданию вокзала, у него от страха дрожали колени. Он боялся, что Йешке вдруг закричит ему вслед: «Эмиль Тышбайн, ты арестован. Руки вверх!» Но этого не произошло. Может быть, сержант просто ждёт возвращения Эмиля из Берлина?

Потом мама купила в кассе железнодорожный билет для Эмиля — конечно, жёсткий, — а для себя перронный. И они вышли на первый перрон — да, да, в Нейштадте целых четыре перрона! — и стали ждать поезда в Берлин. Он должен был прибыть через несколько минут.

— Смотри, не забудь ничего в купе! И не сядь по рассеянности на букет! Чемодан надо поставить на багажную полку — попроси кого-нибудь, тебе помогут. Только повежливей, пожалуйста!

— Чемодан я сам смогу поставить. Что, я девчонка, что ли?

— Ладно, ладно. Не прозевай своей остановки. В Берлин ты приедешь в 18.17. Слезть тебе надо на Фридрихштрассе. Смотри, не сойди раньше, у Зоопарка или ещё где.

— Не тревожьтесь понапрасну, мадам!

— Пожалуйста, не вздумай разговаривать с чужими таким дерзким тоном! И ещё — не бросай бумагу, в которую я завернула тебе бутерброды с колбасой, на пол. А главное — не потеряй деньги!

Эмиль в ужасе ощупывает свой пиджачок там, где находится правый боковой карман, облегчённо переводит дух и говорит:

— Пока идём без потерь.

Он берёт мать под руку и прогуливается с ней вдоль перрона.

— Не работай слишком много, мамочка! И не болеей! А то ведь некому будет за тобой ухаживать. Если ты заболеешь, я тут же сяду на самолёт и прилечу домой. И ты мне тоже пиши. Я проживу в Берлине не больше недели, так и знай.

Эмиль крепко обнял маму. Она чмокнула его в нос.

И тут как раз с рёвом и грохотом прибыл поезд. Эмиль ещё раз обнял маму и, схватив чемодан, полез в вагон. Мама протянула ему букет и свёрток с бутербродами. Потом спросила, есть ли свободное место. Он кивнул в ответ.

— Итак, сойдёшь на Фридрихштрассе!

Он кивнул.

— И веди себя как следует, разбойник!

Он кивнул.

— И не обижай Пони-Шапочку. Вы небось уж и не узнаете друг друга.

Он кивнул.

— И пиши мне.

— И ты мне тоже.

Разговор этот, наверно, никогда бы не кончился, если бы не было расписания поездов. Вдоль состава прошёл начальник поезда, крича: «По вагонам! По вагонам!» Защёлкали дверцы купе. Двинулись рычаги паровоза, и поезд тронулся.

Мама ещё долго стояла на перроне и махала платком. Потом она медленно повернулась и пошла домой. А так как платок у неё всё равно уже был в руке, она малость всплакнула.

Но только самую малость, потому что дома её уже ждала жена мясника фрау Густина, которой надо было помыть голову и уложить волосы.

Глава третья

ЭМИЛЬ ЕДЕТ В БЕРЛИН

Войдя в купе, Эмиль снял свою школьную фуражку, поклонился и сказал:

— Добрый день, господа. Не найдётся ли здесь для меня местечка?

Местечко, конечно, нашлось. А полная дама, которая уже успела скинуть с левой ноги туфлю, потому что она ей жала, сказала своему соседу, господину, дышавшему с присвистом:

— Теперь не часто встретишь таких воспитанных детей. Я вот вспоминаю свою молодость. О боже, тогда всё было по-другому.

Говоря это, она шевелила затёкшими пальцами левой ноги. Эмиль с интересом следил за этими гимнастическими упражнениями. А сосед её так тяжело дышал, что едва смог одобрительно кивнуть.

Эмиль давно уже знал, что есть такие люди, которые по любому поводу вздыхают: «О боже, насколько прежде всё было лучше!» И если кто-нибудь при нём говорил, что прежде и воздух был лучше, и рога у быков длиннее, он пропускал это мимо ушей. Ведь в большинстве случаев это неправда, а такие люди просто ворчуны, которые цепляются за любой повод, лишь бы быть недовольными, потому что они ни за что не хотят быть довольными.

Эмиль оцупал для верности правый карман своего пиджачка и, услышав, как шуршит заветный конверт, вздохнул свободно. К тому же пассажиры, сидящие в купе, вызвали доверие, так как не походили ни на разбойников с большой дороги, ни на убийц. Рядом со стариком, дышавшим с присвистом, сидела женщина и вязала крючком шаль, а у окна сосед Эмиля, господин в чёрном котелке, читал газету.

Вдруг господин в котелке оторвался от чтения, вынул из кармана плиточку шоколада, отломил кусочек и протянул мальчику:

— Ну, как жизнь, молодой человек?

— У меня каникулы,— ответил Эмиль и взял шоколад. Потом он поспешно вскочил, сорвал с головы фуражку, поклонился и представился:

— Меня зовут Эмиль Тышбайн.

Все в купе засмеялись. Господин, в свою очередь, приподнял котелок и произнёс:

— Очень приятно. Грундайс.

Потом толстая женщина, сидевшая без левой туфли, сказала:

— Скажи-ка, живёт ли ещё в Нойштадте господин Курцхальц, владелец магазина готового платья?

— Конечно, живёт,— обрадовался Эмиль.— Вы что, его знаете? Он недавно купил земельный участок возле магазина.

— Смотри-ка! Передай ему привет от фрау Якоб из Гросс-Грюнау.

— Так я же еду в Берлин!

— Это не к спеху: передашь, когда вернёшься,— сказала фрау Якоб, снова зашевелила пальцами и принялась так хохотать, что шляпа съехала ей на лоб.

— Значит, ты едешь в Берлин? — спросил господин Грундайс.

— Ага. Бабушка будет ждать меня у цветочного киоска на вокзале Фридрихштрассе,— ответил Эмиль и снова оцупал конверт. Слава богу, конверт по-прежнему шуршал.

— Ты уже бывал в Берлине?

— Нет.

— Ну, ты будешь поражён! В Берлине есть дома в сто этажей, а крыши привязывают к небу, чтобы их не сдуло ветром... А если кому-нибудь нужно поскорее попасть в другой конец города, он бежит на почту, там его запаковывают в ящик и сжатым воздухом гонят по трубе, как пневматическое письмо, в то почтовое отделение, куда ему надо... А если у человека нет денег, он отправляется в банк и, оставив в залог свой мозг, получает там тысячу марок. А, как известно, человек может прожить без мозга только два дня. Чтобы получить свой мозг назад, он должен вернуть банку уже не тысячу, а тысячу двести марок. Теперь изобрели такие новые медицинские аппараты...

— Видно, вы как раз и заложили свой мозг в банке,— прервал его свистящий старик и добавил: — Перестаньте болтать глупости.

Толстая фрау Якоб так перепугалась, что уже не шевелила пальцами левой ноги, и даже дама, вязавшая шаль, перестала вязать.

Эмиль принуждённо улыбнулся. Мужчины стали выяснять отношения. Эмиль подумал: «Так просто меня не купишь!» — и развернул пакет с бутербродами, хотя только что пообедал. Когда он справился с третьим бутербродом, поезд остановился на какой-то большой станции. Но названия он не увидел, а что прокричал кондуктор, не расслышал. Там сошли свистящий старик, дама с вязанием и фрау Якоб из Гросс-Грюнау. Правда, она чуть не проехала, потому что никак не могла всунуть левую ногу в туфлю.

— Так не забудь передать привет господину Курцхальцу, — повторила она на прощание.

Эмиль кивнул.

И он оказался в купе вдвоём с господином в котелке. Эмиль был от этого не в восторге. Человек, который раздаёт шоколад и рассказывает всякие небылицы, доверия не вызывает. Эмилю захотелось снова потрогать конверт. Но он не решился этого сделать, а подождал, пока поезд тронулся, пошёл в туалет, вынул там конверт из кармана, пересчитал деньги — все сто сорок марок были в целости и сохранности — и стал думать, как же быть. Наконец он придумал. Он взял булавку, которую нашёл в лацкане пиджачка, проткнул её сквозь все три купюры, сквозь конверт, а потом и сквозь подкладку кармана. Он, так сказать, пригвоздил к себе деньги. «Теперь уже ничего не может случиться», — решил он и вернулся в купе.

Господин Грундайс, уютно расположившись в углу, спал. Эмиль обрадовался, что ему не надо поддерживать разговор, и стал глядеть в окно. Мимо проносились деревья, ветряные мельницы, поля, фабрики, стада коров, крестьяне, махавшие вслед поезду. Очень интересно было наблюдать, как всё проплывало перед глазами, словно вертелась пластинка. Но нельзя же часами смотреть в окно!

Господин Грундайс продолжал спать и даже слегка похрапывал. Эмиль охотно походил бы взад-вперёд по купе, но боялся разбудить своего попутчика — меньше всего на свете он хотел, чтобы тот проснулся. Поэтому он забился в противоположный угол и стал глядеть на спящего. Интересно, почему он не снял котелка? У него было длинное лицо, тонкие чёрные усики, тысяча морщинок вокруг рта, острые оттопыренные уши.

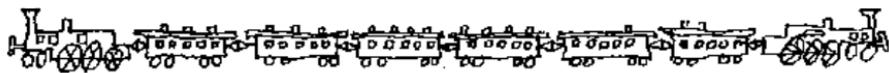
Ой! Эмиль вздрогнул и испугался не на шутку. Он чуть было не заснул. Спать ему нельзя ни в коем случае. Хоть бы ещё кто-нибудь вошёл к ним в купе! Поезд несколько раз останавливался, но, как назло, никто не

садился. А было всего четыре часа, ехать предстояло ещё целых два часа. Он ущипнул себя за ногу... В школе, на уроках истории у господина Бремзера, это всегда помогало.

И сейчас это сработало на некоторое время. Эмиль старался себе представить, как теперь выглядит Пони-Шапочка. Но он не мог вспомнить её лица. Он помнил только, что, когда она вместе с бабушкой и тётёй Мартой приезжала в последний раз в Нойштадт, она всё хотела с ним боксировать. Он, конечно, не соглашался, потому что она в весе пера, а он уж никак не меньше полулёгкого. Это было бы просто неприлично с его стороны, сказал он ей тогда. Если он как следует двинет ей апперкотом по скуле, она в стену врежется. Но она отстала от него, только когда вмещалась тётя Марта.

Ой, ой! Он чуть было не свалился с сиденья. Опять заснул? Он всё щипал и щипал себя за ногу. Небось, нога уже вся в синяках. И всё же это не помогало.

Попробовал считать пуговицы. Сперва сверху вниз, а потом снизу вверх. Сверху вниз он насчитал двадцать три штуки, а снизу вверх—двадцать четыре. Он откинулся на спинку сиденья и стал думать, почему получается по-разному. И вот тут он заснул.



Глава четвёртая

СОН, В КОТОРОМ МНОГО БЕГОТНИ

Вдруг Эмилио показалось, что их поезд мчится по кругу, как игрушечный поезд по кольцу рельсов на полу комнаты. Он глядел в окно и не переставал удивляться. Круг всё сужался. Расстояние между паровозом и последним вагоном быстро уменьшалось, причём паровоз явно всё время убыстрял ход. Поезд кружился вокруг себя, словно собака, которая норовит укунить себя за хвост. А в чёрном кругу, очерченном мчавшимся поездом, стояли деревья, стеклянная мельница и огромный дом в двести этажей.

Эмиль захотел узнать, который час, и полез в карман, чтобы вытащить часы. Он их всё тащил и тащил, но никак не мог вытащить, а в конце концов у него в руках оказались настенные часы из маминой комнаты. Он поглядел на циферблат и прочёл: «185 часов километров. Плевать на пол опасно для жизни». Он снова кинул взгляд в окно. Паровоз уже совсем догонял хвостовой вагон. Эмиль очень испугался. Ведь если паровоз наскочит на этот вагон, произойдёт крушение. Это ясно, как дважды два. Эмиль не собирался сидеть сложа руки и ждать несчастного случая. Он выскочил из купе и побежал по проходу. Может, машинист просто заснул? По дороге он заглядывал в другие купе. Нигде ни души. Поезд был пуст. Кроме него, там ехал только ещё один пассажир в котелке из шоколада; он отломил на глазах у Эмиля кусочек и тут же его съел. Эмиль постучал к нему в купе и молча указал на паровоз, но человек в шоколадном котелке только рассмеялся, отломил ещё кусочек и стал себя гладить по животу — так ему было вкусно.

Наконец Эмиль добрался до тендера, потом ловко подтянулся и залез на паровоз к машинисту. Машинист сидел почему-то на козлах; в одной руке он держал вожжи, другой помахивал кнутом, словно в паровоз была запряжена лошадь. Эмиль поглядел: так оно и оказалось, причём не одна лошадь, а целых шесть пар! На копытах у всех были серебряные ролики, они катились на них по рельсам и пели:

Надо мне, надо мне в городок попасть.

Эмиль схватил возницу за плечо и закричал: «Придержите лошадей. Не то случится несчастье!» И тут он увидел, что возницей был не кто иной, как господин сержант Йешке.

Йешке окинул Эмиля проницательным взглядом и завопил:

«Кто был тогда с тобой? Кто размалевал великого герцога Карла?»

«Я», — ответил Эмиль.

«А ещё кто?»

«Не скажу!»

«Тогда будем дальше мчаться по кругу».

И сержант Йешке так ударил кнутом, что лошади встали на дыбы и понесли, уже совсем догоняя хвостовой вагон. А в том вагоне сидела, оказывается, фрау Якоб, размахивала святой с ноги туфель и умирала от страха, потому что лошади вот-вот могли схватить её за разутую ногу.

«Я дам вам двадцать марок, господин сержант!» — крикнул Эмиль.

«Не болтай глупости!» — заорал на него Йешке и пуще прежнего стал погонять лошадей.

Эмиль не выдержал и выпрыгнул на ходу с поезда. Он покатился по откосу и перекувырнулся двадцать раз через голову, но ничего себе не повредил. Он встал на ноги и поглядел на поезд. Поезд остановился, и все двенадцать лошадей повернули головы в сторону Эмиля. Сержант Йешке привстал на козлах; он нещадно бил лошадей и орал, погоняя их:

«Эй, пошли, пошли! За ним!»

И тогда все двенадцать лошадей соскочили с рельсов и помчались на Эмиля, а вагоны запрыгали следом, словно резиновые мячики.

Эмиль недолго думая пустился наутёк. Он бежал что было духу по лужайке, мимо деревьев, через ручей прямо к небоскрёбу. Иногда он оборачивался: поезд мчался за ним по пятам, сметая всё на своём пути. Только один огромный дуб стоял невредимый, а на него влезла толстая фрау Якоб; она сидела на ветке на самой верхушке, ветер раскачивал её, она плакала и никак не могла застегнуть свою новую туфлю. Эмиль кинулся дальше.

В доме в двести этажей были большие чёрные ворота. Он вбежал в них и выбежал с другого конца. Поезд по-прежнему мчался за ним. Эмилю больше всего на свете хотелось забиться в угол и уснуть, потому что он ужасно устал и у

него тряслись все поджилки. Но ему нельзя было спать! Поезд уже въехал в ворота дома.

Тут Эмиль увидел железную лестницу. Она шла вдоль всего дома до самой крыши. И он полез по ней. К счастью, он был хорошим гимнастом. Он лез и считал этажи. На пятидесятом этаже он отважился обернуться. Огромный дуб казался совсем крошечным, а стеклянная мельница была едва различима. Но — о ужас! — поезд и здесь ехал за ним: он полз вверх по дому. Эмиль лез всё выше и выше. А поезд громыхал где-то рядом по железным перекладинам лестницы, словно это рельсы.

Сотый этаж, сто двадцатый, сто сороковой, сто шестидесятый, сто восьмидесятый, сто девяностый, двухсотый этаж! Эмиль стоял на крыше и не знал, что делать. До него уже доносилось ржание лошадей. Он отбежал на другой конец крыши, вынул из кармана носовой платок и развернул его. Когда взмыленные лошади показались у края крыши, а за ними загромыхал поезд, Эмиль поднял платок над головой, словно парашют, и прыгнул в пустоту. Он услышал, как поезд крушил на своём пути домовые трубы... Потом Эмиль, видно, потерял на несколько секунд сознание.

И вот — плюх! — он приземлился на лужайке.

Он лежал с закрытыми глазами: ему хотелось поскорее уснуть и увидеть какой-нибудь хороший сон. Но так как он ещё не чувствовал себя в безопасности, он кинул взгляд на небоскрёб и увидел, что на крыше все двенадцать лошадей раскрыли зонтики. У сержанта Йешке вместо кнута тоже был уже зонтик в руке, и он погонял им лошадей. Они присели на задние ноги, рванулись вперёд и прыгнули в пустоту. Поезд плавно спускался на лужайку и становился всё больше и больше.

Эмиль снова вскочил на ноги и побежал по лужайке к стеклянной мельнице. Она была совсем прозрачна, и Эмиль увидел там свою маму, которая как раз мыла волосы фрау Аугустине. «Слава богу», — подумал он и вбежал через заднюю дверь в мельницу.

«Мамочка! — крикнул он. — Что мне делать?»

«Что случилось, мальчи?» — спросила мама, продолжая намывать голову.

«Погляди сквозь стену!»

Фрау Тышбайн поглядела и увидела, как лошади, а за ними поезд, приземлившись на лужайке, помчались во всю прыть прямо на мельницу.

«Так это же сержант Йешке!» — воскликнула мама и удивлённо покачала головой.

«Он давно уже гонится за мной, словно бешеный».

«Почему?»

«Я на днях намалевал великому герцогу Карлу Кривощё-кому красный нос и чёрные усы на верхней губе».

«А кому же ещё ты мог бы нарисовать усы?» — спросила фрау Аугустина и прыснула со смеху.

«Никому, фрау Аугустина. Но это ещё полбеды. Главное, он требовал, чтобы я назвал имена тех, кто был со мной. А этого я ему ни за что не скажу. Это дело чести».

«Эмиль прав,— сказала мама,— но что же нам делать?»

«Включите-ка мотор, милая фрау Тышбайн», — посоветовала фрау Аугустина.

Мама Эмиля нажала на какой-то рычажок у стола, и крылья мельницы пришли в движение, а так как они были из стекла, они так засияли и засверкали на солнце, что слепило глаза. И когда лошади с поездом примчались к мельнице, они испугались, встали на дыбы и застыли на месте как вкопанные. Сержант Йешке ругался настолько громко, что это было слышно даже сквозь стеклянные стены. Но, несмотря на все его усилия, лошади не двигались с места.

«Ну вот, видите, теперь вы можете спокойно домыть мне голову,— сказала фрау Аугустина.— С вашим мальчиком ничего не случится».

Парикмахерша Тышбайн снова принялась за работу. А Эмиль сел на стул, который тоже был из стекла, и стал насвистывать какую-то песенку. Потом он громко рассмеялся и сказал:

«Как здорово всё получилось! Если бы я знал, что ты здесь, я не лез бы вверх по этой проклятой лестнице».

«Надеюсь, ты не порвал свой костюм,— сказала мама, а потом спросила:— Ты деньги-то не потерял?»

Эмиль вздрогнул и с грохотом упал со стеклянного стула. Он приснул.



Глава пятая

ЭМИЛЬ СХОДИТ НЕ НА ТОЙ ОСТАНОВКЕ

Когда Эмиль проснулся, поезд как раз отъезжал от станции. Во время сна он упал со скамейки и лежал сейчас на полу. Он страшно перепугался. Почему, он сам ещё толком не понимал. Но сердце его ужало, как паровой молот. Он сел на корточках, но всё ещё никак не мог сообразить, где он, собственно говоря, находится. Потом, по частям, всё вспомнил. Ну да, конечно, он же едет в Берлин. И уснул дорогой. Как тот господин в котелке... Эмиль рывком вскочил на ноги и прошептал:

— Его нет!

У него подогнулись колени. Чисто машинально он стал отряхивать свой костюм. Естественно возникал вопрос: «Целы ли деньги?» Но этот вопрос внушал ему смертельный страх.

Он долго простоял, прислонившись к дверце купе. Он не решался пошевелиться. Вот там, напротив него, ещё совсем недавно сидел и спал господин по имени Грундайс. И даже храпел. А теперь его нет. Конечно, всё могло быть в полном порядке. Ведь даже некрасиво сразу подозревать худшее. Не должны же все люди ехать до вокзала Фридрихштрассе только потому, что он сам туда едет. И деньги наверняка лежат на месте. Куда им деться? Они ведь лежат в конверте. Конверт спрятан в кармане и даже приколот булавкой к подкладке. И Эмиль опустил руку в правый внутренний карман пиджака.

Карман был пуст. Денег не было!

Эмиль порылся в кармане левой рукой. Потом стал ощупывать пиджак снаружи правой. Но результат был всё тот же: карман был пуст, деньги исчезли.

— Ай!

Эмиль выдернул руку из кармана, а в руке торчала булавка, та самая, которой он проткнул для страховки конверт с деньгами. В кармане ничего не было, кроме этой булавки, и теперь она вонзилась ему в указательный палец так глубоко, что потекла кровь.

Он обмотал палец носовым платком и заплакал. Конечно, не из-за того, что пошла кровь. На такие пустяки он вообще не обращал никакого внимания. Две недели назад он с разбегу врезался в столб и стукнулся так сильно, что искры из глаз полетели, вот и до сих пор у него ещё шишка на лбу. Но тогда он и не думал плакать.

Плакал он из-за денег. Плакал он из-за мамы. И если какой-нибудь мальчишка этого не понимает, будь он хоть самый смелый, он ничего не стоит. Эмиль знал, сколько работала его мама изо дня в день, много месяцев, чтобы скопить для бабушки эти деньги и послать его в Берлин. Хорош сыночек, ничего не скажешь! Едва он очутился в поезде, как уткнулся в угол, уснул, видел какой-то дурацкий сон и позволил первому встречному типу украсть деньги. Как же ему не плакать? Что ему теперь делать? Сойти на вокзале Фридрихштрассе и сказать бабушке: «Вот я и приехал. Но денег я тебе не привёз, так и знай. Наоборот. Ты мне дай поскорее деньги на обратный билет в Нойштадт. Не пошлам же мне идти?»

Ну и история! Мама зря копила деньги. Бабушка не получила ни пфеннига. В Берлине остаться он не может. Домой ехать тоже было нельзя. И всё из-за этого господина, который угощает детей шоколадом и притворяется спящим, чтобы потом их ограбить. Вот так дела творятся на свете!

Эмиль не без труда проглотил слёзы и огляделся. Если дёрнуть за тормоз, поезд тут же остановится. И прибежит проводник. Сперва один, потом другой, третий, и все будут спрашивать: «Что случилось?»

«У меня украли деньги», — объяснит он.

«В другой раз будешь внимательней», — скажут они. — А теперь садись на своё место. Как тебя зовут? Где проживаешь? За остановку поезда без надобности штраф сто марок. Счёт пришлют по месту жительства».

В скором хоть можно пройти через весь состав в служебное отделение, к начальнику поезда, и заявить о краже, а в этом почтово-пассажирском не было даже прохода от вагона к вагону! Хочешь не хочешь, жди теперь следующей станции, а тем временем человек в котелке смоеся. А тогда ищи-свищи, а его и след простыл. Эмиль ведь даже не знал, где он вышел. Интересно, который сейчас час? Долго ли ещё до Берлина? В окне мелькали то какие-то большие дома, то виллы с яркими цветниками, то снова грязные здания с высокими кирпичными трубами. Наверно, это уже был Берлин. На ближайшей остановке он должен позвать провод-

ника и всё ему рассказать. А проводник тут же заявит об этом в полицию.

Только этого ему не хватало! Теперь придётся иметь дело с полицией. И сержант Йешке не будет, конечно, больше молчать: ему придётся исполнить свой служебный долг и заявить: «Ученик реального училища Эмиль Тышбайн мне что-то не нравится. Сперва он размалёвывает памятники, которые мы все должны чтить. А потом заявляет, что у него украли сто сорок марок. А кто знает, быть может, эти деньги у него вовсе не украли? Если мальчик размалёвывает памятники, то он и сойдёт, не дорого возьмёт. На этот счёт у меня есть кое-какой опыт. Скорее всего, он сам закопал эти деньги в лесу или проглотил их, чтобы потом удрать в Америку. Чего же нам в таком случае искать вора? Реалист Тышбайн и есть вор. Господин начальник полиции, арестуйте его, пожалуйста».

Какой ужас! Он даже не может обратиться в полицию!

Эмиль достал с полки чемодан, нахлобучил фуражку, заткнул булавку снова за лацкан и приготовился к выходу, хотя не имел никакого понятия о том, что ему предпринять. Но в этом купе ему больше нельзя оставаться. Это, во всяком случае, было ясно.

А поезд тем временем явно замедлил ход. Эмиль поглядел в окно: путей становилось всё больше, рельсы сверкали на солнце, потом показался перрон, по нему бежали носильщики.

Поезд остановился. Эмиль прочёл название станции: «Зоопарк». Защёлки двери купе. Люди выходили. На перроне толпились встречающие. Начались обычные объятия, приветствия.

Эмиль высунулся в окно, чтобы увидеть начальника поезда. И вот тут-то он заметил вдали, в самой гуще толпы, господина в котелке. А вдруг это вор? Кто знает, может быть, украв у Эмиля деньги, он вовсе не сошёл с поезда, а перешёл просто в другой вагон?

В следующее мгновение Эмиль уже стоял на перроне и стаскивал с подножки свой чемодан. Потом он снова залез в вагон, потому что забыл взять букет, прыгнул с подножки, схватил чемодан и побежал что было духу к выходу.

Где котелок? Эмиль расталкивал людей, бил чемоданом по ногам, спотыкался, но бежал дальше. А толпа с каждой минутой становилась плотнее, и всё труднее было пробиваться сквозь неё.

Вот он! Там, у поворота, маячит котелок! Бог ты мой, а вон появился ещё один котелок! Эмиль уже выбился из сил, он едва тащил чемодан. Оставить бы его где-нибудь здесь. Но нельзя, а то ещё и чемодан украдут!

Наконец он кое-как протиснулся к котелку.

А вдруг он! Он?

Нет.

Вон там ещё котелок.

Нет... Этот человек слишком мал ростом...

Эмиль, как индеец, пробирался сквозь толпу.

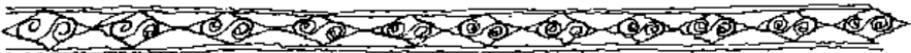
Вон, вон ещё один!

Да, это он! Слава богу, это Грундайс. Он проходил как раз сквозь турникет и, судя по всему, торопился.

«Подожди, каналья,— пробормотал про себя Эмиль,— ты от меня не уйдёшь!»

Он сдал контролеру билет, взял чемодан, сунул букет подмышку и побежал за Грундайсом вниз по лестнице.

Теперь всё зависело от него самого.



Глава шестая

ТРАМВАЙ 177

Больше всего Эмилю хотелось подбежать к Грундайсу, стать перед ним, расставив ноги, и крикнуть: «Гони деньги!» Но трудно было предположить, что тот ответит: «Охотно, детка. Вот тебе вся сумма. И поверь, больше я этого делать не буду». Таким простым путём Эмиль ничего бы не добился. Пока что самым главным было не потерять этого типа из виду.

Эмиль прятался за спиной толстой дамы, которая шла перед ним, и лишь изредка выглядывал то справа, то слева, чтобы убедиться, что господин в котелке не пустился вдруг наутёк. А Грундайс тем временем дошёл до выхода, остановился на ступеньке, обернулся и принялся разглядывать идущих за ним людей, словно он кого-то искал. Эмиль прижался совсем вплотную к толстой даме и подходил всё ближе к вору. Что же будет? Через секунду Эмиль с ним поравняется, и тогда всё пропало. Может, эта женщина придёт ему на помощь? Но, скорее всего, она ему просто не поверит. А вор скажет: «Простите, сударыня, но что это вам взбрело в голову? Неужели я похож на человека, который грабит маленьких детей?» И сразу соберётся толпа, все уставятся на мальчика и будут возмущаться: «Дожили! Так клеветать на взрослых! Нет, что ни говори, современная молодёжь никуда не годится!» При одной мысли об этой сцене Эмиль застучал зубами.

Но, к счастью, Грундайс вдруг перестал рассматривать толпу и вышел на улицу. Эмиль мигом оказался у двери, поставил чемодан на пол и поглядел в зарешеченное стекло. У него так ныла рука!

Вор медленно перешёл на ту сторону улицы, ещё раз обернулся и, явно успокоившись, двинулся дальше. А слева, из-за угла, выехал трамвай. На нём красовался номер 177, и он затормозил на остановке.

Грундайс мгновение раздумывал, потом влез в первый вагон и сел у окна.

Эмиль снова схватил свой чемодан, прокрался, нагнувшись, мимо двери дальше по вестибюлю, нашёл другую дверь,

выскочил через неё на улицу и добежал до прицепного вагона как раз в тот момент, когда трамвай тронулся. Он забросил чемодан на площадку, потом, уже на ходу, сам вскочил, протиснул чемодан в угол, стал рядом и только тогда перевёл дух. Уф, с этим он, кажется, справился!

Но что будет дальше? Если Грундайс прыгнет на ходу, деньги пропали. Потому что прыгать с чемоданом Эмиль не решится. Это слишком опасно.

Сколько машин! Они обгоняют трамвай, гудят, ревут, а на перекрёстках им наперерез мчатся другие потоки машин. Какой шум! А тротуар весь запружен людьми. Трамвай, двухэтажные автобусы, экипажи! На всех углах газетные киоски. Огромные витрины, от которых не оторвёшь глаз: цветы, фрукты, книги, золотые часы, готовое платье, шёлковое бельё. И высокие, высокие дома.

Вот он каков, Берлин.

Эмилю очень хотелось всё это поподробней разглядеть. Но ему было некогда: ведь в переднем вагоне сидел человек с его деньгами и мог каждую минуту выскочить и исчезнуть в толпе. И тогда — крышка. Потому что в этой толпе, среди всех этих машин, автобусов и людей, никого нельзя найти. Эмиль высунул голову в окно: а вдруг этот голубчик смылся? Может, он уже один едет в этом трамвае, не зная, куда и зачем, а бабушка тем временем ждёт его на вокзале Фридрихштрассе у цветочного киоска, и ей невдомёк, что её внук катит по Берлину в трамвае 177 и что с ним стряслась такая беда. Хоть лопни с досады!

Трамвай остановился. Эмиль не сводил глаз с моторного вагона. Но никто не сошёл. Зато много народу вошло. На площадке, где стоял Эмиль, стало тесно. Какой-то дяденька начал его ругать за то, что он высовывается.

— Ты что, не видишь, люди хотят сесть! — ворчал тот.

Кондуктор, продававший в вагоне билеты, дёрнул за шнур. Раздался звонок, и трамвай покатиł дальше. Эмиль снова забился в свой угол, его толкали, кто-то наступил ему даже на ноги, а он думал с испугом: «У меня ведь нет денег! Если кондуктор выйдет на площадку, я должен взять билет. А если я не возьму билета, он меня высадит. И тогда всё пропало».

Эмиль оглядел стоящих рядом с ним людей. Может, тронуть кого-нибудь за рукав и тихо попросить: «Одолжите мне, пожалуйста, деньги на билет». Но у всех такие сосредоточенные лица! Какой-то дяденька читал газету. Двое других разговаривали об ограблении какого-то банка.

— Они сделали подкоп,— рассказывал один,— проникли в помещение и спокойно вскрыли все сейфы. Похитили ценностей на несколько миллионов, не меньше.

— Точно установить, что именно унесли из этих сейфов, будет крайне трудно. Ведь люди, снимающие сейфы, не обязаны сообщать банку, что они там держат.

— Конечно, любой съёмщик сейфа может теперь заявить, что у него там хранились бриллианты стоимостью в сотни тысяч марок, а на самом деле там лежала жалкая пачка малоценных бумаг или дюжина мельхиоровых ложек.

И оба засмеялись.

«Вот так точно будет и со мной,— печально подумал Эмиль.— Я скажу, что Грундайс украл у меня сто сорок марок. Но никто мне не поверит. А вор скажет, что это просто нахальство с моей стороны, что там было всего три марки пятьдесят пфеннигов. Влип же я в историю!»

Кондуктор тем временем всё приближался к площадке. Теперь он уже стоял в дверях и громко спрашивал:

— Кто ещё не взял билета? Кто ещё не взял билета?

Он отрывал от рулона большие белые листочки и особыми щипцами пробивал в них ряд дырочек.

Пассажиры, стоящие на площадке, давали ему мелочь и получали билеты.

— Ну, а ты?— обратился он к мальчику.

— Я потерял деньги, господин кондуктор,— ответил Эмиль. Потому что никто бы ему не поверил, если бы он сказал, что деньги у него украли.

— Потерял деньги? Ты мне сказки не рассказывай, мы такое уже слышали. А куда ты едешь?

— Этого... этого я ещё не знаю,— пробормотал Эмиль, запинаясь.

— Что ж, тогда сойди-ка на следующей остановке и сперва реши, куда тебе надо.

— Нет, я не могу сойти, мне обязательно надо ехать на этом трамвае. Пожалуйста, не высаживайте меня, господин кондуктор, прошу вас.

— Раз я велел тебе сойти, значит, сходи. Понятно? .

— Дайте мальчику билет,— сказал дяденька, читавший газету.

И он протянул кондуктору деньги. Кондуктор оторвал Эмилю билет, но сказал с неодобрением:

— Если бы вы только знали, сколько мальчишек катаются каждый день на трамвае, и все они, как один, уверяют, что потеряли деньги, а потом смеются над нами!

— Этот не будет смеяться,— возразил дяденька с газетой.
Кондуктор снова вошёл в вагон.

— Большое, большое вам спасибо,— сказал Эмиль.

— Не за что,— ответил дяденька и снова уткнулся в газету.

Трамвай опять остановился. Эмиль поспешно высунул голову, чтобы поглядеть, не сходит ли Грундайс. Но котелка на улице не обнаружил.

— Не дадите ли вы мне ваш адрес? — спросил Эмиль у человека, читавшего газету.

— А зачем тебе?

— Чтобы я мог вернуть вам деньги. Я пробуду в Берлине, наверное, неделю, и я зашёл бы к вам как-нибудь. Моя фамилия Тышбайн. Эмиль Тышбайн из Нойштадта.

— Нет, эти деньги я тебе, конечно, подарил, тут и говорить не о чем. Может, дать тебе ещё немного?

— Ни в коем случае,— твёрдо сказал Эмиль.— Я не возьму больше ни пфеннига.

— Как хочешь.— И господин с газетой снова углубился в чтение.

Трамвай ехал, останавливался, снова ехал. Эмиль прочёл название одной широкой, красивой улицы: Кайзераллее. Он ехал и не знал, куда он едет. В переднем вагоне сидел вор. А может быть, в этом трамвае сидели или стояли ещё и другие воры. И никому здесь не было дела до Эмиля. Правда, чужой дяденька подарил ему деньги на проезд. Но потом он снова уткнулся в газету.

Город был таким огромным! А Эмиль — таким маленьким! И никто даже не поинтересовался, почему у него нет денег и почему он не знает, где ему надо сходить. В Берлине живёт четыре миллиона человек. Но никому из них нет дела до Эмиля Тышбайна. Никто не хочет вникать в чужие заботы. У каждого хватает своих забот и своих радостей. И когда здесь кто-нибудь говорит: «О, я вам от души сочувствую», то чаще всего это надо понимать как: «Старик, отвяжись от меня!»

Что же будет? Эмиль тяжело вздохнул. И он почувствовал себя очень, очень одиноким.



Глава седьмая

НА ШУМАНИШТРАССЕ ВОЛНЕНИЕ

Пока Эмиль, стоя на площадке трамвая 177, ехал по Кайзераллее и не имел ни малейшего понятия о том, куда он направляется, его ждали бабушка и Пони-Шапочка, его двоюродная сестра, как было условлено, на вокзале Фридрихштрассе у цветочного киоска, и всё время смотрели на часы. Мимо проходила толпа людей с чемоданами, ящиками, коробками, кожанými сумками и букетами цветов. Но Эмиля среди них не было.

— Он, наверное, очень вырос, да? — спросила Пони-Шапочка, катая взад-вперёд свой маленький никелированный велосипед.

Конечно, его незачем было брать с собой на вокзал. Но она так долго канючила, что бабушка в конце концов сдалась: «Ну уж ладно, бери, своевольница». И теперь своевольница была в прекрасном настроении и заранее радовалась восхищённым взглядам Эмиля. «Он наверняка скажет, что это мировой велик», — сообщила она бабушке тоном знатока.

А бабушка начинала беспокоиться:

— Я что-то ничего не понимаю. Уже двадцать минут седьмого. Поезд давным-давно должен был прийти.

Они подождали ещё несколько минут, а потом бабушка послала девочку спросить, пришёл ли поезд.

Пони-Шапочка и тут, конечно, не рассталась с велосипедом.

— Вы не можете мне сказать, почему опаздывает поезд из Нойштадта? — спросила она у контролёра, проверявшего билеты у выхода на перрон.

Он стоял у турникета и пробивал на каждом билете дырочки особыми щипцами.

— Нойштадт? Нойштадт? — Он на мгновение задумался, а потом сказал: — Ах, да, 18.17. Поезд давным-давно прибыл.

— Неужели? А мы вот стоим у цветочного киоска и ждём моего кузена Эмиля.

— Очень рад, очень рад.

— А почему это вы так радуетесь? — с любопытством спросила Пони и звякнула велосипедным звонком.

Контролёр ничего не ответил и отвернулся.

— Какой вы невоспитанный дядя! — обиженно сказала девочка. — До свиданья!

Стоящие рядом люди засмеялись. Контролёр с досады прикусил губу. А Пони-Шапочка вернулась к киоску.

— Поезд уже давным-давно прибыл, бабушка.

— Что же могло случиться? — недоумевала бабушка. — Если бы он почему-либо не выехал, мать послала бы телеграмму. Неужели он вышел не на той остановке? Но ведь мы всё так точно описали.

— Ничего не понимаю, — сказала с важным видом Пони. — Скорее всего, он вылез не там, где надо. Мальчишки вообще такие бестолковые. Готова держать пари! Вот увидишь, что я права.

Им ничего не оставалось, как ждать. И они ждали. Прошло пять минут.

Потом прошло ещё пять минут.

— Больше ждать явно нет никакого смысла, — сказала Пони бабушке. — Мы можем здесь простоять ещё год. Нет ли где другого цветочного киоска?

— Пойди посмотри. Но только не задерживайся!

Шапочка снова отправилась в путь вместе со своим велосипедом и обошла весь вокзал. Другого киоска нигде не оказалось. Потом она навела какие-то справки у двух железнодорожников и вернулась с гордым видом.

— Так вот, киоска больше нет, — заявила она. — Да это было бы смешно — два цветочных киоска! Что я ещё хотела сказать? Ах да, следующий поезд из Нойштадта приходит в 20.33, то есть чуть позже половины девятого. Поэтому мы с тобой сейчас отправимся домой. А ровно в восемь я снова приеду сюда на велосипеде. Если и тогда его не окажется, я напишу ему такое письмо, что будь здоров!

— Пони, как ты выражаешься!

— Такое письмо, что закачаешься, — так тоже говорят. Это тебя устраивает?

Бабушка нахмурила брови и покачала головой.

— Что-то мне всё это не нравится. Что-то мне всё это не нравится, — проговорила она. Когда она волновалась, она всегда всё повторяла два раза.

Они медленно пошли домой. Когда они подходили к мосту Вайдендаммер, Пони-Шапочка спросила:

— Бабушка, хочешь, я тебя прокачу?

— Да что ты несёшь!

— А что? Ты уж никак не тяжелее Артура Циклера, а мы часто ездим с ним вместе.

— Имей в виду, если это ещё раз повторится, отец отберёт у тебя велосипед.

— Тебе нельзя ничего рассказывать,— отрызнулась Пони.

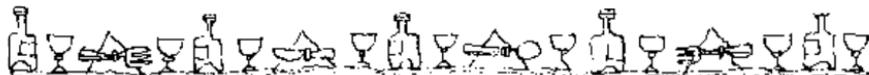
Когда они пришли домой— они жили на Шуманштрассе, 15,—родители Пони Хаймбольд ужасно разволновались.

Отец предложил дать матери Эмиля телеграмму.

— Ни в коем случае!—воскликнула его жена, мама Пони.— Она умрёт от страха. Мы к восьми часам ещё раз пойдём на вокзал. Может, он приедет следующим поездом.

— Будем надеяться, будем надеяться,—бормотала бабушка.— Но скажу вам прямо: что-то мне всё это не нравится, что-то мне всё это не нравится.

— И мне тоже это не нравится,— сказала Пони-Шапочка и задумчиво покачала своей маленькой головкой.



Глава восьмая

ПОЯВЛЯЕТСЯ МАЛЬЧИК С КЛАКСОНОМ

Господин в чёрном котелке сошёл с трамвая на Трауменаузштрассе, угол Кайзераллее. Эмиль это увидел, схватил чемодан, букет, ещё раз сказал дяденьке с газетой: «Большое, большое вам спасибо» — и тоже вылез.

Вор обошёл передний вагон, пересек трамвайные рельсы и перешёл на другую сторону улицы. Трамвай поехал дальше, и тогда Эмиль снова увидел Грундайса, который сперва постоял в нерешительности на тротуаре, а потом поднялся по ступенькам на террасу кафе.

Теперь снова надо было действовать очень осторожно, чтобы не привлечь внимание вора. Эмиль быстро сориентировался: увидев на углу газетный киоск, он метнулся туда и скрылся за ним. Лучшего места, чтобы спрятаться, и придумать нельзя было: рядом стояла тумба для афиш, и вот в этот узкий проход между киоском и тумбой он поставил свой чемодан, сел на него, снял фуражку, перевёл дух и тогда только огляделся.

Тип в котелке сел тем временем за столик на террасе кафе, у перил. Он покуривал сигаретку и был, видно, в отличном настроении. Эмилю казалось ужасным, что вор вообще может быть в таком отличном настроении, а тот, кого обокрали, должен страдать и чувствовать себя бессильным.

Собственно говоря, что толку прятаться за киоском, словно вор — он, а не тот тип там, на террасе. Что толку знать: вор сидит в кафе «Жости» на Кайзераллее, пьёт светлое пиво и курит сигареты? Если вору вздумается вдруг встать, придётся продолжать погоню. А если он будет сидеть на этой террасе, то Эмиль простоят за киоском, пока у него не вырастет борода. Не хватало ещё только, чтобы подошёл полицейский и сказал: «Ты здесь что-то подозрительно долго торчишь, мальтый. А ну, пошли-ка со мной по-хорошему, а не то надену наручники».

И как раз в этот момент за спиной Эмиля раздался гудок. Эмиль испуганно отскочил в сторону, обернулся и увидел мальчишку, который стоял и хохотал над ним.

— Держись за воздух, а то загремишь,— насмешливо бросил мальчишка.

— А кто это гудел за моей спиной?— спросил Эмиль.

— Как—кто? Ясное дело, я. Ты, видать, не здешний, а то знал бы, что у меня в кармане клаксон. Меня здесь все знают.

— Я из Нойштадта. А сейчас—прямо с вокзала.

— Вот оно что, из Нойштадта. Поэтому на тебе такой дурацкий костюм.

— Полегче на поворотах. А то я тебе так врежу, что будь здоров.

— Ты что, рассердился?— спросил добродушно мальчишка.—Что ж, погода для бокса подходящая. Начнём, что ли?

— Давай отложим на потом, сейчас мне некогда,— объяснил Эмиль и поглядел на террасу, сидит ли там ещё Грундайс.

— А я думал, у тебя времени хоть отбавляй. Торчишь с чемоданом и букетом за газетным киоском, сам с собой в прятки играешь! Для таких забав надо иметь тьму свободного времени.

— Нет,— сказал Эмиль,— я слежу за воров.

— За кем? Я что-то, верно, не расслышал. Ты вроде «вор» сказал. Кого же он обокрал?

— Меня!— сказал Эмиль с явной гордостью.— В вагоне. Пока я спал. Взял сто сорок марок. Я вёз их бабушке, которая живёт здесь, в Берлине. Он перебрался в другое купе и сошёл на остановке «Зоопарк». Я, сам понимаешь, за ним. Он—на трамвай, я—тоже. А вот теперь он сидит там, на террасе кафе,— вон, видишь, в котелке, да ещё у него прекрасное настроение.

— Ой, старик, да это же здорово!— восторженно завопил мальчишка с клаксоном.— Это же как в кино! Что ты собираешься делать?

— Понятия не имею. Буду идти за ним по пятам. А что дальше—ещё не знаю.

— А ты скажи полицейскому: он твоего вора живо схватит.

— Не буду. В Нойштадте был у меня один случай... короче, в полиции ко мне могут отнестись с подозрением. И если я...

— Всё понятно.

— А на вокзале Фридрихштрассе меня ждёт бабушка. Мальчик подумал, а потом сказал:

— Классно это у тебя с воров получилось! Отличная история, честно! Если ты не против, я тебе помогу.

— Вот было бы здорово! Я тебе так благодарен!

— Какая чушь! Разве я могу в таком не участвовать?
Меня зовут Густав.

— А меня — Эмиль.

Они пожалали друг другу руки и очень друг другу понравились.

— А теперь за дело! — заявил Густав. — Если мы будем здесь просто так стоять, то добычка уйдёт у нас прямо из-под носа. У тебя есть ещё деньги?

— Ни пфеннига.

Густав тихо погудел, чтобы придумать, как быть, но это не помогло: ему ничего не пришло в голову.

— А может, — нерешительно начал Эмиль, — ты позовёшь ещё ребят...

— Отличная мысль! — завопил Густав в восторге. — Точно, так и сделаем. Стоит мне обежать несколько дворов и погудеть, ребят налетит, хоть отбавляй.

— Вали беги, но возвращайся поскорее, — сказал Эмиль. — А то вдруг этот тип вздумает идти дальше. Тогда мне, конечно, придётся кинуться за ним. Представляешь, ты заявишься со своей подмогой, а нас и след простыл!

— Ясно! Я тут же вернусь. Можешь на меня положиться. А этому типу там, в кафе, принесли омлет и ещё что-то. Пока он всё это не слопает, он не двинется с места. До скорого, Эмиль! Вот мировая история, прямо с ума сойти! А что ещё будет — закачаешься!

И его словно ветром сдуло.

Эмиль почувствовал огромное облегчение. Беда остаётся бедой во всех случаях. Но если у тебя при этом есть друзья, которые действуют вместе с тобой, то на душе всё же становится куда легче.

Эмиль не спускал глаз с вора, который уплетал будь здоров, наверное, на те деньги, что сэкономила мама. Теперь бояться надо было только одного: вдруг этот негодяй встанет и уйдёт? Тогда ни Густав со своим клаксоном, ни все остальные ребята Эмилю уже не помогут.

Но господин Грундайс был настолько любезен, что не торопился. Конечно, если бы он подозревал о заговоре ребят, о западне, в которой он вот-вот окажется, он попросил бы подать ему не омлет, а по меньшей мере самолёт, чтобы убраться отсюда поскорее. Но откуда ему было знать, что над ним сгущались такие тучи?

Не прошло и десяти минут, как Эмиль снова услышал гудок. Он обернулся и увидел, что не меньше двадцати ребят

под предводительством Густава шагают к нему по Траутенай-штрассе.

— Стоп! — скомандовал Густав и с сияющим лицом спросил Эмиля: — Ну, что ты на это скажешь?

— Я потрясён, — ответил Эмиль и от наплыва чувств толкнул Густава в бок.

— Итак, господа, разрешите вам представить Эмиля из Нойштадта. Всё остальное я вам уже рассказал. Вон там, на террасе, у перил, справа, сидит эта свинья в котелке. Если мы его упустим, то мы после этого последние кретины.

— Да что ты, Густав, мы его возьмём тёпленьким, — сказал мальчик в роговых очках.

— Это — Профессор, — представил его Густав.

И Эмиль пожал Профессору руку. Потом Эмилю по очереди называли всех остальных ребят.

— А теперь, — сказал Профессор, — нажмём-ка на газ. Итак, начали. Прежде всего валите деньги.

Каждый дал всё, что у него было. Монетки так и сыпались Эмилю в фуражку. Среди них оказалась даже целая марка. Её бросил маленький мальчик, которого все звали Вторник. Он даже запрыгал от радости, что оказался таким богатым, и в награду ему поручили сосчитать деньги.

— Наш капитал, — сообщил он наконец ребятам, которые просто лопались от нетерпения, — пять марок и семьдесят пфеннигов. По-моему, эти деньги надо разделить между тремя ребятами, на случай, если нам придётся разойтись.

— Правильно, — одобрил Профессор.

Он и Эмиль получили каждый по две марки. Густаву дали марку и семьдесят пфеннигов.

— Спасибо вам, ребята, — сказал Эмиль. — Если мы его поймем, я верну вам деньги. Что мы теперь будем делать? Прежде всего надо бы куда-нибудь деть этот чемодан и цветы. Когда начнётся погоня, это барахло будет мне здорово мешать.

— Давай-ка сюда твой багаж, — сказал Густав. — Я снесу все это сейчас в кафе «Жости» и оставлю у буфетчика. Кстати, разгляжу нашего голубчика получше.

— Но смотри, будь осторожен! — крикнул ему вдогонку Профессор. — Этому негодю совсем не обязательно знать, что сыщики напали на его след.

— За кого ты меня принимаешь! — отрезал Густав и умчался.

Вернувшись, он сказал:

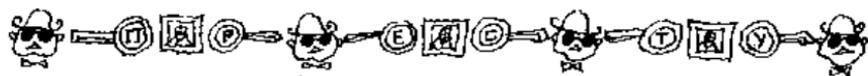
— Ну и рожа у этого господина! Так и просится на фотографию!.. Вещи твои я отдал, потом мы зайдём за ними.

— Надо бы устроить военный совет,— сказал Эмиль.— Но только не здесь: нам нельзя привлекать к себе внимание.

— Мы пойдём на площадь Никольсбург,— заявил Профессор.— Двое останутся тут караулить дичь. Пять или шесть ребят будут стоять на эстафете, чтобы мы сразу узнали, если он уйдёт. И мы тут же прибежим.

— Этим я сам займусь!— крикнул Густав и тут же принялся организовывать связь.— Я останусь здесь, на форпосте,— сказал он Эмилю,— так что не волнуйся. Мы его не пропустим. Решайте только всё побыстрее. Уже восьмой час. А теперь отваливайте.

Густав расставил посты, а остальные ребята во главе с Эмилем и Профессором отправились на площадь Никольсбург.



Глава девятая

СЫЩИКИ СОВЕЩАЮТСЯ

Ребята расселись — кто на две белые скамейки, стоящие друг против друга, кто на железную ограду скверика — и с серьёзными лицами стали слушать Профессора. А мальчик, которого звали Профессором, казалось, всю жизнь ждал этого дня. Вертя в руках роговые очки, точь-в-точь как его отец, советник юстиции, он излагал план действий.

— Вполне вероятно, — начал он, — что нам вскоре придётся разделиться. Поэтому прежде всего необходимо установить телефонную связь. У кого из вас есть телефон?

Двенадцать мальчиков подняли руки.

— А у кого из вас самые сознательные родители?

— Наверняка у меня! — кричал Вторник.

— Ваш номер?

— Бавария ноль пять семьдесят девять.

— Вот бумага и карандаш. Крумбигель, заготовь быстренько двадцать листочков бумаги и напиши на каждом номер Вторника. Только смотри, чтобы было разборчиво! Каждому дашь такой листочек. Диспетчерский пункт всегда будет знать, где находятся сыщики и что вообще происходит. Кому надо навести справку, позвонит Вторнику.

— Но ведь меня нет дома, — возразил Вторник.

— Нет, ты будешь дома, — заявил Профессор. — Как только кончится наш совет, ты отправишься домой, чтобы дежурить у телефона.

— А мне хочется быть с вами, я тоже хочу увидеть, как поймают вора. Не смотрите, что я маленький, я смогу вам здорово пригодиться.

— Ты пойдёшь домой и будешь сидеть у телефона. Это очень ответственное поручение.

— Ладно, раз надо, так надо.

А Крумбигель тем временем уже раздавал всем записочки с номером телефона. Ребята тщательно прятали их в карманы, а кто постарательнее, тут же учил номер наизусть.

— Хорошо бы организовать ещё резервный отряд, — предложил Эмиль.

— Это само собой,— сказал Профессор.— Те, кто не будут выслеживать вора, останутся здесь, на площади Никольсбург. Все вы по очереди сбегаете домой и предупредите, что вернётесь сегодня поздно, а кто может, попросит разрешения остаться ночевать у товарища, чтобы было подкрепление, если придётся охотиться до утра. Густав, Крумбигель, Арнольд Миттенцвай, его брат и я позвоним домой из автомата и скажем, что кочевать не придём... Да, Трауготт пойдёт на диспетчерский пункт Вторника как связной и будет бегать за ребятами на площадь, если нам кто-нибудь понадобится. Таким образом, у нас есть сыщики, резервный отряд, диспетчер и связной. Вот и всё для начала...

— Подожди, мы ведь захотим есть,— перебил его Эмиль,— надо сделать запас продовольствия. Может быть, кто-нибудь сбегает домой и принесёт бутерброды?

— Кто живёт ближе всех? — спросил Профессор.— Миттенцвай, Герольд, Фридрих Первый, Бруноти, Церлётт, бегом за едой, марш!

Мальчишки умчались.

— Эй вы, лбы,— вдруг возмутился Трауготт,— всё болтаете про еду, про телефон, про резервы, а как поймать этого типа — об этом вы и не думаете. Тоже мне... учёные...

Худшего ругательства он придумать не мог.

— А может, надо найти где-нибудь аппарат, чтобы сделать отпечатки пальцев? — предложил Петцольд.— Впрочем, возможно, он работал в резиновых перчатках, тогда вообще ничего не удастся доказать.

Петцольд видел уже двадцать два детективных фильма, но, заметьте, умней он от этого не стал.

— Ты что, совсем обалдел! — взревел Трауготт.— Мы просто выберем подходящий момент и выкрадем у него деньги Эмиля.

— Бред! — крикнул Профессор.— Если мы украдём у него деньги, мы будем такими же ворами, как и он.

— Ну, это ты свистишь! — крикнул в ответ Трауготт.— Если у меня кто-нибудь что-нибудь украдёт, а я выкраду эту вещь назад, то я не стану вором!

— Нет, станешь! — не сдавался Профессор.

— Нет, не стану!

— Профессор прав,— сказал Эмиль.— Если я что-нибудь потихоньку возьму — значит, я вор. И неважно, его ли эта вещь или моя.

— Точно! — подхватил Профессор.— Кончайте трепаться. От этих разговоров толку как от козла молока. В общем

так: охота началась, а как нам удастся поймать этого гада, никто пока ещё сказать не может. Поживём — увидим! Ясно только одно: надо его заставить отдать эти деньги добровольно. Выкрадывать их у него — просто идиотство.

— Нет, я всё-таки этого не понимаю, — сказал Вторник. — Как я могу украсть то, что мне принадлежит? Что моё — то моё, даже если оно лежит в чужом кармане.

— Тут есть разница, которую трудно объяснить, — сказал Профессор таким тоном, словно он читал лекцию. — С моей точки зрения, ты имеешь право так поступать. Но суд тебя всё равно осудит. Этого даже многие взрослые не понимают, но это так. Ясно?

— Не ясно, — пробурчал Трауготт и пожал плечами.

— Будьте осторожны! Вы умеете незаметно красться вдоль домов? — спросил Петцольд. — А то он вдруг обернётся и вас увидит. И тогда всё пропало.

— Да, красться надо уметь, — подтвердил маленький Вторник, — поэтому я и считал, что вам пригожусь. Знаете, до чего я ловко крадусь! Мне как полицейской ищейке цены бы не было. И лаять я тоже могу.

— Попробуй-ка покрадись по Берлину, будто полицейская ищейка! — разволновался Эмиль. — Увидишь, как тебя никто не заметит! Вот если хочешь, чтобы все на тебя обратили внимание, тогда крадись!

— Но уж без револьвера-то нам никак не обойтись! — воскликнул Петцольд.

Как видите, умный Петцольд сделал ещё одно ценное предложение.

— Точно, без револьвера никак нельзя, — поддержали его два-три мальчика.

— Нет! — отрезал Профессор.

— А у жулика наверняка есть револьвер.

Трауготт готов был спорить, на что хочешь.

— Конечно, мы идём на опасное дело, — сказал Эмиль, — а кто трусит, пусть отправляется домой.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что я трус? — спросил Трауготт и двинулся вперёд, как боксёр на ринге.

— Кончай, слышишь! — крикнул Профессор. — Драться будете завтра. Нашли время, ведёте себя как... дети.

— А мы и есть дети, — сказал маленький Вторник.

И все засмеялись.

— По-настоящему мне надо было бы написать хоть несколько слов бабушке. Ведь мои родные понятия не имеют, куда я пропал. Ещё, чего доброго, заявят в полицию. Ребята,

может, кто-нибудь отнесёт записку? Они живут на Шуманштрассе, дом пятнадцать.

— Валий пиши,— сказал мальчик, которого звали Блэуер,— но только быстрее, чтобы я успел домой, пока не запрут парадное. Пожалуй, мне лучше доехать на метро до Ораньенбургских ворот. У кого есть мелочь?

Профессор протянул ему двадцать пфеннигов на дорогу в оба конца, а Эмиль, взяв карандаш, написал на листке:

«Дорогая бабушка!

Вы все, наверное, волнуетесь, куда я пропал. Я в Берлине, но, к сожалению, не могу ещё прийти к вам, потому что у меня есть одно дело. Не спрашивайте какое. Очень важное. Только не пугайтесь. Когда всё уладится, я приду. Заранее радуюсь. Мальчик, который принесёт эту записку,— мой друг. Он знает, где я, но не имеет права рассказать. Это — тайна. Передай привет дяде, тёте и Пони-Шапочке.

Твой преданный внук Эмиль.

Да, мама шлёт вам всем большой привет и букет цветов, который я принесу, когда приду».

Эмиль сложил бумажку, написал адрес и сказал:

— Смотри только не проболтайся, где я, и про деньги ни слова, а то мне здорово влетит.

— Ладно, не бойся. Давай сюда твою телеграмму. Когда я вернусь, я позвоню диспетчеру, чтобы узнать, как дела. Считайте меня в резерве.

И он убежал.

Тем временем вернулись ребята с бутербродами, а Герольд даже приволок целую колбасу. Он сказал, что её дала мама. Допустим.

Все пять мальчишек предупредили дома, что вернутся поздно. Эмиль раздал бутерброды, и каждый сунул себе в карман по одному про запас. Колбасу же отдали Эмилю, как НЗ. Потом домой побежали другие пять мальчиков, чтобы отпроситься ещё на некоторое время. Двое из них не вернулись — видимо, родители не разрешили.

Профессор объявил пароль, чтобы сразу было ясно, что тот, кто звонит, звонит по делу: пароль — «Эмиль». Очень легко запомнить.

Потом, пожелав сыщикам ни пуха ни пера, ушли Вторник и его связной, вечно чем-то недовольный Траутотт. Профессор крикнул им вдогонку, чтобы Вторник позвонил ему домой и сказал отцу, что у него неотложное дело.

— Тогда он не будет беспокоиться, и мне не попадёт.

— Чёрт возьми,— воскликнул Эмиль,— отличные родители у вас тут в Берлине!

— Не думай только, что все такие шёлковые,— проворчал Крумбигель и почесал затылок.

— Да нет, жаловаться не приходится. В общем, с ними можно иметь дело,— возразил Профессор.— Они ведут себя разумно: так, по крайней мере, им не врут. Я обещал своему старику не предпринимать ничего плохого или опасного. И пока я держу слово, мне разрешают делать всё, что я хочу. Мировой мужик у меня отец!

— Да, родители что надо! — повторил Эмиль.— Но послушай, ведь сегодня может быть опасно.

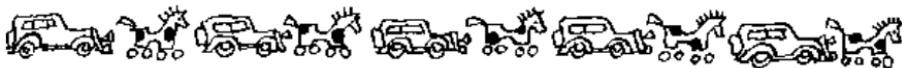
— Ну что ж, тогда я потеряю право делать, что хочу,— объяснил Профессор и пожал плечами.— Отец сказал, что я должен всякий раз прикинуть, как бы я себя вёл, будь он со мной. Так вот, совесть у меня чиста. Ну, а теперь нам пора...

Профессор стал перед мальчишками и крикнул:

— Сыщикам нужна ваша помощь. Действуйте! У нас есть телефонная станция. Деньги я вам оставлю. Вот у меня марка пятьдесят пфеннигов. Возьми, Герольд, и пересчитай! Запас продовольствия у нас есть. Деньги тоже... Каждый знает номер телефона. Да, и ещё одно: кому надо домой, пусть идёт. Но не меньше пяти человек должны быть здесь всё время. Докажите, что вы настоящие мужчины! А мы тоже будем стараться изо всех сил. Если понадобится подмена, Вторник пришлёт к вам Трауготта. Вопросы есть? Всё ясно? Пароль — «Эмиль».

— Пароль — «Эмиль»! — закричали в ответ мальчишки, да так громко, что вся площадь сотряслась, а у прохожих глаза на лоб полезли от удивления.

В эту минуту Эмиль был, пожалуй, счастлив, что у него украли деньги.



Глава десятая

ПОГОНЯ ЗА ТАКСИ

И тут как раз вддали показались три мальчика, из тех, что обслуживали эстафетную связь. Они бежали что было духу и махали руками.

— Помчались,—скомандовал Профессор и кинулся по Кайзераллее, а за ним следом рванулись Эмиль, братья Миттенцвай и Крумбигель.

Ребята так неслись, что казалось, они намерены установить мировой рекорд. Но последние десять метров до киоска они перешли на шаг, потому что Густав подал им какой-то знак.

— Опоздали? — испуганно прошептал Эмиль.

— Ты что, обалдел, старик? — шёпотом ответил Густав. — Со мной такого не бывает.

Вор стоял на той стороне улицы, перед кафе «Жости», и любовался местностью, словно находился в Швейцарии. Потом он купил у газетчика вечернюю газету и углубился в чтение.

— Если он вздумает перейти улицу, то окажется рядом с нами. Ну и положеньице!

Ребята притаились за киоском и, дрожа от волнения, по очереди выглядывали из-за угла. Но вор этого явно не принимал во внимание: он с невозмутимым хладнокровием листал газету.

— Небось, глядит из-за листов, не следят ли за ним,—прошептал Миттенцвай-старший.

— Он часто смотрел в вашу сторону? — спросил Профессор.

— Да ни разу, старик. Уплетал так, словно неделю не жрал.

— Внимание! — скомандовал Эмиль.

Господин в котелке снова сложил газету, оглядел прохожих и вдруг, совершенно неожиданно, остановил проходящее мимо такси. Машина затормозила, вор сел, и они тронулись.

Но мальчишки уже сидели в другой машине, и Густав сказал шофёру:

— Видите вот то такси, что сворачивает на Пражскую площадь? Поезжайте, пожалуйста, за ним, но осторожно, чтобы в той машине не заметили.

Такси с мальчишками пересекло Кайзераллее и поехало на некотором расстоянии за первым такси.

— А что случилось? — поинтересовался шофёр.

— Тут один дядька нарубил дров, и мы его должны держать на приколе, — объяснил Густав. — Но это тайна, ясно?

— Как молодым людям будет угодно, — ответил шофёр, а потом всё же спросил: — А деньги-то у вас есть?

— За кого вы нас принимаете! — с упрёком кинул Профессор.

— Ладно, ладно, — буркнул шофёр.

— Его номер «ИА тридцать семь тридцать три» — заметил Эмиль.

— Это очень важно, — сказал Профессор и записал цифру.

— Не надо подъезжать так близко, — предупредил Крумбигель.

— Хорошо, — пробормотал шофёр.

Они ехали теперь по Мётштрассе. Несколько прохожих остановились на тротуаре и с улыбкой глядели вслед такси с такой странной компанией.

— Нагибайтесь, — скомандовал вдруг Густав: мальчишки тут же кинулись на пол машины, словно играли в кучу малу, и разобраться, где чья нога, а где чья рука, было уже невозможно.

— А в чём дело? — спросил Профессор.

— Да там впереди красный свет! Нам придётся остановиться, но и то такси не успеет проскочить.

И действительно, обе машины стояли гуськом друг за дружкой, ожидая, пока снова не загорится зелёный свет. Однако никто не видел, что во втором такси сидят пассажиры. Оно казалось свободным, так ловко ребята разместились на полу. Шофёр обернулся и не смог не рассмеяться. И только когда проехали светофор, ребята осторожно снова выползли на сиденье.

— Скорее бы он приехал, — сказал Профессор и посмотрел с неодобрением на счётчик. — Это удовольствие стоит уже восемьдесят пфеннигов.

Не успел он это сказать, как первое такси, уже выехавшее на площадь Ноллендорф, вдруг остановилось перед гостиницей «Крейд». Второе также успело вовремя затормозить и теперь выжидало, что же будет дальше.

Господин в котелке вылез, заплатил и исчез в дверях гостиницы.

— Густав, скорее за ним! — взволнованно крикнул Профессор. — Если в гостинице есть чёрный ход, он улизнёт от нас.

Густав тут же ринулся за ним следом. А потом из машины вышли и остальные ребята. Счётчик набил марку. Эмиль заплатил, и тогда Профессор быстро повёл свою команду через ворота в большой двор, расположенный за кинотеатром. Первым делом он отправил Крумбигеля для связи с Густавом.

— Если наш тип решил поселиться здесь, в гостинице, нам здорово повезло, — сказал Эмиль. — Этот двор — идеальный штаб для сыщиков.

— Да, со всеми современными удобствами, — подтвердил Профессор. — Метро — напротив, зелёные насаждения — чтобы прятаться, телефонные будки — чтобы держать связь. Лучшего места не найти.

— Надеюсь, Густав не даст маху, — сказал Эмиль.

— На это можно положиться, — ответил Миттенцвай-старший, — он куда более ловкий, чем кажется.

— Что-то он долго не идёт. Скорее бы! — воскликнул Профессор и сел на стул, который почему-то стоял посреди двора. Он был похож на Наполеона во время битвы под Лейпцигом.

И вот тут появился наконец Густав.

— Птичка попалась, — заявил он, потирая руки. — Он остановился в гостинице. Я видел, как он сел в лифт, и мальчишка-лифтёр повёз его наверх. Другого выхода в здании нет — я там всё разнохал. Если он не убежит по крыше, он попался в ловушку.

— Крумбигель караулит? — спросил Профессор.

— Ещё бы!

Миттенцвай-старшему выдали монетку, он побежал к автомату и позвонил Вторнику:

— Алло, это ты, Вторник?

— Да, Вторник слушает, — пробасил маленький Вторник в трубку.

— Пароль «Эмиль»! Говорит старший Миттенцвай. Господин в котелке поселился в гостинице «Крейд» на площади Ноллендорф. Наша штаб-квартира расположена во дворе кинотеатра, ворота слева.

Мальчи Вторник всё тщательно записывал, потом прочёл свою запись вслух и спросил:

— Вам нужно подкрепление?

— Нет.

— Было трудно?

— Да нет, не особенно. Этот тип схватил такси, мы — другое и за ним, представляешь? А потом он здесь вышел. Взял номер и пока находится там. Небось, осматривает его — не спрятался ли кто под кроватью — и сам с собой играет в очко.

— В каком он номере?

— Пока ещё не знаем. Но наверняка скоро выясним.

— Как мне хочется быть с вами! Вот после каникул нам дадут сочинение на свободную тему, тогда я опишу эту историю.

— Кто-нибудь уже звонил?

— Нет, сдохнуть можно от скуки

— Ну, будь, мальши.

— Желаю удачи, господа. Что я ещё хотел сказать?..

Пароль «Эмиль»!

— Пароль «Эмиль»! — ответил Миттенцвай и побежал назад во двор.

Было уже восемь вечера. Профессор пошёл в гостиницу проверить караульный пост.

— Сегодня мы его уж, видно, не поймаем, — с досадой сказал Густав.

— И всё же для нас самое лучшее, чтобы он поскорее лёг спать, — возразил Эмиль. — Потому что если он вздумает ещё кататься в такси, шататься по ресторанам, отправиться на танцы или в театр, а может, чего доброго, проделать всё это подряд, то где же нам взять деньги? Прикажете сделать заём у дружественной страны?

Профессор вернулся, послал братьев Миттенцвай на площадь как связных и долго молчал, не участвуя в общем разговоре.

— Надо выдумать какой-то хитрый способ, чтобы за ним получше следить, — сказал он наконец. — Думайте все, думайте!

Все долгое время сидели молча и думали.

Вдруг раздалось треканье велосипедного звоночка, и во двор вкатился маленький никелированный велосипед. Педали крутила девочка, а на багажнике примостился Блеуер.

— Ура! — завопили оба.

Эмиль вскочил, помог им слезть с велосипеда, восторженно потряс девочке руки и объяснил остальным:

— Это моя кузина Пони-Шапочка.

Профессор вежливо предложил Пони свой стул, и она села.

— Ну и силен же ты, Эмиль! — сказала она. — Приехал в Берлин, и всё у тебя завертелось, как в кино. Мы как раз собирались уже идти на вокзал Фридрихштрассе встречать следующий поезд из Нейштадта, но тут в дверь позвонил твой друг Блеуер и принёс записку. Славный парень, кстати. Поздравляю.

Блеуер стоял, выпятив грудь, и был красный как рак.

— Ну, родители и бабушка никуда, конечно, не пошли, — рассказывала дальше Пони, — сидят себе дома и теряются в догадках, что с тобой случилось. Им мы, само собой, ничего не рассказали. Но я вышла вместе с Блеуером, сказала — провожу его до угла. И удрала сюда. Но мне тут же надо вернуться, не то они всю полицию поставят на ноги. Представляете, в тот же день исчезает и второй ребёнок — нет, этого их нервы не выдержат!

— Вот десять пфеннигов, которые вы мне дали на обратный путь, — гордо сказал Блеуер. — Мы их сэкономили.

Профессор спрятал деньги.

— Они злились? — спросил Эмиль.

— Нисколько, — заверила его Пони. — Бабушка бегала по комнате и столько раз повторяла: «Мой внук Эмиль просто решил сперва заглянуть по дороге к президенту Гинденбургу», что мои родители в конце концов успокоились. Но завтра, надеюсь, вы эту птичку поймаете? А кто у вас Шерлок Холмс?

— Вот он, — сказал Эмиль, — это Профессор.

— Очень приятно, господин Профессор, наконец-то я познакомилась с настоящим сыщиком, — сказала Пони.

Профессор смущённо улыбнулся и пробормотал что-то невнятное.

— Вот вам мои карманные деньги,—продолжала Пони,—пятьдесят пять пфеннигов. Купите себе две сигары.

Эмиль взял мелочь. Она сидела на стуле, как королева красоты, а мальчишки окружали её, как судьи на конкурсе.

— Теперь я смоюсь,—объявила Пони,—а завтра прикачу к вам с самого утра. Где вы будете спать? Как бы мне хотелось остаться здесь с вами! Я сварила бы вам кофе. Но что поделаешь! Девочке почему-то не полагается шататься по ночам. Вот так. До свиданья, господа! Спокойной ночи, Эмиль!

Пони похлопала Эмиля по плечу, вскочила на свой велосипед, звякнула и укатила.

Мальчики долго стояли, не в силах вымолвить ни слова.

Первым обрёл дар речи Профессор.

— Колоссально!—выдавил он с трудом.

Все остальные с ним согласились.



Глава одиннадцатая

В ГОСТИНИЦУ ПРОКРАДЫВАЕТСЯ ШПИОН

Время тянулось медленно.

Эмиль обошёл все три поста и хотел было сменить кого-нибудь, но и Крумбигель и оба брата Миттенцвай отказались. Тогда Эмиль отважился добраться, крадучись, до гостиницы и даже заглянуть в холл. Во двор он вернулся в сильном волнении.

— У меня такое чувство, что у нас всё провалится,— сказал он.— Точно провалится, если ночью у нас не будет в гостинице своего человека. Правда, Крумбигель стоит на посту. Но стоит ему на мгновение отвернуть голову, и Грундайс тю-тю.

— Легко тебе говорить! — крикнул Густав.— Не можем же мы подойти к портье и сказать: «Нам делать нечего, мы хотим посидеть немного у вас на лестнице». А тебе туда и близко подходить нельзя. Если этот негодяй вдруг почему-либо приоткроет дверь своего номера и увидит тебя, то всё зря, нам крышка.

— Я предлагаю совсем не то,— сказал Эмиль.

— А что же? — спросил Профессор.

— В гостинице я видел мальчика. Он у них, видно, лифтёр. А может, посыльный. Кто-нибудь из нас должен к нему пойти и рассказать, в чём дело. Ведь он наверняка знает в гостинице все ходы и выходы, он нам поможет.

— Что ж, хорошо,— сказал Профессор.— Очень хорошо.

У него была смешная привычка всё оценивать: он словно расставлял всем отметки. За это его и прозвали Профессор.

— Ай да Эмиль! Ещё одна такая штука придёт тебе в голову, и мы дадим тебе звание академика. Хитёр, будто в Берлине родился! — воскликнул Густав.

— Уж не воображаешь ли ты, что хитрые рождаются только в Берлине? — возмутился Эмиль. Он был явно уязвлён в своём нойштадтском патриотизме.— Нам вообще ещё надо подражаться.

— Это ещё почему? — спросил Профессор.

— Он ужасно оскорбил мой выходной костюм.

— Ваш матч мы отложим на завтра, — решил Профессор. — А может, и вообще отменим.

— Знаешь, твой костюм не такой уж дурацкий, — примирительным тоном сказал Густав. — Я к нему привык. А подраться я всегда готов. Но учти: я здешний чемпион. Так что берегись!

— Я у нас в школе тоже абсолютный чемпион. Почти, — заявил Эмиль.

— Петухи настоящие, — сказал Профессор. — Собственно, я сам хотел пойти в гостиницу, но вас и минуту нельзя оставить вдвоём: вы тут же кидаетесь друг на друга.

— Давай тогда я пойду, — предложил Густав.

— Хорошо, иди ты! — сказал Профессор. — Поговори с лифтьёром. Но будь осторожен! Может, тебе что-нибудь и удастся. Главное, постарайся выяснить, в каком номере живёт этот тип. Через час ты вернёшься и нам всё доложишь.

Густав убежал.

Профессор и Эмиль стояли у ворот и рассказывали друг другу о своих учителях. Потом Профессор объяснил Эмилю, как разбираться в иностранных машинах, которые проезжали мимо, и Эмиль быстро начал осваивать это дело. Потом они вместе съели бутерброд.

Тем временем стало темно. Повсюду зажглись световые рекламы. Громыхало метро, гудели машины, дребезжали трамваи, ревели автобусы, позвякивали велосипедисты, — все эти звуки сливались в безумную мелодию ночного города. Из кафе доносилась танцевальная музыка. В кино начинался последний сеанс, и люди теснились у входа.

— Такое большое дерево, как вон то, у метро, выглядит здесь странно, — сказал Эмиль. — Кажется, оно заблудилось.

Мальчик был так захвачен видом ночного Берлина, что на минуту забыл, почему он здесь, забыл, что у него украли сто сорок марок.

— Мировой город! Кажется, что смотришь кино. Но не знаю, хотел бы я здесь жить всегда. В Нойштадте есть Верхний рынок и Нижний рынок, Вокзальная площадь, стадион у реки и площадка для игр в Азельском парке. Вот и все наши достопримечательности. Но знаешь, Профессор, мне

этого хватает. Всегда этот праздничный шум по ночам... Тысячи улиц и площадей!.. Я заблудился бы... Представь себе, если бы вас не было и я стоял бы здесь совсем один. Прямо мороз по коже...

— Ко всему привыкаешь,— сказал Профессор.— Я, наверно, не мог бы жить в Нойштадте, где всего три площади и Азельский парк...

— Ко всему привыкаешь,— повторил Эмиль.— Но Берлин красив, спору нет. Здорово красив.

— А твоя мама очень строгая?— спросил берлинский мальчик.

— Моя мама? Строгая?— переспросил Эмиль.— Да что ты! Она мне всё разрешает. Но я не делаю ничего такого. Ясно?

— Нет,— честно признался Профессор,— мне это не ясно.

— Не ясно? Ну, так послушай. У вас много денег?

— Не знаю. Дома у нас о деньгах не говорят.

— Думаю, если дома не говорят о деньгах, значит, их столько, что не надо считать.

Профессор на минуту задумался, потом сказал:

— Возможно.

— Вот видишь. А мы с мамой часто говорим о деньгах. У нас их мало. Маме приходится всё время подрабатывать, и всё равно она не может свести концы с концами. Но когда мы идём всем классом на экскурсию, мама мне всегда даёт не меньше денег, чем дают другим ребятам. А иногда даже больше.

— Как же она может?

— Не знаю, но она это делает. И я всегда приношу половину назад.

— Она хочет, чтобы ты принёс назад деньги?

— Глупости! Но я хочу.

— Понятно,— сказал Профессор.— Значит, вот как у вас обстоит дело.

— Да. Именно так. И даже когда она мне разрешает пойти с Претшом за город— он живёт в нашем доме на первом этаже— и гулять до девяти часов вечера, я возвращаюсь к семи. Потому что не хочу, чтобы она одна ужинала на кухне. А мама даже настаивает, чтобы я гулял со всеми допоздна. И знаешь, я как-то попробовал остаться подольше. Но оказалось, что удовольствие мне уже не доставляет удовольствия. И я вижу, что она всё же рада, когда я рано прихожу домой.

— Нет,— сказал Профессор,— у нас всё совсем по-другому. Если я когда-нибудь приду домой вовремя, то наперёд могу держать пари, что папы с мамой нет— они в гостях или в театре. Мы тоже недурно друг к другу относимся. Это точно. Но почти никогда не проводим время вместе.

— А для нас это единственное удовольствие, которое нам по карману! Но я вовсе не маменькин сынок. А если кто так думает, то я живо докажу обратное своими кулаками. Понять это, кажется, немудрено.

— Я уже понял.

Мальчики постояли ещё немного молча у ворот. Ночь спустилась на город. Мерцали звёзды. Месяц косил одним глазом над железнодорожным полотном.

Профессор откашлялся и спросил, не глядя на товарища:

— Вы, наверно, очень другу друга любите?

— Очень,— ответил Эмиль.



Глава двенадцатая

МАЛЬЧИШКА-ЛИФТЁР В ЗЕЛЁНОЙ ЛИВРЕЕ

Около десяти вечера во двор кинотеатра вступило подразделение резервного отряда, чтобы доставить провиант (бухтбродов было столько, что ими можно было бы накормить голодающие народы) и получить новые распоряжения. Профессор был возмущён их появлением и заявил, что им здесь нечего делать: их задача — дежурить на Никельсбургской площади и ждать связного Трауготта.

— Не будь таким вредным, — сказал Петцольд. — Мы просто умираем от любопытства: мы ведь не знаем, что здесь у вас происходит.

— Мы вообще думали, с вами случилась беда, потому что Трауготт к нам ни разу не прибежал, — добавил Герольд извиняющимся тоном.

— Сколько народу осталось на площади? — спросил Эмиль.

— Четверо или трое, — ответил Фридрих Первый.

— Возможно, только двое, — уточнил Герольд.

— Больше не спрашивай, — завопил в бешенстве Профессор, — а то ещё выяснится, что там вообще никого не осталось.

— Пожалуйста, не ори, — сказал Петцольд, — ты чего так раскомандовался?

— Я предлагаю немедленно прогнать Петцольда и запретить ему ловить с нами вора! — крикнул Профессор и топнул ногой.

— Мне жаль, что вы ссоритесь из-за меня, — сказал Эмиль. — Давайте решим этот спор, как в рейхстаге, — голосованием. Я предлагаю сделать Петцольду предупреждение. Нельзя, чтобы каждый делал всё, что вздумается.

— Кончайте задаваться, гады! Я и так уйду, больно нужно мне с вами канителиться... — заявил Петцольд, потом добавил ещё какое-то неприличное слово и убежал.

— Это он нас подбил сбегать сюда, а то мы бы ни с места, — рассказывал Герольд. — А Церлетт остался дежурить там, на площади.

— Не говорите больше о Петцольде! Ни слова о нём! — приказал Профессор и тут же успокоился: он прекрасно владел собой. — С этим вопросом всё!

— А нам что делать? — спросил Фридрих Первый.

— Пожалуй, уж подождите, пока Густав вернётся из гостиницы и доложит ситуацию, — предложил Эмиль.

— Хорошо, — согласился Профессор. — А кто это там идёт? Кажется, мальчишка-лифтёр.

— Да, он, — подтвердил Эмиль.

В воротах стоял мальчик в зелёной ливрее и точно таком же кепи, надетом набекрень. Он кивнул ребятам и медленно двинулся к ним.

— Какая мировецкая униформа, чёрт побери! — не без зависти воскликнул Герольд.

— Тебя к нам послал наш шпион Густав? — крикнул ему Профессор.

Лифтёр был уже совсем близко, он кивнул и сказал:

— Да.

— Ну так валяй говори, что там?! — не выдержав, крикнул Эмиль.

И тут вдруг загудел клаксон! И зелёный лифтёр запрыгал как сумасшедший по двору и захохотал.

— Эмиль, старик, — завопил он, — ты идиот!

Потому что это был не лифтёр, а Густав собственной персоной.

— Эй, ты, зеленявка, — в шутку подразнил его Эмиль.

И все захохотали так громко, что кто-то распахнул окно и закричал: «Не мешайте спать!»

— Здрóрово! — восхитился Профессор. — Но прошу вас потише, господа. Густав, сядь-ка и валяй дуй всё по порядку.

— Ребята, прямо кино! Со смеху умрёшь. Послушайте только! Я прокрался в гостиницу, увидел лифтёра и подманил его пальцем. Он тут же подошёл ко мне. Ну, и я ему выложил всё, от начала до конца. Про Эмиля. И про вас. И про вора. И что он живёт у них в гостинице. И что нельзя терять его из виду, чтобы мы смогли завтра вернуть Эмилю эти деньги. «Что ж, отлично, — сказал мне лифтёр. — У меня здесь есть ещё одна ливрея: ты её наденешь и будешь вторым лифтёром». «А что скажет на это портье: он ведь не может меня не заметить?» — спросил я. «Он ничего не скажет, он разрешит, — сказал мальчик, — потому что портье — мой отец». Что уж он там наговорил своему предку, не знаю. Но так или иначе, я получил вот эту ливрею, и мне разрешено

провести ночь в дежурке, которая, на счастье, оказалась пустой, и мне даже можно прихватить с собой ещё кого-нибудь. Ну, что вы на всё это скажете?

— В каком номере живёт вор? — спросил Профессор.

— Тебя ничем не удивишь! — обиженно проворчал Густав. — Работать мне, естественно, не надо. Белели только не пугаться под ногами. Лифтёр сказал мне, что вор живёт, кажется, в номере шестьдесят один, но уверен он не был. Я тут же рванул на третий этаж. Крадусь, как шпион, — никто не заметит. То из-за угла выгляну, то за перилами спрячусь. Наверно, с полчасика так сидел, вдруг дверь шестьдесят первого номера как раскроется! Как он выйдет! И точно. Наш вор! Ему надо было... ну, сами догадываетесь, куда... Я его там, в кафе, как следует разглядел. Маленькие чёрные усики, ушки такие тонкие, насквозь просвечивают, и рожа кирпича просит. Когда он вернулся... ну, сами знаете, откуда... я к нему раз... «Вы чего-нибудь ищете? — спрашиваю. — Может, вам чего-нибудь нужно?» — «Ничего мне на надо, — говорит. — Хотя постой! Скажи портье, чтобы меня разбудили завтра ровно в восемь. Номер шестьдесят один. Смотри, не забудь!» — «Не забуду, будьте уверены, — говорю. — Ровно в восемь у вас зазвонит телефон». И наш вор спокойно потопал к себе в номер.

— Вот это да! — Профессор был просто в восторге, ну, а остальные и подавно. — К восьми мы будем его торжественно встречать у дверей гостиницы. А потом поймать его будет легко.

— Можно считать, что он готов! — воскликнул Герольд.

— Торжественная встреча с цветами! — сказал Густав. — Мне пора идти. Я должен ещё опустить в ящик письмо для номера двенадцать. Я уже получил чаевые — пятьдесят пфеннигов. Доходная профессия. Лифтёр иногда зарабатывает до десяти марок чаевыми. Он рассказал мне. Часов в семь я встану и позабочусь о том, чтобы нашего негодяя разбудили вовремя. А потом я снова здесь появлюсь.

— Дорогой Густав, как я тебе благодарен! — сказал Эмиль почти торжественно. — Теперь уже ничего не может случиться. Завтра мы его схватим. А сейчас все могут спокойно идти спать, верно, Профессор?

— Да, все отправляются домой, чтобы как следует выспаться. А завтра утром, ровно в восемь, мы все собираемся здесь. Хорошо бы раздобыть ещё хоть немного денег. Кто сможет, пусть принесёт. Я позволю сейчас Вторнику.

Всех, кто ему завтра утром позвонит, он направит в наш резерв. Может, придётся оцепить весь квартал.

— Я пойду с Густавом ночевать в гостиницу,— сказал Эмиль.

— Пошли, тебе там здорово понравится. Мировая конура!

— Я сейчас позвоню, а потом тоже пойду домой, а дорбогой отпущу Церлетга,— объяснил Профессор.— А не то он до утра просидит на Никельсбургской площади, он такой. Всё ясно?

— Так точно, господин президент полиции,— пошутил Густав.

— Завтра утром встречаемся здесь во дворе ровно в восемь,— повторил Герольд.

— Принеси, если удастся, немного денег,— напомнил Фридрих Первый.

Стали прощаться. Все пожимали друг другу руки, как мужчины. Ребята разошлись по домам. Густав и Эмиль отправились в гостиницу. Профессор пересек Ноллендорфскую площадь, чтобы позвонить из кафе Вторнику.

Час спустя они все уже спали. Большинство в своих постелях. А двое в дежурке на четвёртом этаже гостиницы «Крейд».

А один из них— у телефона, в кресле отца. Это был мальш Вторник. Он не покинул своего поста. Трауготт отправился домой. А Вторник не решился отойти от аппарата. Он спал, примостившись на подлокотнике, и ему приснились четыре миллиона телефонных разговоров.

В полночь его родители вернулись из театра. Они очень удивились, обнаружив, что сын их спит в кресле.

Мать взяла его на руки и отнесла в постель. Он вздрогнул и пробормотал во сне: «Пароль «Эмиль».



Глава тринадцатая

ГОСПОДИНА ГРУНДАЙСА СОПРОВОЖДАЕТ ПОЧЁТНЫЙ ЭСКОРТ

Окна номера 61 выходили на Ноллендорфскую площадь. И когда на следующее утро господин Грундайс, причёсываясь перед зеркалом, случайно бросил взгляд в окно, он обратил внимание на то, что там играет очень много детей. Не меньше двух дюжин мальчишек гоняли мяч в сквере. На углу соседней улицы тоже столпились ребята, и большая группа детей шаталась без видимого дела у входа в метро.

— Наверное, у них каникулы, — с досадой пробурчал он и завязал галстук.

А тем временем Профессор проводил во дворе кинотеатра собрание руководителей; он разносил их в пух и прах.

— Мы день и ночь ломаем себе голову, как изловить этого гада! Как его не спугнуть! А вы, ослы, собираете здесь ребят со всего Берлина! Нам что, зрители нужны? Может, у нас съёмки? Если наш вор уйдёт от нас, то вы будете в этом виноваты, болтуны несчастные!

Ребята стояли кружком и терпеливо выслушивали эту ругань, однако, судя по их виду, никак нельзя было сказать, что они страдают от угрызений совести.

— Не волнуйся, Профессор, — сказал наконец Герольд, которому, видно, всё же было неловко, — вора мы так и так поймаем, это точно. — Мотайте отсюда, болваны! Распорядитесь хотя бы, чтобы ваши войска глаза не мозолили, а главное, не смотрели бы в сторону гостиницы. Ясно? Валяйте, действуйте!

Ребята разошлись. Същики остались одни во дворе.

— Портье одолжил мне десять марок, — докладывал Эмиль. — Если наш тип снова вздумает кататься на такси, у нас хватит теперь денег ехать за ним следом.

— Вели всем ребятам просто разойтись до домам, — предложил Крумбитель.

— Ты что, всерьёз думаешь, что они меня послушаются? Даже землетрясение не заставило бы их сдвинуться с места, — сказал Профессор.

— Тогда остаётся только один выход,— решил Эмиль.— Нам придётся изменить наш план. Сыщикам теперь уже нет никакого смысла тайно выслеживать Грундайса. Придётся пойти на него в открытую. Чтобы он заметил, что окружён со всех сторон, что везде ребята.

— Я об этом тоже уже думал,— сказал Профессор.— Мы изменим тактику, загоним его в самую гущу, чтобы он сам в конце концов сдался.

— Вот здорово! — закричал Герольд.

— Он, наверно, предпочтёт выложить деньги, чем часами ходить с эскортом из сотни орущих ребят, пока не сбегится весь город и его не задержит полиция,— объяснил Эмиль.

Ребята согласно кивали. Тут в воротах зазвенел велосипедный звоночек, и Пони-Шапочка вкатила во двор.

— Привет, мальчишки! — крикнула она ещё на ходу, потом соскочила с седла, поздоровалась с кузеном Эмилем, с Профессором и с остальными и отцепила от багажника маленькую корзиночку.— Я привезла вам кофе и булочки! Даже чашку раздобыла. Ой, у неё отбилась ручка! Как не повезло!

Правда, все ребята уже завтракали. Даже Эмиль — в гостинице «Крейд». Но никому не хотелось портить девочке настроение. И все по очереди пили из чашки с отбитой ручкой кофе и уплетали булочки с таким аппетитом, словно у них месяц во рту маковой росинки не было.

— До чего вкусно! — воскликнул Крумбигель.

— Какая свежая булочка! — невнятно пробурчал Профессор, потому что у него был полон рот.

— Так-то! Всё же без женщины в доме плохо! — радостно сказала Пони.

— Во дворе,— поправил Герольд.

— Что дома? — поинтересовался Эмиль.

— Спасибо, всё в порядке. Бабушка передаёт тебе особый привет. И велит поскорее прийти, а то в наказание тебя каждый день будут кормить рыбой.

— Фу, гадость! — закричал Эмиль и скорчил гримасу.

— Почему гадость? — спросил Миттенцвай-младший.— Рыба — это очень вкусно.

Все с удивлением на него поглядели, потому что он всегда молчал. А он, красный как рак, спрятался за спину старшего брата.

— Эмиль не ест рыбы. А если проглотит хоть кусочек, ему тут же делается плохо,— объяснила Пони.

Они болтали о чём попало, и настроение у всех было превосходное. Профессор держал велосипед Пони. Крумбигель пошёл к колонке сполоснуть термос и чашку. Миттенцвай-старший аккуратно складывал бумагу из-под булочек. Эмиль снова прикрутил корзинку к багажнику. Герольд ощупывал шины — не надо ли их подкачать. А Пони-Шапочка скакала по двору, то напевая про себя песенку, то болтая всякую всячину.

— Стоп! — крикнула она вдруг и застыла на месте.— Я совсем забыла спросить: почему собралось такое дикое количество детей на Ноллендорфской площади? Это похоже на школьную экскурсию.

— Всё это любопытные, которые прослышали, что мы ловим вора. Они тоже хотят в этом участвовать,— объяснил Профессор.

В это мгновение в ворота влетел Густав, загудел и заорал не своим голосом:

— Бегом, он вышел!

Все было кинулось за Густавом, но Профессор крикнул:

— Стойте! Слушайте внимательно! Мы его, как решили, окружим со всех сторон. Спереди — дети, сзади — дети, справа — дети, слева — дети! Ясно? Дальнейшие приказы в пути. Теперь помчались!

Спотыкаясь и толкая друг друга, они выбежали за ворота. Пони-Шапочка, несколько обиженная, осталась одна во дворе. Она вскочила на свой маленький никелированный велосипед и пробормотала, как бабушка:

— Мне это что-то не по душе, мне это что-то не по душе.

А потом поехала за мальчишками.

Господин в котелке выходил как раз из дверей гостиницы, он медленно спустился по ступенькам и повернул направо, к Клейштрассе. Профессор, Эмиль и Густав разослали посланцев во все концы площади, и три минуты спустя господин Грундайс оказался окружён со всех сторон.

Он оглянулся, ничего не понимая. Ребята разговаривали друг с другом, смеялись, пихали и тузили друг друга, но при этом все шли с ним в ногу. Некоторые рассматривали его с таким явным любопытством, что он терялся и отводил взгляд.

— Эй!

Мимо его головы пролетел мяч. Он вздрогнул и ускорил шаг. Но ребята не отставали — они тоже прибавили ходу. Он хотел было быстренько свернуть в боковую улочку, но и оттуда ему навстречу выбежала ватага детей.

— Гляди, у него такой вид, будто он сейчас чихнёт! — крикнул Густав.

— Прикрывай меня, — сказал ему Эмиль, — он ещё не должен меня видеть. Этот сюрприз его ждёт впереди.

Густав расправил плечи и пошёл впереди Эмиля, как боксёр-тяжеловес. Пони-Шапочка ехала рядом с ними вдоль тротуара и от радости всё время трезвонила.

Господин в котелке стал заметно нервничать. Он, видимо, смутно догадывался, что его ожидает, и всё убыстрял и убыстрял шаг. Но тщетно. Уйти от врагов ему не удалось.

Вдруг он остановился как вкопанный, а потом резко повернул и побежал назад, вниз по улице, по которой только что подымался. Дети тоже разом повернули, и всё шествие двинулось в обратном направлении.

Один мальчишка — это был Крумбигель — так неожиданно перебежал ему дорогу, что господин споткнулся и чуть не упал.

— Как ты смеешь, негодяй, — заорал вор, — я сейчас позову полицейского!

— Прошу вас, позовите, да поскорей: мы только этого и ждём. Ну, чего же вы не зовёте?

Но господин Грундайс и не думал звать полицейского. Наоборот, ему явно становилось всё больше не по себе. Он не на шутку испугался и не знал, куда ему податься. Изю всех окон уже высовывались любопытные. Продавщицы и покупатели выбегали из магазинов, чтобы узнать, что происходит. Появись теперь полицейский, всё было бы в порядке.

И тут вор нашёл блестящий выход. Он увидел отделение Коммерческого банка, прорвался сквозь цепь детей, распахнул дверь и исчез.

Профессор рванулся следом, но у двери остановился и крикнул:

— Мы с Густавом пойдём за ним, а Эмиль пусть пока остаётся здесь: ему ещё рано объявляться. Когда Густав

подаст знак клаксоном, Эмиль с десятью мальчишками прибегут к нам на помощь. Отбери пока свою команду, Эмиль. Операция будет не из лёгких.

И Профессор с Густавом захлопнули за собой тяжёлую банковскую дверь.

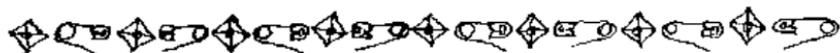
У Эмиля так колотилось сердце, что даже в ушах гудело. Сейчас всё решится! Он вызвал из толпы Крумбигеля, Герольда, братьев Миттенцвай и ещё нескольких мальчишек, а остальным приказал разойтись.

Ребята отошли от банка на несколько шагов, но не дальше. Ни при каких обстоятельствах они не могли пропустить финала этой истории.

Пони-Шапочка дала какому-то мальчику подержать свой велосипед и подошла к Эмилю.

— Я здесь, — сказала она. — Смотри, держись. Сейчас начнётся главное. Ой, я, кажется, лопну от нетерпения! Лопну, как воздушный шарик.

— А я, думаешь, нет? — спросил Эмиль.



Глава четырнадцатая

БУЛАВКИ ТОЖЕ ПРИНОСЯТ ПОЛЬЗУ

Когда Густав и Профессор вошли в банк, господин в котелке стоял у окошечка, над которым было написано: «Приём и выдача вкладов», и с нетерпением ждал, чтобы им занялись. Кассир говорил по телефону.

Профессор стал рядом с вором и, как ищейка, следил за каждым его движением; Густав стоял за вором, а в руке, засунутой в карман, держал наготове клаксон.

Кассир, закончив разговор, подошёл к окошечку и спросил Профессора, что ему угодно.

— Займитесь, пожалуйста, сперва этим господином, — сказал Профессор. — Я за ним.

— Что вам угодно? — повторил свой вопрос кассир, обращаясь на этот раз к господину Грундайсу.

— Я попрошу вас разменять ассигнацию в сто марок на две по пятьдесят и дать мне серебра на сорок марок, — сказал вор, выпнув из кармана и протягивая кассиру одну купюру в сто марок и две по двадцать.

Кассир взял все три протянутые ему купюры и подошел с ними к несгораемому шкафу.

— Минутку! — громко крикнул Профессор. — Эти деньги краденые!

— Что-о-о! — испуганно переспросил кассир и повернулся к окошечку.

Другие кассиры и служащие, сидевшие в соседних окошечках и что-то подсчитывавшие, бросили работу и повскакали со своих мест, словно их укусила змея.

— Деньги, которые у вас в руках, не принадлежат этому господину. Он украл их у моего друга, а сейчас хочет разменять, чтобы мы ничего не смогли доказать, — объяснял Профессор.

— Что за неслыханная дерзость! В жизни такого не видел! — возмутился господин Грундайс. — Извините меня, пожалуйста, — обернулся он к кассиру и влепил Профессору звонкую пощёчину.

— От этого ты не перестанешь быть вором,— сказал Профессор и так двинул Грундайса головой в живот, что тот чуть не упал.

И вот тут Густав трижды ужасно громко загудел. Теперь уже все банковские служащие повскакали с мест и сгрудились у окошечек, а управляющий пулей вылетел из своего кабинета.

И тут, в довершение всего, в зал вбежали десять мальчишек с Эмилем во главе и окружили кольцом господина в котелке.

— Что случилось, чёрт побери? Эти мальчишки как с цепи сорвались! — закричал управляющий.

— Эти хулиганы утверждают, будто я украл у одного из них те деньги, которые хотел только что разменять у вашего кассира,— объяснил господин Грундайс, дрожа от злости.

— Да, так оно и есть! — крикнул Эмиль и подскочил к окошечку. — Он украл у меня одну стомарковую ассигнацию и две по двадцать марок. Это случилось вчера, после обеда. В поезде, который ехал из Нойштадта в Берлин! Пока я спал.

— А ты можешь это доказать? — строго спросил кассир.

— Я в Берлине уже целую неделю, а вчера весь день, с утра до вечера, провёл в городе,— заявил вор и вежливо улыбнулся.

— Как вам не стыдно лгать! — завопил Эмиль, чуть не плача от бешенства.

— А как ты докажешь, что этот господин тот самый, который ехал с тобой в поезде? — спросил управляющий.

— Да никак, конечно,— презрительно буркнул вор.

— Раз ты был с ним вдвоём в купе, значит, у тебя нет свидетелей,— объяснил один из служащих.

У друзей Эмиля сразу вытянулись лица.

— Есть,— закричал Эмиль,— у меня есть свидетель! Это фрау Якоб из Гросс-Грюнау. Она сидела вместе с нами в купе. А потом сошла. И ещё велела мне передать от неё сердечный привет господину Курцхальцу у нас, в Нойштадте.

— Похоже, что вам без алиби не обойтись,— сказал управляющий вору.— А у вас есть алиби?

— Само собой разумеется,— заявил вор.— Я живу здесь неподалёку, в гостинице «Крейд».

— Со вчерашнего вечера,— уточнил Густав.— Я всю ночь проторчал в гостинице, переодетый в посыльного, так что бросьте заливать.

Служащие улыбнулись; их интерес к мальчикам заметно возрос.

— Пожалуй, нам придётся до выяснения оставить эти деньги здесь, господин...— сказал управляющий и вырвал из блокнота листок бумаги, чтобы записать имя и адрес вора.

— Его фамилия Грундайс,— сказал Эмиль.

Господин в котелке громко расхохотался.

— Вот видите,— сказал он,— здесь явно какое-то недоразумение. Моя фамилия Мюллер.

— Ой, как подло врёт! В поезде он сказал, что его фамилия Грундайс!— в бешенстве закричал Эмиль.

— У вас есть документы?— спросил кассир.

— К сожалению, я их не захватил с собой,— ответил вор.— Но если вы подождёте, я тут же сбегая за ними в гостиницу.

— Он врёт, врёт! Это мои деньги, и он должен мне их вернуть!— кричал Эмиль.

— Допустим, что ты и прав, мой мальчик, но так просто такие вещи не решаются,— объяснил кассир.— Как ты докажешь, что это твои деньги? Может быть, ты помнишь номера?

— Конечно, нет,— сказал Эмиль.— Разве придёт в голову, что тебя могут обокрасть? Мне их дала мама для бабушки, которая живёт здесь, в Берлине, Шуманштрассе, дом пятнадцать.

— Может, на одной из бумажек был оторван уголок или ты запомнил ещё какую-нибудь другую приметку?

— Нет, я ничего такого не заметил.

— Господа, даю вам честное слово, это мои деньги. Не стану же я грабить детей!— воскликнул вор.

— Стой!— вдруг завопил Эмиль и даже подпрыгнул, так ему сразу стало легко.— Стой! В поезде я булавкой приколот конверт с деньгами к подкладке кармана. Значит, все три бумажки должны быть проколоты!

Кассир поднял ассигнации на свет. Все затаили дыхание. Вор отступил на шаг. Управляющий нервно барабанил пальцами по столу.

— Мальчик прав!— воскликнул кассир, побледнев от волнения.— Ассигнации в самом деле проколоты!

— А вот и булавка, которой это сделано,— сказал Эмиль и гордо положил булавку на стол.— Я даже палец себе уколол.

Тут вор вдруг с быстротой молнии сорвался с места, растолкал детей, да так энергично, что они повалились на пол, промчался через зал, рванул дверь и был таков.

— Догнать его!— крикнул управляющий.

Все кинулись к дверям.

Но когда служащие выскочили на улицу, вора уже окружили не меньше двадцати мальчишек. Они держали его за ноги, повисли на нём, вцепились в его пиджак. Он размахивал руками как сумасшедший, пытаясь вырваться. Но мальчишки не выпускали его.

А по улице к ним уже бежал постовой, за которым Пони стогнала на своём велосипеде. И управляющий потребовал, чтобы полицейский задержал этого человека, который называет себя то Грундайсом, то Мюллером. Потому что он, по всей вероятности, железнодорожный вор.

Кассир сходил за проколотыми деньгами и булавкой и отправился вместе с ними. Это было удивительное шествие! Впереди шагали постовой и кассир, между ними — вор, а сзади — человек сто детей, не меньше! Так и шли они всю дорогу до полицейского участка.

А Пони-Шапочка ехала рядом на своём маленьком никелированном велосипеде. Вдруг она кивнула счастливому Эмилю и крикнула:

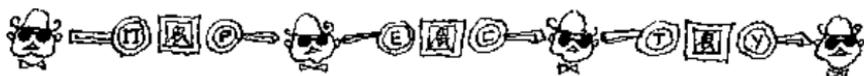
— Эмиль, послушай! Я сейчас мотану домой и расскажу про весь этот цирк!

Эмиль кивнул в ответ и тоже крикнул:

— Передай всем привет. Скажи, что я буду к обеду!

— Знаешь, на что всё это похоже? — снова крикнула Пони. — На школьную экскурсию. В зоопарк.

Она завернула за угол и, трезвоня, исчезла.



Глава пятнадцатая

ЭМИЛЯ ВЫЗЫВАЮТ В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ

Шествие остановилось у ближайшего полицейского участка. Постовой тут же доложил дежурному о случившемся. Эмиль дополнил рассказ несколькими подробностями. Потом у него спросили, где и когда он родился, как его имя и фамилия и где он проживает. И всё это дежурный записал чернилами в толстую книгу:

— А вас как зовут? — спросил он вора.

— Герберт Кислинг, — ответил тот.

Тут трое мальчишек — Эмиль, Густав и Профессор — громко расхохотались. И кассир, который передал дежурному сто сорок марок и булавку, тоже не смог удержаться от смеха.

— Во даёт! — воскликнул Густав. — Сперва его звали Грундайс. Потом Мюллер. А теперь, оказывается, Кислинг! Интересно бы узнать, как его зовут на самом деле!

— Потихше, — пробурчал дежурный. — Мы его выведем не чистую воду.

Господин Грундайс — Мюллер — Кислинг назвал тем временем свой нынешний адрес — гостиницу «Крейд». Потом — год и место рождения. Документов у него не было.

— А где вы проживали до вчерашнего дня? — спросил дежурный.

— В Гросс-Грюнау, — ответил вор.

— Наверно, опять погибает! — крикнул Профессор.

— Потихше! — снова пробурчал дежурный. — Это мы тоже выясним.

Кассир спросил, можно ли ему идти. Прежде чем его отпустить, дежурный также записал и все его данные. Кассир дружески похлопал Эмиля по плечу и удалился.

— Кислинг, украли ли вы вчера вечером в поезде, идущем от Нойштадта в Берлин, сто сорок марок у ученика реального училища Эмиля Тышбайна? — спросил дежурный.

— Так точно, — мрачно подтвердил вор. — Не знаю, право, как это со мной случилось. На меня что-то нашло. Мальчишка примостился в утолке и заснул. И вдруг из его кармана

выпал конверт. Я поднял его и хотел просто посмотреть, что в нём. А так как у меня как раз совсем не было денег...

— Он всё врёт! — не вытерпел Эмиль. — Я ведь приколотил деньги к подкладке. Конверт не мог выпасть.

— Точно, врёт, — подтвердил Профессор. — Если бы деньги ему были позарез нужны, он бы давным-давно их разменял. Ведь он на наших глазах платил за такси, и ел в кафе яичницу, и пил пиво.

— Потихе! — пробурчал дежурный. — Не волнуйтесь, мы и это выясним.

И он записал всё, что ему рассказали.

— А вы не могли бы меня пока отпустить, господин дежурный? — спросил вор и расплылся в такой вежливой улыбке, что даже глаза зажмурил. — Я ведь не отрицаю, что украл эти деньги. Где я остановился, вы тоже знаете. У меня в Берлине кое-какие дела, и мне хотелось бы ими заняться.

— Ну и шутник же вы! — воскликнул дежурный и позвонил в Управление полиции, чтобы прислали машину, так как задержан железнодорожный вор.

— А когда мне вернут мои деньги? — озабоченно спросил Эмиль.

— Ты их получишь в Управлении полиции, — ответил дежурный. — Сейчас вас туда отвезут. И там во всём разберутся.

— Эмиль, — прошептал Густав, — тебя повезут на машине с мигалкой на Александерплатц.

— Чуть! — буркнул дежурный. — Тышбайн, у тебя есть деньги на метро?

— Да, ребята вчера собрали, — сказал Эмиль. — А портье гостиницы «Крейд» дал мне взаймы десять марок.

— Настоящие сыщики, ничего не скажешь! Ну и ребята, чёрт побери! — пробурчал дежурный, но вполне добродушно. — Значит, так, Тышбайн; ты доедешь на метро до Александерплатц, а там, в Управлении, найдёшь следователя Лурье. Что будет дальше, сам увидишь. А деньги тебе вернут.

— Можно мне сперва отдать портье его десять марок? — спросил Эмиль.

— Конечно.

Вскоре приехала полицейская машина, и господину Грундайсу — Мюллеру — Кислингу пришлось в неё сесть. Дежурный вручил сопровождающему полицейскому протокол, который он написал, и сто сорок марок. Булавку он ему тоже

передал. И машина уехала. Дети, всё ещё толпившиеся перед участком, проводили её громкими криками. Но вор даже не оглянулся. Видно, он очень гордился тем, что едет в машине.

Дежурный пожал Эмилио руку, и Эмиль поблагодарил его. Потом Профессор объявил ребятам у подъезда, что деньги Эмиль получит в Управлении полиции и что операция закончена. И ребята группами разошлись по домам. Только те, с кем Эмиль за эти сутки подружился, проводили его сперва до гостиницы, а потом до станции метро Ноллендорф. Он попросил их позвонить Вторнику, чтобы диспетчер тоже был в курсе всего. А потом он сказал, что прежде чем вернётся в Нойштадт, надеется с ними со всеми ещё встретиться. Но всё же он сейчас хочет поблагодарить их за помощь. И деньги он им тоже отдаст.

— Если ты вздумаешь отдавать нам деньги, я тебя просто избью! — кричал Густав. — И вообще нам ещё надо подраться. Помнишь, из-за твоего дурацкого костюма?

— Да ладно, — сказал Эмиль и взял Густава и Профессора за руки, — у меня сейчас такое хорошее настроение, что драться неохота. Я не переживу, если положу тебя на обе лопатки.

— Это тебе всё равно не удалось бы, даже если бы у тебя было плохое настроение, болван! — крикнул Густав.

Потом они втроем поехали на Александерплатц, в Управление полиции; там они долго блуждали по коридорам, прошли мимо множества дверей, пока, наконец, не попали к следователю Лурье. Он как раз завтракал. Эмиль назвал себя.

— Явился! — воскликнул господин Лурье, не прекращая жевать. — Эмиль Штүльбайн, Юный сыщик-любитель. Мне уже докладывали о тебе по телефону. Комиссар ждёт тебя. Хочет сам с тобой побеседовать. Пошли.

— Моя фамилия Тьшбайн, — поправил его Эмиль.

— Какая разница! — сказал господин Лурье и снова принялся за бутерброд с колбасой.

— Мы тебя здесь подождём, — сказал Профессор.

А Густав крикнул Эмилио вдогонку:

— Не задерживайся! Когда при мне едят, я тут же начинаю умирать с голоду.

Господин Лурье повёл Эмиля по коридорам; сперва они свернули налево, потом направо, потом снова налево. Наконец он постучал в какую-то дверь. До них донёсся голос:

— Войдите!

Лурье приоткрыл дверь и, всё ещё продолжая жевать, сказал:

— Я привёл своего юного коллегу, господин комиссар. Эмиль Фиппбайн, вы о нём уже слышали.

— Моя фамилия Тышбайн,— поправил его Эмиль.

— Что ж, тоже красиво,— сказал господин Лурье и так толкнул Эмиля, что тот, как мячик, влетел в комнату.

Комиссар оказался милым человеком. Он усадил Эмиля в удобное кресло и велел ему снова рассказать всю историю с начала до конца. Затем комиссар сказал торжественно:

— Ну, а теперь ты получишь свои деньги.

— Ура!

Эмиль облегчённо вздохнул и спрятал деньги в карман. Очень тщательно.

— Смотри, чтобы их снова у тебя не украли.

— Нет уж, этого не будет! Я сейчас же отнесу их бабуске.

— Ах да, чуть не забыл. Дай мне твой берлинский адрес. Ты пробудешь здесь ещё несколько дней?

— Надеюсь,— сказал Эмиль.— Я живу на Шуманштрассе, дом пятнадцать. У Хаймбольдов. Это фамилия моего дяди. Ну, и тёти, конечно.

— Вы, мальчишки, молодцы,— сказал комиссар и закурил толстую сигару.

— Верно, ребята действовали толково,— восторженно подхватил Эмиль.— И Густав со своим клаксоном, и Профессор, и малыш Вторник, и Крумбигель, и братья Миттенцвай— словом, все. Знаете, как с ними было здорово, особенно с Профессором. Сила!

— Ты тоже кое-что стбишь,— заметил комиссар и задымил сигарой.

— Да, я ещё хотел вас спросить, господин комиссар: что теперь будет с Грундайсом или как его там зовут? В общем, с вором?

— Им сейчас занимаются. Надо опознать его личность. Его фотографируют, снимают отпечатки пальцев. А потом всё это будут сверять с данными нашей картотеки.

— А это что такое?

— Всех преступников, которых нам удаётся поймать, мы фотографируем, берем у них отпечатки пальцев. У нас даже есть данные на тех, кого мы ещё не задержали, а только ищем. Ведь вполне вероятно, что твой вор, прежде чем тебя обокрасть, совершил и другие кражи, верно?

— Верно. А мне это даже в голову не пришло...

— Минутку,— оборвал комиссар Эмиля, потому что на столе зазвонил телефон.— Да, да... интересный для вас случай...Зайдите-ка все ко мне...— сказал он в трубку, потом положил её и добавил, обращаясь к Эмилю.— Сюда сейчас придут несколько репортёров: они будут брать у тебя интервью.

— А что это такое?— спросил Эмиль.

— Брать интервью— это значит задавать вопросы.

— Ну да!— воскликнул Эмиль.— Обо мне напишут в газете?

— Наверно,— сказал комиссар.— Когда ученику реально-го училища удаётся задержать вора, он становится знаменитым.

В дверь постучали, и в кабинет вошли четыре репортёра. Комиссар пожал им руки и вкратце рассказал о приключениях Эмиля. А все четверо усердно записывали то, что говорил комиссар.

— Просто великолепно!— сказал один из репортёров.— Мальчик из провинции выступает как сыщик!

— Может, возьмёте его себе на службу?— посоветовал другой и засмеялся.

— А почему ты не подошёл сразу к полицейскому и не рассказал ему всё?— спросил третий.

Эмиль вдруг испугался. Он вспомнил сержанта Йешке из Нойштадта и свой сон. Неужели он теперь сам попался?

— Ну, ну,— подбодрил его комиссар.

Эмиль пожал плечами и сказал:

— Эх, пусть будет что будет! Я не подошёл к полицейскому потому, что в Нойштадте я раскрасил памятник великому герцогу Карлу— сделал ему красный нос и чёрные усы. Можете меня арестовать, господин комиссар!

Но, судя по лицам присутствующих, никто из них не был возмущён, напротив, все дружно рассмеялись. А комиссар сказал:

— Ну что ты, Эмиль! Разве мы можем посадить в тюрьму нашего лучшего сыщика!

— Правда? Ой, как я рад!— с облегчением воскликнул Эмиль. А потом он подошёл поближе к одному из репортёров и спросил его:— Разве вы меня не узнали?

— Нет,— ответил тот.

— Всё это вы купили мне вчера в трамвае билет, когда кондуктор хотел меня высадить.

— Было дело! — воскликнул репортёр. — Теперь я тебя вспомнил. Ты ещё спрашивал мой адрес, чтобы вернуть мне мелочь за билет.

— Можно, я вам сейчас отдам? — спросил Эмиль и вынул из кармана десять пфеннигов.

— Да что ты, и не думай! — сказал репортёр. — А ты ведь мне даже тогда представился.

— Конечно, — объяснил мальчик, — человек должен знать, с кем он говорит. Но вы, наверно, забыли: меня зовут Эмиль Тышпбайн.

— А меня — Кестнер, — сказал репортёр, и они пожали друг другу руки.

— Великолепно! — воскликнул комиссар. — Оказывается, вы старые знакомые.

— Послушай, Эмиль, — сказал господин Кестнер, — не пойдёшь ли ты со мной в редакцию? А до этого мы где-нибудь съедим по пирожному со взбитыми сливками.

— Вы разрешите мне вас пригласить? — спросил Эмиль.

— Ну и парень!

Все снова рассмеялись, и вид у всех был очень довольный.

— Нет уж, платить буду я, — твёрдо сказал господин Кестнер.

— Что ж, спасибо, я с радостью приму ваше приглашение, но меня ждут в коридоре Профессор и Густав.

— Ну, мы их, само собой, тоже прихватим, — сказал господин Кестнер.

У других репортёров были ещё вопросы. Эмиль охотно на всё отвечал. Репортёры записывали.

— Вор этот — новичок? — спросил один из них.

— Не думаю, — ответил комиссар. — Может, нас ещё ждёт какой-нибудь сюрприз. Во всяком случае, позвоните мне, пожалуйста, через полчаса.

Потом все встали и распрощались. А Эмиль пошёл вместе с господином Кестнером к следователю Лурье. Тот жевал теперь бутерброд с сыром.

— А вот и сам Цвэрбайн! — воскликнул он, увидев Эмиля.

— Тышпбайн, — невозмутимо поправил Эмиль.

Потом господин Кестнер усадил Эмиля, Густава и Профессора в машину и повёз их прежде всего в кондитерскую. Дорогой Густав вдруг как гуднёт своим клаксоном. Ребята рассмеялись, увидев, что господин Кестнер испугался. В кондитерской они все очень веселились. Уплетали вишнёвый пирог со взбитыми сливками и болтали о чём попало: о военном совете, который они держали на площади

Никельсбург, о том, как они гнались за такси, о ночи в гостинице, о Густаве в роли посыльного, о скандале в банке. И господин Кестнер сказал в конце разговора:

— Вы все трое действительно отличные ребята!

Они очень возгордились от этой похвалы и даже съели ещё по кусочку вишнёвого пирога.

Потом Густав и Профессор побежали к остановке автобуса, а Эмиль, пообещав позвонить после обеда Вторнику, поехал вместе с господином Кестнером в редакцию.

Здание, где делают газету, оказалось огромным. Почти таким же, как Управление полиции на Александерплатц. А в коридорах был такой шум и сутолока, словно там проводили состязания по бегу с препятствиями.

Они вошли в комнату, в которой за столом работала красивая белокурая девушка. И господин Кестнер принялся ходить взад-вперёд по комнате и диктовать этой девушке всё то, что ему рассказал Эмиль, а она быстро-быстро стучала на машинке. Иногда он останавливался и спрашивал Эмиля:

— Всё верно?

И диктовал дальше только после того, как Эмиль кивал головой.

Потом господин Кестнер снова позвонил комиссару полиции.

— Что вы говорите?—изумился он.—Просто невероятно!.. Ему пока не рассказывать?.. Ну да?.. И это тоже он?.. Я так рад!.. Огромное вам спасибо... Вот будет сенсация!..

Господин Кестнер повесил трубку, поглядел на мальчика так, словно видел его впервые, и сказал:

— Эмиль, пошли скорее наверх. Нам надо тебя сфотографировать.

— Да что вы!—с удивлением пробормотал Эмиль, но покорно пошёл за господином Кестнером, поднялся с ним ещё на три этажа и очутился в светлой комнате.

Там он причесался, и его сфотографировали.

Потом господин Кестнер повёл Эмиля в типографию — ну и грохот же там стоял: казалось, что стучат сразу на тысяче пишущих машинок! — отдал какому-то дяденьке странички, которые напечатала красивая белокурая девушка, и сказал, что он тут же вернётся, потому что это очень срочный материал, ему надо только прежде отправить мальчика к бабушке.

Потом они на лифте спустились на первый этаж и вышли на улицу. Господин Кестнер остановил такси, усадил в него

Эмиля, дал шофёру деньги, хотя мальчик и запротестовал, и сказал:

— Отвезите, пожалуйста, моего юного друга на Шуманштрассе, дом пятнадцать.

Они крепко пожали друг другу руки, и господин Кестнер сказал на прощание:

— Когда приедешь домой, передай от меня привет твоей маме. Она, видно, очень милая женщина.

— Еще бы! — воскликнул Эмиль.

— Да, и последнее! — крикнул вдогонку господин Кестнер, когда машина уже тронулась. — Обязательно прочти сегодняшней вечерний выпуск нашей газеты. Ты будешь удивлён!

Эмиль обернулся, чтобы помахать господину Кестнеру. И господин Кестнер ему тоже помахал.

Потом машина скрылась за углом.



Глава шестнадцатая

КОМИССАР ПОЛИЦИИ ПЕРЕДАЁТ ПРИВЕТ

Такси ехало уже по Унтер-ден-Линден, когда Эмиль спросил вдруг шофёра:

— Мы, наверно, скоро приедем?

— Так точно.

— Извините, пожалуйста, но я забыл, мне вначале надо попасть на Кайзераллее, в кафе «Жости». Там я оставил букет цветов для тётки и чемодан. Не будете ли вы так любезны заехать сперва туда?

— Что значит «любезен»? У тебя есть деньги на случай, если не хватит тех, которые я уже получил?

— Да, деньги у меня есть. А я не могу прийти к тётке без цветов.

— Ну что ж, ладно,— сказал шофёр и свернул налево.

Они проехали через Бранденбургские ворота, потом мимо зелёного тенистого Тиргартена и Ноллендорфской площади. Теперь, когда всё хорошо кончилось, Берлин казался Эмилю куда приветливей и уютней. Но всё же он на всякий случай оцупал свой верхний карман. Деньги были на месте.

Получив свои вещи в целости и сохранности, Эмиль поблагодарил девушку за стойкой, снова сел в такси и сказал шофёру:

— Ну, а теперь к бабушке!

Они развернулись, проделали весь этот длинный путь в обратном направлении, пересекли реку Шпрее и покатали по узким старым улочкам с серыми домами. Эмилю хотелось глядеть в окно, но, как назло, ему всё время что-то мешало: то он возился с чемоданом, который без конца падал с сиденья, то воевал с ветром, который вырывал у него букет из рук.

Шофёр затормозил. Машина остановилась у дома пятнадцать на Шуманштрассе.

— Ну вот мы как будто и присхали,— сказал Эмиль и вылез из такси.— Сколько я вам должен добавить?

— Нисколько, наоборот, я тебе ещё верну тридцать пфеннигов.

— Что вы! — воскликнул Эмиль. — Купите себе на них несколько сигар.

— Спасибо, мальшц, я не курю, а жую табак, — сказал шофёр и поехал дальше.

Эмиль поднялся на третий этаж и позвонил в дверь, на которой была табличка «Хаймбольд». До него донеслись громкие возгласы, потом дверь распахнулась, и он увидел бабушку. Она схватила Эмиля за шиворот, поцеловала его в левую щёку и одновременно плёпнула по правой, потом втащила за волосы в квартиру и закричала:

— Ах ты, негодник, ах ты, негодник!

— Хорошенькие вещи узнаёшь о тебе, — сказала тётя Марта дружелюбно и подала ему руку.

А Пони-Шапочка — на ней был мамин передник — сунула ему локоть, прошипав:

— Осторожно! У меня руки мокрые. Мою посуду. Бедные мы, женщины!

Потом они все прошли в комнату, Эмиля усадили на кушетку, и бабушка с тётей Мартой стали его так рассматривать, словно он очень ценная картина Тициана.

— Деньги принёс? — спросила Пони.

— Еще бы! — воскликнул Эмиль, вынул из кармана три бумажки, протянул сто двадцать марок бабушке и сказал: — Вот, бабушка, возьми. И мама передаёт сердечный привет. И просит тебя не сердиться, что ничего не послала в прошлый месяц. Но было мало работы. Зато в этот раз она посылает больше обычного.

— Спасибо, мой милый мальчик, — ответила бабушка, протянула ему назад ассигнацию в двадцать марок и сказала: — Это тебе. За то, что ты такой отличный сыщик.

— Нет, я не возьму этих денег. У меня ведь есть двадцать марок, которые мне дала мама.

— Эмиль, бабушку надо слушаться. Спрячь скорее деньги!

— Нет, я их не возьму.

— Ну и болван! — воскликнула Пони-Шапочка. — Я не заставила бы себя просить!

— Нет, бабушка, мне не хочется.

— Возьми, говорят, не то у меня от бешенства разыграется ревматизм, — пригрозила бабушка.

— Ну, скорее убери эти деньги, — сказала тётя Марта и сама сунула ему бумажку в карман.

— Что ж, если вы уж так настаиваете... — простонал Эмиль. — Спасибо, бабушка.

— Это я должна благодарить тебя, это я должна благодарить тебя,— ответила бабушка и погладила Эмиля по голове.

Потом Эмиль подал тётке букет. Торжественно развернули бумагу, и все растерялись — то ли плакать, то ли смеяться.

— Сушёные овощи! — заявила Пони.

— Ну конечно, они с вечера лежат без воды,— печально объяснил Эмиль. — Тут нечему удивляться. Когда мы их вчера утром купили у Штáмницеv, они были совсем свежие.

— Не сомневаюсь, не сомневаюсь,— сказала бабушка и поставила завядшие цветы в воду.

— Может, ещё отойдут,— утешила его тётя Марта. — Ну, а теперь давайте обедать. Дядя придёт домой поздно. Пони, накрой на стол!

— Сейчас! — ответила девочка. — Эмиль, а что у нас на обед?

— Понятия не имею.

— А что ты больше всего любишь?

— Макароны с ветчиной.

— Ну, значит, ты уже знаешь, что у нас на обед.

Собственно говоря, накануне Эмиль уже ел макароны с ветчиной. Но, во-первых, любимое блюдо можно есть хоть каждый день, а во-вторых, Эмилю казалось, что с последнего обеда в Нойштадте у мамы прошло не меньше недели. И он накинулся на макароны, словно он был господином Грундайсом — Мюллером — Кислингом.

После обеда Эмиль и Пони вышли на улицу, потому что Эмилю не терпелось опробовать маленький никелированный велосипед Пони. Бабушка прилетела на кушетке. А тётя Марта пекла яблочный пирог. Она славилась в семье своими яблочными пирогами.

Эмиль мчался по Шуманштрассе, а Пони бежала за ним и держалась за седло, уверяя, что это необходимо, не то её кузен упадёт. Потом ему пришлось слезть, потому что Пони захотела продемонстрировать, как она делает восьмёрки и тройки.

И тут к ним подошёл полицейский с портфелем под мышкой и спросил:

— Скажите, дети, в доме пятнадцать живут Хаймбольды?

— Да,— сказала Пони. — Это мы. Одну минуту, господин майор.

Она поставила велосипед в подвал и заперла его.

— Что-нибудь плохое? — спросил Эмиль, который всё ещё беспокоился из-за проклятого Йешке.

— Совсем наоборот. Это ты ученик Эмиль Тышбайн?

— Да, я.

— Ну, тогда я могу тебя от души поздравить!

— У кого это день рождения? — поинтересовалась Пони, которая, вернувшись из подвала, услышала только последние слова.

Но полицейский ничего больше не сказал; он молча поднимался по лестнице. Тётя Марта ввела его в комнату. Бабушка проснулась и села на кушетке. Её явно разбирало любопытство. Эмиль и Пони-Шапочка стояли у стола, споря от нетерпения.

— Дело вот в чём,— начал полицейский, раскрывая портфель.— Вор, которого сегодня утром помог задержать ученик реального училища Эмиль Тышбайн, оказался не кем иным, как грабителем банка в Ганновере, которого разыскивают вот уже месяц. Он похитил большую сумму денег. Нашим специалистам удалось установить его личность. И он уже во всём признался. Почти все деньги нашлись — они были зашиты в подкладке его костюма. Ассигнации по тысяче марок.

— С ума сойти! — воскликнула Пони-Шапочка.

— Две недели назад,— продолжал полицейский,— банк назначил премию тому, кто поймает грабителя. И так как ты,— он обернулся к Эмилю,— задержал его, ты получишь эту премию. Господин комиссар полиции передаёт тебе привет, он рад, что ты вознаграждён за твоё мужество.

Эмиль поклонился.

И тут полицейский вынул из портфеля пачку денег и пересчитал их на столе, а тётя Марта, которая с вниманием следила за его жестами, прошептала:

— Тысяча марок!

— Вот это да! — воскликнула Пони.

Бабушка подписала квитанцию. И полицейский ушёл. Но перед этим тётя Марта угостила его стаканом наливки из дядино шкафа.

Эмиль сел рядом с бабушкой; он был не в силах произнести ни слова. Бабушка обняла его и сказала, покачивая головой:

— Прямо трудно поверить. Прямо трудно поверить.

Шапочка вскочила на стул и, дирижируя, словно в комнате находился хор, пропела:

— А вот теперь, а вот теперь мы всех мальчишек пригласим на чашку кофе.

— Да,— сказал Эмиль.— Это мы тоже сделаем. Но прежде всего... ведь теперь, собственно говоря, мама... как вы считаете?.. Мама может приехать в Берлин?..



Глава семнадцатая
ФРАУ ТЫШБАЙН ВОЛНУЕТСЯ

На следующее утро жена булочника фрау Вирт из Нойштадта позвонила в дверь парикмахерши фрау Тышбайн.

— Доброе утро, фрау Тышбайн,— сказала она, войдя в квартиру.— Как поживаете?

— Доброе утро, фрау Вирт. Я так волнуюсь! До сих пор не получила ни строчки от сына. Как звонят в дверь, бегу, думаю, почтальон. Вас завить?

— Нет. Я зашла к вам, чтобы... короче, потому что мне надо вам кое-что сообщить.

— Я вас слушаю.

— Эмиль передаёт вам привет и...

— Бога ради, что с ним случилось?.. Где он? Что вам известно? — закричала фрау Тышбайн. Она ужасно разволновалась и в страхе всплеснула руками.

— Да с ним всё в порядке, дорогая. В полном порядке! Он поймал вора. Представляете! И полиция прислала ему в награду тысячу марок. Ну, что вы скажете? И все просят вас поехать в Берлин двенадцатичасовым поездом.

— А откуда вы всё это узнали?

— Ваша сестра только что позвонила из Берлина к нам в магазин. Эмиль тоже сказал несколько слов. Просил, чтобы вы приехали. Теперь, когда у вас столько денег, это ведь можно себе позволить.

— Вот оно что, вот оно что... да, конечно,— рассеянно бормотала фрау Тышбайн.— Тысяча марок? За то, что он поймал вора? Как это только ему взбрело в голову ловить вора? Всегда одни только глупости у него на уме!

— Ну, как сказать! Тысяча марок — деньги немалые.

— Не говорите мне об этой тысяче марок!

— Конечно, бывают и большие несчастья. Так вы поедете?

— Ещё бы! У меня не будет ни минуты покоя, пока я не увижу Эмиля.

— Тогда пожелаю вам доброго пути. Надеюсь, эта поездка доставит вам удовольствие.

— Большое спасибо, фрау Вирт,— сказала парикмахерша и закрыла за гостьей дверь, всё ещё недоуменно качая головой.

Уже в берлинском поезде фрау Тышбайн пережила ещё одно потрясение. Против неё какой-то господин читал газету. Фрау Тышбайн очень нервничала, взгляд её рассеянно блуждал по купе. Она глядела в окно, считала телеграфные столбы, чтобы хоть как-то скоротать время, и больше всего ей хотелось бежать за поездом, чтобы подталкивать его сзади,— ей казалось, он ползёт как черепаха. Она вертелась во все стороны, не находя себе места, и вдруг её взгляд случайно упал на газету, которую читал её сосед.

— Боже праведный! — воскликнула она и вырвала газету у него из рук.

Господин решил, что она внезапно сошла с ума, и не на шутку испугался.

— Вот, вот,— бормотала она.— Это мой сын.— И она ткнула пальцем в фотографию на первой странице.

— Да что вы говорите! — обрадовался господин.— Вы мать этого Эмиля Тышбайна? Отчаянный парень! Поздравляю вас, фрау Тышбайн, я восхищён!

— Восхищаться тут нечего,— сказала парикмахерша и стала читать статью. На первой странице стояло огромными буквами:

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК В РОЛИ СЫЩИКА.

СОТНЯ БЕРЛИНСКИХ РЕБЯТ ПРЕСЛЕДУЕТ ПРЕСТУПНИКА.

А под заголовком шёл захватывающий рассказ о приключениях Эмиля, начиная с вокзала в Нойштадте и кончая Управлением полиции в Берлине. Фрау Тышбайн стала бледной как полотно. И газета в её руках так и прыгала, словно её трепал ветер. А ведь окно в купе было закрыто. Господину не терпелось, чтобы она скорее дочитала статью. Но статья была очень длинной—она занимала почти всю первую страницу. И в середине была фотография Эмиля.

Наконец она отложила газету в сторону, поглядела на своего соседа и сказала:

— Вот остался один — и тут же выкидывает такие номера! Я ему так наказывала быть осторожным, беречь эти сто сорок марок! Как он только мог поступить так неосмотрительно! Разве он не знает, что у нас нет лишних денег для воров!

— Видно, он устал. Может, даже вор его загибриотизировал. Такие вещи, говорят, бывают,— сказал господин с газетой.— Но разве вас не восхищает, что мальчишка сумел

выпутаться из такого положения? Это же гениально! Просто великолепно! Нет, в самом деле, просто великолепно!

— Да, конечно,—согласилась польщённая фрау Тышбайн.—Он у меня умница, мой мальчик. Первый ученик в классе. И к тому же такой прилежный. Но подумайте, если бы с ним что-нибудь случилось! У меня от этой истории волосы становятся дыбом, хотя всё уже позади. Нет, больше я его никуда не пущу одного. А то я просто умру от страха.

— Он похоже вышел на фотографии?

Фрау Тышбайн снова взглянула на газету и сказала:

— Да. Очень. Он вам нравится?

— Необычайно! — воскликнул господин с газетой.—Сразу видно, парень что надо. Из него выйдет толк.

— Вот только сесть ему надо было аккуратней. А то пиджачок весь в складках,—придиралась мать.—Я ему всегда говорю: надо расстегнуть пуговицы, прежде чем сесть. Но он забывает!

— Если у него нет других недостатков...—рассмеялся господин.

— Да, недостатков у моего Эмиля, собственно говоря, нет,—призналась фрау Тышбайн и даже высморкалась от умиления.

Потом господин сошёл. Он оставил ей газету, и она всё читала и перечитывала приключения Эмиля, пока поезд не остановился на вокзале Фридрихштрассе. Она успела прочитать эту статью ровно одиннадцать раз.

Когда поезд остановился, она увидела на перроне Эмиля; на нём был, в честь мамы, выходной костюм. Эмиль бросился ей на шею с криком:

— Ну, что ты на это скажешь?

— Только не задавайся, хвастун!

— Ах, фрау Тышбайн, как я рад, что ты приехала! — сказал Эмиль и взял её под руку.

— От всей этой бедотни твой костюм не стал лучше,—заметила мама. Но она не сердилась, это было ясно.

— Если ты захочешь, у меня будет новый костюм.

— Каким образом?

— Один магазин намерен подарить мне, Профессору и Густаву новые костюмы, а потом сообщить в газете, что мы, юные сыщики, покупаем себе костюмы только у них. Одним словом, реклама. Понимаешь?

— Да, понимаю.

— Но мы, скорее всего, откажемся, хотя могли бы вместо скучных костюмов получить каждый по новому футбольному

мячу,— рассказывал Эмиль.— Потому что, знаешь, мы считаем, что вся эта шумиха, которую вокруг нас подняли, просто глупа. Пусть взрослые этим занимаются, они ведь часто бывают такими чудными. Но для детей это не подходит.

— Bravo! — воскликнула мама.

— Деньги дядя спрятал. Тысяча марок! Здорово, правда? Прежде всего мы купим электрическую сушилку для волос. И тебе шубу на меху. А мне что? Это я ещё обдумаю. Может, всё же футбольный мяч. А может, фотоаппарат. Посмотрим.

— Я думаю, лучше деньги эти сберечь, положить в банк. Потом они могут тебе очень пригодиться.

— Нет, мы обязательно купим тебе сушилку и шубу. То, что останется, можно отнести в банк, если хочешь.

— Это мы ещё обсудим,— сказала мама и сжала его локоть.

— Ты знаешь, во всех газетах помещены мои фотографии, и повсюду напечатаны обо мне длинные статьи.

— Одну я уже прочла в поезде. Я сперва очень волновалась, Эмиль! С тобой ничего плохого не случилось?

— Да что ты, мама! Наоборот, это было так здорово! Я тебе потом всё по порядку расскажу. Но сперва ты должна познакомиться с моими друзьями.

— А где они?

— На Шуманштрассе. У тёти Марты. Она вчера тут же стала печь яблочный пирог. И мы пригласили всю компанию, они сидят сейчас там и веселятся.

И в самом деле, у Хаймбольдов было полным-полно гостей. Пришли и Густав, и Профессор, и Крумбигель, и братья Митгенцвай, и Вторник, и Герольд... Ну и все остальные. Стульев не хватало.

Пони-Шапочка бегала с огромным кофейником от одного к другому и разливала какао. А яблочный пирог тёти Марты был такой вкусный, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Бабушка сидела на кушетке и смеялась. Она помолодела на десять лет.

Когда появились Эмиль с мамой, началась длинная церемония приветствий. Фрау Тышбайн подала каждому мальчику руку и поблагодарила всех за то, что они так хорошо помогли её Эмилю.

— Значит, договорились? — сказал Эмиль ребятам.— Мы откажемся от костюмов и от мячей. Мы не позволим, чтобы нас использовали для рекламы. Так, что ли?

— Точно! — крикнул Густав и загудел так громко, что все цветочные горшки тёти Марты задрезбужали.

Потом бабушка постучала ложкой о свою чашку с золотым ободком, встала и сказала:

— Слушайте внимательно, молодцы. Я хочу сказать речь. Пожалуйста, не воображайте, я не собираюсь вас хвалить. Вас и без меня до того захвалили, что у вас, наверно, голова пошла кругом. От меня этого не ждите. Нет, не ждите!

Дети совсем притихли, даже жевать перестали.

— Выслеживать вора,— продолжала бабушка,— гнаться за ним по пятам и в конце концов окружить его, когда вас сто человек,— невелика заслуга. Может, вам это неприятно слушать, но это так. Но среди вас сидит мальчик, который тоже хотел бы ловить господина Грундайса, хотел бы нарядиться, как Густав, в зелёную ливрею и всё разузнать в гостинице. Но он остался дома, потому что взялся дежурить у телефона. Да, только потому, что он за это взялся.

Все посмотрели на Вторника. Он сидел красный как рак от смущения.

— Совершенно верно. Я имею в виду маленького Вторника. Совершенно верно! — сказала бабушка. — Он два дня не отходил от телефона. Он знал, в чём заключается его долг. И он его выполнил, хотя ему это дело было не по душе. Вот это замечательно! Понятно? Вот это замечательно! Пусть он вам послужит примером! А теперь давайте все встанем и крикнем: «Да здравствует маленький Вторник!»

Мальчишки вскочили, Пони-Шапочка сложила руки раструбом. Тётя Марта и мама Эмиля пришли из кухни. И все закричали:

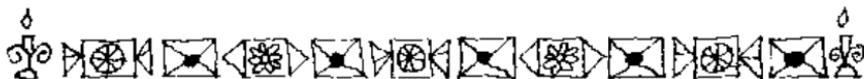
— Да здравствует Вторник! Ура! Ура! Ура!

Потом все снова сели. И маленький Вторник набрал воздуха и сказал:

— Спасибо. Но это вы зря. Любой из вас поступил бы точно так же. Ясно?! Настоящий мальчишка всегда делает то, что надо. И всё!

Пони-Шапочка высоко подняла огромный кофейник и крикнула:

— Эй, люди, кому ещё налить? Давайте теперь выпьем за Эмиля!



Глава восемнадцатая

КАКОЙ УРОК ИЗ ЭТОГО МОЖНО ИЗВЛЕЧЬ?

К вечеру ребята простились. И Эмиль торжественно обещал, что придёт завтра после обеда вместе с Пони-Шапочкой к Профессору. Потом домой пришёл дядя Хаймбольд и сели ужинать. А после ужина дядя передал фрау Тышбайн тысячу марок и посоветовал положить их в банк.

— Я так и собиралась,— сказала парикмахерша.

— Нет! — воскликнул Эмиль.— Тогда мне это не доставит никакой радости. Мама должна купить себе электросушилку и шубу. В конце концов это ведь мои деньги. Я могу потратить их, как хочу. Так или не так?

— Ты вовсе не можешь сделать с ними, что хочешь,— объяснил дядя Хаймбольд.— Ты ещё ребёнок. И поэтому решать, что делать с деньгами, может только твоя мама.

Эмиль встал из-за стола и отошёл к окну.

— До чего же ты не чуткий, Хаймбольд! — сказала Пони-Шапочка своему отцу.— Да разве ты не видел, как Эмиль радовался, что может сделать маме подарок? Вы, взрослые, иногда до того недогадливы, что просто диву даёшься!

— Конечно, надо купить сушилку и шубу,— сказала бабушка.— Но то, что останется, вы отнесёте в банк, ведь верно, мой мальчик?

— Да,— ответил Эмиль.— Ты согласна, мамочка?

— Если ты так настаиваешь...

— Завтра утром отправимся за покупками. Ты, Пони, пойдёшь с нами? — спросил Эмиль, и было видно, что он очень доволен.

— А ты, верно, думал, что я буду в это время считать мух на потолке, так, что ли? — ответила кузина.— Но ты тоже должен себе что-нибудь купить. Если тётя Тышбайн получит эту сушилку, то ты себе должен купить велик, понятно? Чтобы не ломать велосипед своей кузины.

— Эмиль,— встревоженно спросила фрау Тышбайн,— ты что, сломал велосипед Пони?

— Да что ты, мама, я просто чуть-чуть опустил седло—оно у неё всегда поднято слишком высоко, чтобы мчаться, как гонщик. Фасонит, и всё!

— Сам ты фасоня! — крикнула Шапочка.— Если ты ещё раз опустишь седло, мы поссоримся.

— Если бы ты не была девчонкой, я бы тебя сейчас отлупил, деточка. А кроме того, я не хочу сегодня портить себе настроенис, но учти: не тебе решать, что я куплю, а что — нет.

И Эмиль упрямо засунул руки в карманы.

— Не ссорьтесь и не деритесь. Лучше уж сразу выпцарапайте друг другу глаза,— миролюбиво посоветовала бабушка.

Попозже вечером дядя Хаймбольд вышел погулять с собакой. Собственно говоря, у Хаймбольдов не было никакой собаки, но, когда отец по вечерам выходил выпить кружку пива, Пони всегда говорила: «Пошёл погулять с собакой».

Бабушка, обе мамы, Пони-Шапочка и Эмиль сидели вместе в комнате и обсуждали события двух последних дней, которые принесли столько волнений.

— А может, вся эта история чему-нибудь нас научит?

— Конечно,— сказал Эмиль.— Меня, например, тому, что людям нельзя доверять.

— Глупости,— проворчала бабушка.— Всё как раз наоборот. Всё как раз наоборот.

— Глупости, глупости, глупости,— пропела Пони-Шапочка и проскакала на стуле по комнате.

— Так ты считаешь, что из всего этого нельзя извлечь ничего полезного? —спросила тётя Марта.

— Почему? Можно,— сказала бабушка.

— Что же? —спросили все в один голос.

— Деньги надо посылать только по почте! —И бабушка захихикала мелодично, как музыкальный ящик.

— Ура! —закричала Пони-Шапочка и проскакала на стуле в свою комнату. Пора было ложиться спать.

Эрика Лейнер

**Эмиль
и трое
близнецов**

Товарищ
Э



ПРЕДИСЛОВИЕ

Ровно через два года после той истории, которая случилась у Эмиля с господином Грундайсом, со мной произошёл на Кайзераллее удивительный случай.

Собственно говоря, я собирался сесть в трамвай 177, чтобы поехать в Штеглиц. Правда, никаких особых дел у меня там не было, но я люблю гулять в таких районах города, которые не знаю и где меня не знают. Там мне легко вообразить, что я нахожусь где-то на чужбине. А когда я чувствую себя совсем одиноким и потерянным, я быстро еду домой, уютно располагаюсь у себя и пью кофе.

Ничего не поделаешь, уж такой я человек. Но моё кругосветное путешествие в Штеглиц в тот день так и не состоялось. Потому что когда подошёл трамвай и я уже занёс ногу, чтобы опустить её на ступеньку первого вагона, я вдруг увидел, что с передней площадки сходит странного вида человек в чёрном котелке. Он опасливо огляделся по сторонам, словно совесть его была нечиста, потом торопливо обогнул вагон, пересек улицу и поднялся на террасу кафе «Жости».

Я задумчиво проводил его взглядом.

— Вы что, садитесь? — спросил у меня кондуктор.

— Как видите, — ответил я.

— Тогда поторопитесь, — строго сказал он.

Но я не поторопился, а, наоборот, застыл на месте от изумления, не в силах оторвать взгляда от прицепного вагона.

Дело в том, что с прицепа слез мальчишка с чемоданом в одной руке и с букетом цветов, завернутым в папиросную бумагу, в другой. Он тоже всё оглядывался, потом потащил свой чемодан к газетному киоску на углу, спрятался за ним, поставил чемодан на тротуар, а букет положил на чемодан и посмотрел вокруг.

Кондуктор всё ещё ждал меня.

— Всё, у меня лопнуло терпение! — крикнул он в конце концов. — Не хотите ехать — не надо, не силком же вас

тащить! — Он дёрнул за шнур, и трамвай 177 поехал без меня в Штеглиц.

Господин в котелке сел на террасе за столик и подозвал официанта. Мальчик, притаившись за киоском, наблюдал за ним, не спуская с него взгляда.

Я всё ещё стоял у остановки как истукан. (Кто-нибудь из вас знает, как выглядят истуканы? Я лично понятия не имею.)

Ну и ну! Я просто глазам своим не верил. Ведь два года назад господин Грундайс и Эмиль Тышбайн сошли с трамвая на этом самом углу! И теперь всё это снова повторяется? Здесь что-то не то.

Я потёр глаза и снова бросил взгляд на террасу кафе «Жости». Господин в котелке сидел там по-прежнему! А мальчик за газетным киоском устало присел на чемодан; вид у него был очень огорчённый.

Я подумал: правильной всего будет подойти к мальчику и спросить его, что всё это означает. И если он мне ещё скажет, что у него украли сто сорок марок, я залезу на ближайшее дерево.

Так вот, направился к мальчику, сидящему на чемодане, и сказал ему:

— Добрый день. Что у тебя случилось?

А он сидел как пень и молчал, словно не слышал моего вопроса, и по-прежнему не спускал глаз с террасы кафе.

— Скажи, не украли ли у тебя, случаем, сто сорок марок? — спросил я тогда.

Тут он наконец поглядел на меня, утвердительно кивнул и сказал:

— Да, украли. Вот тот негодяй, который сидит там, на террасе кафе.

Я не только не успел залезть на ближайшее дерево, как собирался, но даже головой покачать не успел, потому что за спиной загудел клаксон. Мы испуганно обернулись, но увидели не машину, а мальчишку, который над нами смеялся.

— Что тебе надо? — спросил я.

Он снова загудел и заявил:

— Меня зовут Густав.

У меня в горле пересохло. Просто с ума можно сойти! А может, мне всё это снится?

А по Траутенауштрассе к нам тем временем бежал какой-то человек и возмущённо махал руками. Он остановился прямо передо мной и заорал:

— Чего вы здесь торчите! Суёте свой нос в чужие дела! Вы же нам съёмки срываете.

— Какие такие съёмки? — спросил я с любопытством.

— Вы что-то туго соображаете! — взорвался разгневанный господин.

— Это у меня с рождения, — невозмутимо ответил я.

Мальчики рассмеялись. А Густав с клаксоном объяснил мне:

— Мы ведь снимаем фильм.

— Ну да, — подхватил мальчик с чемоданом. — Фильм про Эмиля. И я играю Эмиля.

— Да пройдите же наконец! — взмолился ассистент. — Плёнка стоит дорого.

— Извините, что помешал, — сказал я и пошёл своей дорогой.

А ассистент побежал назад к грузовичку, в котором была вмонтирована кинокамера, и оператор снова приступил к съёмкам.

Я дошёл, прогуливаясь, до сквера на площади Никольсбург и сел на скамейку. Я просидел так довольно долго, рассеянно глядя перед собой. Правда, я уже где-то слышал краем уха, что снимают фильм про Эмиля, но потом это совсем выпало у меня из головы. Ну, а если вдруг становишься свидетелем того, как история, происшедшая два года назад, снова точь-в-точь повторяется — и чемодан, и букет цветов, и клаксон, и котелок, — то у тебя, естественно, глаза на лоб полезут от удивления!

Немного погодя ко мне подсел высокий худощавый господин. Он был постарше меня, носил пенсне и глядел на меня, посмеиваясь... Наконец он сказал:

— С ума можно сойти, верно? Думаешь, что то, что происходит вокруг тебя, — это живая жизнь, а потом оказывается, что это лишь воспроизведение давным-давно случившихся событий.

Он сказал ещё что-то вроде того, что искусство — это всегда обман. Впрочем, ничего дурного он этим сказать не хотел. Мы с ним поговорили немного на эту тему, а когда оказалось, что мы её исчерпали, мой собеседник заметил:

— На этой сугубо штатской скамье сыщики скоро будут держать военный совет.

— Откуда вы знаете? Вы что, тоже из съёмочной группы?

Он рассмеялся:

— Нет, что вы! Я просто жду здесь своего сына. Он хочет быть на съёмках. Потому что он был тогда одним из сыщиков.

Тут я немного взбодрился, внимательно посмотрел на моего соседа и сказал:

— Разрешите, я попробую догадаться, кто вы такой?

— Прошу вас,— ответил он весело, его всё это явно забавляло.

— Вы — советник юстиции Хэберланд, отец Профессора!

— Догадались! — воскликнул он. — Но откуда же вы это знаете? Вы что, читали книгу «Эмиль и сыщики»?

— Нет, я её написал.

Это сообщение почему-то чрезвычайно обрадовало советника юстиции. И через несколько минут мы уже разговаривали друг с другом, как друзья детства, и даже не заметили, что к скамейке подошёл мальчик. Он снял гимназическую фуражку и поклонился.

— Ах, вот и ты! — воскликнул советник юстиции Хэберланд.

Я узнал Профессора с первого взгляда. Правда, он вырос с тех пор, как я его видел, не очень, но всё же вырос. Я протянул ему руку.

— Вы — господин Кестнер, — сказал он.

— Так точно! — воскликнул я. — Тебе нравится, как они снимают фильм про вашу историю?

Профессор поправил очки.

— Они стараются, этого я не отрицаю. Но такой фильм должны были бы сочинить и снимать сами ребята. Взрослые во всём этом ничего не смыслят.

Советник юстиции засмеялся.

— Его всё ещё зовут Профессор, — сказал он. — Но его уже давно пора бы звать Тайный советник.

Ну, а потом Профессор сел на скамейку между нами и рассказал мне о своих друзьях. О Густаве с клаксоном, который недавно получил в подарок к клаксону мопед. И о Вторнике. За это время его родители переехали в Дáлем, но он часто бывает в Берлине, потому что скучает по своим старым товарищам. И о Блеуере, и о братьях Миттенцвай, и о Трауготте, и о Церлетте. Я узнал много новостей. Ну, а Петцольд всё такой же противный парень, как два года назад. Он со всеми вечно ругается.

— Да, что вы на это скажете? — вдруг перебил сам себя Профессор. — Я ведь стал домовладельцем.

Он выпрямился и с гордостью поглядел на меня.

— Я в три раза старше тебя, — сказал я, — но всё ещё не стал домовладельцем. Как же это у тебя так быстро получилось?

— Это наследство от его умершей двоюродной бабушки, — объяснил советник юстиции.

— Дом стоит на берегу Балтийского моря,— рассказывал мне Профессор, сияя от счастья.— И я приглашу к себе на летние каникулы Эмиля и всех сыщиков.— Он сделал небольшую паузу.— Конечно, если родители разрешат.

Советник юстиции искоса кинул взгляд на сына. Смешно было смотреть, как они сквозь очки уставились друг на друга.

— Насколько я знаю твоих родителей,— сказал советник юстиции,— они возражать не будут. Дом принадлежит тебе, а я являюсь в данном случае лишь твоим опекуном.

— Договорились! — сказал Профессор.— А если я когда-нибудь женюсь и у меня появятся дети, я буду вести себя с ними, как ты со мной.

— При условии, что у тебя будут такие же образцовые дети, как у твоего отца,— уточнил советник юстиции Хаберланд.

Мальчик придвинулся поближе к отцу и тихо сказал:

— Спасибо.

На том разговор окончился. Мы встали и втроём пошли по Кайзераллее. На террасе кафе «Жости» стоял артист, играющий роль господина Грундайса. Он снял с головы котелок и вытер вспотевший лоб. Рядом с ним стояли режиссёр, оператор и тот самый человек, что накричал на меня у газетного киоска.

— Нет, так дело не пойдёт! — раздражённо кричал актёр.— Вы что, хотите, чтобы у меня был заворот кишок? Я должен съесть одну яичницу из двух яиц. Так и написано в сценарии: из двух яиц. А я съел уже восемь, но вам всё мало.

— Ничего не попищешь, старик,— сказал режиссёр.— Придётся снять ещё дубль.

Актёр напялил котелок, с мукóй воздел глаза, подозвал кельнера и печально сказал:

— Ну что ж, валяйте—несите мне ещё одну яичницу!

Кельнер принял заказ, покачал головой и воскликнул:

— Какой дорогой фильм!

И ушёл на кухню.

А ТЕПЕРЬ ПРЕДОСТАВИМ СЛОВО КАРТИНКАМ.

ИХ ДЕСЯТЬ



Вот он и снова появился! С тех пор, как мы его видели в последний раз, прошло больше двух лет. За это время он вырос. И у него новый выходной костюм. Тоже синий. И, конечно, уже с длинными брюками! Но если он будет и дальше расти так же быстро, то на следующий год ему придётся носить этот костюм с короткими штанишками. А в остальном он мало изменился. Он остался тем же образцовым мальчиком, каким был. И маму свою он любит ничуть не меньше, чем прежде. И часто, когда они бывают вместе, он говорит с нетерпением: «Надеюсь, скоро я смогу зарабатывать много денег. И тогда ты не будешь больше мыть и завивать чужие головы». А мама всегда смеётся и отвечает: «Вот и отлично. Тогда я буду мух ловить».



Подпись правильная. Сержант Йешке из Нойштадта успел за это время стать старшиной. Случай с памятником давно забыт. И иногда даже старшина Йешке после дежурства приходит к Тышбайнам пить кофе. А перед этим он всякий раз покупает у булочника Вирта большой пирог. И фрау Вирт, которая всегда укладывает волосы у парикмахерши фрау

Тышбайн, сказала на днях своему мужу, булочнику Вирту: «Ты смекнул, Оскар, к чему дело идёт?» И когда булочник отрицательно покачал головой, жена воскликнула: «Что-что, а уж пороха ты не изобретёшь!»



Вот дом, который Профессор получил в наследство от своей двоюродной бабушки. Он находится в Корлсбюттеле, на берегу Балтики. Умершая бабушка была при жизни страстной садовницей. И сад, окружающий старый двухэтажный дом,— настоящее чудо. А пляж совсем рядом. Туда можно побежать прямо в плавках через ольховую рощу. Три минуты в зелёном сумраке — и ты уже в дюнах, а у твоих ног плещется море. А деревянный мол, к которому пристают местные пароходы, уходит к самому горизонту.



Знаете ли вы историю про человека, который нашёл пуговицу, а уже к ней заказал себе костюм? Что-то в этом роде случилось и с Густавом. Сперва у него был только клаксон.

А потом он так долго канючил, что в конце концов отец подарил ему к этому клаксону мопед. Конечно, это не мотоцикл, и, чтобы ездить на нём, прав не надо. Но жителям соседних домов вполне хватает того трёска, который подымает Густав, когда заводит свой мопед или с рёвом заворачивает за угол. Глядя, как он в спортивном костюме лихо вскакивает на мопед, все думают: вон едет немецкий чемпион. Занятия в школе, правда, стали хромать, но Густав не унывает. «Из класса в класс кое-как переползаю, и порядок. Что ещё надо?»



Когда мальчишке четырнадцать лет, он всё ещё мальчишка, часто даже сопливый мальчишка. Но едва девчонке стукнет четырнадцать, как она уже чувствует себя барышней. И только не вздумайте над ней посмеяться! Или сказать: «Ты чего так задаёшься?» Кто на это решится, тому не поздоровится. Конечно, полной идиоткой Пони-Шапочка за эти два года не стала. Для этого у неё слишком сильное чувство юмора. Но если прежде она была настоящим сорванцом, то теперь она стала подростком. И бабушка не устаёт ей повторять: «Не торопись так, деточка, не торопись так, деточка! Старой перчицей ты всегда стать успеешь».



Вам довелось хоть раз видеть такую переправу? Вот в Штральзунде, например, есть такие вот удивительные паромы: они подходят к особому причалу с рельсами, и весь состав, целиком, переезжает на палубу. И паром этот отчаливает и плывёт себе по морю, плывёт прямо в Данию, или на остров Рюген, или в Швецию. Там он снова причаливает к берегу, и поезд преспокойно едет дальше как ни в чём не бывало. Здорово, верно? Хорошо ехать в поезде, и на пароходе — тоже. Но как, наверное, прекрасно ехать в поезде на пароходе!



«Три-Байрона-три!» играют немаловажную роль в нашей истории. Они артисты и выступают в цирке или на эстраде. Один из Байронов — отец, а двое остальных — сыновья. Зовут их Макки и Джекки, и они близнецы, хотя Джекки больше Макки. Папу Байрона это бесит, но Джекки ничего не может поделать: он растёт. Другие ребята радуются, что растут. А Джекки Байрон приходит от этого в отчаяние.



Перед вами — ученик официанта. Он работает в ресторане приморской гостиницы и станет когда-нибудь настоящим официантом, а может, и старшим официантом, или даже метрдотелем, а пока он помогает накрывать на стол и носить тарелки. И представьте — дел у него невпроворот: целый день крутится как белка в колесе. И всё же иногда ему удаётся урвать часок-другой, быстро сбегать на пляж и доплыть до песчаной косы. Или сесть верхом на огромный надутый зелёный туб — рекламу зубной пасты. И тут может случиться, что он встретит старых знакомых из Берлина и вспомнит события, происшедшие два года назад.



То, что перед вами старый морской волк, видно за версту. Он капитан торгового судна, которое плавает по Балтийскому морю. Иногда оно возит древесину. Иногда — уголь. Иногда — шведскую сталь. А иногда — ром. Слишком много рома. А от морского ветра, говорят, очень-очень хочется пить. В Корлсбюттеле у капитана Шмауха есть домик, а в гавани там стоит отличная парусная яхта: она тоже принадлежит

капитану. Да, чуть не забыл: мальчишка, который учится на официанта, — его племянник. На свете вообще куда больше родственников, чем думаешь.



В Балтийском море, недалеко от берега, есть крошечный островок. Как-то давно один рыбак шутки ради отвёз на этот остров пальму в кадке и высадил её в песок. И представьте себе, в северном песке растёт теперь африканская пальма, хотя вид у неё довольно жалкий. Просто курам на смех, но, к счастью, кур на островке нет — он необитаем. Во-первых, потому что он весь песчаный, а во-вторых, потому что слишком маленький, чтобы на нём жить. Если бы на нём кто-нибудь упал во сне с кровати, то утодил бы прямо в море.

А ТЕПЕРЬ ПОРА НАЧИНАТЬ НАШУ ИСТОРИЮ



Глава первая

СТАРШИНА ЙЕШКЕ ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ

В тот день старшина Йешке был после обеда свободен и явился к Тышбайнам с огромным яблочным пирогом. Мама Эмиля сварила кофе. И вот теперь они сидели втроем за круглым столом в столовой и налегали на пирог. Большое блюдо пустело медленно, но верно. Эмиль уже наелся до отвала. А господин Йешке тем временем рассказывал, что бургомистр Нойштадта решил заменить старую конку настоящим электрическим трамваем. Теперь всё дело упиралось только в деньги.

— А почему бы уж сразу не построить метро? — насмешливо спросил Эмиль. — Без нашей конки Нойштадт потеряет половину интереса. Трамвай ведь есть везде.

Но мама успокоила Эмиля:

— Если это вопрос денег, то можно не волноваться: конка будет ездить по Нойштадту до скончания века.

Утешившись, Эмиль взял с блюда последний кусок яблочного пирога и, исполненный сознанием своего долга, принялся его уплетать.

Старшина вежливо спросил, можно ли ему закурить.

— Конечно, господин Йешке! — воскликнула фрау Тышбайн.

Гость вынул из кожаного портсигара огромную чёрную сигару, прикурил и пустил густое голубое облако дыма.

Тут фрау Тышбайн встала, составила чашки и тарелочки, унесла всю посуду на кухню и сказала, вернувшись, что ей надо выйти купить шампунь, потому что через час придёт фрау Хомбург мыть голову.

Эмиль вскочил, чтобы сбежать в лавку вместо мамы, но она его остановила:

— Нет, мальчик, я пойду сама.

Эмиль с изумлением посмотрел на мать.

Господин Йешке кинул взгляд на фрау Тышбайн, полерхнулся дымом и закашлялся. Откашлявшись, он сказал:

— Эмиль, мне надо с тобой поговорить. Так сказать, как мужчина с женщиной.

Внизу хлопнула входная дверь — фрау Тышбайн ушла. — Ну что ж, давайте говорите, — сказал наконец Эмиль. — Но я что-то не понимаю, почему это моя мама вдруг сорвалась и убежала. Ведь покупать — это моя обязанность.

Старшина положил сигару на край пепельницы, перекинул ногу на ногу и провёл рукой по мундиру, как бы стряхивая пепел, хотя никакого пепла на нём не было.

— Твоя мама ушла, наверно, для того, чтобы мы могли спокойно поговорить, — сказал Йешке и растерянно уставился в потолок.

Эмиль тоже поднял глаза. Но ничего интересного там не обнаружил.

Старшина снова взял в руку сигару и спросил без обиняков:

— Скажи-ка, парень, я тебе очень несимпатичен?

Эмиль чуть не упал со стула.

— Почему вы так думаете? Что за странный вопрос, господин Йешке? — Он помолчал, потом добавил: — Раньше я, правда, вас здорово боялся.

Старшина рассмеялся:

— Из-за той истории с памятником, да?

Мальчик кивнул.

— Мы тоже делали такие глупости, когда были школьниками.

Эмиль ахнул:

— Вы тоже? Лично вы?

— Да, я собственной персоной, — ответил полицейский.

— В таком случае вы мне очень симпатичны, — заявил Эмиль.

Господин Йешке этому явно обрадовался.

— Я должен тебя спросить об одной очень важной вещи, — сказал он. — С твоей мамой я уже говорил об этом. В то воскресенье. Но она сказала, что всё зависит от тебя. Если ты будешь против, ничего не выйдет.

— Что, что? — переспросил Эмиль. Некоторое время он молчал, что-то обдумывая, а потом признался: — Вы на меня не обижайтесь, только я ни слова не понял из того, что вы сказали.

Старшина внимательно рассматривал свою сигару. Она успела потухнуть, и он тщетно пытался её снова раскурить. Наконец он сказал:

— Трудно говорить об этих вещах с таким большим парнем. Ты помнишь своего отца?

— Почти нет. Мне было пять лет, когда он умер.

Старшина кивнул. Потом разом выпалил:

— Я хотел бы жениться на твоей матери.— Он довольно долго кашлял, а когда немного успокоился, добавил: — Меня обещали перевести работать в участок. А потом я стану инспектором. Экзамен я выдержу, это точно. Я, правда, не ходил в реальное училище, но всё же я не дурак. А инспектор неплохо зарабатывает. И ты сможешь даже получить высшее образование, если у тебя будет охота.

Эмиль стряхнул крошки с цветной скатерти. Старшина добавил:

— Если ты будешь против, она за меня не выйдет.

Мальчик встал и подошёл к окну. Некоторое время он глядел на улицу. Потом обернулся и тихо сказал:

— Мне надо как-то свыкнуться с этой мыслью, господин Йешке.

— Понятно,— ответил тот.

Эмиль снова стал смотреть в окно. «Собственно, я представлял себе нашу жизнь иначе,— думал он, провожая глазами грузовик.— Я сам хотел начать зарабатывать деньги. Много денег. Чтобы ей не надо было больше работать. И хотел жить с ней всю жизнь, никогда не разлучаться. Только вдвоём. И больше никого. А тут неожиданно-негаданно приходит этот старшина и хочет стать её мужем!» Эмиль вдруг увидел мать: она появилась из-за угла и быстро перешла улицу. Эмиль спрятался за занавеску. «Мне надо немедленно принять решение. И думать я должен прежде всего не о себе. Это было бы подло с моей стороны. Она всегда думала только обо мне. Он ей нравится. Я обязан скрыть, что мне грустно. Мне просто необходимо быть весёлым, не то я испорчу ей всю радость...»

Эмиль набрал воздуха, обернулся и громко проговорил:

— Я согласен, господин Йешке.

Старшина встал, подошёл к нему и пожал ему руку. И тут как раз открылась дверь. Мать вошла в комнату и пылливо поглядела на своего мальчика. У него в голове ещё раз пронеслось с быстротой молнии: «Быть весёлым!» И Эмиль взял Йешке под руку, засмеялся и сказал маме:

— Ну, что ты на это скажешь! Господин старшина только что попросил у меня твою руку!

Когда пришла фрау Хомбург, чтобы вымыть голову, счастливый жених удалился. Вечером он снова появился и принёс цветы. И полфунта дорогой колбасы. И бутылку сладкого вина.

— Чтобы чокнуться,— сказал он.

Они поужинали, а потом чокнулись. И Эмиль произнёс торжественную речь, а господин Йешке долго смеялся. Фрау Тышбайн сидела на диване, гладила руку Эмиля, и вид у неё был довольный.

— Мой дорогой мальчик,— сказал господин Йешке,— я благодарю тебя за то, что ты нам желаешь счастья. Я невероятно рад всему, что случилось, и у меня есть к тебе только ещё одна просьба. Я не хочу, чтобы ты звал меня «отец». Это казалось бы мне странным. Конечно, я буду тебе как бы отцом. Это само собой разумеется. Но называть меня так не надо.

Втайне Эмиль был очень рад этим словам. Но он сказал: — Слушаюсь, господин старшина! Но как мне к вам обращаться? «Добрый день, господин Йешке» — это постепенно станет звучать комично, вы не находите?

Жених встал.

— Прежде всего мы выпьем с тобой на брудершафт. Я, правда, и так говорю тебе «ты». Но теперь и ты должен мне говорить «ты».

И они выпили на брудершафт.

— А на случай, если у тебя появится потребность как-то меня называть,— сказал Йешке,— мне хочется тебе напомнить, что меня зовут Генрих. Ясно?

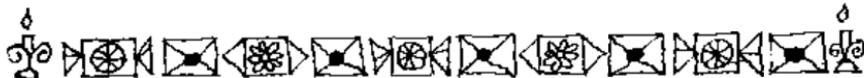
— Слушаюсь, Генрих! — воскликнул Эмиль.

А когда его мама засмеялась, он был на седьмом небе от счастья.

Наконец Генрих Йешке ушёл домой, а мама и сын легли спать. Как всегда, они сказали друг другу «спокойной ночи» и поцеловались. Потом каждый лёг в свою постель. И хотя они делали вид, что спят, оба ещё долго не могли сомкнуть глаз.

Эмиль думал: «Она ничего не заметила. Она думает, мне не грустно. Теперь она может спокойно выйти замуж за господина Йешке и быть счастливой, как я ей того желаю. Он и в самом деле неплохой дядька».

А мама Эмиля думала: «Ах, как я рада, что мой мальчик ничего не заметил! Он не должен знать, что больше всего я хотела бы остаться с ним вдвоём, только вдвоём! Но мне нельзя думать о себе. Мне надо думать о моём мальчике. О его будущем. Кто знает, долго ли мне ещё удастся зарабатывать нам на жизнь. А господин Йешке и в самом деле хороший человек».



Глава вторая

ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА И ПИСЬМО В БЕРЛИН

Когда Эмиль на следующий день пришёл из школы, мама дала ему письмо и сказала:

— Тебе письмо из Берлина.

— От Пони-Шапочки?

— Нет. Почерк незнакомый.

— А что там написано?

— Эмиль! — с изумлением воскликнула фрау Тышбайн. — Неужели ты думаешь, что я вскрываю твои письма?

Он рассмеялся.

— Ну, мама, с каких это пор у нас друг от друга секреты?

Он отнёс свой портфель в соседнюю комнату. И мысленно сам себе ответил: «Со вчера. С прихода господина Йешке». Вернувшись, сел на диван, распечатал письмо и прочёл:

Мой дорогой Эмиль!

Мы что-то давно ничего друг о друге не слышали, верно? Но всё же я надеюсь, что ты живёшь хорошо. Мне тоже не на что жаловаться. Правда, у меня несколько недель назад умерла двоюродная бабушка. Но я её почти не знал. Поэтому особенно и не грустил. Но именно это событие и заставило меня сегодня тебе написать. Дело в том, что бабушка оставила мне в наследство свой дом. Он расположен на самом берегу Балтийского моря, в Корлсбюттеле. Может, слышал? Это курорт. Вокруг дома — довольно большой и красивый сад. Ты уже догадался, в чём дело? Нет? Так слушай! Летние каникулы уже не за горами, как принято говорить, и вот мне как домовладельцу пришла в голову блестящая мысль: я хочу пригласить тебя и всех сыщиков провести лето на берегу моря, в моём собственном доме. Мои папа с мамой разрешили и будут даже очень рады. В самом деле — очень. Правда, они тоже будут там жить. Но нам это не помешает. Ты ведь знаешь по тому случаю, что с моими старика-

ми ладить легко. Кроме того, дом двухэтажный. Чего можно ещё желать?

Густав уже согласился. И родители ему позволили. И знаешь, придет не только он, но и — держись, а то со стула свалишься — твоя кузина Пони Хаймбольд, по прозвищу Шапочка! И твоя бабушка, которая нам всем так понравилась. Все они придут, если ты согласишься. Может, ещё и мальчиш Вторник. Если его маму не пошлют лечиться в Наухайм. У неё что-то с сердцем.

Видишь, какой представляется случай? С ума сойти! Сам себя толкни в бок и поскорей скажи «да». Надеюсь, старик, твоя мать не будет против, раз бабушка и Пони тоже туда едут. Ну, что ты про всё это думаешь? Мы встретим тебя в Берлине, чтобы ты снова не сошёл не там, где надо. А потом все вместе отправимся к морю. В мой дом! Да, пока не забыл: денег тебе, конечно, брать никаких не надо. С нами поедет тётя Клотильда. Она будет на всех готовить. Между прочим, очень вкусно. А то, что ей придётся варить несколько лишних тарелок супа, не имеет никакого значения. Так говорит моя мама.

Ну, а деньги на дорогу тебе вышлет мой отец; он велел мне написать тебе об этом. Потому что бабушка оставила в наследство не только дом, но и деньги. Правда, деньги она завещала моему отцу, а не мне.

Значит, тебе остаётся только согласиться. Я так рад, что снова тебя увижу! И прости, что я пишу про деньги. Ты мне как-то сказал, что о деньгах не говорят, когда они есть. Я эти твои слова не забыл. Но в данном случае я всё же вынужден о них говорить, потому что иначе ты, возможно, не сможешь приехать. И тогда каникулы станут для меня неинтересными. И плевать я хотел на это море! Понятно?

Дорогой Эмиль! Я с огромным нетерпением жду твоего ответа. Привет тебе от моих и от меня.

Твой друг Теодор Хаберланд, он же Профессор.

Да! Несколько месяцев тому назад здесь у нас, в Берлине, снимали фильм про Эмиля и сыщиков. Я был на съёмках. Очень странно, когда историю из жизни превращают вдруг в кино. Вроде похоже, но всё получается совсем по-другому. Мой отец тоже так считает. Картина эта скоро выйдет. Я жду её с нетерпением. Ты тоже, да? Ещё раз привет тебе, и отвечай поскорее.

Твой Профессор.

Да, чтобы не забыть: пароль «Эмиль».

Прочтя письмо до конца, Эмиль дал его маме, а сам отправился в свою комнату. Там он сел за стол, раскрыл тетрадь по геометрии и сделал вид, что решает задачу. Но на самом деле он уставился в одну точку и думал.

И думал он примерно вот что: «Конечно, поехать к морю — это здорово. Но дома тоже хорошо... А вдруг я буду мешать теперь старшине Йешке? Хоть капельку. В конце концов он со вчерашнего дня мамин жених. И ей он нравится. Как сын я должен с этим считаться!»

А фрау Тышбайн обрадовалась письму Профессора. «Какие замечательные каникулы будут у мальчика! Правда, я буду по нему ужасно скучать. Но это лучше от него скрыть», — подумала она и пошла к Эмилю.

— Мамочка, — сказал Эмиль, — как ты считаешь: мне согласиться?

— Ну конечно, согласишься, — ответила мать. — Такое хорошее письмо! Только ты должен мне обещать, что не будешь заплывать далеко. А то у меня не будет ни минуты покоя.

Он торжественно обещал далеко не плавать.

— Я только не хочу, чтобы советник юстиции высылал тебе деньги на дорогу. Мы возьмём на билет из сберкассы. Ладно? — И она потрепала за волосы сына, склонившегося над тетрадкой по геометрии. — А ты всё за уроками? Лучше погуляй до обеда.

— Хорошо, — сказал Эмиль. — Может, надо что-нибудь купить?

Мама шутливо подтолкнула его к двери:

— Иди гуляй, говорят! Когда обед будет готов, я тебя позову.

Эмиль пошёл во двор, сел на лестницу, ведущую в прачечную, и стал задумчиво выдёргивать травинки из щелей в кривых ступеньках.

Вдруг он вскочил, выбежал из ворот, помчался вниз по улице, свернул в переулочек, потом в другой, выскочил на площадь Верхнего рынка и только тут остановился и огляделся, как бы ища чего-то.

Он обвёл взглядом палатки торговцев овощами и фруктами, батареи глиняных горшков перед лотками садоводов и прилавки мясников. Среди пёстрой и оживлённой рыночной толпы медленно, заложив руки за спину, с сознанием собственного достоинства рассказывал старшина Йешке. Он следил за порядком.

Потом старшина остановился перед лотком мелочной торговли. Она стала ему что-то объяснять, энергично жести-

кулирую. Он вынул из кармана мундира блокнот, записал несколько слов и степенно двинулся дальше по неровному булыжнику рыночной площади.

Мальчик пошёл навстречу Йешке.

— Хэлло! — крикнул ему старшина. — Уж не меня ли ты ищешь?

— Да, господин Йешке, то есть, я хотел сказать... да, Генрих, — запнулся Эмиль. — Мне надо у тебя спросить одну вещь. Дело вот в чём: один мой берлинский друг получил в наследство дом на берегу моря. И он пригласил меня на летние каникулы. И ещё бабушку и Пони-Шапочку тоже.

Господин Йешке похлопал Эмиля по плечу:

— Поздравляю. Это великолепно!

— Верно?

Старшина с любовью посмотрел на своего будущего пасынка.

— Разреши мне дать тебе деньги на билет?

Эмиль энергично покачал головой:

— Не надо. У меня есть.

— Жаль, что не хочешь. Я бы с радостью дал на дорогу.

— Нет, Генрих. Я пришёл к тебе совсем из-за другого.

— Из-за чего же?

— Из-за мамы, понимаешь? Если бы ты вчера не... Я хочу сказать, если бы не это, я никогда не оставил бы её одну. И вообще я поеду только, если ты мне твёрдо обещаешь, что будешь каждый день приходить к ней хотя бы на час. Иначе она... Я ведь её очень хорошо знаю... Мне бы не хотелось, чтобы она чувствовала себя одинокой. — Эмиль помолчал. — Жизнь, оказывается, не такая лёгкая штука. Ты должен дать мне честное слово, что будешь о ней заботиться. Иначе я не уеду.

— Я тебе это обещаю. Могу дать тебе честное слово, могу не давать. Как скажешь, мой мальчик.

— В таком случае всё в порядке, — заявил Эмиль. — Значит, мы договорились: каждый день. Так? Я, правда, буду писать очень часто. Но письмо — это не то. С ней всегда должен быть кто-то, кого она любит. Я не допущу, чтобы она была печальна!

— Я буду приходить ежедневно, — обещал господин Йешке. — И буду сидеть не меньше часа. А когда смогу — и дольше.

— Спасибо, — сказал Эмиль, повернулся и побежал домой.

Во дворе он снова сел на ступеньки и снова стал выдёргивать травинки из щелей с таким видом, словно и с места не двигался.

Не прошло и пяти минут, как фрау Тьшбайн выглянула в кухонное окно.

— Эй, молодой человек, — крикнула она. — Обед на столе!

Он с улыбкой посмотрел вверх:

— Иду, мамочка!

Кухонное окно захлопнулось.

Тогда он медленно поднялся и пошёл домой.

После обеда он попросил у мамы почтовую бумагу, сел за стол и написал Теодору Хаберланду, проживающему в Берлине, в районе Вилмерсдорфа, следующее письмо:

Мой дорогой Профессор!

Огромное тебе спасибо за твоё письмо, которое доставило мне большую радость. То, что ты стал домовладельцем, — это просто фантастика! А к тому же ещё и дом твой на берегу моря. Поздравляю! Я в тех местах никогда не бывал. Но по географии мы недавно проходили Мекленбургское плато и восточное побережье. Поэтому я могу всё себе представить. И дюны, и большие пароходы, и кирпичные церкви, и гавани, и плетёные кресла с навесами на пляже, ну, и всё прочее. Я думаю, это очень хорошо!

А самое хорошее, что ты пригласил меня в гости. Я с благодарностью принимаю твоё приглашение, огромное спасибо тебе и твоим родителям. Я очень буду рад увидеть тебя, Густава и мальчика Вторника. Потому что всех, кто мне тогда так помог, я очень люблю. А то, что ты пригласил Пони и бабушку, — это просто колоссально!

Если в доме не хватает места, мы поставим в саду палатку и будем там жить, как бедуины в пустыне. А простыни мы сможем использовать как бурнусы. И каждый будет по часу ходить в дозоре, чтобы остальные могли спокойно спать. Но всё это мы ещё успеем обсудить. Бабушке и Пони я тоже сегодня ещё напишу письмо. А что вы хотите встретить меня на вокзале, очень мило с вашей стороны. Но теперь уж у меня деньги не украдут, можете не сомневаться: я их спрячу в ботинке!

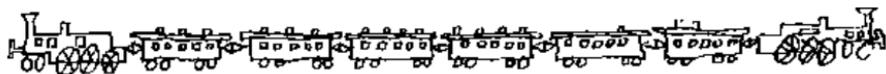
Скажи своему отцу, что я благодарю его за предложение выслать мне деньги на дорогу. Но не надо. Ведь у меня ещё с тех пор лежат семьсот марок. А на триста я купил, как мы договорились, маме электросушилку и шубу. И, знаешь, эта шуба выглядит ещё совсем как новая. Мама очень бережно носит вещи. А ещё моя мама просит узнать у твоей мамы, надо ли мне взять с собой постельное белье. И сколько полотенец? И ещё вот что: поедете ли вы тоже в бесплацкартном вагоне? А то мы окажемся не вместе. Ведь плацкартные места стоят куда дороже, хотя быстрее от этого всё равно не доедешь. Когда мы будем жить в твоём доме, ты мне подробно расскажешь про съёмки фильма о сыщиках. Надеюсь, что скоро мы его увидим на экране. Может, даже все вместе!

Сердечный привет от мамы и от меня тебе и твоим родителям, и ещё раз огромное спасибо!

Я так рад! Пароль «Эмиль».

Всегда твой

Эмиль Тышбайн.



Глава третья

ЭМИЛЬ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

Тяжелые дни и часы, если их ждёшь, приближаются с быстротой урагана, налетают как чёрные тучи, которые ветер гонит по небу.

А хорошие дни подойти не спешат.словно год—это лабиринт, в котором они заблудились и пути к нам найти не могут.

И всё же в одно прекрасное утро начинаются летние каникулы. Просыпаешься рано, как обычно, и уже готов вскочить с постели, но тут вдруг вспоминаешь: каникулы! И не надо идти в школу! Лениво поворачиваешься к стенке и снова закрываешь глаза.

Каникулы! Это звучит, как две порции мороженого со взбитыми сливками. А тут ещё летние каникулы!

Ты отрываешь голову от подушки, глядишь в окно и видишь: солнце сияет, небо голубое. Ореховое дерево перед домом не шелохнётся; оно будто стало на цыпочки, чтобы заглянуть к тебе. На душе у тебя весело и легко, и, если бы не лень, ты на радостях подпрыгнул бы до потолка.

И вдруг ты вскакиваешь как ужаленный. Ведь ты же уезжаешь! И чемодан ещё не уложен!

Босиком— не искать же тапочки! — вылетаешь в коридор и кричишь:

— Ма-а, который час?

И вот Эмиль уже идёт по перрону. Мать держит его за руку. Старшина Йешке, специально ради этого случая отпросившийся с дежурства, несёт его чемодан и пакет с бутербродами. Из деликатности он отстаёт на несколько шагов.

— Пиши мне через день! — сказала фрау Тышбайн. — Не заплывать далеко ты мне уже обещал... Но всё же я буду волноваться. Столько мальчишек вместе! Разве предугадаешь, что может случиться!

— Всё будет в порядке! — сказал Эмиль. — Ты же знаешь, если я что-нибудь обещаю, то всегда держу слово. Но вот за тебя я буду беспокоиться. Как ты проведёшь это время без меня?

— Мне ведь надо работать. А если выйдет свободная минутка, пойду погулять. По воскресеньям мы с Йешке будем уезжать за город. Конечно, если только он будет не на дежурстве. А если он будет занят, я буду чинить бельё. Несколько пододеяльников уже совсем порвались. Или напишу тебе длинное-предлинное письмо. Идёт?

— Пиши почаще, прошу тебя,— сказал Эмиль и сдвинул мамину руку.— А если что случится, ты тут же пошлешь мне телеграмму. И я сразу приеду.

— Да что может случиться?—спросила фрау Тышбайн.

— Этого нельзя знать заранее. Но если я тебе понадобится, я немедленно приеду. Поезда не будет—я пешком дойду. Я ведь уже не маленький. Ты этого не забывай. Я не хочу, чтобы ты от меня скрывала свои заботы...

Фрау Тышбайн с испугом посмотрела на Эмиля:

— Да что я от тебя скрываю?

Оба молчали и не сводили взгляда с блестящих рельсов.

— Да я это так, вообще,— сказал наконец мальчик.— Сегодня вечером, как только доедем до места, я напишу тебе открытку. Но ты её получишь, наверное, не раньше послезавтра. Кто знает, часто ли там, на побережье, вынимают почту из ящиков.

— А я тебе напишу, как только вернусь домой,— сказала мама.— Чтобы ты поскорее получил от меня весточку. Чтобы тебе не было одиноко.

Но вот показался берлинский поезд. Как только он остановился, старшина Йешке кинулся в купе, занял место у окна, бережно положил чемодан Эмиля на полку и подождал, пока мальчик не войдёт в вагон.

— Огромное спасибо,— сказал Эмиль.— Ты очень добр ко мне.

Йешке мотнул головой:

— Не о чем говорить, мой мальчик.

Потом он вытащил из кармана кошелек, вынул две пятимарковые бумажки и сунул их Эмилю в руку.

— Вот тебе немного денег на карманные расходы. Пригодятся. Желаю тебе хорошо провести время. Погода будет тёплая. Так писали в газетах. Ну, а насчёт того, что я тебе обещал на Верхнем рынке, так ты не беспокойся: своё обещание я, конечно, выполняю. Я ежедневно буду навещать твою маму. Хотя бы на часок.

Эмиль аккуратно спрятал деньги. Потом он пожал старшине руку.

— Большое спасибо, Генрих.

— Не за что, мой мальчик.

Йешке попытался продвинуть чемодан ещё глубже.

— А то, чего доброго, ещё упадёт тебе на голову при первом толчке. Ну, а теперь я пошёл.

Он вылез из вагона и стал рядом с фрау Тыпсбайн.

Она подошла к окну, у которого стоял Эмиль, и велела ещё раз передать привет бабушке, Пони и всем остальным.

— Не купайся слишком долго! И не перегревайся. А то получишь солнечный удар.

— Если получишь удар, сразу давай сдачи,— пошутил Йешке и от смущения сам засмеялся.

— Не забудь съесть бутерброды!— сказала мама.

Дежурный по станции подал сигнал. Поезд вздрогнул.

— Не разлюби меня,— сказал Эмиль, но так тихо, что мать не расслышала. Потом он был этому рад.

Поезд медленно тронулся.

— Смотри не размалёвывай памятники!— со смехом крикнул старшина Йешке.

Потом они могли уже только помахать друг другу.

На этот раз путешествие обошлось без снов и краж.

Эмиль взял с собой учебник по географии— 1-я часть, Германия— и ещё раз прочёл всё, что там написано о Любекской бухте, Мекленбургском прибрежном плато, острове Рюген и обо всём побережье. Словно готовился к экзамену.

Основательность и добросовестность стали его привычкой. (Бывают и худшие привычки.) Когда он дважды прочёл всё по учебнику, он захлопнул книгу и стал глядеть в окно, любясь мирным пейзажем, который пробегал у него перед глазами. И пока он смотрел на поля с высокими хлебами, всё прочитанное вертелось у него в голове, как жернова мельницы: меловые скалы острова Рюген, мекленбургское скотоводство, кирпичная готика, городок, где родился какой-то фельдмаршал,— всё это смешалось воедино, как в калейдоскопе, когда его крутят.

Чтобы успокоиться, Эмиль съел бутерброды. Все, до единого. Бумагу он выбросил в окошко. Она зашуршала, но в конце концов упала на тыквенную грядку возле домика путевого обходчика. Перед закрытым пламбаумом ждала телега, рядом с возницей сидел мальчик и махал поезду. Эмиль помахал ему в ответ.

Люди садились. Люди выходили. Время от времени появлялся контролёр и чиркал толстым карандашом на оборотной стороне билета.

Так что дорогой всё время что-то происходило.

И куда, куда быстрее, чем тогда, два года назад, приближался поезд к столице немецкого государства.

Так всегда бывает. Небольшая ли это прогулка или путешествие по железной дороге — во второй раз путь всегда кажется гораздо короче, чем в первый. (Кстати, это верно и для тех расстояний, которые не измерить на метры и сантиметры.)

Бабушка Эмиля и Пони вбежали в зал ожидания вокзала Фридрихштрассе.

— Не несись как угорелая, — сказала бабушка. — Я старая женщина, а не экспресс.

— Поезд прибудет через минуту, — нетерпеливо ответила Пони. — Мы могли бы быть поточнее.

Бабушка энергично покачала головой в знак протеста, и шляпка её при этом ещё больше съехала набок.

— Нельзя быть точнее точного, — заявила она. — Прийти на полчаса раньше так же не точно, как на полчаса позже.

Пони хотела было поспорить. Но тут их увидел Профессор, подбежал к ним, снял кепку и сказал:

— Добрый день, уважаемые дамы!

Он взял у Пони оба чемодана и пошёл вперёд, прокладывая дорогу в толпе.

— Добрый день, домовладелец, — ответила бабушка.

Он засмеялся и повёл своих гостей к родителям. Советник юстиции поздоровался с бабушкой и Пони и познакомил их со своей женой фрау Хаберланд.

Мать Профессора, красивая, изящная дама, была одного роста со своим сыном и рядом со своим долговязым мужем выглядела девочкой.

Пони сделала несметное количество реверансов и передала все те приветы и слова благодарности, которые её родители велели ей передать родителям Профессора. А бабушка сказала, что ещё никогда не видела моря и ужасно рада этой поездке.

Потом все замолчали и стали ждать Эмиля. Поезд замедлил ход и наконец совсем остановился. Пассажиры выходили из вагонов.

— Наверно, он опять сошёл на вокзале «Зоопарк», — волновалась Пони.

Но как раз в этот момент он вылез из вагона, стащил с площадки чемодан, огляделся, увидел всю компанию, улыбнулся и побежал к ним. Поставив чемодан, он поцеловал бабушку, протянул руку родителям Профессора и сказал Пони:

— Бог ты мой, как ты выросла!

Последним он поздоровался с Профессором. Мальчики держались натянуто. Но так всегда бывает между мальчишками, если они долго не виделись. (Впрочем, это проходит через десять минут.)

— Густав выехал сегодня утром на своей мотоциклете,— объяснил Профессор.

— А-а,— сказал Эмиль.

— Он передаёт тебе привет.

— Большое спасибо.

— А Вторник ещё вчера вечером уехал.

— Здорово,— сказал Эмиль.

— Конечно,— сказал Профессор.

Наступило тягостное молчание. Положение спас советник юстиции. Он трижды постучал своей тростью о перрон.

— Внимание! Сейчас мы все поедem на другой вокзал. Мы возьмём два такси — в одно сядут все взрослые, в другое — все дети.

— А я? — спросила Пони-Шапочка.

Все рассмеялись. Конечно, кроме Пони. Она слегка обиделась и сказала:

— Я уже не маленькая. Но ещё не большая. Так кто же я?

— Дурочка,— сказала бабушка.— В наказание поедешь с большими. Чтобы поняла, что ты ещё маленькая.

Так Пони-Шапочка поплатилась за свой язык.

Они пообедали в ресторане на вокзале. А потом заблаговременно сели в поезд, отправляющийся к морю. Поэтому они нашли, несмотря на каникулярное время, свободное купе и заняли его целиком.

Весь поезд был до отказа набит детьми, ведрами, фляжками, мячами, лопатками, апельсиновыми корками, сложенными шезлонгами, пакетиками из-под вишен, воздушными шарами, смехом и плачем, и он бодро мчался по сосновым лесам. Это был весёлый поезд,— шум вырвался из открытых окон, не нарушая царящей вокруг тишины.

Сосны слегка раскачивались от мягкого ветерка и шептались друг другу: «Начались летние каникулы».

«Жаль»,— ворчал старый бук.



Глава четвёртая

ВИЛЛА «МОРСКАЯ»

Корлсбюттель — малоизвестный курорт. Десять лет назад там даже не было железной дороги. Чтобы попасть в Корлсбюттель, надо было сойти на полустанке. И хорошо ещё, если там стояла старомодная, запряжённая чёрным мекленбургским жеребцом коляска, на которой отдыхающие могли добраться до Корлсбюттеля. Коляска тряслась по разъезженной песчаной дороге, а слева и справа тянулись леса и поляны, поросшие кустами можжевельника. Словно зелёные гномы, стояли кусты между столетними дубами и буками. Кругом ни души, лишь иногда промелькнёт косуля да поднимутся в небо голубые дымки от костров на лесных лужайках, которые жгут угольщики. Всё как в сказках братьев Гримм.

За последние десять лет многое изменилось. До Корлсбюттеля едешь теперь без пересадки, выходишь из вагона, даёшь свой чемодан носильщику, и через три минуты ты в гостинице, а через десять — в море. А прежде надо было преодолеть немалые трудности, чтобы добраться до моря. Не надо недооценивать значение трудностей, стоящих на пути к цели. В трудностях есть свой смысл.

...Каникулярный поезд встречала половина жителей Корлсбюттеля. Вся вокзальная площадь была заставлена всевозможными тележками, тачками, повозками. Ждали много гостей и ещё больше багажа.

Клотильда Зеленвеленбиндер, старая кухарка Хаберландов, стояла, прислонившись к турникету. Увидев советника юстиции, она замахала обеими руками. Он был на голову выше толпы, хлынувшей из поезда.

— Я здесь! — кричала она. — Господин советник! Господин советник!

— Не кричите так ужасно, Клотильда, — сказал он, пожимая ей руку. — Давно не виделись?

Она рассмеялась.

— Всего лишь два дня.

— Всё в порядке?

— Ещё бы! Добрый день, фрау Хаберланд. Как вы

поживаете? Счастье, что я поехала вперёд. В таком доме полно работы. Здравствуй, Тео! Ты что-то очень бледный, мой мальчик. Уж не болен ли ты? А это, верно, твой друг Эмиль? Я угадала? Здравствуй, Эмиль. Я много о тебе слышала. Постели я постелила. На ужин будут бифштексы с овощами. Мясо здесь дешевле, чем в Берлине. Ах, а это, конечно, Пони-Шапочка, кухня Эмиля. Сразу видно. Поразительное сходство. Ты привезла свой велосипед? Неужели нет?

Бабушка Эмиля заткнула себе уши.

— Остановитесь хоть на минуту! — взмолилась она. — Просту вас, хоть на минуту. Вы меня совсем заговорили... Я — бабушка Эмиля. Добрый день, дорогая.

— Нет, это сходство просто поразительно! — воскликнула Клотильда. Потом она поклонилась и представилась: — Клотильда Зеленвеленбиндер.

— Бедняжка! Какое длинное имя. Сходите к врачу, может, он вам пропишет другое, а может, предложит операцию.

— Вы мне это всерьёз советуете? — спросила Клотильда.

— Да нет, — успокоила её бабушка. — Не всерьёз, я почти никогда не говорю всерьёз — обычно игра не стоит свеч.

Потом чемоданы и сумки погрузили на тележку, и носильщик показал её по Блюхерштрассе, а Эмиль и Профессор подталкивали сзади. Взрослые и Пони-Шапочка двинулись следом.

Вдруг кто-то громко просигналил, и из боковой улицы на большой скорости выскочила мотоциклетка и тут же затормозила. Носильщик остановился и выругался, да так громко, что в соседних домах задребезжали стёкла.

— Чего раскричался? — огрызнулся мотоциклист. — Я не из пугливых!

Эмиль и Профессор выглянули из-за горы чемоданов, заорали в восторге: «Густав» — и кинулись навстречу старому другу.

От неожиданности Густав положил свою мотоциклетку прямо на мостовую, снял защитные очки и сказал:

— Только этого не хватало! Я мог бы раздавить своих лучших друзей! А мы собирались встретиться вас на вокзале.

— Человек бессилён перед судьбой, — послышалось из канавы, идущей вдоль улицы.

Густав в испуге посмотрел на мотоциклетку.

— Ой, а где же Вторник? Он только что сидел за мной, на багажнике!

Они поглядели в канаву и увидели Вторника. С ним ничего не случилось — просто он упал, когда Густав так резко затормозил.

— Каникулы хорошо начались! — сказал Вторник и расхохотался. И потом он вскочил на ноги и крикнул: — Пароль «Эмиль»!

— Пароль «Эмиль», — подхватили все четверо, продолжая путь уже вместе.

Взрослые шли далеко позади. Они вообще ничего не заметили.

— Вот он, дом Тео, — сказала Клотильда и показала рукой куда-то вперёд.

Это был прекрасный старинный дом, окружённый заросшим садом с яркими клумбами. «Вилла «Морская» — стояло на дощечке.

— Слева, как видите, большая застеклённая терраса с раздвигающимися окнами, — продолжала Клотильда. — Над ней — балкон. Для солнечных ванн. Прилегающую к нему комнату я приготовила для господина советника и его супруги. Вам это по вкусу, фрау Хаберланд?

— Мне по вкусу всё, что вы делаете, — приветливо сказала мать Профессора.

Клотильда покраснела от удовольствия.

— В соседней комнате будут жить бабушка Эмилия и Пони-Шапочка. А мальчиков мы поместим на первом этаже. В комнате рядом с террасой. В соседней комнате тоже есть диванчик. На случай гостей можно будет ещё и раскладушку поставить. Есть будем на террасе. В хорошую погоду можно, конечно, и в саду, хотя на воздухе всё съгнет быстрее. Правда, если супницу накрыть крышкой... — Вдруг она оглянулась. — А куда делись мальчики? Они ведь должны были прийти раньше нас.

— Они легли спать, — сказала бабушка. — А если вы будете говорить ещё некоторое время, они успеют выспаться и снова встанут.

Клотильда с сомнением посмотрела на бабушку:

— С вами никогда не поймёшь, что всерьёз, а что в шутку.

— Вопрос тренировки, — объяснила Пони-Шапочка. — Мой отец говорит, что бабушка всегда всех разыгрывает.

Пони открыла калитку сада и побежала к дому. Взрослые медленно двинулись за ней, объяснив носильщицу, куда отнести вещи.

Основная часть сада была расположена за домом. Там сейчас носились мальчишки, выискивая место для мотоциклетки Густава.

Профессор сидел на скамейке, болтал ногами и рассуждал вслух:

— Собственно говоря, есть две возможности. Либо мы поставим мотоциклетку в теплицу, к помидорам, либо в сарай, где инструменты.

— В теплице слишком жарко,— заявил Вторник.

Эмиль подумал и сказал:

— А в сарае, наверное, лежат ножи и всякие там пилы, стамески. Они могут легко продырявить шины.

Густав побежал к сараю, заглянул в дверь и пожал плечами:

— Там всё битком набито — и самокат не поставишь, не то что мою тяжёлую машину!

Профессор засмеялся:

— И ты это называешь тяжёлой машиной?

Густав обиделся:

— Без прав на другой не поедешь. Но мне и этой хватает. И если бы я там, на повороте, так классно не затормозил бы, от вас бы и мокрого места не осталось.

— Мы отключим отопление в теплице,— предложил Вторник.

Профессор покачал головой:

— Тогда помидоры будут зелёные.

— Думаешь, им, помидорам, не всё равно, зелёные они или красные. Помидоры — это всё мура! — воскликнул Густав.

Тут появилась Пони. Эмиль подзвал её и спросил:

— Может, ты придумаешь, куда поставить мотоциклетку?

Она огляделась по сторонам, потом показала в глубь сада:

— А это что за штука?

— Это так называемый павильон.

— А на что он? — спросила девочка.

— Понятия не имею,— ответил Профессор.

И они все побежали к павильону; Густав толкал свою мотоциклетку.

Павильон оказался застеклённым маленьким домиком, в котором стояли лакированный столик и зелёная лейка.

— Отлично! — воскликнул Профессор. — Вот вам и гараж. Лучше не придумаешь!

— Что бы вы без меня делали,— заметила Пони-Шапочка и открыла дверь. Ключ торчал в замочной скважине.

Густав втащил мотоциклетку в павильон, запер дверь, вынул ключ и сунул себе в карман.

Мальчики уже шли назад к дому. Они проголодались. Пони хотела их догнать, но Густав остановил её:

— А что ты скажешь про мою машину? Тебе нравится?

Она ещё раз подошла к павильону и сквозь стеклянную стену стала разглядывать мотоциклетку.

— Ну, что ты скажешь? — повторил свой вопрос Густав.

— Видала и лучше, — заявила она и величественно, словно королева, двинулась к дому.

Густав растерянно поглядел ей вслед. Потом кивнул своей мотоциклетке, обиженно проводил взглядом Пони и сказал самому себе:

— Это всё мура!

После ужина они посидели ещё некоторое время на террасе, любуясь садом, пестревшим цветами.

— Вкусно? — не выдержав, спросила Клотильда.

Само собой разумеется, все сошлись на том, что еда была великолепной. А когда бабушка заявила, что со дня своей серебряной свадьбы не ела такого бифштекса, Клотильда засияла от счастья.

Пока Пони убирала со стола, Эмиль написал маме открытку. Тогда и Густав решил написать домой, что благополучно прибыл и что передаёт всем привет. Они отдали открытку Вторнику, который уже торопился, чувствуя, что его заждались родители. Он обещал забежать по дороге на почту.

— Смотри не забудь их бросить в ящик! — сказал Эмиль.

Уже со всеми простившись, Вторник крикнул:

— Приходите пораньше на пляж! — и убежал.

Советник юстиции подошёл к двери террасы и посмотрел на небо.

— Солнце, правда, уже село, но всё же перед сном надо поздороваться с морем, — сказал он.

Все пошли к ольховой роще. Там уже ступцались сумерки. Сразу за рощей начинались дюны, а оттуда было видно море.

— Кто ещё ни разу не видел моря — шаг вперёд! — командовал советник юстиции.

Вперёд вышли Эмиль, Пони и бабушка.

— Идите первыми, а мы за вами, — распорядился он.

Бабушка взяла своих внуков под руку и стала подниматься на дюну. Справа от них находилась гостиница, а перед

ними простирался пляж. Куда ни глянешь — плетёные кресла, вымпелы и песочные крепости.

А там, где обрывался пляж, начиналось море! И оно нигде не кончалось. Оно лежало у их ног и тускло мерцало за полоской песка, словно жидкое серебро. А далеко-далеко, у самого горизонта, в сумерки уходил корабль. На его мачте поблёскивали огни. На небе, ещё розовом от заката, взошёл месяц. По нежным пастельным облакам уже скользили первые лучи далёких маяков. Где-то загудел пароход. Бабушка и дети застыли в немом восхищении. Они не могли произнести ни слова, и им даже казалось, что они никогда уже не обретут дар речи.

Заскрипел песок. К ним тихонько подошли Хаберланды и Густав. Густав стал рядом с Эмилем.

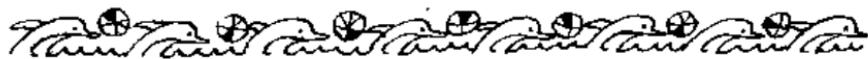
— Потрясающе, а?

Эмиль только кивнул в ответ.

Они стояли молча, не отрывая глаз от моря.

И тут бабушка тихо сказала:

— Теперь я хоть понимаю, что не зря дожила до своих лет.



Глава пятая ВСТРЕЧА У МОРЯ

Когда на следующее утро Клотильда постучала в дверь комнаты, где спали мальчики, она услышала сдавленный смех.

— Вы что, уже проснулись? — спросила она и приложила ухо к двери.

— Ещё как проснулись! — крикнул Профессор и рассмеялся.

— Идите завтракать! Все уже в саду.

Ребята гуськом выбежали через дверь террасы в сад. За домом на газоне был накрыт большой круглый стол. За ним сидели родители Профессора, Пони-Шапочка и бабушка. Советник юстиции читал газету. Но все остальные с изумлением уставились на появившуюся тройцу. Фрау Хаберланд тихонько тронула мужа за плечо. Советник рассеянно спросил:

— Что случилось?

Он поднял глаза от газеты и тоже застыл от удивления.

Профессор и Густав были в трусиках, а Эмиль — в красных плавках. Но не это привлекло всеобщее внимание.

Профессор напялил себе на голову панаму отца, а в руках держал его толстую трость. Эмиль накинул на плечи летнее пальто Пони, а на голове у него была её соломенная шляпа, украшенная красными лакированными вишенками. Кроме того, он всё пытался удержать на носу раскрытый пёстрый зонтик. Но всё же смешнее всех выглядел Густав. Он напялил себе на голову бабушкин капор и завязал его под подбородком чёрной шёлковой лентой. Завязал так туго, что едва мог открыть рот. Кроме того, он нацепил мотоциклетные очки, а в руке держал сумочку Пони и кокетливо ею помахивал. В другой руке у него был чемодан.

Мальчики с невозмутимым видом сели на свои места. Профессор звякнул ложечкой о чашку, и тогда все хором завопили:

— Добрый вечер!

— Бедняги, у них, верно, солнечный удар,— сказал советник.— И это на второй день каникул. Вот беда!

И он снова углубился в газету.

— Надо позвать врача,— сказала Пони.— Я вам не прощу, если вы запачкаете мою сумочку,— добавила она уже другим тоном.

Густав повернулся и крикнул:

— Официант! Почему нас не обслуживают? Что это за кафе!— И он поспешно развязал ленту капора, потому что чуть не задохнулся.— В следующий раз я закажу себе капор у другой модистки,— ворчал он.— Этот всё время сваливается!

Клотильда принесла из дому горячий кофе.

— Мы попались! Опять эта Клотильда! Везде эта Клотильда! Клотильда окружает нас!

Пони поглядела на бабушку и спросила:

— Что это с мальчишками? Что-нибудь серьёзное?

— Да нет, весьма распространённая болезнь,— сказала бабушка.— Она называется «переходный возраст».

Советник кивнул.

— Я знаю эту болезнь очень хорошо. Сам ею когда-то болел.

...После завтрака появился Вторник, чтобы вместе с ребятами идти купаться. Советник юстиции с женой остались дома, а все остальные, в том числе и бабушка, отправились на пляж. Ребята решили ходить босиком. Говорят, это полезно.

На вершине дюны они снова остановились. Но теперь море выглядело совсем иначе, чем вчера вечером. Оно было зеленовато-синим и сверкало на солнце, а когда налетал ветерок, так отливало золотом, что слепило глаза. Бабушка надела тёмные очки, которые ей дала Клотильда.

Весь пляж, куда ни глянь, кипит людьми. И всё те же плетёные кресла-корзинки, вымпелы и песочные крепости.

Время от времени на песок набегали волны.

Пони первая пошла по дорожке к пляжу. Эмиль и бабушка поспешили за ней. Эмиль обернулся и увидел, что ребята стоят на прежнем месте и, казалось, не думают двигаться дальше.

— Ну, чего же вы не идёте? — крикнул Эмиль.

Они осторожно сделали несколько шагов по тропинке, но тут же снова остановились. Густав прыгал на одной ножке и ругался.

Бабушка рассмеялась:

— Твои берлинцы не привыкли ходить босиком — им больно наступать на гравий.

Эмиль подбежал к ним.

Густав пробурчал, скорчив гримасу:

— И это считается полезным?

А Профессор сказал:

— Благодарю покорно. У меня ноги не железные.

— Нет уж, дудки, я больше не пойду босиком, — поклялся Вторник и попытался сделать ещё шаг. Он переступал с ноги на ногу, как петух.

— Ну, вы как хотите, а я сбегая домой за тапочками, — заявил Профессор.

Так он и сделал. Густав и Вторник побежали вместе с ним.

Эмиль вернулся к бабушке. Она сидела на скамейке и глядела на море. У причала как раз стоял маленький белый пароходик. Эмиль искал глазами Пони. Она уже ушла далеко вперёд.

Бабушка сдвинула тёмные очки на изрезанный морщинами лоб.

— Наконец-то мы хоть на минуту оказались вдвоём. Как тебе живётся, мой мальчик? Как мама?

— Спасибо, спасибо. Всё хорошо.

Бабушка покачала головой.

— Нельзя сказать, чтобы ты был очень разговорчив. Расскажи-ка поподробнее. Я вас слушаю, молодой человек!

Эмиль уставился на море.

— Бабушка, да ты же всё знаешь из наших писем. Мама много работает. Но без работы было бы скучно. Ну, а я... я по-прежнему первый ученик в классе.

— Так, так, — проговорила бабушка. — Так, так. Это звучит очень бодро. — Она ласково потрясла его за плечи. — Давай выкладывай всё, как есть, негодник! Что-то не в порядке. Что-то не в порядке! Эмиль, я знаю тебя как свои пять пальцев!

— Что может быть не в порядке, бабушка? Всё отлично. Поверь!

Она встала и сказала:

— Это ты ещё кому-нибудь рассказывай. Но не своей бабушке.

Наконец они всё же добрались до пляжа.

Бабушка села прямо на песок, сняла туфли и чулки и подставила ноги солнцу. А ребята взяли за руки, побежали

и с вошлем кинулись в волны. При этом они окатили водой толстую женщину, сидевшую у самого берега, и она долго ругалась им вслед. Бабушка подобрала юбку, вошла по щиколотку в воду и вежливо спросила её:

— Скажите, а вы были когда-нибудь молодой?

— Ещё бы!

— Ну и вот,— сказала бабушка.— Ну и вот.

И, ничего больше не разъяняя, она снова села на горячий песок и с радостью стала смотреть на прыгающих в волнах детей. Виднелись одни их головы, да и то не всё время.

Густав плавал быстрее всех. Он первый взобрался на плот, стоящий на якоре в ста метрах от берега, чтобы пловцы могли отдохнуть. Пони и Эмиль приплыли одновременно и помогли друг другу вылезти из воды. Вторник и Профессор отстали.

— Как это у вас получается? — спросил Вторник, когда он уже сидел рядом с ребятами.— Почему вы плаваете быстрее, чем Тео и я?

Профессор рассмеялся:

— Ты не огорчайся. Мы зато головой работаем.

— Вот голова вам и мешает,— объяснил Густав.— Вы её слишком высовываете из воды. Смотрите, как надо!

И они все поплыли назад. Густав плыл кролем, а остальные пытались ему подражать. При этом Профессор налетел на какого-то господина, который лежал на спине.

— Где у тебя только глаза! — крикнул ему пострадавший в раздражении.

— Под водой,— объяснил мальчик и неуклюже поплыл за друзьями.

Они добрались до мелкого места и остановились перед гигантским резиновым тубиком зубной пасты (это была, конечно, реклама). Все пытались на него взобраться, но стоило оказаться наверху, как тубик поворачивался, и ловкач плюхался в воду. Крик там стоял несусветный. Не вылезая из воды, ребята рассматривали пляж. Их внимание привлекли брусья, на которых какой-то человек блистательно делал сложнейшие упражнения.

— Вот это да! — воскликнул Густав.— Даже я так не умею.

Затем место гимнаста заняли два маленьких мальчика. Они подпрыгнули, ухватились за брусья, раскачались и повторили точь-в-точь все труднейшие упражнения, которые перед тем делал гимнаст. Когда они под конец, повиснув на ногах, двойным сальто спрыгнули на песок и изящно приземлились, весь пляж им заплодировал.

— С ума сойти! — восхитился Густав. — В жизни не видел ничего подобного! Да ещё такие шпингалеты!

Мальчик, стоящий рядом с ним, сказал:

— Да ведь это «Три-Байрона-три!». Акробаты. Отец с близнецами. Вечером они выступают в гостинице.

— Это необходимо посмотреть, — сказала Пони.

— Представление начинается в восемь вечера, — объяснил мальчик. — Остальные номера тоже мирового класса. Я вам советую пойти.

— А места будут? — спросил Вторник.

— Я могу вам оставить столик, — сказал мальчик.

— Ты тоже акробат? — спросил Эмиль.

Мальчик покачал головой:

— Нет, хотя я тоже неплохой гимнаст. Я — ученик официанта, работаю в здешней гостинице.

И вдруг чужой мальчик добавил:

— Густав вырос с тех пор, как я его видел, но вообще-то он совсем не изменился.

У ребят глаза на лоб полезли от удивления.

— Откуда ты меня знаешь? — спросил обомлевший Густав.

— Да я вас всех знаю, — сказал незнакомый мальчик. — А Густав даже носил мой костюм.

У Густава просто челюсть отвисла.

— Что за чушь! — крикнул он. — В жизни я не носил чужого костюма!

— Нет, носил, — не сдавался мальчик.

Ребята не знали, что и подумать.

— Как тебя зовут? — спросила Пони.

— Ганс Шмаух.

— Не имею представления, — сказал Густав. — Никаких Шмаухов я не знаю.

— Ты и моего отца знаешь. И Эмиль его знает.

— Час от часу не легче, — сказал Эмиль.

Густав не вытерпел, подлетел к загадочному мальчишке, схватил его за шиворот и крикнул:

— Ну-ка выкладывай всё начистоту, а то я тебя так долго буду кунать в воду, что ты никогда уже не станешь официантом.

Ганс Шмаух рассмеялся:

— Я был прежде лифтером в Берлине в гостинице «Крейд» на площади Ноллендорф. Пароль «Эмиль»!

Тут началось нечто невообразимое. Они плясали, как обезумевшие индейцы, вокруг Ганса Шмауха, а брызги солё-

ной воды разлетались фонтаном. И они так трясли Гансу руку, что чуть её не оторвали.

— Нет, подумать только, вот так встреча! Здорово! — воскликнул Эмиль. — Твой отец был тогда так добр ко мне! Помнишь, как мы с Густавом ночевали у вас в дежурке?

— Ещё бы! — подтвердил Ганс. — Это была мировая история, верно? Я буду помнить её всю жизнь, даже если стану владельцем гостиницы. Кстати, мы сможем вместе покататься на паруснике, когда у меня будет время. Мой дядя живёт здесь, в Корлсбюттеле. У него большой торговый пароход.

— Разве торговый пароход — парусник? — спросил Вторник.

— Да нет, конечно, — сказал Ганс. — Но, кроме того, у дяди есть прекрасная парусная лодка. И сам он мировой дядька!

Ребята вместе выбежали на берег и познакомили Шмауха с бабушкой. Она порадовалась вместе с ними. Но только после того, как все сухо-насухо вытерлись.

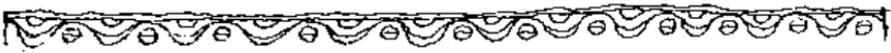
Густав, весело поглядывая на Ганса и энергично растирая себя полотенцем, сказал:

— Одну вещь я всё же не в силах понять.

— Что именно? — спросил Ганс Шмаух, поднимая глаза на здоровяка Густава.

Густав недоумевающе покачал головой и сказал:

— Не понимаю, как мне тогда удалось влезть в твой костюм.



Глава шестая

ГУСТАВ И ФИЗИКА

Вереницей бежали счастливые дни. И солнце пекло, словно оно глядело на море сквозь лупу. Профессор и его гости стали сперва красные, как раки, а потом чёрные, как мулаты. Только Пони-Шапочка всё оставалась красной и шелушилась, как луковица. Бабушка мазала ей спину вазелином, ореховым маслом, ланолином и ещё каким-то специальным кремом для загара. Ничего не помогало.

Рано утром, когда бабушка будила Пони, приговаривая: «Вставай, графиня. Солнышко уже светит!» — Пони чуть не плакала от досады. «Почему всё нет дождя?» — спрашивала она.

Но мальчишки были в восторге от хорошей погоды. Почти весь день они проводили в воде или на пляже. Либо ходили в гавань и любовались яхтой капитана Шмауха «Кунигунда IV». Они радовались, что скоро у их друга будет выходной день и они все вместе выйдут в море.

Иногда Густав уезжал на своей мотоциклетке в лес, а кто-нибудь из ребят садился к нему на багажник. Он ездил взад-вперёд столько раз, сколько нужно, чтобы перевезти всех.

Однажды даже бабушка поехала с ним до домика лесника. Слезая, она сказала:

— Феноменально! Я упустила своё призвание. Мне надо было стать вовсе не бабушкой, а мотогонщицей.

Они писали домой письма. И получали письма. Время от времени советник юстиции всех фотографировал, а когда снимки были готовы, они посылали их своим родителям.

В лес они ходили и пешком, причём всякий раз приносили огромные букеты полевых цветов. Эмиль знал почти все растения, называл их ребятам и очень интересно про них рассказывал. Как-то раз, случайно это услышав, советник юстиции тут же поехал в Ростов и купил в книжном магазине учебник по ботанике и атлас растений.

Но именно с этого дня интерес к цветам, травам и кустам почему-то у всех пропал. У всех, кроме Эмиля.

— Сидеть над учебником летом — нет уж, приветик! — заявил Густав.

Однажды бабушка получила письмо из Нойштадта. Длинное письмо. Она перечла его дважды, потом сунула в сумочку и сказала про себя: «Вон оно что. Вон оно что».

Но Эмилю она ничего не сказала. Во всяком случае, пока.

Они сидели на террасе и обедали, когда советник объявил:

— Если присутствующие не возражают, я предлагаю пойти всем сегодня вечером в гостиницу посмотреть эстрадное представление.

Мальчишки так разволновались при этом сообщении, что даже сладкое им уже не полезло в горло, хотя на сладкое было винное желе — коронное блюдо Клотильды.

Но всё же они кое-как справились со сладким и бегом помчались в гостиницу. Пока они, стоя перед гостиницей, решали, кому из них войти и поговорить с Гансом, появилась Пони-Шапочка.

— А ты как сюда попала? — спросил Густав.

— На своих двоих! — объяснила Пони. — Я хочу заказать на вечер столик. Может, у вас есть возражения? Возражений ни у кого не оказалось.

Пони пошла в ресторан и нашла там Ганса Шмауха. Он как раз нес целую гору тарелок, ловко ею балансируя, хотя паркет был натёрт.

— Минуточку, Пони. Я сейчас.

Она подождала.

Он тут же вернулся и спросил:

— Чем могу служить?

— Я хотела бы заказать столик на вечер.

— На сколько человек?

— Подожди, надо подсчитать. Советник, его жена, бабушка, я, Клотильда и трое мальчишек — всего...

— Восемь человек, — подхватил Ганс. — Будет сделано. Постараюсь поближе к сцене. Может, мой дядя-капитан тоже сегодня придёт. Вам надо с ним познакомиться.

Пони подала Гансу Шмауху руку и сказала:

— Значит, столик на девять человек.

Он поклонился.

После ужина все, кто жил в вилле «Морская», оделись понаряднее и торжественно двинулись к гостинице. Столик, который им оставил Ганс Шмаух, стоял в первом ряду, перед самой сценой. Советник заказал для взрослых вино, а для детей — апельсиновый сок.

Представление ещё не началось, оркестр играл популярную музыку, а зал быстро заполнялся курортниками. Вскоре уже все столики оказались занятыми.

Советник юстиции похлопал Густава по плечу:

— С каких это пор ты стал таким прилежным, что даже на эстрадный концерт идёшь с книгой?

Густав покраснел.

— Это английский словарь,— объяснил он.

— Ты что, собираешься зубрить слова?

Густав покачал головой:

— Во время каникул? За кого вы меня принимаете!

Пони рассмеялась:

— Наверное, он хочет поговорить с близнецами-акробатами.

— Ну да,— сказал Густав.— А их фамилия Байрон. Значит, они англичане. Если я не пойму, что они мне скажут, я посмотрю в словарь.

— Интересно послушать ваш разговор,— сказала бабушка.

На ней было платье из светлой тафты, и выглядела она очень торжественно.

Тут в зал вошёл большой, плотный человек в морской фуражке и синем костюме. Он остановился в дверях и огляделся. К нему тут же подскочил Ганс, шепнул что-то и подвёл его к столу Хаберландов:

— Разрешите вам представить моего дядю—капитан Шмаух.

И Ганс убежал.

Дети встали. Советник тоже. Он поздоровался с капитаном и попросил его сесть за их столик.

Капитан подал всем руку, а потом взмолился:

— Давайте не так торжественно, а то я не выдержу.

Тогда все снова сели. Капитан заказал себе грог с ромом и сказал:

— Столько детворы за столом—вот это по мне! Расскажите—ка что-нибудь про школу. Ведь прошло уже сорок лет с тех пор, как меня выгнали из гимназии. Хорошее было времечко.

Ребята сивились вспомнить что-нибудь, что могло бы заинтересовать капитана, но им ничего не приходило в голову. Он выжидающе переводил взгляд с одного на другого, потом ударил себя по колену и воскликнул:

— Не могу поверить! Выходит, мы были из другого теста. У нас все откальвали такие номера, что только держись!

— Ах, вас вот что интересует! — воскликнул Густав.

— А ты думал, я хочу, чтобы вы мне декламировали «Колокол» Шиллера?

— У меня за неделю до каникул вышла такая история, умереть можно, — начал Густав. — Сперва меня чуть было не выгнали, но потом всё как-то уладилось... Так вот как было дело. Урок физики был в тот день после большой перемены. Мехнерт — есть у нас такой зубрила-отличник — побежал к директору и наобидничал на одного парня. Вовсе не на меня, кстати. Но я в классе что-то вроде высшей инстанции. Когда что-нибудь такое случается, мне нельзя сидеть сложа руки.

Но наш отличник Мехнерт, конечно, струсил и во время перемены куда-то смылся. Явился он только, когда мы все уже сидели в кабинете физики, вошёл в класс вместе с Попрыгунчиком, то есть, я хочу сказать, с господином Каулем, учителем физики. Нам собирались показать что-то про электрические искры — не помню уж точно, что именно. Кауль возился с приборами, а потом велел дежурному задёрнуть чёрные занавески, чтобы мы лучше разглядели искры. «Старик, — шепнул мне тут Керте, мой сосед по парте, — это редкий случай. Представляешь, ты в темноте подкрадываешься к Мехнерту, даёшь ему в ухо и, прежде чем Попрыгунчик, то есть господин Кауль, успеет зажечь свет, снова сидишь как ни в чём не бывало на своём месте».

Предложение показалось мне потрясающим. Такому гаду, как Мехнерт, полезно дать разок при всех. А из-за темноты будет неясно, кто ударил, — получится, будто сама справедливость вершит свой суд. Представляете! Сверхъестественное явление на уроке физики — это нам здорово подвезло!

Густав обвёл глазами сидевших за столом. Напряжение, судя по их лицам, нарастало.

— Так вот, — продолжил он. — Темно было, хоть глаз выколи. Попрыгунчик, то есть господин Кауль, сказал, что сейчас всё начнётся, и велел нам обратить внимание на искры. И пока все обращали внимание, я тихонько прокрался вперёд и ударил что было силы. Ошибки быть не могло — Мехнерт с первого класса сидит в первом ряду на первой парте. Я так ему врезал, что чуть себе руку не сломал.

Капитан Шмаух хлопнул себя по коленке.

— Просто великолепно! Двинул ему разок и сел обратно на своё место как ни в чём не бывало.

Густав печально покачал головой:

— Нет, я не сел на место. От страха я стоял как вкопанный, не в силах пошевелинуться.

— От страха? — удивилась Клотильда. — Почему от страха?

— Оказалось, что Мехнерт лысый.

— Лысый? — переспросил Эмиль.

— Ну да, мой кулак скользнул по лысине, представляешь? Потому что это был вовсе не Мехнерт, а Попрыгунчик, то есть господин Кауль.

Даже официант, принёсший капитану прог, не уходил, увлечённый рассказом.

— А получилось вот что... — продолжал Густав. — Кауль сел в темноте на парту рядом с Мехнертом. Он тоже хотел поглядеть на искры. Это можно понять. Учителю физики это, должно быть, очень интересно. Но не мог же я догадаться, что в темноте он сядет на место Мехнерта!

Капитан Шмаух смеялся так громко, что оркестра уже не было слышно, хотя играли как раз марш.

Клотильда даже побледнела.

— Ужасно! — шептала она. — Прямо мороз идёт по коже.

Советник юстиции повернулся к рассказчику:

— Ну, а что было дальше?

Густав почесал за ухом.

— В общем-то, всё это мур, — сказал он. — Но всё же чувствовал я себя не лучшим образом. Тут, конечно, сразу зажгли свет. Попрыгунчик сидел на месте Мехнерта и держался за лысину. Голова у него явно раскалывалась, и это было неудивительно. Я ведь бил не за страх, а за совесть. Класс застыл, будто громом поражённый. А электрические искры покорно сверкали, словно ничего и не произошло. Но никто не обращал на них никакого внимания.

«Кто это сделал?» — спросил Попрыгунчик, то есть господин Кауль, после долгого молчания.

«Я, — ответил я. — Простите меня, пожалуйста, господин учитель. Я ошибся».

«Да, ошибся, можешь в этом не сомневаться», — буркнул он и бросился посреди урока опрометью из кабинета. При этом он обеими руками обхватил голову, словно боялся, что она у него отвалится.

Густав помолчал, потом продолжил рассказ:

— Мне всё стало вдруг как-то до лампочки. Ребята настолько обалдели, что никто не шелохнулся, а я кинулся на Мехнерта и стал его лупить. Я так его отделал, что он долго помнить будет, три дня потом в школу не ходил... Только я от него отвалил, как меня потащили к директору. Попрыгунчик сидел на диване и всё прикладывал к голове смоченный в

холодной воде платок. «Я только что узнал,— начал директор,— что ты, воспользовавшись темнотой, коварно напал на нашего старого, заслуженного преподавателя. Само собой разумеется, я выгоню тебя из школы, но всё же я попрошу тебя объяснить нам причины твоего гнусного поведения».

Я просто зашёлся от этих слов. Никто никогда мне не говорил, что я коварный. И меня прорвало. Я сказал им, что уж если кто коварный, так это их отличник Мехнерт. И удар по затылку тоже предназначался Мехнерту за то, что он во время большой перемены донёс на своего товарища. И что они могут пойти в физический кабинет и полюбоваться останками своего любимчика. Если им такие типы больше по душе, чем я, то пусть... Ну, и так далее.

Капитан Шмаух глядел на разгневанного Густава с любовью.

— Ну, а потом что было?

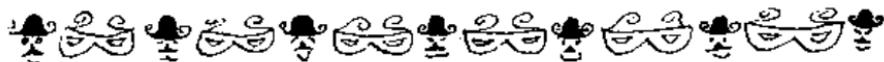
— Потом произошло нечто, за что я до самой смерти буду благодарен господину Каулю.

— Что же он сделал? — спросил Эмиль.

— Он рассмеялся,— сказал Густав.— Он так расхохотался, что примочка упала у него с затылка!

Капитан Шмаух снова хлопнул себя по коленке. Потом он обернулся к официанту, который всё ещё стоял и слушал, и скомандовал:

— Ещё один грок!



Глава седьмая

ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ В КОРЛСБЮТТЕЛЕ

Оркестр играл туш. На сцену вышел шикарно одетый, пожалуй, даже чересчур расфранчённый господин и от имени дирекции гостиницы приветствовал столь многочисленную публику. Он обещал, что все присутствующие прекрасно проведут вечер, и отпустил несколько шуточек, над которыми, кроме него, никто не смеялся. Это, видно, его разозлило, и он поспешно объявил первый номер: выступает Фердинанд Бадштюбнер, современный Карузо, с лютней.

Карузо — Бадштюбнер оказался толстым седовласым господином. Лютню он держал в руке, а на голове у него была студенческая фуражка. Перебирая струны, он пропел несколько песенок, в которых речь шла о студентах Гейдельберга, о любимой, о красивых хозяйских дочках, о вине и о пивных кружках. Голос у него был не первой свежести. Кончив, он помахал фуражкой. И занавес упал.

— В те годы, я вижу, времени на учёбу совсем не оставалось, да? — спросил Профессор своего отца.

— В песнях есть преувеличение, — объяснил советник. — Если бы мы не учились, мы бы ничего не знали.

У Клотильды тоже возник вопрос:

— Почему этот пожилой господин, который только что пел, всё ещё студент? А если он студент, то почему не учится, а поёт нам под лютню песни?

Все переглянулись. Наконец бабушка ответила:

— Он, наверное, заочник.

— А, тогда другое дело, — сказала Клотильда.

Все засмеялись, но она так и не поняла, почему.

— Я получу аттестат и не буду дальше учиться, — сказал Густав. — Я буду либо автогонщиком, либо лётчиком. — Обернувшись к Эмилю, он спросил: — А ты?

Эмиль на мгновение закрыл глаза. Он подумал о старшине и о том разговоре, который у них был на этот счёт.

— Нет, — ответил он. — Я тоже не буду дальше учиться. Я хочу как можно скорее начать зарабатывать деньги и стать самостоятельным.

Бабушка искоса посмотрела на него, но ничего не сказала. Следующим номером программы был акробатический танец. Артистка с такой быстротой вертелась вокруг собственной оси, что казалось, глаза у неё где-то на спине, а затылок на лице.

Капитан так громко хлопал своими гигантскими ладонями, что можно было подумать, лопаются надутые воздухом кульки. Наклонившись к Клотильде, он спросил её:

— А вы умеете танцевать, как она?

Но он явно обратился не по адресу.

— Я бы постеснялась так изгибаться перед чужими людьми,— ответила Клотильда с достоинством.

— Ну, раз ты стесняешься перед чужими, то потанцуй для нас дома,— сказал Профессор.

И мальчишки прыснули, представив себе, как Клотильда будет танцевать перед ними на террасе виллы «Морская».

Снова заиграл оркестр, на этот раз танго. Начались танцы. Капитан Шмаух пригласил Клотильду, советник юстиции — свою жену, а бабушка качала в такт музыке головой и была в прекрасном настроении.

Вдруг какой-то молодой человек подошёл к Пони, поклонился и сказал:

— Фройляйн, разрешите вас пригласить?

Эмиль расхохотался:

— Да эта фройляйн и танцевать-то не умеет!

Но Пони встала.

— Да что ты в этом понимаешь! Сосунок! — бросила Пони и пошла танцевать.

И танцевала она так, словно всю жизнь только этим и занималась.

— Нет, вы только поглядите на нашу фройляйн! — воскликнул Профессор. — Где это она так насобачилась?

— Мы, женщины,— объяснила бабушка,— умеем танцевать с рождения.

Густав сокрушённо покачал головой:

— Ну и девчонка! Не старше меня, а изображает из себя барышню!

Следующий танец был вальс.

— Вот это для нас, молодёжи,— сказал капитан, приглашая Пони, и они в таком бешеном вихре закружились по залу, что никто больше не решался танцевать.

Время от времени капитан подбрасывал Пони высоко в воздух — это получалось у них великолепно, не хуже, чем у настоящих артистов. Все аплодировали, даже официанты.

Капитан заставил Пони поклониться. И сам тоже поклонился.

Потом снова вышел на сцену расфранчённый господин... Он сказал, что с особым удовольствием объявляет выступление следующего артиста, потому что повсюду, даже в самых шикарных кабаре страны, его встречают бурными аплодисментами.

— Интересно получается,— изумился капитан.— Если у него везде такой огромный успех, чего же он забрался в такую дыру, как наш Корлсбюттель?

Все стали ждать, пока снова поднимется занавес. А когда занавес наконец поднялся и знаменитый артист показался на сцене, Эмиль сказал громко, чуть ли не на весь зал:

— Во даёт!

Потому что знаменитым артистом, которого повсюду встречают чуть ли не овациями, оказался не кто иной, как сам конферансье. Он только успел надеть на голову цилиндр, сунуть в глаз монокль и взять в руку тросточку.

— А вот и я,— доверительно сообщил он публике.— Начнём с серьёзного жанра. Я спою вам печальную песню «Такова жизнь»...

Когда певец замолк и поклонился, бабушка сказала:

— Если этот тип хоть раз пел в большом кабаре, то можете меня называть герцогиней Лихтенфельдской.

Затем знаменитый артист спел две весёлые песенки, но они оказались не менее печальными. А потом он объявил антракт на десять минут.

После антракта снова выступала исполнительница акробатических танцев. Потом манипулятор показывал невероятные карточные фокусы. И, наконец, гвоздь программы — «Три-Байрона-три!».

То, что делал мистер Байрон со своими близнецами, было просто уму непостижимо. Зрители сидели не шелохнувшись. А когда мистер Байрон лёг спиной на скамейку и поднял вверх руки, у всех дух захватило, потому что Джекки Байрон, тот, что побольше, сделал на правой руке отца стойку на голове, а Макки — на левой. Сперва они ещё страховались, держа отца за руку, а потом разом вытянули руки по швам. Они стояли вверх ногами, уперев головы в ладони мистера Байрона, как перевёрнутые оловянные солдатки. И вдруг — гоп! — ловко спрыгнули на пол и улыбнулись как ни в чём не бывало.

Затем мистер Байрон, по-прежнему лёжа на скамейке, подтянул колени к животу и поднял вверх ноги. Макки лёг на

спину попере́к отцовских ступней, и мистер Байрон стал тогда двигать ногами, как велосипедист, а Макки завертелся, как веретено. Вдруг он взлетел в воздух, перекувырнулся и снова точно прии́ёл на отцовские ступни, потом опять взлетел вверх, сделал сальто и упал... Нет, не упал, а встал ногами на ступни мистера Байрона и ловко удержал равновесие.

Клотильда сказала дрожащим голосом:

— Я не могу больше на это смотреть!

Но Густав, Эмиль и Профессор глаз не могли оторвать от сцены.

Потом Джекки Байрон, тот, что побольше, лёг на скамью, поднял обе руки, и вдруг — ап! — этот большой, грузный атлет сделал стойку на кистях, уперевшись в ладони своего сына.

— Не понимаю, как у Джекки не ломаются руки, — шепнул Эмиль.

Густав кивнул.

— Да, это противоречит всем законам физики!

Когда три Байрона закончили свой номер, началась настоящая овация. Занавес поднимали двенадцать раз.

Густав схватил английский словарь и вскочил с места, исполненный решимости.

— Пошли! — крикнул он и побежал.

Профессор и Эмиль, едва поспевая, ринулись за ним.

Они ждали близнецов в коридоре за стеной.

— Hallo, boys!¹ — крикнул Профессор.

Близнецы обернулись.

— A moment, please²... — попросил Густав.

Макки — тот, что поменьше, — бросился бежать со всех ног и исчез в какой-то задней комнате.

Джекки стоял и смотрел на ребят.

— You are wonderful, — сказал Эмиль. — Very nice, indeed. My compliments, Byron³.

Джекки подошёл к ребятам поближе. Он был мокрый от пота, и вид у него был очень усталый.

Густав листал словарь.

— Hallo, dear, — проговорил он, запинаясь. — We have seen you. It's the greatest impression in all my life, by Jove! Do you understand?⁴

¹ Привет, мальчики (англ.).

² Минутку, пожалуйста (англ.).

³ Вы великолепны! Просто прекрасно! Я вас поздравляю, Байрон (англ.).

⁴ Послушай, дорогой. Мы видели. Это самое большое впечатление за всю мою жизнь. Клянусь! Вы поняли? (англ.)

Джекки долго глядел на мальчишек. Потом он тихо сказал:

— Не валяйте дурака! Я ни слова не понимаю по-английски. Привет, господа!

У всех троих вытянулись лица.

Густав захлопнул словарь.

— У меня сейчас будет удар. Я думал, ты англичанин.

— Да что ты! Это просто наш псевдоним, чтобы выступать. Иностранные имена нравятся публике. А теперь отгадайте, как меня зовут на самом деле.

— Ты уж лучше сам скажи, а то гадать можно долго,— сказал Профессор.

— Вы будете смеяться! Да ладно! Меня зовут Паульхен Папульке.

— Паульхен Папульке! — изумлённо повторил Густав.— Имя, как у гнома. Меня зовут просто Густав. Но всё это мур! Мы хотели тебе сказать, что мы в восторге. Старик, это просто высший класс!

Джекки обрадовался похвале.

— Очень приятно,— сказал он.— Вы завтра придёте на пляж?

Они кивнули.

— Значит, до завтра! — крикнул он и исчез в той комнате, в которой уже скрылся его брат.

Трое друзей постояли ещё в коридоре, поглядели друг на друга и в конце концов рассмеялись.

Густав с презрением засунул словарь в карман, обнял Эмиля и Профессора и сказал:

— Поделом нам! И зачем только люди учат иностранные языки!

4



Глава восьмая

ПОЯВЛЯЕТСЯ ТРЕТИЙ БЛИЗНЕЦ

На следующий день дождь лил как из ведра. Ребята не выходили из дому, писали письма и открытки с видами, играли в шахматы и глядели всё время в окно. Им казалось, что они как лягушки в банке. К счастью, в гости пришёл Вторник. Он взял отцовский зонтик и стоял теперь в саду, словно гриб.

Едва он вошёл в дом, мальчишки стали ему наперебой рассказывать про трёх Байронов и их акробатические трюки. Рассказали ему и о том, что Пони-Шапочку вчера называли «фройляйн».

— Да, да,— сказал Вторник,— мы стареем.

И так как Пони была на кухне, где Клотильда учила её готовить, они ворвались туда с криком:

— Фройляйн, ваш партнёр стоит у дверей!

Пони не удержалась и посмотрела в окно.

Мальчишки расхохотались и побежали назад на террасу.

Профессор от нечего делать взял со стола отцовскую книгу и стал её перелистывать.

— Послушайте!— сказал он вдруг и громко прочёл:— «Нормальные, здоровые дети приходят в мир не с пустыми руками. Природа даёт каждому всё, что ему повседневно необходимо. Развивать эти дары — наш долг, и часто всё это лучше развивается само по себе».— Профессор хлопнул книгу и поглядел на друзей.— Вот видите, что сказал великий Гёте.

— Что мы видим?— спросил Густав.— Все мы нормальные, здоровые дети. Ну, а дальше что?

Профессор ткнул указательным пальцем в книгу:

— Гёте хочет сказать, что мы от природы обладаем уже всем, что необходимо для жизни. И всё, что в нас заложено, считает Гёте, может развиваться само по себе. Никто не

должен нас опекать...—Профессор посмотрел на вошедшего отца.—Ты знаешь, что я не тебя имею в виду,—сказал он,—но многие родители совершенно неверно обращаются с детьми.

—Чертовски трудно воспитывать детей,—сказал советник,—чтобы заниматься ими не слишком много и не слишком мало. И с каждым ведь всё по-разному получается. У одного легко развиваются его природные качества, у другого их надо вытаскивать клещами, иначе они не выползут на свет божий.—Советник сел.—Вы всё это поймёте потом, когда сами станете отцами.

—Насчёт «саморазвития» — это мне по душе,—заявил Густав.

—Уважаемые господа,—сказал советник с улыбкой,—не хотите ли вы несколько дней развиваться самостоятельно, без всякой опеки? Пожалуйста, я вам это устрою. Я проходил сегодня мимо бюро путешествий и прочёл объявление, что послезавтра отправляется пароход в Копенгаген. Поездка эта рассчитана на несколько дней. А я давно уже не был в Дании. Короче, я предлагаю всем взрослым и Пони-Шапочке тоже отправиться послезавтра на этом пароходе в Данию, в Копенгаген.

—А мы? —спросил Профессор.

—Вы, мальчики, останетесь одни в Корлсбюттеле. Обедать можете в столовой. Деньги я вам дам, если вы не усмотрите в этом покушения на самостоятельность вашего развития.

—Мы уж не так мелочны,—сказал Густав.—Деньги мы возьмём.

—А обо всём остальном вы сами позаботитесь,—сказал советник.—У вас будет полная возможность развиваться без помех, по своему желанию. Вы сами будете за себя отвечать и увидите, удовольствие это или обуза. Договорились?

Мальчики были в восторге.

Профессор подошёл к советнику и гордо спросил у ребят:

—Видели ли вы лучшего отца?

—Нет! —заорали все в один голос.

Вторник поднял руку, как в классе:

— Господин советник, а моих родителей вы с собой не прихватите?

После обеда по-прежнему лил дождь. Когда все пили кофе, появился капитан Шмаух. Клотильде пришлось тут же сделать ему грог. Он сел в кресло, набил свою трубку, выпустил синее облако дыма и сказал:

— Здесь очень уютно. С тех пор как я посидел вчера вечером с вами, мне в моём доме стало как-то одиноко.

— Вам надо было жениться, когда вы были помоложе,— заметила бабушка.

— Нет,— сказал капитан.— Муж всегда в море, а жена всегда одна дома—это тоже никуда не годится. Сегодня вечером я снова уйду на несколько дней в Швецию. Повезу лес. Так я живу уже десятки лет. Всегда один! Если бы хоть Ганс остался со мной в Корлсбюттеле. Но и это невозможно. Когда кончится его срок учения, он поедет в Англию и во Францию. Хороший официант должен поработать за границей, он не может из-за своего старого дяди навсегда здесь поселиться. Вот так-то. И с каждым годом становишься всё старше, пока в один прекрасный день...

Он расчувствовался не на шутку. Поэтому ему пришлось немедленно сварить ещё один грог.

А потом капитану Шмауху уже было пора отправляться на борт своего парохода. Он надел брезентовый дождевик и зашагал под ливнем. В сторону Швеции.

После ужина мальчишки снова сидели одни на террасе. Вторник тоже был с ними. Родители отпустили его до девяти часов. Дождь барабанил по крыше. Ребята скучали.

Вдруг кто-то тихо постучал, и они увидели прижавшееся к стеклу лицо.

Все четверо вскочили. Профессор подбежал к двери и распахнул её:

— Кто там?

На пороге стояла закутанная в плащ фигура. Ребята не сразу поняли, что это Ганс Шмаух.

— Извините, если я вам помешал,— сказал он торопливо, входя на террасу,— но мне нужен ваш совет.— Он снял с себя мокрый плащ.— Представляете, что случилось. Около восьми

часов мистер Байрон велел мне принести стакан чая к нему в номер. Принёс я ему, значит, этот чай, а когда хотел уйти, он меня остановил. Сказал, что хочет у меня спросить одну вещь, но никто не должен об этом знать. Я кивнул. А что я мог ещё сделать? Тогда он сказал: «Ты отличный гимнаст. Я видел, как ты работаешь на брусках. У тебя есть талант. Если я буду тебя учить, ты станешь великолепным акробатом. А главное, ты такой маленький и лёгкий! Разреши, я тебя подниму!» Он поднял меня одной рукой и так стал крутить, что у меня потемнело в глазах. Потом он меня снова поставил на пол. «Чай стынет, мистер Байрон», — сказал я и хотел выйти. Но он преградил мне дорогу и спросил, охота ли мне стать цирковым артистом и выступать с ним. «Но ведь у вас же есть ваши близнецы, — сказал я. — Зачем вам нужен третий?» — «Мне не нужен третий, мне нужен второй». И знаете, что он ещё сказал?..

Мальчишки взволнованно слушали.

— То, что он мне ещё сказал, звучало так смешно, — продолжал свой рассказ Ганс. — И вместе с тем так жутко. Он сказал: «Джекки становится слишком тяжёлым».

— Слишком тяжёлым? — переспросил Вторник.

— Ну да. Джекки растёт. И чем больше он становится, тем больше он весит. И оттого, что он всё больше весит, его отец уже не в силах делать с ним некоторые упражнения, или это становится слишком опасно. Если Джекки и дальше будет так расти, мистер Байрон вообще больше не сможет с ним работать.

Мальчишки стояли и молчали.

— Вот почему мистер Байрон предлагает мне уехать с ним и Макки. Ночью, тайком. Чтобы Джекки ничего не подозревал. Я для него очень удачная замена, сказал мне мистер Байрон, такого не скоро найдёшь.

Эмиль схватился за голову:

— Бог ты мой, разве может человек бросить своего сына где-то на побережье только потому, что он быстро растёт! Это же чистое безумие! А что Джекки будет делать?

— Бедный Паульхен! — прошептал Густав.

Профессор нервно ходил взад-вперёд по террасе.

— Хорошенькая история! Этого мы не допустим. Разжа-

ловать одного из близнецов! И взять третьего на это место! Об этом и речи быть не может.

— Какое счастье, что все наши отправляются в Данию! — сказал Густав. — Хотя мешать не будут.

Эмиль ударил кулаком по столу.

— Этот мускулистый чурбан ещё крикнет от удивления! Мы займёмся этим делом. — Эмиль обернулся к Гансу. — Когда он решил отсюда смыться?

— Мистер Байрон говорит, что это всецело зависит от меня, потому что я для него находка, счастливый случай, который не повторяется.

— Мы подождём, пока взрослые уедут, — заявил Профессор. — Потом нам снова придётся держать военный совет. До тех пор, Ганс, — слушай внимательно! — до тех пор, значит, ты будешь этому Байрону зубы заговаривать. Ясно?

Ученик официанта кивнул.

— Чур, на этот раз я не буду сидеть у телефона. Так и знайте.

— На этот раз мы вообще обойдёмся без телефона, — объяснил Густав. — На этот раз придётся всем действовать.

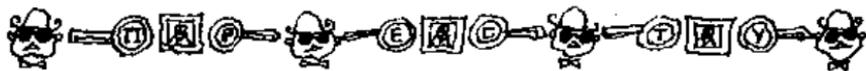
Ганс Шмаух снова нацепил на себя свой мокрый плащ.

— Вы только не пропадайте, — сказал он, направляясь к двери. — Пароль «Эмиль»! — крикнул он перед тем, как исчезнуть.

— Пароль «Эмиль», — ответили остальные.

На этот крик отозвался лишь ветер, гудящий в саду.

L



Глава девятая

СЫЩРИКИ ОСТАЮТСЯ ОДНИ

Через два дня взрослые и Пони уехали утром в Варнемюнде, чтобы там сесть на пароход, отплывающий в Данию. Женщины, а особенно разволновавшаяся Клотильда, хотели быстренько, в последнюю минуту, дать ребятам ещё тысячу всевозможных полезных хозяйственных советов. Но господин Хаберланд буквально силой загнал их в купе, сунул Профессору двадцать марок и сказал:

— Обедать будете в столовой. Все остальное, что вам понадобится, купите в лавке у Варкентиена. Кроме того, в кладовке есть кое-какие запасы. Запирайте вечером дом как следует. Не делайте глупостей! А если окажетесь в безвыходном положении, дайте телеграмму в Копенгаген. Мы будем жить в гостинице «Англетер».

— В телеграмме нужды не будет,— заверил его Профессор.

— Тем лучше,— сказал отец.— Желаю вам весёлого развития.

И он поднялся в вагон.

Несколько минут спустя Эмиль, Густав и Профессор остались одни. Ничто больше не препятствовало их свободному развитию.

Они вернулись домой. Погода стояла пасмурная, дул холодный ветер. О том, чтобы купаться, нечего было и думать.

Профессор взял с письменного стола карандаш и бумагу и поправил очки.

— Прежде всего,— начал он,— нам нужно составить план действий. Каждый по очереди будет день дежурить. Сегодня — я. Завтра — Эмиль. Послезавтра — Густав. Дежурный должен будить остальных, ходить в магазин, варить кофе, готовить ужин, хранить ключ от дома и вообще делать всё, что надо.

— А зубы каждый сам себе чистит? — спросил Густав и глупо захихикал. Но он тут же стал серьёзным и сказал, что не умеет варить кофе.

— Научись,— решил Эмиль.

Потом они пошли в кладовку и произвели полную инвентаризацию наличных запасов. Они точно записали, сколько там есть яиц, консервов, колбасы, картошки, огурцов, яблок, хлеба, сала, масла и т.д.

— Взрослые должны быть поражены, как легко мы становимся самостоятельными,— сказал Профессор и взял, поскольку он был дежурным, сетку, чтобы отправиться за покупками.

Эмиль и Густав пошли вместе с ним.

В магазине они долго рассматривали всё, что было выставлено в витрине, а хозяин предлагал им то одно, то другое.

Профессор растерянно поглядел на друзей.

— Извините за беспокойство, господин Варкентинен,— сказал он наконец,— но, как я вижу, всё это у нас уже лежит в кладовке.

И они вышли с пустой сеткой.

— Всё постигаешь на опыте,— заявил Профессор, когда они пришли домой.

— Ага,— сказал Густав, сбегал за яблоком и вонзился в него зубами.

Профессор тут же взял опись наличных продуктов и вычеркнул одно яблоко.

— Безупречный порядок — залог успеха! — заявил он.

Густав пробормотал, жуя:

— Всё это мур!

Когда они собрались пойти в столовую, Эмиль предложил:

— Мы могли бы сэкономить эти деньги. Послушайте, давайте я сам приготовлю обед!

— А что ты приготовишь? — осведомился Густав.

— Я сделаю яичницу,— заявил Эмиль и засучил рукава.— Яйца есть. Масло и колбаса тоже. Я пожарю колбасу и залью яйцами. Если мы съедем это с хлебом, то будем сыты. А на сладкое консервированный клубничный компот.

Эмиль повязал себе передник Клотильды, приготовил на столе масло, яйца, колбасу, нож и соль, поставил сковородку на огонь, положил масло, потом нарезанную ломтиками колбасу, разбил о край сковородки два яйца и ловко вылил их на колбасу, а потом посыпал всё это солью.

Друзья следили за его увлекательными действиями с огромным вниманием и тихим восхищением.

— Желток не растёкся,— с гордостью заметил Эмиль.— Это самое трудное.

Тут они увидели, что у открытого окна стоит Вторник. Потом он подтянулся, залез на подоконник и уселся там, как замороженный глядя на Эмиля.

— Как настоящий повар!

— Достигается упражнением,— объяснил Эмиль.— Если мама занята, я сам готовлю еду— больше ведь у нас некому.

Потом Вторник сообщил, что ему разрешили остаться ночевать у Профессора. Ребята были этому страшно рады.

— Но в Копенгаген мои старики ехать наотрез отказались,— сказал Вторник.— Им почему-то не хочется! Ну, разве это уважительная причина?

— Какие же они у тебя упрямые! — возмутился Густав.

— Как можно в таких условиях свободно развиваться? — И Вторник пожал плечами.

Эмиль прикрутил газ.

— Все вместе мы есть не сможем,— объяснил Эмиль.— Первую порцию получит Густав, как самый прожорливый.

Мальчики рассмеялись. Но Густав не смеялся вместе со всеми.

— Эх вы, погремушки! — сказал он. (Это ругательство он сам выдумал.)

Профессор вынул из буфета тарелку и вилку. Эмиль переложил яичницу на тарелку и отрезал два ломтика белого хлеба.

Густав сел за кухонный стол, накрошил хлеб в глазунью и стал есть.

Профессор принёс посудное полотенце, и они повязали его Густаву вокруг шеи вместо салфетки. Густав выглядел, как пациент у зубного врача.

Эмиль тем временем жарил вторую порцию яичницы с колбасой. Профессор тоже сел за кухонный стол и сказал:

— А сейчас самое главное. Пока мы с Эмилем будем есть и мыть посуду, Густав и Вторник сбегают в гостиницу и поговорят с Гансом Шмаухом. Необходимо выяснить, не изменились ли планы у мистера Байрона. Если нет, то Ганс должен обо всём с ним договориться. Нам надо точно знать, когда он намерен удрать и как—поездом или пароходом.

— Может, одолжить им свою мотоциклетку? — со смехом спросил Густав.— Выходит, мы будем сидеть сложа руки, пока он будет готовить побег. Так, что ли? Ведь мы можем просто пойти к нему и сказать: «Послушайте, дорогой, не валяйте дурака! Не вздумайте смываться, не то вам придётся иметь дело с нами!» Так будет куда лучше. Верно?

— Нет,— сказал Эмиль,— так не будет лучше. Если мы пойдём к нему, он для отвода глаз задержится на два-три дня, а потом тайком удерёт. Пусть без Ганса. Но Джекки всё равно останется с носом.

— Вот именно,— сказал Профессор.— Следуйте моим указаниям.

— И скажите Гансу,— добавил Эмиль,— чтобы он назначил побег на как можно более поздний час.

— Почему?— спросил Вторник.

— Потому что ночью Джекки будет спать и не заметит, что его отец сбежал. А утром, когда он проснётся, отец с Макки уже вернутся— об этом мы позаботимся. И Джекки не узнает, что отец хотел его бросить.

Густав встал.

— Такой вкусной яичницы я в жизни не ел. Официант, отложите мне клубнику на потом!

Он спихнул Вторника с подоконника в сад и сам выпрыгнул вслед за ним.

Слышно было, как они бежали по посыпанной гравием дорожке. Потом хлопнула садовая калитка.

Эмиль и Профессор поели, а Густаву отложили его порцию клубники. Затем Эмиль вымыл посуду, а Профессор тщательно вытер её и убрал в буфет.

Труднее всего пришлось им со сковородкой, но и её они в конце концов отскребли и довели до такого блеска, что в неё можно было смотреться как в зеркало. Потом они помыли руки, и, вешая полотенце на гвоздь, Эмиль сказал:

— А вообще-то с отцами получается какая-то чепуха. Одного мальчика отец хочет бросить, а другому— силком навязывают отца.

— Кому это?— спросил Профессор. И, так как Эмиль ему ничего не ответил, удивлённо взглянул на него. И вдруг до Профессора дошло.— Ах! Вот оно что!..

— Учти,— тихо сказал Эмиль,— об этом я не говорил ещё ни с одним человеком, даже с мамой. С ней-то уж во всяком случае...

— Я никому не скажу,— обещал Профессор.— Честно.

Эмиль почему-то перевесил сковородку с одного гвоздя на другой, потуже завернул водопроводный кран, притворил окно.

— Понимаешь, я же должен с кем-нибудь об этом поговорить... Своего отца я чуть-чуть помню. С тех пор мы с

мамой живём одни. И мне даже в голову не влетало, что может быть по-другому. Знаешь, я всегда думал: вот подрасту, начну зарабатывать, и мы заживём как надо — в каникулы будем путешествовать, снимем другую квартиру, побольше, купим красивую мебель и хорошие книжки. А два раза в неделю будет приходить какая-нибудь тётка помогать по хозяйству. Одним словом, навьдумал я невесть чего. И вдруг вместо всего этого у нас в доме появляется какой-то незнакомый человек и хочет жениться на моей маме. И кто теперь снимет большую квартиру? Он! И кто будет путешествовать с моей мамой? Он! И кто будет оплачивать приходящую работницу? Он! Он зарабатывает деньги. А я — буду ли я зарабатывать или нет, уже не имеет никакого значения. Я даже смогу получить высшее образование, сказал он. Понимаешь, он всегда теперь будет третьим. Всегда. И я больше ничего не могу рассказать маме, потому что ей уже, наверно, всё моё совсем не интересно. И вечером невозможно заснуть, и я лежу с открытыми глазами, а когда она входит в комнату, я притворюсь, будто сплю, хотя самому хочется реветь в голос, как маленькому... — Эмиль тяжело вздохнул. — Ну ладно, авось как-нибудь всё образуется. Если уж она в него влюбилась, пусть женятся. Наверно, не так уж важно, что мне всё это не в жилу.

— Наверно, — сказал Профессор. — А она в самом деле в него влюбилась?

— Ещё бы! А то чего ради она бы за него пошла? Влюбилась! Да он вообще-то неплохой дядька. У нас с ним всё нормально. — Эмиль взглянул на своего друга. — Ну, что ты об этом думаешь?

— Я думаю, что ты эгоист, вот что! — сказал Профессор. — Ты не считаешь? Твоя мать ведь не только твоя мать. Она ещё и молодая женщина. С тех пор как твой отец умер, она ради тебя об этом забыла. Потому что ты был маленьким. Но теперь ты уже не маленький. И вот после стольких лет она снова немного о себе подумала. Это её полное право.

— Я себе это повторяю сто раз на день. Но, знаешь, мне всё равно грустно. И это очень жаль.

— В жизни много такого, о чём приходится жалеть, — сказал Профессор. — Этого мы с тобой изменить не можем. Но всё же лучше, чтобы жалел ты, а не твоя мама.

— Само собой, — согласился Эмиль. — Но мне кажется, что во мне сидят два человека. Один всё понимает и кивает головой. Другой закрывает на всё глаза и тихо плачет. С тобой такое бывает?

— Я об этом читал,— сказал Профессор.— Но сам я не такой. Если я убеждён в разумности какого-то поступка, я уже не страдаю.

— Тебе можно позавидовать!— задумчиво сказал Эмиль.— Во всяком случае, я был очень рад, когда получил твоё приглашение! Потому что мне так трудно притворяться. Мама могла бы что-то заметить. Подумай только! Она тут же сказала бы, что брак не состоится. Ведь она ему с самого начала заявила: «Я выйду замуж, только если мой мальчик не будет против!» И ему пришлось спрашивать у меня согласия.

— Очень благородно с её стороны!— воскликнул Профессор.

— Ещё бы, старик!— сказал Эмиль.— Моя мама!

Потом они надели плащи и пошли к гостинице. В ольховой роще они встретили Густава и Вторника.

— Завтра мы даём бой,— сказал Густав,— потому что завтра у Ганса выходной день. Вот Байрон и решил вечером с ним смыться, прихватив и Макки, конечно. Ганс ждёт от нас указаний, как ему себя вести. Мистер Байрон намерен отбыть с последним пароходом. Потому что Джекки к этому времени уже уснёт. Из Варнемюнде он поездом отправится в Польшу, к родственникам. Там он будет тренировать нового близнеца, прежде чем снова выступать на сцене.

— У меня совсем простой план,— сказал Вторник.— Мы подкараулим его на причале. Как только он появится, мы отправим его назад, в постельку.

Профессор покачал головой.

— Этот план слишком простой. Он может сорваться. Мы должны перехватить этого типа уже в пути, чтобы он не мог отговориться. А не то он нас просто на смех поднимет. Он должен испугаться, что мы сообщим о нём в полицию.

Они сели на скамейку и не меньше полчаса обсуждали, что делать... Когда они встали, план действий был составлен во всех подробностях.

Заключался он в следующем: Ганс должен объяснить мистеру Байрону, что ему никак нельзя сесть на пароход с ним вместе в Корлсбюттеле. Он, Ганс, сядет лишь на следующей станции, то есть в Хайдекруге.

— А как попадёт Ганс в Хайдекруг?— спросил Густав.

— Ну и вопросы же ты задаёшь!— воскликнул Эмиль.— Само собой, на твоей мотоциклетке.

— А...— сказал Густав.

— А сыпчики, напротив,— объяснил Профессор,— сядут на пароход не в Хайдекруге, как Ганс Шмаух, и не в

Корлсбюттеле, как мистер Байрон и Макки, а ещё раньше, в Граале. Мы спустимся в каюту и оттуда будем следить, садится ли в Корлсбюттеле этот тип. В Хайдекруге на борт поднимается Ганс Шмаух. А перед Варнемюнде мы выйдем на палубу и скажем: «Многоуважаемый господин Папульке, где ваш сын Пауль? И почему вместо него с вами едет ученик официанта? Если вы не хотите, чтобы мы в Варнемюнде сдали вас полиции за то, что вы бросили на произвол судьбы своего сына и похитили чужого мальчика, то возвращайтесь—ка подобру-поздорову в Корлсбюттель. Как вам это проделать—на поезде или в такси,—решайте сами. Но нам очень важно, чтобы Джекки ничего об этом не узнал». Неужели вы думаете, что Байрон заартачится?

— Нет, он струсит и без всяких разговоров вернётся в Корлсбюттель!—крикнул в восторге Вторник.— У него не будет другого выхода.

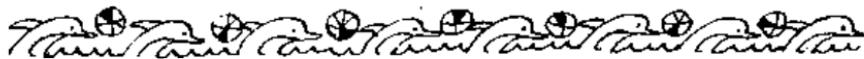
— Да, неплохо придумано,—согласился Густав.— А как сыщики попадут в Грааль?

Они поглядели на него с укором.

— А, понимаю,—сказал Густав.— Тоже на моей мотоциклетке.

— Вот именно!—подтвердил Эмиль.— Тебе придётся мотаться туда-сюда столько раз, сколько нужно, чтобы доставить всех сыщиков в Грааль. А потом ты уже один поедешь из Грааля через Корлсбюттель и Хайдекруг до Варнемюнде и предупредишь там полицию. На случай, если мистер Байрон вздумает выкинуть какую-нибудь штуку. Ты будешь там до прибытия парохода и встретишь нас на пристани. Понятно?

— Мне-то понятно,—сказал Густав.— А вот моей мотоциклетке что-то не очень.



Глава десятая

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ВОДЕ И НА СУШЕ

Следующий день—это была среда—по дому дежурил Эмиль. Когда он рано утром открыл дверь, чтобы взять оставленные у порога молоко и хлеб, он вдруг остановился как вкопанный: на газоне сидел Ганс Шмаух. Увидев изумление Эмиля, он рассмеялся и сказал:

— Доброе утро! У меня ведь сегодня выходной. Его надо использовать.

— Почему ты не позвонил в дверь?

— Нет уж, звонить в дверь по утрам я ни за что не буду. Я достаточно долго служу в гостинице, чтобы знать, как ужасно, когда тебя звонком вытаскивают из постели. А посидеть здесь на травке было очень приятно. Барометр поднимается!

Они пошли на кухню и стали варить кофе. Тем временем Эмиль объяснял Гансу план, который накануне обсудили сыщики.

— Ещё раз повторяю основное...—сказал он.—Мы, сыщики, сядем на пароход в Граале, Байрон и Макки—в Корлсбюттеле, ты—в Хайдекруге. А Густав будет стоять с мотоциклеткой в Варнемюнде на пристани. Если Байрон вздумает упираться, Густав позовёт полицию. А мы будем держать артиста за жабры.

Ганс Шмаух нашёл, что план отличный. Они накрыли стол для завтрака и разбудили остальных. Вторника они величали в это утро «барышня», потому что он спал на кровати Пони.

Ганс с салфеткой под мышкой образцово их обслуживал.

— Как настоящий официант!—сказал восхищённо Густав.—Ещё стакан молока, пожалуйста.

— Сию минуту, сударь!—подхватил в тон Ганс Шмаух.

Он побежал на кухню, принёс на подносе стакан молока, поставил его перед Густавом и спросил, продолжая игру:

— Вы намерены долго здесь пробыть, сударь? Погоду обещают хорошую. А гостиница наша первоклассная. Вам у нас понравится.

— К сожалению, мне тут же надо вернуться в Берлин,— сказал Густав.— Дело в том, что вчера, уезжая, я запер жену и детей в шкаф и по ошибке захватил с собой ключ.

— Жаль,— сказал Ганс Шмаух.— А то вы могли бы в пятницу посмотреть в нашем кинотеатре фильм «Эмиль и сыщики».

— Что?— завопили все мальчишки, повскакав с мест.

Ганс вынул газету из кармана и прикрепил её к раме какой-то картины. В полгазетного листа было напечатано объявление:

ЭМИЛЬ И СЫЩИКИ

ЭТО ФИЛЬМ,

в котором участвует 200 детей,

в основе которого лежит действительное происшествие,

который снимался в Берлине в наши дни для детей от 8 до 80 лет,

который с завтрашнего дня показывают в кинотеатре «Маяк».

Они прочитали это объявление несколько раз подряд. Густав ходил взад-вперёд и выкрикивал:

— Заходите, уважаемые зрители! Вы увидите самых замечательных детей нашего времени! Заходите! В первой половине от смеха вы умрёте, а во второй — вновь оживёте!

— Я волнуюсь, как будто сам должен выступать, хотя это уже готовый фильм, в котором мы к тому же даже не участвовали.

— Да ведь никто не будет знать, что мы сидим среди зрителей,— успокаивал его Эмиль.— Или, чего доброго, ты проболтался, Ганс?

— Что вы, ни слова!— уверил ребят будущий официант.— Про вас здесь никто ничего не знает.

— Твоё счастье,— сказал Густав.— Нам неохота, чтобы на нас глядели.

— Этого ещё не хватало!— воскликнул Вторник.— Мы мальчишки, а не кинозвёзды.

Вдруг Ганс ударил себя по лбу:

— Ну и дырявая же у меня башка! Я ведь пришёл, чтобы позвать вас покататься на парусной лодке! Поэтому я и встал так рано. Давайте уедем подальше и устроим где-нибудь пикник. А после обеда вернёмся.

— Я останусь дома. Сегодня я дежурный,— сказал Эмиль.

— Что за чушь!— возмутился Густав.— Дом никто не унесёт. Поедешь с нами, погремущка!

— Места всем хватит,— сказал Ганс.— Да и каюта там есть.

Но Эмиль стоял на своём.

— Я тоже не смогу с вами поехать,— сказал Вторник.— Мне надо вернуться к обеду. Если я не приду обедать, родители запретят мне тут ночевать, это уж точно. И тогда я не смогу участвовать в погоне за мистером Байроном. Я уже пропустил один раз самое интересное, просидел тогда всё время у телефона. Но на этот раз я буду с вами, и всё!

— Ну что ж, тогда мы втроём пойдём на яхте. Завести мотор, если надо будет, я смогу, но в парусах, так и знайте, я ничего не смыслю.

— Зато я смыслю,— сказал Ганс.— А вы будете слушаться моей команды.

Они побежали на кухню, и Профессор выдал им продукты для пикника. Они взяли с собой яблоки, консервы, колбасу, хлеб, масло, ножи, вилки, тарелки и даже салфетки положили в корзинку.

Эмиль, как дежурный, записал в тетрадь, что выдано.

Густав схватил битком набитую корзину:

— Я её понесу. С продуктами надо бережно обращаться.

— Всё это мура!— сказал Эмиль и засмеялся.

— Вовсе не мура,— возмутился Густав.— Еду надо уважать.

И они все пошли к причалу.

— Возвращайтесь вовремя!— крикнул Эмиль, когда Густав уже завёл мотор.— У нас сегодня ещё много дел впереди.

— Ау-у!— крикнул Густав, садясь за вёсла.

— Он опять жрёт яблоко,— сказал Вторник Эмилю и тоже крикнул в ответ:— Ау-у!

Лодка выходила из гавани. Ганс стоял у мачты и подымал большой парус.

Профессор надел берет и помахал ребятам. Яхта прошла мимо причала в открытое море. Дул лёгкий ветерок.

— Они уже заглушили мотор,— сказал Вторник.

Эмиль кивнул и, рукой защитив глаза от солнца, провожал взглядом друзей. Ганс поднимал теперь фок-мачту. Яхта держала курс на северо-запад.

Яхта «Кунигунда IV» шла уже несколько часов. Всё ещё дул лёгкий бриз. Ганс показал Профессору и Густаву, как надо обращаться с парусами.

Ребята были счастливы, что плывут в открытое море. Они уже перекусили, и вообще всё получалось как нельзя лучше. Солнце сияло. Ветер ласкал их загорелые лица, словно хотел подружиться с ними.

Густав забрался в маленькую каюту, лёг на койку и заснул. Ему снилось, что он мчится на своей мотоциклетке прямо по воде.

Профессор сидел рядом с Гансом, который управлял парусом, и глядел на море. Иногда он видел проплывающую мимо медузу, иногда рыбу.

Вдруг Ганс Шмаух крикнул:

— Это что такое?— и показал вперёд.

Это был остров, и они направили к нему лодку.

— Давайте подплывем поближе,— предложил Ганс.

— А чего там смотреть? Песок да трава,— сказал Профессор.

Они подплыли уже совсем близко к острову.

— Пальма!— завопил вдруг Ганс.— Посреди Северного моря— пальма! Кто бы мог подумать?

— Судя по её виду, она больна гриппом,— поставил диагноз Профессор.

И тут яхту здорово потрянуло! Ганс и Профессор свалились с сидений.

Густав вскочил на ноги и больно стукнулся головой о потолок каюты. Ругаясь, он выполз на свежий воздух.

— Мы что, тонем?— осведомился он.

— Нет, наоборот, мы сели на мель,— сказал Шмаух.

Густав огляделся по сторонам.

— Погремушки вы, а не моряки. Мимо этой жалкой кучки песка не могли проехать? Был бы ещё настоящий остров!

Он вылез из лодки...

— Сесть на мель в открытом море— это же надо!..

— Всё из-за пальмы: я хотел разглядеть её получше,— смущённо пробормотал Ганс.

— Теперь уж наглядись на неё вдоволь!— гневно крикнул Густав и подошёл к этому причудливому растению.— Редчайший экземпляр. Пальма-то в горшке!

Профессор взглянул на часы.

— Нам пора возвращаться. Кончайте глазеть.

Они все навалились на лодку, пытаясь столкнуть её с мели. От напряжения ребята стали красные как раки. Но лодка не двигалась с места. Ни на сантиметр!

Густав разулся и вошёл в воду.

— Раз-два, взяли,—скомандовал он,—все вместе, толкайте! Раз-два, взяли!

Он поскользнулся на водорослях, плюхнулся в воду и исчез на несколько секунд.

Когда он вновь появился на поверхности, он долго отплёвывался и в бешенстве ругался. Потом снял совершенно мокрый тренировочный костюм и повесил его сушить на ветку пальмы.

— Ну вот, видишь, и тропическое растение пригодилось,—заметил Профессор.

Они снова упёрлись в нос яхты и, наверно, не меньше полчаса пыхтели, как грузчики, которые переносят рояль. Но яхта, увы, не рояль. Она по-прежнему не двигалась с места.

— Чёртова посудина! — кричал Ганс.— Ну, давайте. Раз-два, взяли... Ещё раз — взяли...

Но, как они ни старались, ничего не получалось.

— Весёлая история! — сказал Густав.— Что будем делать, ребята, если нам не удастся столкнуть её с мели?

Ганс лёг на корму и закрыл глаза.

— Уберём паруса и станем островитянами. Счастье, что у нас есть с собой консервы.

— Теперь уже ничто не помешает нашему свободному развитию. Здесь нет ни телефона, ни почтового ящика. Настоящие робинзоны!

Профессор ударил кулаком по песку.

— Мы должны вернуться! — крикнул он.— Должны!

Густав огляделся. Вокруг не было ничего, кроме воды и облаков. Он зло рассмеялся:

— Пошли пешком, Профессор, тут недалеко!



Глава одиннадцатая

ПРОВЕРКА ПАСПОРТОВ

Вечерело. Солнце зашло за облако и залило небо и море розоватым светом.

Эмиль и Вторник уже больше часа стояли на причале и ждали ребят. Эмиль приготовил им бутерброды. Вторник, сжимая под мышкой пакетик, прыгал на ножке от радости, что будет участвовать в таком интересном приключении.

В гавань один за другим возвращались парусники разных форм и размеров. Но та яхта, которую они ждали, почему-то не появлялась.

— Вот они! — крикнул Вторник, показывая на лодку, направляющуюся к причалу.

Но это были не они.

— Как-то странно, — сказал Эмиль. — Будем надеяться, что с ними ничего не случилось.

— А что с ними может случиться? Море как зеркало, полный штиль. Просто ушли небось далеко, и всё.

Эмиль крикнул проплывающей лодке:

— Вы не встречали «Кунигунду IV»?

— Нет, мы вообще девочек не видели! — крикнул парень в ответ, а его спутники рассмеялись.

— Дурак! — буркнул Вторник.

— Подождём ещё полчаса, — решил Эмиль. — Если их не будет, придётся идти в Грааль пешком, а не ехать на мотоциклете.

Они терпеливо ждали. Потом Эмиль вынул из кармана листок бумаги и написал записку: «Мы без вас пошли в Грааль. Поторопитесь! А то пропустите пароход». Он прикрепил эту записку к столбу, к которому привязывали «Кунигунду», так, чтобы, причалив, они её сразу заметили.

— Их всё ещё нет? — спросил Эмиль, вернувшись к Вторнику.

— Как видишь!

— Бродяги несчастные! Ну, делать нечего, придётся переть пешком.

И ребята отправились в Грааль. Они шли быстрым шагом, иногда переходя на бег. В лесу было сумрачно и влажно.

Рядом тянулись болота. Тучи комаров преследовали путников. Лягушки прыгали по тропинке. Где-то вддали куковала кукушка. Через час они выплыли на луг, где паслись чёрно-белые коровы. Одна из них — а может, это даже был бык — помчалась на них галопом, опустив голову. Они со всех ног бросились наутёк. Наконец они добежали до какой-то ограды, перебрались через неё и оказались на песчаной дороге, ведущей к пляжу. Корова — а может, и бык — удивлённо и серьёзно посмотрела на ребят, потом повернулась и потопала к стаду.

— Вот зверюга! — сказал Вторник, тяжело дыша. — Еле убежали. Я чуть не потерял пакет с бутербродами.

В это время Профессор на острове глядел на часы.

— Сейчас пароход отходит из Грааля, — сказал он. — С ума сойти можно!

У Ганса, лежавшего на песке под пальмой, глаза наполнились слезами.

— Я во всём виноват! Делайте со мной, что хотите.

— Высказался! Несёт новость что! — воскликнул Густав. — Господа, только в беде познаётся величие души! — говорил он, передразнивая Ганса. — Не беспокойтесь, Эмиль и без нас покажет этому мистеру Пашульке, где раки зимуют. У Эмиля и Вторника котелки ещё варят.

— Без нас у них с погоней ничего не выйдет, — сказал Профессор. — Эмиль и Вторник — всего двое сыщиков — это мало. К тому же они наверняка всё ещё стоят на причале в Корлсбюттеле и ждут нас. Может, они как раз в эту минуту заявляют в полицию, что наша лодка пропала.

Густав был другого мнения:

— С чего это Эмиль будет обращаться в полицию? Что с нами может здесь случиться? Мы переспим ночь в каюте. Еды у нас тоже хватит. Ну, а завтра пройдёт какое-нибудь судёнышко мимо этого идиотского острова.

— Ты рассуждаешь по-своему, — возразил Профессор. — Но Эмиль ведь не знает, что мы сели на мель. Откуда ему знать?

Густав растерялся:

— Ты прав. Конечно, он этого не знает. Я иногда бываю таким дураком!

— Эмиль, наверное, думает, что мы перевернулись, — печально сказал Ганс. — Что мы уже едва держимся на поверхности, цепляясь за киль лодки, что мы вот-вот потонем. — Он так расстроился, что даже высморкался. — А завтра утром дядя возвращается из Швеции.

— Да, старик, без пощёчины дело не обойдётся,— задумчиво сказал Густав.— Может, нам лучше навсегда остаться на этом острове? Мы здесь вполне прокормимся рыбой. Не верите? А из паруса соорудим кибитку, как у кочевников. Может, на этом идиотском архипелаге есть и кремль. Тогда мы будем вылавливать брёвна и доски, сушить их и жарить на костре рыбу. Утром, в обед и вечером—рыбу. Как вам нравится моё предложение?

— Достойное тебя,—с насмешкой сказал Профессор.— Может, в один прекрасный день на этой пальме вырастут кокосовые орехи, да? В их скорлупе будем запекать яйца чаек. А кокосовое молоко лить в кофе.

— А разве у нас есть кофе?— удивился Густав.

— Столько же, сколько у тебя ума в башке!— заорал Профессор.— Ганс, а воды у нас надолго хватит?

— Если будем экономить, примерно на сутки.

— Уж будем экономить, не сомневайтесь,— строго сказал Профессор.— Нам должно хватить этой воды на два дня. Есть надежда, что завтра пойдёт дождь. Тогда мы расставим пустые консервные банки и соберём дождевую воду.

— Вот здорово!— воскликнул Густав.— Профессор, ты, как всегда, отличный стратег.

— А продукты я запру,— сказал Профессор.— Я сам буду их распределять.

Густав зажал себе уши:

— Прошу вас, не говорите о еде. А то я сразу захочу есть.

Профессор подошёл к берегу и стал смотреть на море.

Густав ткнул Ганса в бок и тихо спросил:

— Знаешь, как он стоит?

— Нет.

— Как Наполеон на острове Святой Елены,— прошептал Густав и захихикал.

Когда пароход причалил в Корлсбюттеле, Эмиль и Вторник, сидевшие в каюте, кинулись к иллюминатору.

— А вдруг Байрон не сядет, что тогда?— спросил Вторник.

— Тогда мы с быстротой молнии выскочим на палубу и спрыгнем прежде, чем они успеют убрать чалку,— объяснил Эмиль.— Но ты зря волнуешься: вот он идёт.

Мистер Байрон и Макки поднялись по трапу. У них было несколько больших чемоданов. Акробат подошёл к перилам,

Макки сел на скамью. Отдали концы, заработал мотор. Пароход медленно отчаливал.

Мальчишки в каюте глядели в иллюминатор на берег. Освещённые окна домов становились всё меньше и меньше. За бортом плескалась вода.

— Пахнет нефтью,— прошептал Вторник,— мне плохо.

Эмиль открыл иллюминатор — в каюту ворвался холодный ночной воздух. До них долетали солёные брызги. Вторник высунул голову и глубоко вздохнул, потом сел на диванчик, улыбнулся Эмилю и сказал:

— Если бы мои родители знали, где я!

Эмиль тоже подумал о своей маме в Нейштадте и о бабушке в Копенгагене. Потом он взял себя в руки и похлопал Вторника по коленке:

— Ничего, малыш, всё будет в порядке. Не унывай. И смотри в оба. В Хайдекруге должен сесть Ганс. Тогда мы будем знать, что все на своих постах. А остальное — пустяки!

Но Эмиль ошибся: Ганс Шмаух не сел на пароход в Хайдекруге! Ещё больше Эмиля этому удивился господин Байрон. Он устроился рядом с Макки и почесал затылок. Они плыли мимо темнеющего в ночи леса.

Эмиль встал. Вторник испуганно вскочил вслед за ним.

— Куда ты? — прошептал он.

— Время действовать,— сказал Эмиль.— Ребята почему-то задержались. Значит, мы должны сами всё проделать. Пошли!

Они поднялись по лестнице и стали бродить по палубе.

Под дымящей трубой за чемоданами сидели мужчина и мальчик.

Эмиль подошёл к ним. Вторник, который всё ещё держал в руке пакет с бутербродами, стал рядом.

— Мистер Байрон, мне надо с вами поговорить,— сказал Эмиль.

Байрон удивлённо поднял глаза:

— В чём дело?

— Я пришёл по поручению моего друга,— сказал Эмиль.— Мы знаем, что вы ждёте Ганса Шмауха, который должен был сесть на пароход в Хайдекруге. Мы знаем также, что вы хотите с ним бежать.

У мистера Байрона глаза засверкали от злости.

— А почему он не пришёл? Это твоя работа, гадёныш?

— Выбирайте, пожалуйста, выражения. Я ведь вас не обзываю.

— Валяй, Эмиль, не стесняйся,— сказал Вторник.

— Ах, тут, оказывается, ещё один гадёныш!

— Добрый вечер, господин Пашульке,— сказал Вторник.

Байрон криво усмехнулся.

— Мы пришли к вам из-за Джекки,— объяснил Эмиль.— Как вам только не стыдно бросить мальчишку среди ночи на произвол судьбы!

— Он мне больше не нужен!

Вторник решительно вышел вперёд:

— А почему? Потому, что он стал слишком тяжёл для вас. Мы всё знаем. Но разве это основание?

— Ещё бы! Я не могу с ним больше работать, и мой репертуар от этого сильно страдает. Я артист! Вы в состоянии это понять? Я мог бы выступить в Лондоне в «Коллизее»! Как это я два года назад не догадался, что этот щенок будет так быстро расти! Убиться можно!..

Эмиль пришёл в ярость:

— Ну и убивайтесь! Мы вам мешать не будем. Я не понимаю, как человек может быть таким бездушным. А что будет с Джекки?

— Может, ему просить милостыню? — вкрадчиво спросил Вторник.— Или утопиться в море? Вы хотите, чтобы его забрали в колонию? Мы этого не допустим, учтите!

— Мы с ребятами решили,— сказал Эмиль,— что вы должны вернуться с нами в Корлсбюттель.

— Вы решили! — Мистер Байрон сделал страшные глаза.— Не суйте нос в чужие дела, птенцы желторотые. Лучше учите уроки.

— У нас сейчас каникулы, господин Пашульке,— заметил Вторник.

— Мы ни за что не допустим,— сказал Эмиль,— чтобы вы делали несчастным одного из ваших близнецов только потому, что он растёт. Я ещё раз предлагаю вам вернуться с нами назад. Через несколько минут мы прибудем в Варнемюнде. Там нас ждут друзья. Если вы решите ехать дальше, мы передадим вас полиции.

Ссылка на полицию пришлась мистеру Байрону явно не по вкусу.

— Ну, так как? — спросил Эмиль после нескольких минут тягостного молчания.— Вы будете выполнять свои отцовские обязанности? Или предпочитаете попасть в полицию?

— Отцовские обязанности? — переспросил атлет с заметным облегчением.

— Вот именно, господин Пашульке. Вам эти слова знакомы?

Мистер Байрон злоеце рассмеялся:

— Так вот почему этот клоп всё называет меня Пашульке. Моя фамилия вовсе не Пашульке.

Мальчишки так и ахнули:

— А как?

— Андерс.

— У вас есть при себе какой-нибудь документ?

— Паспорт.

— Разрешите мне посмотреть ваш паспорт,— вежливо попросил Вторник. А так как атлет не обратил никакого внимания на его слова, Вторник добавил:— Впрочем, можете предъявить паспорт полиции, если вам это больше нравится.

Мистер Байрон вынул паспорт из кармана. Вторник взял его и стал изучать с тщательностью пограничника.

— Верно,— сказал наконец Вторник.— Мистер Байрон по паспорту в самом деле Андерс.

И Вторник прочитал:

— «Профессия — артист. Рост — выше среднего. Сложение — атлетическое. Лицо — обыкновенное. Цвет волос — чёрный. Особые приметы — татуировка на правой руке». — Он вернул паспорт.— Всё в порядке. Благодарю вас.

— Так вы в самом деле не отец Джекки?

— Нет,— буркнул Андерс.— Я ему не отец и даже не мать. Джекки и Макки вовсе не близнецы. И даже не братья. Макки в действительности зовут...

— Джозеф Кортерхан,— сказал сам Макки.— А фамилия Байрон и наши имена — Джекки и Макки — всё это только для сцены. Мне, конечно, тоже жалко Джекки, что говорить! Но мы в самом деле не можем больше с ним работать. Парню не повезло — он слишком быстро растёт.

Лучи варнемюндского маяка уже освещали море и небо. И приветливо светились окна гостиницы.

Эмиль всё ещё был пришиблен, но он взял себя в руки и сказал:

— И всё же я считаю несправедливым, что вы вот так бросили бедного мальчишку. Мы все чувствуем себя ответственными за его будущее. Потому я вынужден вас попросить передать мне для него деньги. Чтобы он мог прожить хотя бы несколько недель, пока не устроится.

— И не подумаю давать незнакомым мальчишкам деньги! — возмутился Андерс.

— А мы вам дадим расписку,— сказал Эмиль, вынимая из кармана лист бумаги.

— А если я не дам? — с издёвкой спросил Андерс.

— Тогда мы передадим вас полиции, — сказал Эмиль.

— Да я ведь не отец Джекки! — воскликнул Андерс. — При чём здесь полиция?

— Пусть полиция в этом разберётся, — невинно сказал Вторник. — Им виднее.

— Я пишу вам расписку на сто марок, — сказал Эмиль, подходя к фонарю.

— Вы что, с ума сошли? — спросил атлет. — Сто марок? Да я вас в порошок сотру!

— Не советую, — сказал Вторник.

— Это слишком много, — вмешался Макки. — Мы не можем столько отдать, а то нам самим не хватит.

— Врёшь? — спросил Вторник.

— Нет, честно, — сказал Макки.

— Хорошо, тогда пятьдесят, — решил Эмиль. Он написал расписку и сказал Вторнику: — И ты тоже подпиши.

Когда Вторник расписался, Эмиль протянул листок Андерсу. Но мистер Андерс ничего не протянул ему в ответ.

Пароход подходил уже к причалу.

— Как вам угодно, — серьёзно сказал Эмиль. — Что ж, хорошо. Я пошёл за капитаном. — И Эмиль направился к капитанскому мостику.

— На, возьми! — крикнул мистер Байрон. Он в бешенстве вытащил бумажник из кармана пиджака и ткнул Эмилю бумажку.

— Всё точно, пятьдесят марок, — сказал он. — Возьмите, пожалуйста, расписку.

— Плевать я на неё хотел! — заорал атлет. — Убирайтесь к чёрту!

И Андерс, схватив свои чемоданы, сошёл на берег. Макки поплёлся за ним следом, но, перед тем как скрыться в толпе, обернулся и крикнул:

— Передайте от меня привет Джекки!

Эмиль спрятал расписку в карман брюк.

Вскоре Эмиль и Вторник уже стояли на вокзале и изучали расписание. Эмиль пожал плечами.

— Сегодня больше нет поездов, мальш, — сказал он. — И парохода тоже. Но мы всё-таки непременно должны немедленно вернуться в Корлсбюттель. Надо выяснить, что с ребятами. Надеюсь, они уже дома.

— Выходит, пойдём пешком? — спросил Вторник.

Эмиль кивнул.

— Думаю, за три часа дойдём.

Эмиль кивнул.

— Ну что ж, в путь! — усталым голосом сказал Вторник. — Марш по ночной пустыне начинается. Мне кажется, что я солдат иностранного легиона.

— А мне вообще уже ничего не кажется, — сказал Эмиль.

Час спустя телега обогнала на тёмном шоссе двух мальчишек. Они едва плелись. Возница остановился.

— Вы куда? — спросил он.

— В Корлсбюттель, — ответил тот, что побольше. — Вы нас не подвезёте?

— Садитесь. Но только, чур, не спать. А то ещё свалитесь.

Эмиль помог Вторнику залезть на телегу, сам уселся рядом с ним, и они тронулись. Через минуту Вторник уже спал. Эмиль держал его за руку, чтобы он не свалился, и глядел на лес и на звёздное небо. Он передумывал всё, что случилось за день. Он в чём-нибудь ошибся? Что теперь будет с Джекки? И куда делись Густав, Профессор и Ганс?

Во сне Вторник обнял Эмиля за шею. Над верхушками деревьев пролетела сойка. Заржала лошадь. Возница что-то забормотал, чтобы её успокоить. Потом он повернулся — видно, хотел спросить что-то у ребят. Но, увидев, что мальш крепко спит, обняв старшего, снова уставился на дорогу.

Эмиль чувствовал себя очень одиноким.



Глава двенадцатая

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАПИТАНА

В среду рано утром капитан Шмаух вернулся в Корлсбюттель. Грузчики уже ждали на причале, а капитан показывал свой груз таможенникам. Когда все формальности были выполнены, капитан сошёл на берег. Было прохладно, и он направился в гостиницу, чтобы выпить горячего кофе.

— Вы случайно не знаете, куда делся ваш племянник? — спросил, едва заведя капитана, хозяин гостиницы.

Капитан от души рассмеялся:

— Как всегда, шутит. Пришлите-ка мне сюда мальчишку, я хоть поглажу на него.

— Да его здесь нет! У него вчера был выходной день, он ушёл и не вернулся. Со вчерашнего вечера исчезли также мистер Байрон и меньший из близнецов.

Капитан вскочил.

— Кофе не надо! — крикнул он на ходу и помчался, насколько ему позволяли его старые ноги, в гавань, где стояли яхты.

Его лодки там не было! У него прямо ноги подкосились. Он растерянно оглянулся по сторонам. И тогда он заметил записку на столбике, к которому привязывают лодки.

Он нагнулся, достал записку и прочёл её.

Капитан с трудом выпрямился и, тяжело дыша, побежал назад, в город. Наконец он достиг виллы «Морская». Он распахнул садовую калитку и позвонил в дверь. Она была заперта. Тогда он обежал вокруг дома и заглянул на террасу.

У стола сидел Эмиль Тьшбайн. Он спал, опустив голову на руки.

На диванчике у стены лежал Вторник и тоже спал. Он был с головой накрыт шерстяным одеялом, торчал только его чуб.

Дверь террасы тоже оказалась запертой. Капитан постучал пальцами по стеклу. Сперва тихонько. Но мальчишки не проснулись. Тогда он стал барабанить всё громче и громче.

В конце концов Эмиль поднял голову. Он был совсем сонный. Но вдруг глаза его сделались осмысленными, он с удивлением обвёл взглядом террасу — видно, что-то вспо-

нил,—пригладил рукой взъерошенные волосы, вскочил с места и отпер двери.

— Где Ганс? — крикнул с порога капитан.

Эмиль быстро рассказал всё, что знал.

— Из Варнемпонде мы вернулись среди ночи. Вторник никак не мог проснуться. Я снял его с телеги, кое-как дотащил сюда и уложил на диванчик. Сам я сел за стол и решил не спать до утра, чтобы как можно раньше сообщить портовой полиции, что лодка не вернулась. Кроме того, мне надо было как-то подготовить Джекки к тому, что случилось, и дать ему в утешение эти пятьдесят марок. И ещё я собирался, если сразу не найду яхту, дать телеграмму в Копенгаген, в гостиницу «Англетер». — Эмиль пожал плечами. — Всё это я хотел сделать на рассвете, но, видно, сам не заметил, как заснул. Извините меня, капитан. Что вы теперь будете делать?

— Найму все лодки, какие только найду в гавани, — сказал капитан, стоя уже в дверях. — Они начнут поиски. Разбуди своего друга, и приходите в гавань.

И он убежал.

Эмиль подошёл к диванчику и тряс Вторника до тех пор, пока не разбудил его. Они быстро почистили зубы, развязали пакет с бутербродами, который Вторник таскал с собой накануне весь день, и выбежали из дому, жуя на ходу.

На перекрёстке Эмиль остановился:

— Мальши, беги в гавань. Может, ты будешь нужен капитану. А я разбужу Джекки и приведу его с собой.

И Эмиль побежал в гостиницу.

Спустя полчаса двадцать два рыбацких катера, пять парусных яхт и семь моторок выплыли из гавани Корлсбюттеля в открытое море. За молом они веером разошлись в разные стороны. Договорились, что лодки не будут терять друг друга из виду.

Капитан Шмаух сидел у руля в моторной лодке «Аргус». Владелец лодки, какой-то фабрикант, предоставил её в распоряжение капитана. Эмиль, Вторник и Джекки стояли на коленях у борта и не спускали глаз с воды. Море было беспокойное, и лодка порой так накренилась, что ребят с головой обдавало солёной водой.

— Кажется, я вас ещё не поблагодарил, — сказал Джекки. — Это потому, что я испугался. Особенно в первую минуту. Короче, большое вам спасибо. И за деньги тоже. — Он пожал

ребятам руки.— Ну, а теперь мне надо успокоить капитана. Ему небось ещё страшнее, чем мне.— Он пересел поближе к капитану и ободряюще ему кивнул.— Вы только не волнуйтесь. Я уверен, что ничего плохого не случилось. Это я всегда наперёд знаю. У меня есть шестое чувство.

Капитан напряжённо смотрел в одну точку прямо перед собой.

Джекки оглянулся. Слева вдалеке вырисовывался тёмный силуэт рыбацкого катера, справа белела яхта.

— Один вопрос, капитан. Здесь есть песчаные косы? Мели? Маленькие острова? Короче, что-то в этом роде?

Старый моряк на секунду выпустил из рук руль. Лодку мгновенно подхватили волны, и она закружилась волчком. Но капитан тут же снова схватил штурвал, и моторка послушно запрыгала по волнам.

— Парень,— крикнул он в волнении,— это мысль! Если бы ты оказался прав!

Больше он ничего не сказал. Но изменил курс.

Наши робинзоны проснулись очень-очень рано. Они жутко замёрзли, вылезли из каюты и стали делать гимнастику, чтобы немножко согреться.

Потом каждый выпил несколько глотков воды и съел немного консервов. Это был их завтрак. Пустые консервные банки стояли на песке в ожидании дождя. Но дождём и не пахло. Напротив, впервые за много дней небо было ослепительно синее, без единого облачка.

— Я и не знал, что прекрасная погода может так огорчать,— сказал Густав.— Век живи, век учись!

Но Профессор злился:

— Если бы у нас не было пустых консервных банок, дождь лил бы как из ведра. Так всегда бывает.

— Но во всём есть всегда и хорошее,— возразил Густав.— Подумай, как было бы глупо, если бы ты уже написал сочинение про интересное летнее приключение! Теперь ничего не придётся выдумывать. А то тебе пришлось бы сжечь сочинение.

— Я что-то не уверен, придётся ли нам ещё когда-либо писать сочинения,— буркнул Профессор.

— Это бы я уж как-нибудь пережил,— сказал Густав.— Но как подумаю, что больше не увижу своей мотоциклетки, прямо выть готов.

И он стал что-то насвистывать.

Ганс снял свою белую рубашку и повесил её на мачту вместо флага.

— Может, так нас легче найдут!

Потом они ещё раз навалились на «Кунигунду» и попытались её сдвинуть. Она по-прежнему не шелохнулась.

— За ночь она, видно, пустила корни. Нет смысла зря тратить силы.

Они легли на песок, и тогда Ганс сказал:

— Послушайте! Я виноват в том, что случилось. Воды у нас хватит до завтрашнего утра. Если нас за день не подберут, я надену спасательный круг и попытаюсь доплыть до берега. Может, где увиджу катер или пароход.

— Ни за что! — крикнул Густав. — Если кому-нибудь из нас пускаться вплавь, то уж, конечно, мне!

— Я эту кашу заварил, — сказал Ганс, — мне её и расхлёбывать.

— Так нельзя рассуждать. Поплывёт тот, кто лучше плавает, — сказал Густав. — Ясно?..

— Значит, я, — сказал Ганс.

— Нет, я.

— Я поплыву.

— Нет, я!

Оба вскочили: они готовы были растерзать друг друга. Но Профессор кинул обоим по горсти песка в лицо. Они стали отплевываться и тереть глаза.

— Вы что, совсем рехнулись? — спокойно осведомился Профессор. — Ложитесь-ка лучше и поспите несколько часов. Во время сна не хочется ни есть, ни пить, хоть запасы сэкономим.

Они послушно растянулись на песке и закрыли глаза. Профессор сел в лодку, прислонился к мачте и стал глядеть вдаль.

Моторка «Аргус» неслась по волнам. Когда ребята, забывшись на секунду, переставали держаться за борт, они тут же слетали со скамейки. У Вторника на лбу уже была большая шишка. А капитан сидел у руля неподвижно, как монумент.

— Вон там! — крикнул он вдруг и показал куда-то вперёд.

Но они ничего не увидели.

— Белый флаг! — крикнул он в восторге. — Это они! — Он кивнул Джекки. — Твой вопрос стоил дорого, мой мальчик.

— Какой вопрос, капитан?

— Есть ли здесь остров. Ребята попали на остров с пальмой и сели на мель. Ну, уж я им задам перцу!

— Я знал, что ничего плохого не случилось,— сказал Джекки.

У капитана уже отлегло от сердца, он хохотал:

— Ну да, верно, у тебя ведь есть шестое чувство!

— Я тоже вижу что-то белое! — воскликнул Эмиль. — И мачту.

— И я! — крикнул Джекки.

А Вторник всё ещё ничего не видел. Эмиль попытался ему объяснить, куда смотреть, и тут он заметил, что Вторник плачет. Слёзы градом катились по его загорелым щекам.

— Что с тобой, малыш?

— Я так рад, так рад... — прошептал Вторник. — Но Густаву и Профессору лучше не рассказывай, что я ревел. Не то ещё воображать начнут, погремушки!

И он засмеялся сквозь слёзы.

— Я уже вижу три силуэта! — крикнул капитан. — И мою «Кунигунду» тоже. Ну, подождите, детки! Сейчас мы до вас доберёмся!

Густав и Ганс прыгали и скакали по островку, как негры во время танца. Они махали руками и орали не своим голосом.

Профессор не сдвинулся с места; он чертил что-то пальцем по песку. Потом он всё же встал, собрал пустые консервные банки и задумчиво стал швырять их одну за другой в воду.

Ганс забрался на мачту, снял свою рубашку и быстро её надел. «Аргус» был уже совсем близко: капитан выключил мотор и бросил конец. Ганс его ловко поймал и привязал к корме парусника. Теперь лодки стояли рядом.

— Ура, погремушки! — вопил Густав.

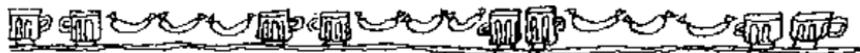
Капитан первым перепрыгнул с «Аргуса» на «Кунигунду IV».

Племянник подошёл к нему и сказал:

— Дядя, я во всём виноват.

Капитан отвесил ему оглушительную пощёчину и сказал:

— Слава богу, вы все живы и здоровы.



Глава тринадцатая

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Возвращение огромного спасательного флота и прибытие потерпевших кораблекрушение вызвало всеобщее ликование. На причале, на набережной и даже в окрестных переулках толпились люди и приветственно махали руками.

Капитан велел ребятам не спеша идти в гостиницу. А сам отправился с рыбаками в деревенский кабачок и угостил всех пивом. Поблагодарив за помощь, он быстро со всеми распрощался и торопливо зашагал к гостинице. Он повёл ребят в ресторан и заказал роскошный обед.

Они заняли отдельный кабинет, чтобы чувствовать себя свободней. Каждый уплетал за двоих, но это не мешало им разговаривать. Они рассказали друг другу всё, что произошло, во всех подробностях. Ганс Шмаух, хотя он и был учеником официанта, тоже сидел за столом, и его шеф, официант Шмидт, старательно его обслуживал.

На сладкое подали шоколадный пудинг с ванильным соусом.

— Я предлагаю дома пока не рассказывать о вашей робинзонаде, — сказал капитан. — Завтра возвращаются ваши из Дании. Их незачем волновать этим происшествием. А если что-нибудь выяснится, валите всё на меня. Уж я как-нибудь выпутаюсь.

Эмиль и Профессор вскочили.

Капитан жестом усадил их на место.

— Я знаю, что вы хотите сказать. Вы, конечно, горды и желаете сами отвечать за свои проступки. — Он покачал головой. — Хватит того, что у меня заболел живот. Пощадите взрослых! У нас, взрослых, слабые нервы!

Эмиль и Профессор снова сели.

— Ну вот, — ласково сказал капитан. — А теперь дядя Шмаух пойдёт торговать древесиной.

И он попросил счёт.

После обеда мальчики побежали в гавань. Только Ганс остался в гостинице и снова превратился в ученика официанта. А ребята взяли из «Кунигунды» корзину с остатками

продовольствия и торжественно водворили её в кладовую виллы «Морская».

— Сегодня я дежурный,— важно заявил Густав.

Потом они послали Джекки в гостиницу за вещами и поставили ему у себя в комнате раскладушку, потому что в гостинице он жить больше не мог.

— А теперь неплохо бы выспаться,— сказал Профессор, который, несмотря на тропическую пальму, простудился на острове и говорил в нос.

— Нет, сон придётся пока отложить,— заявил Эмиль.— Надо подумать, как помочь Джекки. Здорово, что из Андерса удалось выколотить пятьдесят марок, но долго на это не проживёшь. У Джекки нет ни родителей, ни родных. Сможет ли он выступать один, ещё неясно. Что вы предлагаете?

Вторник поднял руку.

— Мы сейчас отправимся в сад. Нас четверо същиков, а в саду — четыре угла. Каждый из нас сядет в свой угол и будет напряжённо думать. А потом мы по очереди скажем, что придумали.

Это предложение было принято, и ребята разошлись по углам. Погода была на редкость прекрасной. Цикады играли на своих мандолинах. В траве прыгали кузнечики. В ольшанике свистели иволги.

Минут через пять они собрались, как и было условлено, у большого зелёного стола в саду.

— Если я не ошибаюсь, одного същика нет,— сказал Эмиль.

— Вы прокицательны,— подыграл ему Вторник.— Нет Густава.

Они побежали в тот конец сада, куда ушёл Густав, и увидели, что мотогонец спит, растянувшись на траве.

— Вставай, горим! — потрянул его Профессор.

— Что случилось? — пробормотал Густав, с трудом открывая глаза.

— Ты же должен думать, а не спать,— сказал Вторник.

Густав сел и проворчал:

— Ходят здесь всякие и только мешают сосредоточиться!

— Ах, вот как! Ты сосредоточился, а мы тебе помешали. Ну и что же ты придумал?

— Ноль, погремучки! Ничего!

Все рассмеялись и двинулись к столу.

— Заседание объявляю открытым,— сказал Профессор,— слово предоставляется Эмилю.

Эмиль встал.

— Уважаемые коллеги... В пятницу, то есть послезавтра, здесь пойдёт фильм «Эмиль и сыщики». Мы решили сохранить нашу тайну и пойти в кино, как обычные зрители. Но мне кажется, мы сможем помочь Джекки, если скажем зрителям, кто мы такие. Это, правда, не в наших правилах. Но тут, как говорится, «игра стоит свеч». Владелец кино может сообщить об этом через местную газету. И на афишах наклеят дополнительное объявление, что на сеансе будет присутствовать сами сыщики. Тогда, наверное, придёт больше детей, чем обычно, и он заработает больше обычного. А за это пусть он отдаст Джекки весь сбор с первого сеанса.

Все кивнули.

— Никто не возражает? — спросил Профессор.— Предложение несколько необычное, но толковое. Значит, чтобы помочь Джекки, нам придётся сказать, кто мы.— Профессор сделал выжидательную паузу.— Кто «за»? Единогласно! Впрочем, другого выхода нет. А теперь я предоставляю слово себе. Я предлагаю, чтобы кто-нибудь из нас пошёл в редакцию местной газеты и поговорил с редактором. Пусть там напечатают статью, которую напишет один из нас. В этой статье мы расскажем, как Андерс бросил Джекки на произвол судьбы. И ещё напишем, что все дети, которые здесь живут, должны собрать для Джекки деньги. И что через несколько дней в газете сообщат, сколько они собрали.

— Отлично! — крикнул Густав.— Кто «против»? Никого? Принято единогласно. Слово имеет Вторник.

— Я предлагаю, чтобы Густав объехал на мотоциклетке все окрестные пляжи и повсюду рассказал бы ребятам, что случилось. Может, на пляжах надо даже вывесить плакаты с призывом помочь Джекки. Дети будут читать эти плакаты и рассказывать другим.

— Отлично! — закричали остальные.

— Нам здорово повезло, что я ничего не придумал. Хоть бы с этим управиться,— сказал Густав.

Они ещё немного поговорили, а потом пошли на террасу и написали цветными карандашами восемь плакатов.

Густав вывел свою машину, Вторник сел на багажник со свёртком под мышкой. И они умчались.

Наконец пришёл Джекки со своими вещами. Эмиль и Профессор велели ему сидеть дома и ждать их. А сами тут же убежали, не сказав, куда они так спешат.

Когда Эмиль зашёл к директору кинотеатра «Маяк», тот закричал:

— Нет времени! Я занят! Приходи в другой раз!

Минут через пять господин Бартельман оторвался от своих бумаг и увидел, что мальчик всё ещё стоит перед его столом.

— Ты не ушёл? Ну, в чём дело?

— Я — Эмиль Тьшбайн.

Господин Бартельман откинулся на спинку кресла.

— Кто, кто?

— Эмиль Тьшбайн, о приключениях которого вы будете показывать фильм.

— Очень рад познакомиться, — сказал директор. — Правда, искренне рад. Ну, и что?

Эмиль изложил директору план сыщиков. Директор закрыл глаза — иначе он не умел думать. Потом поцокал языком, как жокей, когда ему показывают новую лошадь. Короче говоря, директор почувствовал выгодное дело.

— Хорошо, — сказал он, — вы получите весь сбор от первого сеанса, если обещаете в течение недели выступать каждый вечер.

— В течение недели! — воскликнул Эмиль. — Каждый вечер? Нам и один раз выступить неприятно. Мы ведь не клоуны.

— Без труда не вытщишь и рыбку из пруда, — сказал директор.

Мальчик подумал.

— Что ж, ладно, — согласился он наконец. — У нас нет выхода. Но тогда вы нам отдадите сбор со всех сеансов первого дня. То есть с трёх сеансов.

Директор снова зажмурился.

— Из тебя выйдет толк, — сказал он. — Договорились!

И он напечатал на машинке текст договора. Под копирку. Они оба подписали по два экземпляра, и каждый получил свой.

— Порядок! — сказал директор. — В пятницу без опозданий!

Эмиль ушёл. Договор хрустел у него в кармане.

Директор «Маяка» сразу же дал по телефону большое объявление в газету. Потом он позвонил в агентство рекламы и заказал дополнительно красные полосы к уже расклеенным афишам фильма «Эмиль и сыщики» со следующим текстом: «В течение недели сам Эмиль и все сыщики будут выступать после каждого сеанса!»

В это время Профессор сидел в редакции газеты и писал «Призыв к детям». Он рассказал про Джекки, про его беду и призвал ребят собирать деньги, чтобы помочь маленькому артисту. И подписал: «От имени Эмиля и сыщиков — Теодор Хаберланд, по прозвищу Профессор».

Он отнёс текст в кабинет редактора. Редактор медленно прочёл статью Профессора, позвал рассыльного и отправил его в типографию со словами: «Срочно набрать на первой полосе».

Зазвонил телефон. Редактор снял трубку.

— Вызывают из Грааля, — сказал он. — Кто это? Вторник? Какой Вторник? А, понятно. Да, он как раз сидит у меня.

Профессор взял трубку и спросил:

— Что нового? Так. Так. Очень хорошо. Да, текст плакатов пусть остаётся без изменений. Наше обращение появится завтра в газете. Устал? Я тоже. Ну, всего. Пароль «Эмиль».

— А что за плакаты? — спросил редактор.

Профессор рассказал, в чём дело.

— Да это же образец солидарности! — воскликнул редактор с воодушевлением. — Кстати, твоё обращение прекрасно написано. Ты кем хочешь быть, когда вырастешь?

— Ещё не знаю. Когда я был маленький, я хотел стать строителем. Теперь уже нет. Теперь меня больше интересует расщепление атома и всё про электроны. Я это ещё толком не понимаю. Но, наверное, это великолепная профессия. Ну, а теперь мне пора.

Он встал и поблагодарил редактора.

— Рад был познакомиться, — сказал редактор и проводил Профессора до двери.

А в это время на пляже в Граале Густав и Вторник прикрепляли кнопками к чёрной доске, на которой обычно вывешивали разные объявления, первый плакат.

У доски остановилось несколько детей.

Густав погудел клаксоном.

Дети бежали сюда со всего пляжа. Подошли и взрослые. Плакат у всех вызывал интерес.

Вторник сказал Густаву:

— Нам надо, наверное, что-нибудь сказать. Подними-ка меня.

Густав опустился на колени, Вторник забрался к нему на плечи. Когда Густав снова встал на ноги, воцарилась тишина.

— Уважаемая публика! — крикнул Вторник. — Мы приехали сюда, чтобы попросить у вас помощи. Конечно, не для себя. А для мальчишки, которому сейчас очень паршиво. Кое-что об этом вы узнаете из нашего плаката. Подробнее прочтёте завтра в местной газете. Кто не умеет сам читать, пусть попросит старших. Мы сегодня ещё побываем на семи других пляжах и надеемся, что все ребята откликнутся на наш призыв. Мои друзья — это Эмиль и същипки. Я говорю это, чтобы вы не подумали, что мы можем вас обмануть. Кое-кто, наверное, уже слышал о нас. Мальчик, у которого я сижу на плечах, — это Густав с клаксоном.

Густав поклонился, а Вторник при этом чуть не упал на песок.

— А ты, наверное, мальши Вторник? — спросила какая-то девочка. — Я угадала?

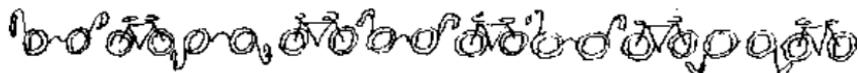
— Так точно. Но всё это не так важно. Главное, чтобы мы собрали деньги для Джекки. А теперь нам надо ехать дальше. Густав, спусти меня.

— погоди! — буркнул Густав. — Наконец и я что-то придумал. Слушайте все! — крикнул он громко. — Деньги, которые вы соберёте, можете положить на сберкнижку!

— Пока! — крикнул Вторник. — До встречи в кино «Маяк». Пароль «Эмиль».

— Пароль «Эмиль»! — многоголосым хором ответили ему дети Грааля.

Мотоциклетка подпрыгивала на неровной лесной дороге. Густав гудел. Оставалось развесить ещё семь плакатов с призывом помочь Джекки Байрону, вернее, Паульхену Паульке.



Глава четырнадцатая

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР

В среду путешественники вернулись из Дании в Корлсбюггтель. Клотильда была бледна как смерть. Её замутила морская болезнь, и она уверяла, что и сейчас ещё земля колеблется у неё под ногами.

Выпив капли, которые ей дал советник, она тут же убежала на кухню.

Всё оказалось там в идеальном порядке. Клотильда просто глазам своим не верила.

Советник спросил ребят, произошли ли в их отсутствие какие-нибудь интересные события. Мальчики хотели было рассказать об острове с пальмой, но вспомнили совет капитана и смущённо покачали головами.

— Я так и думал, — сказал советник и улыбнулся. — Твоя мать, Тео, в ночь на среду вдруг очень разволновалась: ей показалось, что вам грозит какая-то опасность. Вот лишние доказательства того, что все эти предчувствия — сущая ерунда.

Сыщики переглянулись, но благоразумно промолчали. Вторник взял свою пижаму, зубную щётку, поблагодарил за гостеприимство и отправился в пансион к родителям.

Потом Профессор рассказал отцу про их неудачную попытку заставить мистера Байрона вернуться и про их план помощи Джекки.

— Знаешь, Джекки ночевал сегодня у нас на раскладушке. Сейчас он пошёл в гости к Гансу. Если вы с мамой не против, он пока поживёт у нас.

Господин Хаберланд не возражал.

— Вы хорошо воспользовались своей самостоятельностью, — сказал он. — Хоть снова уезжай за границу.

Ребята, конечно, опять почувствовали себя неловко.

— Иногда взрослые всё же нужны, — сказал Густав, как всегда, необдуманно.

Мальчики перепугались. Эмиль наступил Густаву на ногу. Густав охнул.

— Что с тобой? — спросил советник.

— Живот заболел,— сказал Густав.

Советник тут же принёс желудочные капли, и, хотя Густав был здоров как бык, ему пришлось, ни слова не говоря, выпить лекарство.

Ребята ехидно улыбались.

— Если тебе не станет лучше, я дам тебе через десять минут ещё двадцать капель.

— Нет, нет!— закричал Густав.— Я уже в полном порядке.

— Это замечательное средство.— Советник был доволен.— Оно действует безотказно.

...После обеда пришёл капитан. Все ещё сидели за столом. Поздоровавшись, он вынул свежую газету и сказал:

— Ну, ребята, вот это размах! Ради этого Джекки вы подняли на ноги чуть ли не всё побережье. Кстати, где он?

— У вашего племянника,— ответил Эмиль.

Все спрудились над газетой. Только Профессор не двинулся с места, хотя ему до смерти хотелось посмотреть, как выглядит его призыв.

Потом капитан показал объявление, где говорилось, что Эмиль и сыщики будут в течение недели выступать в кино после каждого сеанса и что весь сбор первого дня пойдёт в пользу Джекки Байрона.

Пони была в восторге.

— Какое мне надеть платье?— спросила она взволнованно.— А может, позвонить, чтобы прислали из Берлина моё новое?

— Неужели это может доставить тебе удовольствие?!— изумлённо воскликнул Густав.

— Какой ужас!— сказал Профессор.— Нас будут разглядывать, как колбасу на витрине.

— Ничего не поделаешь,— сказал Эмиль.— Есть ради чего страдать.

Пони встала.

— Ты куда?— спросила бабушка.

— Позвоно домой насчёт платья.

— И не думай! Садись на место!— приказала бабушка. Она сокрушённо покачала головой.— Как глупы женщины!

— Верно,— сказал Густав.— Она уже считает себя великой артисткой. Гретой Гарбо!

— Идиот!— буркнула Пони.

Он сделал вид, что не слышал, и сказал:

— Если бы я был девчонкой, я бы с горя ушёл в монастырь.

— А если бы я была мальчишкой,— ответила Пони,— я бы дала тебе по шее.

...Капитан пошёл в гостиницу, чтобы поговорить с Джекки. Но мальчика в гостинице не оказалось. Капитану сказали, что он на теннисном корте. Там капитан его и нашёл. Джекки бегал и подбирал укатившиеся мячи. Увидев капитана, он радостно окликнул его:

— Привет, капитан!

— Привет, Джекки. Я хочу с тобой поговорить.

— К сожалению, сейчас никак не могу! — крикнул Джекки, кидая игроку два мяча и подымая три других, укатившихся с корта.— Я, как видите, работаю. Пятьдесят пфеннигов в час. Надо же зарабатывать на хлеб, верно? Я вообще не люблю болтаться без дела.

— Понятно,— сказал капитан.— Когда ты освободишься?

— Ровно через час, если меня не задержат.

— Тогда приходи ко мне ровно через час, если тебя не задержат.

— Есть, капитан! — крикнул Джекки и снова кинул игроку два мяча.

— Жду! — крикнул в ответ капитан и зашагал домой.

Бабушка, Эмиль и Пони отправились погулять в лес. Пони отстала — она собирала цветы.

— Ты регулярно пишешь маме? — спросила бабушка Эмиля.

— Конечно. Она мне тоже пишет через день.

Они сели на траву. На ветке берёзы раскачивалась золотистая овсянка. По дорожке деловито расхаживала цапля.

— Я ей тоже написала. Из Копенгагена,— сказала бабушка, глядя на майского жука, который медленно расправил крылья и улетел.— Скажи, тебе нравится старшина Йешке, мой мальчик?

Эмиль испуганно поднял глаза.

— Разве ты об этом знаешь?

— Ты, может быть, недоволен, что моя дочь спрашивает моего совета, выходить ли ей снова замуж?

— Уже давно решено, что они поженятся.

— Ничего не решено,— возразила бабушка.— Ничего не решено.

Прибежала Пони, показала свой букет и крикнула:

— Я, кажется, хочу стать садовницей.

— Я согласна, я согласна, чтобы ты стала садовницей. На прошлой неделе ты хотела стать медсестрой. Две недели назад — фармацевтом. Продолжай в том же духе, продолжай в том же духе. Вот только если скажешь, что будешь пожарником, я тебе не поверю.

— Трудно найти себе профессию по душе, — сказала Пони. — Если бы у меня было много денег, я купила бы самолёт и стала лётчицей.

— А если бы у твоей бабушки были колёса, она была бы автобусом, — сказала бабушка. — А теперь носи цветы домой и поставь их в воду. Иди, прекрасная садовница.

Пони не хотела уходить.

— Иди, иди, у нас с Эмилем серьёзный разговор.

— Я обожаю серьёзные разговоры, — сказала Пони.

Бабушка строго посмотрела на внучку. Пони пожалала плечами, продекламировала: «Она исчезла, утопая в сиянии голубого дня» — и ушла. Эмиль довольно долго сидел молча. Всё тише и тише звучала песня, которую напевала Пони. Наконец Эмиль спросил:

— Бабушка, а почему это ещё не решено окончательно?

— Не знаю. Так тебе нравится этот старшина?

— Да. И у нас с ним приличные отношения. Я его зову Генрих, по имени. А главное, его любит мама.

— Что верно, то верно, — согласилась бабушка. — Но мне кажется, что именно это тебе и неприятно. Не спорь! Когда имеешь такого прекрасного, горячо любящего сына, муж не нужен. Ты, наверно, так считаешь?

— Да, пожалуй, — признался Эмиль. — Только ты это выразила очень грубо.

— Так и надо, мой мальчик, так и надо! Если один не хочет говорить, другому приходится преувеличивать.

— Я маме никогда в этом не признаюсь, — сказал Эмиль, — но я, честно говоря, представлял себе нашу жизнь иначе. Я думал, мы всегда будем вместе. Вдвоём. Но ведь она его любит, и это всё решает. А я... Я ничем себя не выдам.

— Ты уверен? — спросила бабушка. — А ты бы посмотрел как-нибудь в зеркало. Тот, кто приносит жертву, не должен сам иметь вид жертвы. Я близорукая старуха. Но, чтобы всё прочесть на твоём лице, очки не нужны. В один прекрасный день твоя мать это тоже увидит. И тогда уже ничего не исправишь.

Бабушка порывлась в своей сумке и вынула оттуда письмо и очки.

— И прочту тебе одно место из её письма. Хотя я, наверно, не должна этого делать. Но я хочу тебе показать, как плохо ты знаешь свою мать.— Бабушка нацепила на нос очки и стала читать:

Йешке в самом деле очень милый, надёжный и хороший. Я не встречала до него человека, за которого я могла бы выйти замуж, если вообще решиться на этот шаг. Дорогая мама, только тебе я могу признаться, что охотнее всего я осталась бы вдвоём с Эмилем. Йешке, конечно, об этом не подозревает и никогда этого не узнает. Но что мне делать? Со мной может в любой момент что-нибудь случиться. И что тогда будет с мальчиком? А вдруг я перестану зарабатывать? Мой доход и так уже заметно уменьшился. На рыночной площади открылась новая парикмахерская, и все торговки стали ходить туда, потому что жена парикмахера — их постоянная покупательница. Я должна подумать о будущем Эмиля. Это для меня самое важное в жизни. И я буду Йешке хорошей женой. Я это твёрдо решила. Он заслуживает доброго отношения. Но по-настоящему я люблю только моего единственного, моего дорогого мальчика.

Бабушка положила письмо на колени. Она долго смотрела в одну точку, потом медленно сняла очки.

Эмиль был бледен. Он стиснул зубы. Потом вдруг опустил голову и заплакал.

— Да, да, мой мальчик! Да, да, мой мальчик!

Она замолчала и дала ему выплакаться. Спустя некоторое время она сказала:

— Ты любишь только её, а она — только тебя. И оба вы, несмотря на такую большую любовь, не поняли друг друга и заставили друг друга страдать. Такое случается в жизни. Да, случается.

Сойка с криком пронеслась над верхушками деревьев.

Эмиль вытер глаза и посмотрел на бабушку.

— Я не знаю, что мне делать! Разве я могу допустить, чтобы она вышла замуж ради меня? Когда мы оба больше всего хотим жить вдвоём? Что же мне делать?

— Что тебе делать? Есть два пути, мой мальчик. Либо ты, вернувшись домой, попросишь её не выходить замуж. Вы кинетесь друг другу в объятия, и с этим делом будет покончено раз и навсегда.

— Либо?

— Либо ты ей ни слова не скажешь! И до самой смерти будешь скрывать от неё свои чувства! И не будешь ходить с видом жертвы! Что выбрать, ты можешь решить только сам. Но я хочу тебе сказать лишь одно: ты становишься старше и твоя мать тоже становится старше. На словах это куда проще, чем на самом деле. Сумеешь ли ты уже через несколько лет зарабатывать достаточно, чтобы вы могли жить? И если даже сумеешь, то где? В Нойштадте? Нет, мой мальчик. Наступает день, когда приходится уезжать из дому. И даже если нужда не гонит, это всё равно следует сделать! И тогда твоя мама останется дома одна. Без сына. Без мужа. Совсем одна. И ещё вот что: через десять—двенадцать лет ты, наверное, сам женишься. Что будет тогда? Мать и молодая жена плохо уживаются под одной крышей. Я это хорошо знаю. Я это сама пережила.— У бабушки были такие глаза, что казалось, она глядит не в лес, а в прошлое.— Если твоя мама выйдет замуж, каждый из вас принесёт другому жертву. Но она никогда не узнает, что я тебе рассказала об её жертве. И она также никогда не узнает, что и ты ей тоже принёс жертву! Потому груз, который она берёт на себя ради тебя, будет легче, чем тот, который ты несёшь ради неё. Ты меня понял, мой мальчик?

Эмиль кивнул.

— Нелегко,— продолжала бабушка,— с благодарностью принять жертву, когда ты сам тайно приносишь ещё большую жертву. Это поступок, о котором никто не узнает и который никто не оценит. Но придёт день, когда он принесёт твоей маме счастье. Вот единственная награда, которая тебя ждёт.— Бабушка встала.— Поступай, как знаешь! Реши либо так, либо эдак. Но обдумай всё как следует. Посиди здесь один.

Эмиль вскочил.

— Я пойду с тобой, бабушка! Я уже всё решил. Я буду молчать.

Бабушка посмотрела ему в глаза.

— Поздравляю тебя,— сказала она.— Поздравляю тебя! Сегодня ты стал мужчиной. Ну, а тот, кто раньше других становится мужчиной, тот и дольше им остаётся. А ну-ка, помоги мне перешагнуть через канаву!



Глава пятнадцатая

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОКОНЧЕНО

В пятницу сыщики провели объявленный сбор денег в пользу Джекки. Вторник и Профессор отвечали за пляж и гавань, Густав—за купальни, Эмиль—за улицы городка, а Пони—за вокзал.

— Я так взволнована,— сказала она,— подумать только: сейчас по всему побережью ходят дети со списками и карандашами и собирают деньги для Джекки. Дайте мне тоже поскорее лист бумаги и карандаш. Я тоже хочу участвовать.

Когда в полдень ребята вернулись домой, чтобы подсчитать, сколько собрали, к ним на террасу влетела Клотильда. Она была вне себя.

— Разве можно стряпать, когда обрывают звонок! — кричала она. — Знаете, сколько раз сегодня трезвонили в дверь? Двадцать три раза! Приходят дети, спрашивают вас и суют деньги!

— Вот это да! — воскликнул Профессор.

— Для вас—да, а для обеда—нет. Молоко убежало, овощи переварились, телятина подгорела. Я занималась готовить, а не деньги считать.

— Сегодня и подгоревшая телятина будет слаще мёда! — сказал Густав.

Всё ещё ворча, Клотильда выгребла из кармана передника целую пригоршню монет и вывалила их на стол.

— Натё считайте: здесь три марки девяносто пфеннигов! Разводить бухгалтерию мне было некогда... Ой, картошка горит! — завопила она и умчалась на кухню, так и не сказав, что пятьдесят пфеннигов она прибавила от себя.

Дети высыпали все принесённые деньги тоже на стол и принялись их сортировать—медь к меди, серебро к серебру. Одинаковые монетки они складывали столбиком, а потом считали. Получилось сорок три марки. Проверили по спискам—всё сошлось. А маленький Вторник прибавил к этой сумме бумажку в 20 марок и сказал, покраснев:

— Это от моего папы.

— Да здравствует большой Вторник! — закричали ребята.

Профессор сбежал в сад, отыскал отца, который возился с помидорами в теплице, и вернулся с десятью марками.

Потом они выпотрожили и свои карманы, выложили всё, до последнего пфеннига, и успокоились только тогда, когда на столе лежало семьдесят пять марок. Они сияли от восторга.

Вторник вынул носовой платок, сгрёб в него всю гору мелочи и завязал узлом.

— Ты что, собираешься фокус показать? — спросил Эмиль. — Деньги есть. Раз, два, три — денег нет, посмотри!

— Я их унесу, — сказал Вторник.

— Куда? — спросил Профессор.

— Пусть здесь лежат! — крикнула Пони.

— Не мешайте малышу. Есть один план. И на этот раз это моя идея, — сказал Густав.

— О боже! И у тебя появились идеи! — ужаснулась Пони. — Может, ты заболел? А?

— Я — нет. А вот тебя мы завтра навестим в больнице, — сказал Густав и засучил рукава.

Девочка с визгом убежала на кухню.

— Погремушка! Раз в жизни мне пришла в голову хорошая мысль, а она воображает...

— Милые бранятся — только тешатся, — сказал Вторник, взял платок с деньгами и ушёл.

Джекки явился к обеду. Телятина, несмотря на все вопли Клотильды, оказалась такой вкусной, что пальчики оближешь. Бабушка заговорила о сборе денег. Ей хотелось понять, как к этому относится сам Джекки.

— Знаете, как я рад, многоуважаемая бабушка, — сказал он. — Прежде всего потому, что ребята так обо мне позаботились. Настоящие друзья! Но и не только поэтому. Деньги всегда нужны, так? Видите ли, сегодня я три часа бегал за мячами на теннисном корте. Тоже, можно сказать, собирал деньги. Заработал марку восемьдесят пфеннигов. После обеда побегаю ещё два часа — ещё одна марка. Так?

Все засмеялись.

— Ну что, я не прав? Вчера на корте я смеха ради крутанул несколько сальто. Все игроки пришли в дикий восторг, а один даже подарил мне свою старую ракетку. Теперь я сам научусь играть в теннис. Потом стану тренером. Так? А потом в один прекрасный день всех обыграю и стану

первой ракеткой в Германии. А потом поеду играть в Париж и в Америку и стану чемпионом мира. Так? Конечно, фамилию я перемену на какую-нибудь красивую. Пащульке — не чемпионская фамилия. Так? Но ведь я уже был Байроном. Одной фамилией больше, одной меньше — какая разница? Так? А если у меня не окажется таланта к теннису, я пойду к вам юнгой, капитан! Так? — неожиданно закончил свою речь Джекки.

Он склонился над тарелкой и принялся уплетать за двоих.

— Да, — сказала бабушка. — За этого я не беспокоюсь.

— И я за себя не беспокоюсь, — сказал Джекки. — Для артиста, который слишком быстро растёт, найдётся профессия. Так?

— Мне кажется, Джекки вовсе не нуждался в нашей помощи, — шепнул Эмиль бабушке.

— Каждый добрый поступок всегда имеет смысл, — шепнула в ответ бабушка.

После обеда к причалу пришвартовалось два парохода. Один шёл с западного побережья, другой — с восточного. И оба они были битком набиты детьми. Сотни детей заполнили весь Корлсбюттель. Повсюду слышались крики и смех. Самое большое столпотворение было перед кино «Маяк» (кассиры потом два дня не могли прийти в себя).

Ровно в четыре часа начался первый сеанс. Зал был битком набит. А на улице стояла огромная очередь в ожидании следующего сеанса. У директора сердце разрывалось при мысли, что весь сбор пойдёт не в его карман. Но тут уже ничего не попишешь: Он вошёл к сыщикам, которые сидели в его кабинете, дал им последние указания.

— Всё! Отступать некуда! — сказал Эмиль.

— «Смейся, паяц, над разбитой душой», — пропел Густав.

После киножурнала в зале зажгётся свет и раскрывлся занавес. На сцене стояли четверо мальчишек и одна девочка! Дети повскакали с мест, многие встали ногами на сиденья. Зал медленно успокаивался, и наконец воцарилась полная тишина. Эмиль подошёл к рампе и громко сказал:

— Привет! Все мы благодарим вас за то, что вы пришли. Мы благодарим вас и за то, что вы собирали деньги для Джекки. Он отличный парень, иначе мы бы к вам не обращались за помощью. После фильма он вас лично поблагодарит. А сейчас давайте посмотрим кино. Мы надеемся, что всем нам будет интересно.

Один маленький мальчик, сидевший на коленях у своей мамы, спросил тоненьким голоском:

— Ты и есть Эмиль?

Дети в зале засмеялись.

— Да, я—Эмиль Тышпбайн.

Пони подошла к нему и с гордым видом сказала:

— А я—Пони-Шапочка, кузина Эмиля.

Потом вышел вперёд Профессор.

— А я—Профессор,—сказал он, и голос его дрогнул.

— А я—маленький Вторник.

Потом наступил черёд Густава.

— А меня зовут Густав с клаксоном. Но теперь у меня есть мотоциклетка.—Он сделал небольшую паузу.—Ну, погремушки, все, что ли, собрались?

— Все!—заорали дети из зала.

Густав рассмеялся.

— А какой пароль?

— Пароль «Эмиль»!—крикнули все разом и так громко, что слышно было у вокзала.

А потом погас свет, и застрекотал аппарат.

Когда фильм кончился, ребята несколько минут хлопали в ладоши. Потом зажгли свет. Девочка, сидевшая рядом с Пони, сказала ей:

— Знаешь, с тех пор ты изменилась до неузнаваемости.

— Так ведь девочка в картине—это не я. Она только меня играет.

— Ну да? А Эмиль, про которого фильм,—тот самый Эмиль, который сидит рядом с тобой?

— Ну да! Он—настоящий Эмиль, это мой кузен, а с мальчиком, который играет в картине, я вообще не знакома. А теперь молчи! Это ещё не всё.

На сцену вышел Джекки. Он подошёл к рампе и сказал:

— Вы собирали деньги для одного мальчика, так? Этот мальчик—я. Больше вам всем спасибо! Я считаю, что это просто здорово с вашей стороны. Когда я вырасту, а кому-нибудь из вас придётся туго, пусть он меня найдёт. Так? Договорились?

Потом на сцену снова вышел Густав. И он сказал, обращаясь к Джекки:

— По поручению моих друзей и всех ребят Корлсбюттеля я вручаю тебе сберегательную книжку на семьдесят пять марок. Вот сколько денег мы собрали!

Джекки пожал Густаву руку.

А в зале Профессор шепнул Вторнику:

— Так вот, значит, что придумал Густав. Положить деньги на сберкнижку!

— Разве плохо?

— Наоборот, отличная мысль, просто отличная.

Густав крикнул в зал:

— А теперь я попрошу на сцену ребят из других курортных посёлков!

Началась невероятная толкотня.

— Не всех, только по одному от каждого!

В конце концов на сцене оказалось семь мальчиков. И каждый передал Джекки сберкнижку. У Джекки в глазах стояли слёзы, хотя, как вы знаете, он совсем не был плаксой.

Густав торопливо перелистывал все сберкнижки. А когда мальчики вернулись в зал, он крикнул:

— Всего собрано шестьсот пятнадцать марок! Кроме того, Джекки получит всю сегодняшнюю выручку. О-го-го! Джекки, я поздравляю тебя! Пусть тебе это поможет встать на ноги.

И Густав исчез за кулисами.

— Этого я не ожидал! — сказал Джекки. — Теперь мне нужен кассир! — И он снял свою куртку. — Мой старый друг капитан Шмаух посоветовал мне выступить перед вами. В знак благодарности. Я, правда, не привык работать один, но кое-что могу показать сам.

Сперва Джекки выжал стойку, потом пошёл по сцене на руках. Потом он сделал шпагат, а потом мостик. Зрители хлопали. И тут Джекки стал крутить сальто; он кувыркался всё быстрее и быстрее, а потом колесом наискосок пересек всю сцену!

Дети вопили и хлопали так, что у них ладошки распухли. Взрослые тоже были в восторге.

Наконец занавес закрыли. Но прежде чем успели выйти все зрители первого сеанса, в зал вломились ребята на второй сеанс. Поднялся такой шум и такая толкотня, что и представить себе невозможно.

— Сальто мне очень понравилось, — сказала бабушка. — Надо завтра самой попробовать.

Вечером к причалу снова подали два парохода, чтобы развезти детей по домам. Ребята с бою занимали места.

— Пароль «Эмиль»! — орали ребята, на пароходе, плывущем на восток.

— Пароль «Эмиль»! — орали ребята на пароходе, плывущем на запад.

— Пароль «Эмиль»! — орали ребята из Корлсбюттеля, стоящие на причале.

На пароходах зажгли разноцветные фонарики. Один ушёл направо, другой — налево. А Эмиль и сыщики всё стояли на причале и молча провожали глазами уходящие пароходы.

Прибежал Джекки.

— Ах, вот вы где! А я вас повсюду искал. Этот день я никогда не забуду! — сказал он в восторге. — Знаете, какое предложение мне сделал директор кино? Чтобы я выступал у него перед сеансами. А жить я буду у капитана Шмауха. Он меня пригласил. И по вечерам мы с ним на террасе будем играть в подкидного дурака.

В море плыли два освещённых разноцветными фонариками парохода. Волны набегали одна на другую, и белые гребни светились в темноте.

Потом Густав откашлялся, обнял за плечи ребят и сказал:

— Мы останемся друзьями навсегда. Даже когда у нас вырастут бороды, мы всё равно будем вместе.

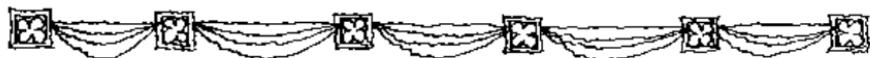
Ребята молчали, но они были того же мнения.

Эрика Лестнер

**Мальчик
из спичечной
коробки**

Юбилей





Глава 1

Моя первая встреча с Маленьким Человеком. Пихельштайн и Пихельштайнеры. Родители Максика отправляются в дальние странствия. Ву Фу и Чин Чин. Место рождения — Стокгольм. Похороны двух китайских косичек. Профессор Йокус фон Покус держит речь

Его называли Маленьким Человеком, и он спал в спичечной коробке. Но настоящее его имя было Макс Пихельштайнер. Правда, этого почти никто не знал. И я тоже, пока он мне сам не сказал. Это было, если не ошибаюсь, в Лондоне. В отеле «Гарленд». В кафе. Там с потолка свисали пёстрые клеточки с птицами. Птицы так громко чирикали, что с трудом можно было расслышать свои собственные слова.



А может быть, это случилось в Риме? В отеле «Амбассадоре» на виа Венето? Или в ресторане гостиницы «Эксельсиор» в Амстердаме? Проклятая память! Она у меня похожа на ящик, битком набитый всевозможными игрушками.

Но уж одно-то я знаю твёрдо: и родители Максика, и его бабушки с дедушками, и абсолютно все его предки были родом из Богемского леса, из самой густой его чащи. Там есть высокая гора, а под нею — маленькая деревушка. Обе они называются Пихельштайн. На всякий случай я заглянул в свой старый справочник. В нём чёрным по белому сказано:

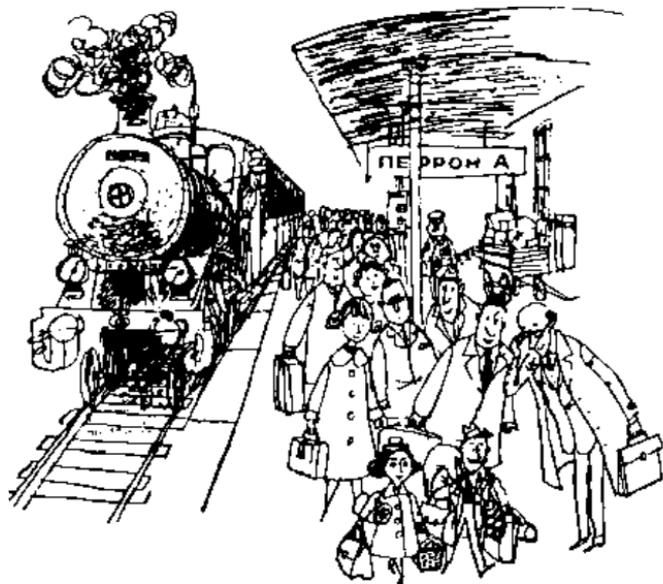
Пихельштайн. Деревня в Богемии. 412 жителей. Низкорослый тип людей. Максимальный рост 51 сантиметр. Славится Гимнастическим союзом (Г.С.Пихельштайн, основан в 1872

году) и пихельштайновским мясом. (Подробнее см. том IV — статья «Обеды из одного блюда».) Все жители в течение многих столетий носят фамилию Пихельштайнер. (Литература.) Пастор Ремигиус Даллмайр. «Пихельштайн» и «Пихельштайнеры», 1908. Самиздат. (Распродано.)

«Ну и деревня!» — наверное, скажете вы. Что поделаешь! Ведь всё, что говорится в моём справочнике, почти всегда истинная правда.

Через год после свадьбы родители Максика решили попытаться счастья. Ростом они были низковаты, но метили высоко: их планы не уместались в деревушке Пихельштайн в Богемском лесу. И вот в один прекрасный день супруги захватили свои пожитки, а вернее, пожиточки, и отправились в далёкий путь. Куда бы они ни приезжали, всюду на них глазели как на чудо. Люди разевали рты и потом еле-еле могли их снова закрыть. Правда, мать Максика была изумительная красавица, а его отец отрастил пышные чёрные усы, но всё же ростом они оба были не выше пятилетних детей. Ничего удивительного, что все удивлялись.

Чего же они хотели добиться? Оба они были великолепными гимнастами, но мечтали стать акробатами. И действительно, когда они показали господину Грозоветтеру, директору цирка «Стильке», несколько упражнений на турнике и





кольцах, тот восторженно захлопал в свои белые лайковые перчатки и воскликнул:

— Bravo, мальщи! Я вас беру!

Это было в Копенгагене. Перед самым обедом. В цирке под огромным шатром, натянутым на четыре высоченные мачты. Максика тогда ещё и на свете не было.

Хотя его родители были инструкторами по гимнастике у себя в Пихельштайне, им пришлось много учиться и упорно тренироваться. Только через три месяца их включили в китайскую акробатическую труппу «Семья Бамбусов». В сущности, семья Бамбусов не была настоящей семьёй. В ней не было ни одного взаправдашнего китайца. Даже искусно зашлетённые косички, что болтались на затылке у каждого из них, тоже были поддельными. Но зато все Бамбусы до единого были истинными артистами, жонглёрами и акробатами, каких ещё свет не видывал. Они с такой скоростью вращали бьющиеся тарелки и чашки на кончиках тонких, дрожащих прутьев из жёлтого бамбука, что у зрителей дух захватывало. Самые большие и сильные Бамбусы держали на поднятых ладонях длиннющие бамбуковые прутья, а самые маленькие

х

Бамбусики проворно, как белки, карабкались вверх по скользкому бамбуку и делали на кончике прута сначала стойку на руках, а потом — под приглушённую барабанную дробь — на голове. Они даже ужитрялись на десятиметровой высоте проделывать сальто! Перевернутся в воздухе, словно это для них сущий пустяк, встанут обеими ногами на качающиеся острия бамбуковых прутьев, улыбнутся и как ни в чём не бывало посылают публике воздушные поцелуи. Оркестр играет туш, а зрители хлопают, пока не отобьют ладоши.

Теперь родители Максика назывались на всех афишах и в программах Ву Фу и Чин Чин и носили фальшивые косы и вышитые пёстрой гладью кимоно из шурищащего шёлка. Вместе со скатанным брезентовым шатром, а также со слонами, хищниками, глотателями огня, клоунами, акробатами, арабскими жеребцами, коцухами, укротителями, балеринами, механиками, музыкантами и господином директором Грозоветтером они переезжали из одного большого города в другой, добывали цирку славу и деньги и по меньшей мере двадцать раз на дню радовались, что уехали из Пихельштайна.

Максик появился на свет в Стокгольме. Врач долго смотрел на него в лупу, а потом улыбнулся и сказал родителям:

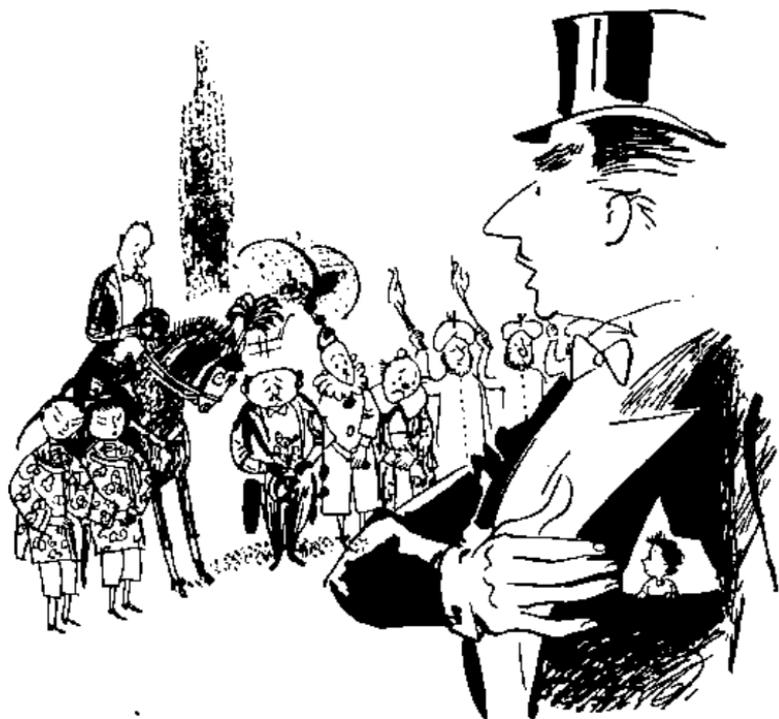
— Да он же просто богатырь! Поздравляю вас!

Когда Максика исполнилось шесть лет, он потерял родителей. Это случилось в Париже. Родители Максика поднялись в лифте на Эйфелеву башню, чтобы оттуда полюбоваться прекрасным видом. Только они вышли на площадку, как налетел сильный вихрь и унёс их. Остальные посетители, которые были гораздо выше ростом, удержались за поручни.

А Ву Фу и Чин Чин погибли. Всем было видно, как они летели, держась за руки, а потом исчезли вдали.

На следующий день газеты писали: «Ветер унёс с Эйфелевой башни двух маленьких китайцев! Безуспешные поиски на вертолётах! Тяжёлая потеря для цирка «Стильке»!»

Конечно, тяжелее всех перенёс её Максик: ведь он очень любил родителей. Сколько крошечных слезинок пролил он в свои крошечные носовые платочки! А когда через две недели



на кладбище в маленькой шкатулке из слоновой кости хоронили пару чёрных китайских косичек — их за Канарскими островами выловил из океана португальский пароход, — Максику хотелось умереть от горя.

Удивительные это были похороны! В них участвовали: семья Бамбус в кимоно, укротитель львов и тигров с траурной повязкой на хлысте, наездник Галошинский верхом на вороном жеребце Нероне, глотатели огня с горящими факелами в руках, господин директор Грозоветтер в цилиндре и в чёрных лайковых перчатках, клоуны с мрачно разрисованными лицами, но прежде всего — в роли оратора — знаменитый профессор фокусных наук Йокус фон Покус. В конце своей торжественной речи профессор сказал:

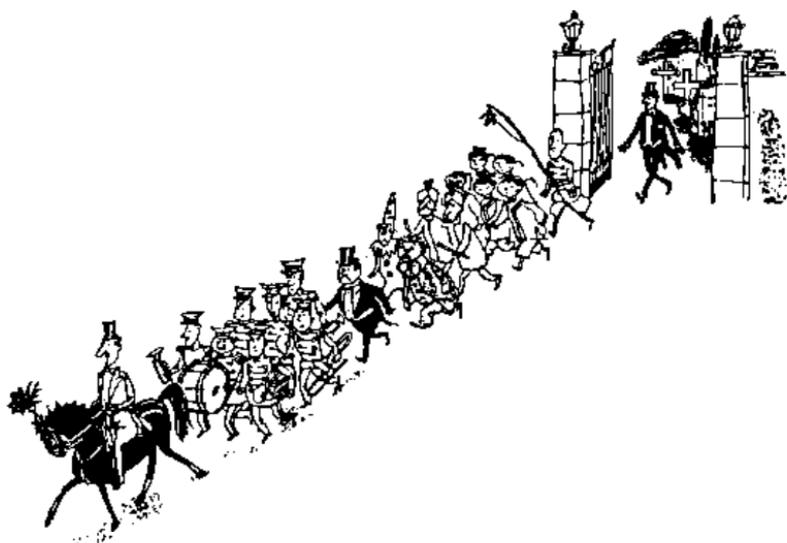
— Двое наших коллег, которых мы сегодня оплакиваем, оставили нам в наследство маленького Максика. Незадолго до своего рокового восхождения на Эйфелеву башню они приве-

ли его ко мне в номер и попросили присмотреть за ним до их возвращения. Сегодня мы знаем, что они не вернутся. Поэтому, пока я жив, я буду с величайшим удовольствием заботиться о Максике. Согласен ли ты, мой мальчик?

Максик выглянул из бокового кармана его волшебного фрака и громко всхлипнул:

— Да, дорогой Йокус! Я согласен!

И все присутствовавшие тоже заплакали от горя и радости. Слезы смыли траур с лиц клоунов. А профессор извлёк прямо из воздуха огромный букет цветов и положил их на могилку. Глотатели огня сунули в рот горящие факелы, и пламя тут же потухло. Оркестр исполнил марш гладиаторов. А потом все во главе с наездником Галопинским и его вороным жеребцом Нероном отправились назад, в цирк. Потому что была среда.



Ведь, как всем известно, по средам, субботам и воскресеньям в цирке дают дневные представления. Для детей. По сниженным ценам.



Глава 2

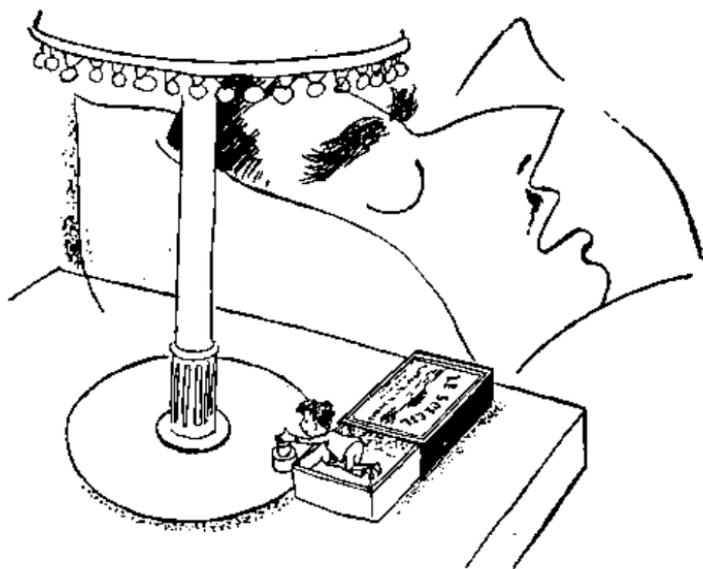
Спичечная коробка на ночном столике. Минна, Эмма и Альба. Шестьдесят граммов живого веса, но крепкое здоровье. Маленький Человек поступает в школу. Неприятности в Афинах и Брюсселе. Занятия на стрелялке. Книги величиной с почтовую марку

Кажется, я уже говорил вам, что Максик спал в спичечной коробке. Вместо шестидесяти спичек в ней помещались ватный туфячок, клочок одеяла из верблюжьей шерсти, подушка размером с ноготь на моём безымянном пальце и сам Максик. Коробка оставалась наполовину открытой, а то бы он задохнулся.

Спичечная коробка лежала на ночном столике рядом с кроватью фокусника. По вечерам, как только профессор Йокус фон Покус поворачивался к стенке и начинал похрапывать, Максик выключал настольную лампу и тоже засыпал. Вместе с ними в номере спали две голубки — Минна и Эмма, а в корзинке — крольчиха Альба. Голуби спали на шкафу. Они зарывались головками в перья и тихонько ворковали во сне.

Все трое служили у профессора и помогали ему выступать в цирке. Голуби ни с того ни с сего вылетали из рукавов его фрака, а крольчиху неожиданно обнаруживали в пустом цилиндре. Минна, Эмма и Альба очень любили фокусника, а от маленького Максика были просто без ума. Все пятеро завтракали вместе, а потом Максиму иногда разрешалось садиться верхом на Эмму, и он совершал круговой полёт по комнате.





Длина спичечной коробки — шесть сантиметров, ширина — четыре, высота — два. Именно то, что требовалось Максиму! В свои десять и даже двенадцать лет он был неполных пяти сантиметров роста, и спичечная коробка была ему в самый раз. На почтовых весах у швейцара гостиницы он весил шестьдесят граммов. При этом у него всегда был хороший аппетит, и он никогда ничем не болел. Кроме кори. Но корь не считается. Корью болеет каждый второй ребёнок.

В семь лет он, конечно, мечтал учиться в школе. Но уж слишком трудным оказалось для него учение. Во-первых, каждый раз при переезде цирка школу приходилось менять. А вместе со школой и язык. Потому что в Германии учили на немецком языке, в Англии — на английском, во Франции — на французском, в Италии — на итальянском, а в Норвегии — на норвежском. Но это было для Маленького Человека не самое трудное: он был очень смыслённый мальчик. Главная же трудность заключалась в том, что все его сверстники были намного выше ростом. И все они воображали, что быть выше ростом — это очень важно. Поэтому бедняге Максиму пришлось хлебнуть горюшка.

В Афинах, например, три маленькие гречанки как-то на перемене воткнули его в чернильницу. А в Брюсселе два бельгийских озорника посадили его на карниз, который

держит шторы. Правда, Максик сам слез оттуда. Потому что лазить он уже и тогда умел лучше всех. Но, конечно, подобные глупости ему вовсе не нравились. И однажды фокусник объявил:

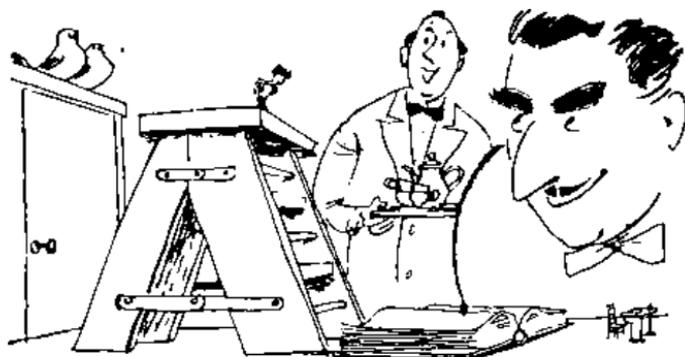
— Знаешь что? Я сам буду давать тебе уроки.

— Вот здорово! — воскликнул Максик. — Когда же мы начнём?

— Послезавтра в девять утра, — сказал профессор Йокус фон Покус. — Но только не радуйся заранее!

Прошло немало времени, прежде чем они придумали, как им заниматься. Кроме учебников и тетрадей для занятий, понадобились стрёмьянка с пятью перекладинами и сильная лупа. Перед тем как начать читать, Максик забирался на верхнюю ступеньку, потому что буквы были слишком велики для него. Лишь с верхней перекладки он мог обозревать всю страницу. К уроку письма он готовился совсем по-другому. Максик садился за свою крошечную парту. Крошечная парта стояла на огромном столе. А профессор, сидя за столом, в лупу разглядывал каракули Максика. Лупа в семь раз увеличивала написанное — только так профессору удавалось разглядеть слова и буквы. Без лупы и он, и официант, и горничная приняли бы их за чернильные брызги или за мушпные следы. Но в лупу было ясно видно, что это буквы, да к тому же красиво написанные.

На уроках арифметики происходило то же самое. Чтобы разглядеть цифры, опять требовалась лупа. А Максик, чем бы он ни занимался, всегда был в пути. Чтобы списать условия задачи, он то лез на стрёмьянку, то спускался с неё и садился за парту. И так весь урок.



Однажды после завтрака официант, убравший посуду, сказал:

— Если бы я не знал точно, что у мальчика урок чистописания, я был бы уверен, что он занимается гимнастикой.

Все рассмеялись. И Эмма с Минной тоже, потому что они были из породы хохотуний.

Максиму не пришлось долго читать по складам. Он очень скоро научился читать так быстро, словно всю жизнь только это и делал. Теперь его невозможно было оторвать от книги. Самой первой его книгой был подарок Йокуса фон Покуса — «Сказки братьев Гримм». Он наверняка прочёл бы её быстрее, чем за неделю, если бы не проклятая лестница.

Каждый раз, когда ему надо было перевернуть страницу, он волей-неволей должен был спускаться с лестницы, прыгать на стол, поворачивать страницу и опять взбираться по лестнице на самый верх. Лишь после этого он узнавал, что было дальше. А две страницы спустя ему снова надо было прыгать на стол и бежать к книге! Так продолжалось до бесконечности: от книги — вверх по лестнице, потом спустя две страницы — вниз по лестнице, вверх — вниз, вверх — вниз. Просто с ума сойти!

Однажды профессор вошёл в комнату, когда мальчик, в двадцать третий раз поднявшись по лестнице, топал ногами и кричал:

— Безобразие! Почему на свете нет совсем маленьких книг с совсем маленькими буквами!

Профессор, увидев сердитого Максика, сначала рассмеялся. Но потом подумал и сказал:

— А ведь ты, пожалуй, прав. И если таких книг пока ещё нет, мы их закажем специально для тебя.

— А есть такой человек, который может их напечатать?

— Понятия не имею, — ответил фокусник. — Но в марте наш цирк будет выступать в Мюнхене. А там живёт часовой мастер, по имени Унру. У него мы всё выясним.

— А откуда это может знать часовой мастер Унру?

— Он может знать, потому что сам занимается подобными делами. Например, десять лет назад он написал «Песнь о колоколе» Шиллера на обратной стороне почтовой марки. А в этом стихотворении, что ни говори, 425 строк!

— Здорово! — ахнул Максик. — Мне бы такую книгу!

Чтобы вас не задерживать, скажу сразу: часовщик Унру действительно знал типографию, где можно было отпечатать маленькие книжки. Прошло совсем немного времени, и

мальчику удалось собрать целую библиотеку из таких книжек.

Теперь ему не надо было больше заниматься гимнастикой на стремянке. Он мог читать, устроившись поудобнее. Больше всего он любил читать по вечерам, лёжа в спичечной коробке, когда профессор уже спал и только тихо похрапывал. Ах, как это было уютно! Под потолком на шкафу ворковали голуби. А Максик наслаждался какой-нибудь из своих любимых книг: «Карликом Носом», или «Мальчиком с пальчик», или «Нильсом Хольгерсоном», или своей самой любимой — «Гулливвером».

Иногда профессор сквозь сон ворчал:

— Потуши свет, бессовестный!

А Максик шёпотом просил:

— Ну ещё только одну минуточку, Йокус!

Иногда эта «минуточка» длилась целых полчаса. В конце концов он всё же гасил свет и засыпал. И ему снился Гулливвер в стране лилипутов.

Разумеется, Гулливвером, который спокойно перешагивал через высокие городские стены и один уводил в плен весь вражеский флот, был не кто иной, как Максик Пихельштайнер.

Глава 3

Он хочет стать артистом. Высокие люди и великие люди не одно и то же. Разговор в Страсбурге. О профессии переводчика. План профессора разбивается об упрямство Максика

Чем старше становился Маленький Человек, тем чаще у них с Йокусом заходили разговоры о том, кем же в конце концов он собирается стать. И Максик каждый раз заявлял:

— Я пойду в цирк. Я буду артистом.

А профессор каждый раз качал головой и возражал:

— Нет, малыш, это не годится. Ты слишком мал для артиста.

— Ты каждый раз по-другому говоришь! — ворчал Максик. — А кто мне рассказывал, что многие знаменитости были маленького роста? И Наполеон, и Юлий Цезарь, и Гёте, и Эйнштейн, и ещё другие. И потом, ты говорил, что высокие люди редко бывают великими, потому что у них вся сила уходит в рост.

Профессор почесал голову. Наконец он сказал:

— Всё же и Цезарь, и Наполеон, и Гёте, и Эйнштейн никогда не стали бы хорошими артистами. У Цезаря, например, были такие короткие ноги, что он с трудом влезал на коня.

— Но я ведь вовсе не собираюсь быть наездником, — возражал мальчик. — Разве мои родители были плохие артисты?

— Что ты! Чудесные!

— А они были большие?

— Нет. Маленькие, и даже очень.

— Значит, милый Йокус...

— Никаких «значит»! — сердился фокусник. — Они были маленькие, но ты в десять раз меньше. Ты слишком мал.



И если ты встанешь посреди манежа, тебя никто из публики даже не заметит.

— Тогда пусть берут с собой бинокли,— заявил Маленький Человек.

— Знаешь, кто ты такой?— мрачно спросил профессор.— Ты большой упрямец!

— Нет, я совсем маленький упрямец! И...

— И?— переспросил профессор.

— ...и я буду артистом!— заорал Максик во все горло, так громко, что Альба от страха выронила изо рта листик зелёного салата.

Однажды вечером после очередного представления— это было в городе Страсбурге— они сидели в ресторане гостиницы, и господин профессор Йокус фон Покус уплетал гусиный паштет с трюфелями. Обычно он ел по-настоящему лишь после представления, иначе фрак ему становился тесен, а это мешало показывать фокусы. Потому что во фраке были спрятаны самые разные вещи. Например, четыре колоды игральных карт, пять букетов цветов, двадцать бритвенных лезвий и восемь горящих сигарет. А кроме того, ещё и голуби Минна и Эмма, белая крольчиха Альба и вообще всё, что нужно для фокусов. Поэтому с едой лучше было не торопиться.

Итак, Йокус сидел за столом, ел страсбургский паштет с поджаренным хлебом, а Максик сидел на столе рядом с тарелкой и лакомился крошками. Потом подали венский шницель, салат из фруктов и чёрный кофе. Мальчику досталось по кусочку от каждого блюда и целая четверть глотка кофе. Оба наелись и, довольные, вытянули ноги: профессор— под столом, а Маленький Человек— на столе.

— Теперь я знаю, кем ты будешь,— сказал Йокус, выпустив изо рта удивительно красивое белое кольцо дыма.

Мальчик восхищённо следил за этим кольцом, которое становилось чем больше, тем тоньше, пока не растаяло, ударившись о люстру. Потом он сказал:

— Ты только теперь узнал? А я всегда знал. Я буду артистом.

— Нет,— буркнул профессор.— Ты будешь переводчиком.

— Переводчиком?

— Это очень интересная работа. Ты ведь уже знаешь немецкий язык, порядочно владеешь английским и французским, немного итальянским и испанским...

— И голландским, и шведским, и датским,— продолжал Маленький Человек.



— Вот именно,— подхватил профессор.— Если мы и дальше будем кататься по Европе с нашим цирком, ты эти языки выучишь ещё лучше. Потом, в Женеве, ты сдашь экзамены в знаменитой Женевской школе переводчиков. Как только ты их сдашь, мы с тобой поедem в Бонн. Там у меня есть один знакомый.

— Тоже фокусник?

— Нет, подымай выше! Он чиновник. Он начальник службы печати при федеральном канцлере. Я покажу ему твой женевский диплом, и тогда ты, если всё пойдёт гладко, станешь переводчиком при министерстве иностранных дел или даже личным переводчиком канцлера. А канцлер— это самая главная и самая важная персона. И так как он часто бывает за границей, чтобы вести переговоры с другими канцлерами, то ему нужен хороший переводчик.

— Но ведь не мальчик с пальчик ему нужен!

— Вот именно мальчик с пальчик! Чем меньше рост, тем лучше,— пояснил профессор.— Например, берёт он тебя в Париж, где ему надо что-то обсудить с президентом. Что-то

очень секретное. Что-то ужасно важное. Но немецкий канцлер не очень-то понимает по-французски. Ему нужен переводчик, который бы ему объяснил, что именно говорит французский президент.

— И этим переводчиком обязательно должен быть я?

— Обязательно, мой мальчик,— подтвердил профессор. Он был очень увлечён своей идеей.— Ты садишься в ухо канцлеру и шепчешь ему по-немецки то, что президент говорит по-французски.

— А если я вывалюсь из уха? — спросил Максик.

— Не вывалишься. Во-первых, у него, наверное, такие большие уши, что ты сможешь уютно устроиться внутри.

— А во-вторых? А если у него маленькие ушки?

— Тогда он приделает к уху золотую цепочку вроде серьги, и ты будешь на ней висеть, и у тебя будет титул: «Тайный советник Макс Пихельштайнер», а чиновники будут тебя почтительно величать «лицом, близким уху канцлера». Разве это не здорово?

— Нет,— решительно отрезал Максик.— По-моему, даже очень противно. Я не буду сидеть в ухе. Ни во Франции, ни в Германии, ни на Северном полюсе. А главное, ты забыл главное...

— А что же главное?

— Главное — это то, что я стану артистом.



Глава 4

Маленький Человек хочет стать укротителем. Разве львы не кошки? Максик в стакане. Отчёт о необыкновенном футбольном матче. Йокус прыгает сквозь горящий обруч

На третий день пребывания артистов в Милане, куда цирк «Стильке» вот уже в который раз приезжал на гастроли, Максик, не помня себя от волнения, сказал профессору:

— Йокус, важное сообщение! Кошка в гостинице окотилась. У неё четверо котят. Они живут в двести двадцать восьмом номере и всё время прыгают с кресла на стол и со стола в кресло.

— Ну что ж,— заметил профессор,— это вполне разумно. Не могут же они постоянно сидеть на столе...

Но Маленькому Человеку сегодня было не до шуток.

— Мне горничная их показала,— продолжал он, волнуясь ещё больше.— Они полосатые, совсем как маленькие тигрята.

— Они тебя не поцарапали?

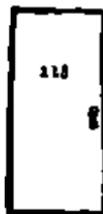
— Ну что ты, конечно, нет,— уверял мальчик.— Мы даже очень подружились. Они мурлыкали, а я кормил их рубленым мясом.

Профессор посмотрел на мальчика исподлобья. Потом он спросил:

— Ты что это задумал? А ну-ка выкладывай поскорее!

Максик глубоко вздохнул и объявил:

— Я стану дрессировщиком, и мы вместе будем выступать в цирке.



— Кто это «мы»? Ты и горничная?

— Нет,— возмутился мальчик,— я и котятка.

Потрясённый Йокус фон Покус упал на стул и целые две, а то и три минуты безмолвствовал. Потом он помотал головой, вздохнул и сказал:

— Кошки дрессировке не поддаются. Разве ты этого не знаешь?

Максик загадочно улыбнулся. Потом он спросил:

— А львы — это кошки?

— Да. Они относятся к семейству кошачьих. Ты прав.

— А тигры? А леопарды?

— Тоже. Ты и тут прав.

— А укротитель может их заставить сесть на тумбы или прыгнуть сквозь обруч?

— Даже сквозь горящий обруч! — подтвердил профессор.

Мальчик радостно потирал руки.

— Вот видишь! — торжествовал он. — Если можно выдрессировать таких огромных кошек, то уж котят и подавно.

— Нет,— энергично возразил профессор,— этого сделать нельзя.

— Почему?

— Понятия не имею.

— А я знаю почему! — гордо заявил Максик.

— Почему же?

— Потому что никто никогда этого не пробовал.

— А ты собираешься попробовать?

— Да! И я даже придумал название номеру. На афишах будет сказано: «Захватывающее зрелище! Впервые на арене цирка! Максик и его четверо котят!» Может быть, я даже появлюсь в чёрной маске. А кроме того, мне понадобится хлыст, чтобы им щёлкать. Он у меня уже есть. Я возьму кнут от своей старой игрушечной кареты.

— Ну что ж, в таком случае желаю успеха, мой юный друг,— сказал господин фон Покус и раскрыл газету.

Уже на следующее утро горничная принесла в 228-й номер четыре низенькие скамейки. Четверо котят с любопытством стали обнюхивать их, но скоро уползли назад в свою корзину и лениво свернулись в ней клубком.

Потом появился официант. В левой руке он нес тарелку с мясным фаршем, в правой — Максика. Максик, в свою очередь, держал в правой руке лакированный игрушечный хлыст, а в левой — острую зубочистку.

— Для самообороны,— объяснил он.— В случае нападения хищников на укротителя. А также для подачи пищи.

— Мне остаться?— любезно предложил официант.

— Нет, я прошу вас уйти,— сказал Маленький Человек.— Это лишь затруднит дрессировку и будет отвлекать животных.

Официант удалился. Укротитель остался наедине со своими четырьмя жертвами. Они подмигивали ему, бесшумно зевали, потягивались и облизывали друг друга, словно их неделю не купали.

— Внимание!— властно крикнул мальчик.— С ленью надо распрощаться. Начинаем работать!

Котятя, притворяясь глухими, продолжали облизывать друг друга. Максик свистнул, щёлкнул языком, сунул под мышку зубочистку, хлопнул в ладоши, щёлкнул хлыстом, топнул ногой. Котятя и ухом не повели.

И только когда Максик, подцепив зубочисткой несколько крошек мяса, положил их на скамейки, котятя оживились. Они выпрыгнули из корзинки, вскочили на скамейки, проглотили мясо, облизнулись и выжидательно посмотрели на укротителя.

— Правильно!— воскликнул тот восторженно.— Молодцы! Теперь сделайте стойку! Гоп! Передние лапы вверх! Он поднял хлыст.

Но котятя, по-видимому, его не поняли. Или же они почували, что в 228-м номере есть ещё мясо. Во всяком случае, они повскакали со скамеек на пол и побежали прямо к тарелке. Они с такой жадностью на неё набросились, словно помирали с голоду.

— Назад!— возмущённо заорал Маленький Человек.— Немедленно прекратить! Вы что, оглохли?

Но они не могли ему подчиниться. Даже если бы и захотели. Правда, они вовсе и не хотели этого. Они так чавкали, что даже тарелка задрожала.

И Максик тоже дрожал. От возмущения.

— Мясо получите потом! Сначала придётся делать стойку. Потом бегать гуськом! Потом прыгать со скамейки на скамейку! Понятно?

Он ударил хлыстом по тарелке.

Но тут котёнок выхватил у него красный лакированный кнутик и перегрыз его пополам.

Когда профессор Йокус фон Покус, о чём-то задумавшись, возвращался по коридору к себе в номер, из 228-й



комнаты до него донёлся жалобный писк. Он распахнул дверь, осмотрелся и захохотал.

Четверо котят сидели под умывальником и кровожадно глядели вверх. Усы у них оцетинились. Хвостики стучали по полу. А наверху, на самом краю умывальника, сидел в стакане Максик и горько плакал.

— Йокус, спаси меня! — хныкал он жалобно. — Они хотят меня съесть!

— Чепуха! — сказал профессор. — Ты ведь не мышь!

Он вынул мальчика из стакана и тщательно осмотрел его со всех сторон.

— Костюм немного порван, и на левой щеке царапина. Вот и всё.

— Подлецы! — сердился Максик. — Сначала они сломали хлыстик, а зубочистку всю изжевали. А потом стали играть в футбол.

— А где они взяли мяч?

— Мячом был я, дорогой Йокус. Они меня подбрасывали, ловили, загоняли под кровать, потом доставали оттуда, гоняли по паркету, опять бросали вверх, опять загоняли под кровать и вытаскивали из-под неё. Просто жуть! Не взберись я по полотенцу на умывальник, меня бы уже, наверное, не было в живых.

— Бедняжка, — пожалел его профессор. — Ну ничего. Самое страшное позади. Я тебя умою и уложу в постель.

Четверо котят раздосадованно смотрели вслед уходящему профессору. Им было обидно, что этот большой человек отнял

у них мячик, который так смешно орал, когда с ним играли. Потом котята, потянувшись, заковыляли к тарелке и сунули в неё носы. Они уже успели забыть, что тарелка давным-давно пуста.

Самый умный котёнок подумал: «Не повезло» — и свернулся калачиком на подстилке. «Есть можно, только когда кто-нибудь приносит еду, — думал он, засыпая. — А вот спать можно и без посторонней помощи».

Тем временем Максик печально сидел в своей спичечной коробке с пластырем на щеке и пил из малюсенькой фарфоровой чашечки горячий шоколад.

Профессор, вставив в глаз лупу, цтопал мальчику костюм.

— Ты совершенно уверен, что кошки не поддаются дрессировке? — спросил Максик.

— Совершенно уверен.

— Разве они глупее львов и тигров?

— Ничуть, — убеждённо ответил профессор. — Им это просто не нравится. Я их вполне понимаю. Мне бы тоже не нравилось прыгать сквозь горящие обручи.

Максик засмеялся.

— А жаль! Как было бы здорово: в зрительном зале одни тигры, кенгуру, медведи, морские львы, лошади и пеликаны. Только подумай! И объявление: «Все билеты проданы». — От восторга он даже дернул себя за чуб. — Ну, а теперь ты дальше придумывай!

— Хорошо, — согласился профессор. — Слоны в оркестре играют туш. Потом на манеж выходит лев. В лапе он держит хлыст. На жёлтой гриве у него цилиндр. В зале полнейшая тишина. Четыре мрачных тигра выкатывают на манеж клетку. В клетке сидит господин во фраке и мурлычет.

— Здорово! — Максик потёр руки. — Этот господин — ты!

— Так точно, я. Лев широким жестом снимает цилиндр, раскланивается и кричит: «Теперь, многоуважаемые господа звери, вы увидите главный номер нашей программы. Мне удалось выдрессировать человека. Его имя — профессор Йокус фон Покус. На ваших глазах он прыгнет сквозь горящий обруч. Дятлов попрошу пробить барабанную дробь».

Дятлы забарабанили. Клетка открывается. Два тигра держат на весу обруч. Лев щёлкает хлыстом. Я медленно вылезая из клетки, громко чертыхаюсь. Лев ещё раз щёлкает

хлыстом. Я залезаю на тумбу и чертыхаюсь ещё сильнее. Светлячки поджигают обруч. Он вспыхивает. Лев шлёпает меня хлыстом пониже спины. Я реву от бешенства. Лев ещё раз ударяет меня хлыстом. И тогда я одним прыжком проскакиваю сквозь горящий обруч. Бумага с треском лопаётся. Языки пламени вздрагивают. Дятлы выбивают барабанную дробь. Я поднимаюсь с песка, отряхиваю штаны и отвечаю низкий поклон публике.

— И все звери в цирке как сумасшедшие хлопают в ладоши! — радостно воскликнул Маленький Человек. — А лев тебе в награду даёт отбивную котлету.

— А ты, дружок, спи! — приказал профессор. Он взглянул на часы. — Сегодня среда, у меня дневное представление.

— Ни пуха ни пера! — пожелал Максик. — И ещё я тебе должен сказать одну вещь.

— Какую именно?

— Я всё равно буду артистом!



Глава 5

Прогулка мимо витрин с манекенами. Продавец падает в обморок. Магазин мужской одежды в конце концов не больница. Разница между государственным мужем и мужем молочницы

Однажды жарким июльским полднем профессор и Максик прогуливались по Западному Берлину, разглядывая витрины магазинов. Собственно, прогуливался — то один профессор. Максик не прогуливался, а стоял в нагрудном кармане профессора и, облокотившись на его край, как на перила, разглядывал игрушки, сласти и книги. Но профессор с еще большим удовольствием рассматривал витрины с обувью, мужскими сорочками, галстуками, сигарами, зонтами, винами и прочими малоинтересными вещами.

— Пожалуйста, не стой так долго перед аптекой, — взмолился мальчик. — Пойдём дальше!

— Пойдём? — подхватил Йокус. — При чём тут «пойдем»? Насколько мне известно, идёт только один из нас, а именно я. Что же касается тебя, то тебя везут, дорогой мой. Ты весь в моих руках.

— Не в руках, а в кармане, — возразил мальчик.

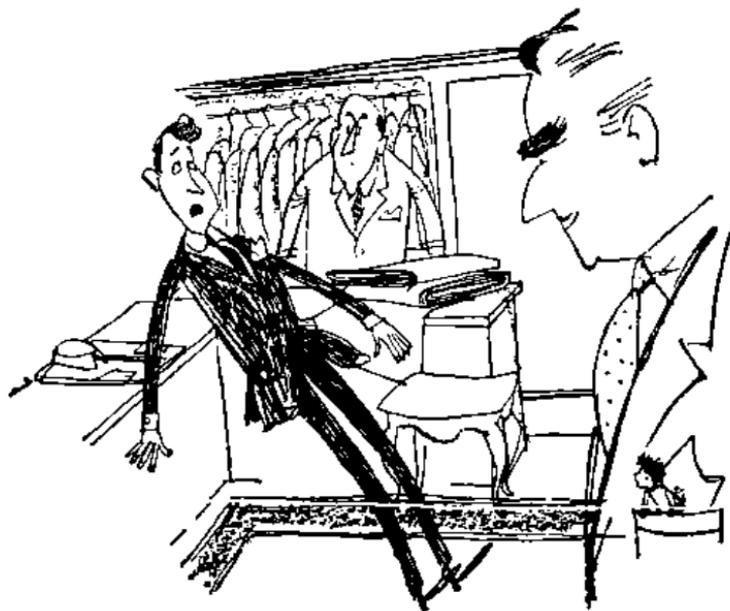
Оба рассмеялись. Люди стали оборачиваться. Один толстяк, толкнув в бок свою жену, шепнул ей:

— Чудеса, Рика! Мужчина смеётся на два голоса.

— Пусть себе смеётся, — ответила Рика. — Наверное, он чревоуещатель.

Профессор довольно долго стоял перед витриной с мужской одеждой, разглядывая манекены в нарядных костюмах. Наконец он отошёл, но пройдя несколько шагов,





тут же вернулся обратно и, погружившись в раздумье, уже не отходил от витрины. Потом он три раза кивнул головой и вслух сказал самому себе:

— Не так уж глупо!

— Что — не так уж глупо? — полюбопытствовал Максик.

Но профессор, не отвечая, прямо пошёл в магазин.

— Мне нужен синий костюм с витрины, — решительно заявил он щеголеватому продавцу, — однобортный, за двести девяносто пять марок.

— С удовольствием, сударь. Но я боюсь, что он вам не подойдёт.

— А это и не требуется, — буркнул профессор.

— Может быть, понадобится подгонка, — вежливо предложил продавец. — Я попрошу нашего портного заняться вами.

— Пусть занимается своим делом.

— Но он очень скоро придёт, уверяю вас.

— Без него дело пойдёт ещё быстрее.

— Наша фирма придаёт большое значение хорошему обслуживанию покупателя, — обиженно заметил продавец.

— Весьма похвально, — отозвался профессор, — но я вовсе не собираюсь надевать костюм. Я его хочу просто купить.

— В этом случае очень рекомендую, чтобы господин, для которого вы покупаете костюм, сообразовал прийти к нам, — предложил продавец. — Или же дайте нам его адрес, и мы пошлём к нему портного. Он будет у него сегодня же во второй половине дня.

Продавец вынул блокнот, чтобы записать адрес.

Профессор отрицательно покачал головой.

— Костюм, который я собираюсь купить, не предназначен для живого человека.

Продавец побледнел, отступил на шаг и простонал:

— Значит, он умер? О, какое горе! — Он глубоко вздохнул. — Будьте добры, укажите размер вашего уважаемого покойника. Ведь и ему костюм должен быть по росту. Тогда я попрошу нашего портного...

— Что за бред! — грубо оборвал его профессор. Но тут же смягчился. — Вы, конечно, не можете знать, о чём идёт речь.

— Конечно, — признался насмерть перепуганный продавец. Он ухватился за прилавок, потому что колени его дрожали. Бедный малый трясся как в лихорадке.

— Главное, чтобы костюм был впору манекену. Надеюсь, он ему годится?

— Разумеется, сударь.

— Дело в том, что я покупаю костюм вместе с манекеном, — объяснил профессор. — Костюм отдельно от манекена меня не интересует.

Не успел продавец немного прийти в себя, как чей-то тоненький голосок спросил:

— На что тебе эта большая кукла с усами?

Продавец осторожно взглянул на карман необычного покупателя. Максик приветливо кивнул продавцу и сказал:

— Пожалуйста, не пугайтесь.

— Как тут не испугаться... — дрожащим голосом пролепетал продавец. — Сначала костюм для покойника, а потом этот мальчик с пальчик в кармане. Это уж слишком!

И, закатив глаза, продавец рухнул на ковер.

— Он умер? — осведомился мальш.

— Нет, у него просто обморок, — ответил Йокус и позвал заведующего.

— А в самом деле, зачем нам понадобился манекен? — спросил мальш.

— Потом расскажу, — шепнул Йокус.

Прибывавший заведующий усадил продавца на стул, чтобы тот скорее пришёл в себя. Профессор ещё раз повторил свою просьбу:

— Мне нужен однобортный мужской костюм цвета морской волны вместе с манекеном, сорочка, галстук, подтяжки, ботинки и носки. Словом, всё, что на манекене. Сколько всё это будет стоить?

— Точно не помню, сударь,— промямлил заведующий.

Пошевелив бледными губами, продавец чуть слышно пролепетал:

— Пятьсот двенадцать марок. При уплате наличными— один процент скидки. Итого— пятьсот шесть марок восемьдесят восемь пфеннигов.

Было видно, что он прекрасно знал своё дело. И, сказав это, он снова съехал со стула.

— Опять обморок,— деловито отметил Максик.

Заведующий услышал новый голос, увидел маленького мальчика в кармане большого пиджака, вытаращил глаза и в ужасе схватился за спинку стула.

— Этот господин тоже упадёт в обморок? — с надеждой в голосе спросил Максик.

— Надеюсь, что нет,— ответил профессор.— В конце концов, это не больница, а магазин мужской одежды.



Постепенно заведующий и продавец стали приходить в себя. Покупка состоялась. Профессор заказал такси. Верх машины пришлось откинуть, чтобы манекен мог стоять во весь рост. Профессор придерживал его за ноги.

— Этот тип похож на иностранного президента! — воскликнул один берлинец, увидев такси.

— Ничего подобного! — заметил другой.

— Почему же нет? — спросил первый. — Кто ещё будет стоять во весь рост в машине?

— Хорош президент, ничего не скажешь, — упрямо повторил другой. — Почему он не улыбается и не приветствует публику? Ведь как государственный муж он обязан это делать. Он должен показать всем, что он счастлив прибыть в Берлин и что от восторга даже не может сесть. Если это, конечно, настоящий государственный муж!

На перекрёстке машина остановилась, и оба берлинца побежали за ней рысцой. Но не успели они добежать, как зажёгся зелёный свет, и они остались ни с чем.

— Кроме того, государственный муж никогда не ездит в такси, — заметил первый. — Ни стоя, ни сидя.

— Я тоже никогда не ездил в такси, — возразил другой.

— Ах вот как! А разве вы — государственный муж?

— Нет, я — муж молочницы!

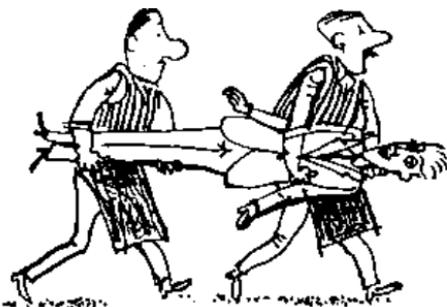




Глава 6

Волнение в гостинице «Кемпинский». Кем был Йокус, прежде чем стал фокусником? И зачем он купил манекен?

В гостинице «Кемпинский», где проживал Йокус фон Йокус, тоже царило волнение. К мальчику, спавшему на ночном столике в спичечной коробке, здесь постепенно привыкли. Но, увидев, как двое рабочих на глазах у изумлённой публики тащат к лифту манекен, директор гостиницы и швейцар очень разволновались.



Только рабочие успели поставить куклу посреди комнаты, как в номер ворвался директор.

— Что всё это значит? — грозно спросил он, укоризненно глядя сквозь роговые очки.

— Что «что значит»? — дружелюбно переспросил его профессор, словно не понимая причины такого волнения.

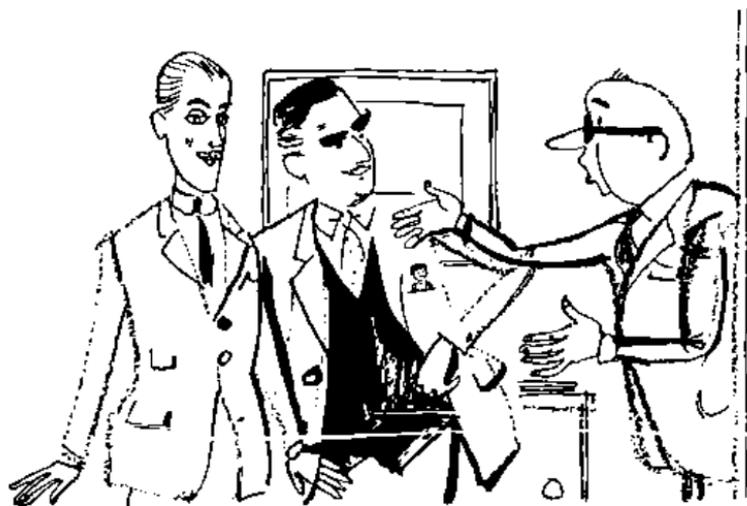
— Манекен с витрины!

— Он мне нужен для работы, — разъярил Йокус. — Музыканты могут привезти в гостиницу даже рояль и греметь на нём целыми днями. Они артисты и должны упражняться. А я — фокусник, то есть тоже артист, и тоже должен упражняться. Причём я никогда не поднимаю такого шума, как мои коллеги певцы и пианисты. — Он ухватил директора за лацкан пиджака и дружески похлопал по плечу. — Что же вас так волнует, дорогой друг?

— Это становится просто невыносимым, — причитал директор. — Ваш Максик, два голубя и белый кролик, а теперь ещё эта деревянная кукла в голубом костюме.

Профессор отечески прижал к груди совершенно подавленного директора и погладил его по волосам.

— Пусть это вас не беспокоит! В постели манекен не нуждается. Полотенца ему тоже не нужны. Сigaretами скатерть он не прожжёт. Горничную не обругает.



— Всё это прекрасно, господин профессор, — согласился директор. — Но, в конце концов, у вас номер на одного, а живут в нём, кроме вас, Маленький Человек, трое зверей да ещё теперь эта кукла. Итого — пять персон.

— Ах вот к чему вы клоните! — рассмеялся фокусник. — Вы бы согласились с такой перенаселённостью этого очаровательного номера окнами на юг, если бы я увеличил суточную плату на пять марок?

— Об этом можно будет поговорить, — последовал неуверенный ответ. — Разрешите сообщить о вашем ценном предложении в бухгалтерию?

— Разрешаю, — ответил профессор и, долго пожимая его руку, добавил: — Лучше всего всё оформить сразу. Вот вам моя авторучка.

— Спасибо. У меня всегда при себе шариковая ручка и блокнот. Без них я не могу работать. Это мои орудия производства.

Директор элегантно жестом сунул руку в карман. Но — увы! — он был пуст.

— Странно, — пробормотал директор. — Ни блокнота, ни ручки. Не мог же я их забыть у себя в кабинете! Первый раз в жизни со мной такое случается.

Он продолжал поиски. И вдруг побледнел как мел и прошептал:

— Бумажника тоже нет. В нём была куча денег.

— Прежде всего спокойствие, — сказал Йокус фон Покус. — Выкурите сначала сигарету. И меня угостите.

— С удовольствием,— сказал директор и с готовностью сунул руку в правый карман. Потом в левый. Потом в карманы брюк. Лицо его вытянулось.— Тоже забыл,— пробормотал он.— И портсигар, и золотую зажигалку.

— Я вам могу помочь,— сказал профессор, вынимая из кармана портсигар и золотую зажигалку.

Директор гостиницы посмотрел на профессора с изумлением.

— Что с вами? Вам нехорошо?

— Прошу прощения,— сказал директор нерешительно,— но можно ли предположить, что портсигар и зажигалка, господин профессор, принадлежат не вам? Что они мои?

Йокус внимательно осмотрел оба предмета и удивился:

— В самом деле?

— На портсигаре выгравирована моя монограмма «Г» и «Х» — Густав Хинкельдай. Это моё имя.

— «Г» и «Х»? — повторил профессор и снова посмотрел на портсигар.— Так оно и есть, господин Хинкельдай.

Он тут же вернул ему обе вещи.

— Простите, ради бога, за откровенность, с какою я указал вам на... — смущённо начал директор.

— Ну что вы, что вы, господин Хинкельдай! Если кому из нас и надо извиниться, так это мне. Из-за этой дурацкой рассеянности ко мне вечно попадают чужие вещи.

Профессор тщательно оцупал свои карманы.

— Вот те на! — воскликнул он удивлённо и вытащил на свет божий записную книжку и шариковую ручку.— Это, случайно, не ваше добро?

— Да, конечно! — поспешил подтвердить директор, молниеносно выхватив их из рук профессора.— Я никак не мог себе объяснить пропажу записной книжки.

На мгновение он умолк и задумался. А потом недоверчиво спросил:

— Не прихватили ли вы по рассеянности и мой бумажник?

— Надеюсь, что нет,— ответил профессор, похлопывая себя по карманам.— Хотя, впрочем... А это не он?

В его левой руке появился чёрный сафьяновый бумажник.

— Так и есть! — воскликнул директор и, вырвав бумажник из рук профессора, поспешил к дверям, словно опасаясь, как бы бумажник не исчез снова.

— Деньги ещё в нём? — насмешливо спросил Йокус.

— Да.

— Лучше пересчитайте-ка их. Мне бы не хотелось, чтобы вы потом говорили, что у вас не хватило денег. Наденьте очки и пересчитайте бумажки!

— Очки? Но ведь они на мне! — сказал господин Хинкельдай.

Маленький Человек покатился со смеху, а Хинкельдай, совсем одурев, схватил себя за нос и в замешательстве опустил руку.

— Куда же они делись?

— Куда кладут очки, когда их по рассеянности снимают? — участливо спросил профессор. — Я-то ведь не знаю: никогда в жизни очков не носил. Может, они у вас в футляре?

Маленький Человек чуть не подавился от смеха.

— Йокус, милый, хватит! — кричал он, захлёбываясь от восторга. — Я больше не могу. Я со смеху вывалюсь из кармана!

Директор мрачно посмотрел на него.

— Что тут смешного? — проворчал он.

Но вдруг обнаружил на носу у профессора свои очки. Одним прыжком директор очутился посреди комнаты, схватил очки, отскочил к двери и крикнул:

— Вы не человек, а дьявол!

— Нет, я — фокусник, господин Хинкельдай.

Но директор гостиницы решил, что дальнейшие разговоры бесполезны. Он распахнул дверь и тут же испарился (хотя в номере было не так уж жарко).

Насмевшись вдоволь, Максик сказал, не скрывая восторга:

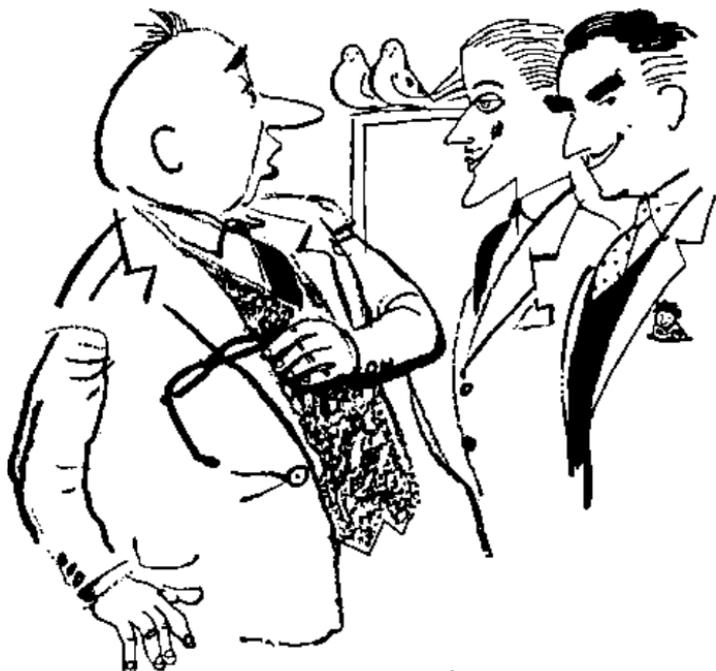
— Господин Хинкельдай совершенно прав: ты сам дьявол! Я столько раз видел, как ты вызывал из публики двух-трех зрителей и очищал их карманы, а они совсем ничего не замечали.

— Пустяки! Нужно только завести приятную беседу, — объяснил профессор. — Дружески похлопать человека по плечу. Потянуть его за пуговицу. Сделать вид, что снимаешь с костюма крошку табака или нитку. Всё остальное несложно, если этому научиться.

— А как ты научился? И где? Подсади меня, пожалуйста, поближе к уху, ладно? Я тебя спрошу по секрету.

Профессор осторожно вынул Маленького Человека из кармана и поднёс его к уху.

— Миленький Йокус, — прошептал Максик. — Не бойся. Я никому не скажу. Ты когда-нибудь был карманным воришкой?



— Нет,— тихо ответил профессор.— Нет, мой Максик.— Он улыбнулся и поцеловал мальчика в кончик носа, а это было совсем не так уж просто.— Я никогда не был карманником. Но я изловил очень много карманников.

— Ого-го!

— Для этого мне пришлось выучиться их ремеслу.

— Да, да. Понятно. Но кому же ты их отдавал?

— Полиции.

— Вот это да!

— А что в этом удивительного? В юности я мечтал стать сыщиком и прославиться на весь мир.

— А дальше? — взмолился Максик.

— Дальше— в другой раз. А сегодня я расскажу тебе кое-что про манекен, который мы с тобой купили.

— Я уже и забыл о нём.

— Тебе часто придётся о нём вспоминать,— заметил профессор.— Потому что купили мы его для тебя.

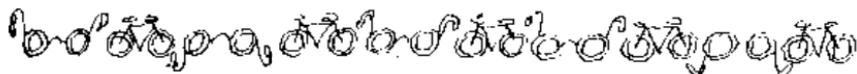
— Для меня? Зачем?

— Затем, что ты решил стать артистом. Не так ли?

Маленький Человек удивился:

— И для этого нам понадобилась такая огромная кукла? Каким же артистом я должен стать, дорогой Йокус?

— Помощником фокусника! — ответил фокусник.



Глава 7

Об учениках булочников и мясников, об ананасном торте и об учениках фокусников. Манекена зовут Вольдемар Чурбани. Песня о Невидимке Верхолазе

Итак, Маленький Человек стал учеником фокусника и, конечно, был этому очень рад. Но он радовался бы куда больше, если бы знал, что же это; собственно говоря, такое — быть учеником фокусника.

— Что такое ученик булочника, я знаю, — сказал он. — Ученик булочника учится тому, чему булочник уже выучился. Ученик булочника учится выпекать хлеб, булки, яблочные пирожки и ананасные торты.

— Правильно, — подтвердил профессор.

— А ученик мясника учится резать свиней, жарить колбасу и делать студень.

— Верно.

— А потом ученик, если он только прилежный, становится подмастерьем. Значит, и я когда-нибудь стану подмастерьем?

— Не исключено.

— А если я... — начал Максик.

— Стоп! — крикнул профессор. — А мастером ты хочешь стать?

Маленький Человек покачал головой:

— Я хочу кусочек ананасного торта. Пожалуй, это всё, что мне нужно для счастья.

— Ты маленький обжора, — сказал профессор и заказал по телефону порцию ананасного торта, а для себя — рюмку коньяка. Потом он сел в своё пёстрое кресло и стал объяснять: — Случай действительно сложный. Ученик булочника учится делать то, что умеет делать его учитель — булочник.



Ученик жестянщика учится делать то, что умеет делать жестянщик.

— А ученик мясника...

— О нём мы не будем говорить.

— Почему? — спросил Максик.

— А то тебе захочется жареной колбасы, — ответил Йокус. — Лучше остановимся на жестянщике.

— Хорошо. Значит, я буду учиться тому, что ты уже умеешь, — сказал Маленький Человек. — Но ведь этому я никак не смогу научиться! Ну как я смогу проглотить двадцать больших лезвий, а потом вытянуть их за нитку изо рта? Или, например, где мне взять такого маленького кролика, чтобы он уместился в моём цилиндре? Разве что в стране лилипутов, но ведь такой страны на самом деле нет! И потом, игральные карты, твоя волшебная палочка и букеты цветов и сигареты — всё это для меня слишком большие вещи.

Профессор кивнул:

— Я тебе уже говорил: случай сложный. Все ученики в мире учатся тому, что умеет делать их учитель, — будь то ученик булочника, или жестянщика, или портного, или сапожника...

— Или мясника, — добавил Максик и захихикал.

— Да, и он тоже, — подтвердил Йокус. — Ты же будешь единственным в мире учеником, который будет учиться тому, что твой учитель не умеет и не может делать.

— Но ты можешь всё!

— Разве я могу спать в спичечной коробке? Или летать верхом на Минне по комнате?

— Ты прав. Этого ты не можешь.

— Или могу я, например, — продолжал профессор, — выскуниться из кармана? Могу я по занавеске взобраться на карниз? Или пролезть сквозь замочную скважину?

— Нет, не можешь! Ой, сколько ты всего, оказывается, не можешь! Вот здорово!

— Здорово или нет, — продолжал профессор, — но это так. Ты ученик фокусника, а я твой учитель, и я научу тебя вещам, которых сам делать не могу.

На этом месте их прервали. В комнату вошёл официант. Он принёс коньяк и порцию ананасного торта. При этом он чуть не сбил с ног манекен.

— Вот те на! — воскликнул он. — Это ещё кто такой?

— Это красавец Вольдемар, — представил его Йокус. — Наш дальний родственник.

— Красивый мальи́й! — сказал официант. — А фамилия у него есть?

— Фамилия его Чурбанн, — очень серьёзно ответил Максик. — Вольдемар Чурбанн.

— Чего только не насмотришься в гостиницах! — заметил официант. Он отвесил манекену поклон и, сказав: — Желаю приятно провести время в Берлине, господин Чурбанн! — вышел из номера.

Когда профессор выпил свой коньяк, а Максик, орудуя крошечной серебряной вилочкой, отломал кусочек ананасного торта, у них начались занятия.

— Недавно ты наблюдал, как я обвёл вокруг пальца директора Хинкельдая, — начал урок профессор.

— Наблюдать-то я наблюдал, да ровным счётом ничего не видел. Даже вот номер с очками. Я их заметил уже на твоём носу.

— А хочешь знать, как я этому научился? Ведь когда-то я тоже был учеником и должен был долго-долго тренироваться.

— На чём?

— На манекене, одетом в синий костюм.

— Правда? И на таком же красивом, как Вольдемар?

— Вольдемар куда красивее, — признался профессор. — Но мы не позволим этой сногшибательной красоте сбить нас с толку. Кроме того, если ты каждый день будешь лазить по нему вверх и вниз, он, пожалуй, не покажется тебе таким прекрасным?

— Что ты сказал? — испуганно спросил Максик. — Каждый день лазить вверх и вниз?

— Да, сынок. От воротника до башмаков и от башмаков до галстука. Сверху вниз и снизу вверх, в карманы и из карманов. Проворно и быстро, как белка, и бесшумно, как муравей в тапочках. В общем, научись. Ведь вы, Пихельштайнеры, знаменитые гимнасты.

— Йокус, а для чего мне надо этому учиться?

— Для того, чтобы ты мог помогать мне в цирке. Я буду

приглашать в манеж очень достойных джентльменов и дурачить их ещё искуснее, чем делал это до сих пор.

— Тогда ты и я... нет, тогда я и ты... нет, опять не то... тогда мы с тобой будем шайкой разбойников.

— Вот именно.

— Ты атаман. А я кто?

— А ты — Невидимка Верхолаз.

Маленький Человек потирал руки. Он это часто делал, когда чему-нибудь очень радовался.

— Это годится для песни! — крикнул он. И тут же запел: — «Я Невидимка Верхолаз... на Вольдемара влез сейчас...»

— Ну, а дальше?

— А дальше твоя очередь.

— Хорошо, — сказал профессор и запел: — «А после я и Йокус покажем... в цирке...»

— «Фокус»! — заорал Максик. — Теперь давай ещё раз с самого начала. Только как можно громче!

Профессор поднял руки, как дирижёр, и взмахнул ими, давая знак вступить. Они заорали в обе глотки:

— Я Невидимка Верхолаз...
На Вольдемара влез сейчас.
А после я и Йокус
Покажем в цирке фокус.

Маленький Человек восторженно захлопал в ладоши.

— Пожалуйста, споем ещё три или четыре раза. Очень хорошая песня получилась!

И они пели и пели до тех пор, пока в комнату не постучал официант. Он спросил озабоченно, не заболел ли кто из них или, не дай бог, оба сразу.

— Нет, мы совсем здоровы! — крикнул Маленький Человек.

— Мы просто спятили, — объяснил профессор.

Они медленно пропели ему свою песню, а потом спели её уже троём.

Позднее в комнату вошла горничная. Она была ещё больше взволнована, чем официант. Но её тоже быстро успокоили. Теперь они уже пели вчетвером. Получилось что-то вроде концерта. Только немножечко хуже.

Вечером Максик, потягиваясь и зевая в своей спичечной коробке, сказал:

— Значит, это был первый день моего обучения.

— Да, и притом самый лёгкий,— добавил профессор.— С завтрашнего дня мы начнём работать. Потушите-ка свет, Невидимка Верхолаз.

— Слушаюсь, господин атаман!

Максик выключил свет. В окно светила луна. Красавец Вольдемар стоя спал посреди комнаты. Голубки Минна и Эмма устроились рядышком на его деревянной макушке. Конечно, это было не так удобно, как на шкафу, но зато что-то новое!

Профессор захрапел. А Маленький Человек тихонько напевал про себя:

А после я и Йокус
Покажем в цирке фокус.

На этом месте глаза его стали слипаться.



Глава 8

«Максик-альпинист». Перепутанные фраки. Три сестры Марципан. Что такое батут? Галопинский — фокусник на коне. Йокус фон Покус отказывается выступать

Каждое утро они несколько часов посвящали тренировкам. После занятий Маленький Человек купался в крышке от мельницы. Они тренировались во всех городах, куда цирк «Стильке» приезжал на гастроли. В пути манекен лежал в багажной сетке, и нужно было следить за тем, чтобы Вольдемар из неё не вывалился.

Они никогда не ездили в вагонах, принадлежащих цирку, в вагонах, которые прицеплялись к одному или нескольким товарным составам: тут был вагон-ресторан, вагон с лошадьми и с клетками, в которых рычали хищники, вагон с шатром и с проводами для тысячи электрических лампочек, вагон с музыкальными инструментами, отопительной системой, трапециями, канатами, плакатами, вывесками, костюмами, коврами, стульями, тумбами, бамбуковыми штангами, кассами, сторожами, бухгалтершами и слесарями, монтерами и инструментами, сеном и соломой, а также вагон для директора Грозоветтера, и его жены, и его четырёх дочерей, и двух сыновей, и зятьёв, и невесток, и семи внуков, и... и... и... вот я и запутался... О чём, бишь, это я рассказывал?

Ах, вспомнил! Они путешествовали не с цирком, а только в скором поезде. И жили они не в вагонах, а в гостиницах.





— Я очень люблю цирк,— говорил он.— Но только тогда, когда в нём полно зрителей. Кроме того, я люблю жизнь и хорошую погоду.

— И меня! — крикнул Максик во всё горло.

— Тебя,— нежно сказал Йокус,— я люблю даже на целый сантиметр больше, чем хорошую погоду.

Полгода спустя Маленький Человек взбирался на красавца Вольдемара, как альпинист на Альпы или на горы Саксонской Швейцарии. Только с той разницей, что он не был привязан канатом. Это было опасно. Ведь по сравнению с ним манекен был таким же огромным, как для нас высотный дом.

К счастью, Максик совсем не боялся высоты. Так, например, он легко взбирался по брюкам вверх, потом нырял под пиджак, добегал по поясу до подтяжек, подтягивался на них до середины, потом одним прыжком перебирался к галстуку и по его изнанке, как по ущелью, карабкался до узла.

После короткой передышки на галстучном узле он соскакивал на лацкан и с его петлицы съезжал прямо во внутренний карман пиджака.

Я рассказал вам лишь об одном из его удивительных восхождений. О других я вам не буду подробно рассказывать: вы ведь знаете, что каждое моё слово — чистейшая правда. Я не буду также уточнять, зачем и почему Максик каждый день взбирался на Вольдемара. Сам Максик хорошо знал зачем. Но ни с кем не говорил об этом. Что же касается красавца Вольдемара, то и тот, конечно, тоже знал, в чём дело. Но куклы, в том числе и большие куклы — манекены, умеют хранить секреты.

Во всяком случае, профессор был очень доволен успехами Максика. Иногда он даже называл его «Максик-альпинист». Это было очень большой похвалой. И глаза Максика сверкали от гордости.

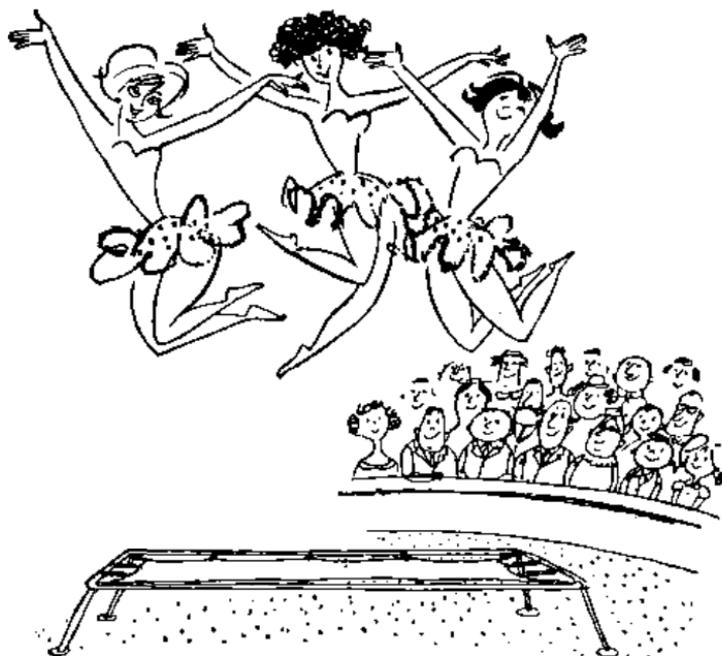
Несмотря на такие успехи, учение продолжалось бы ещё три, а то и целых четыре месяца, если бы однажды вечером в цирке не перепутали фракки. Какие фракки? Фрак профессора и фрак наездника Галопинского. Невероятный случай!

Господин директор Грозоветтер и по сей день ещё верит в то, что всё это произошло случайно. Но, кроме него, в цирке «Стильке» никто этому не верил. Ни один из глотателей огня, ни один китаец, ни один продавец мороженого и ни один канатоходец. А «3 сестры Марципан» и вовсе в это не верили. Роза Марципан, самая красивая из них, утверждала, что это была подлая месть. Я думаю, что она права. Здесь, наверное, сыграла свою роль ревность. Потому что Роза Марципан вскружила голову всем мужчинам в цирке. Хотя ей вовсе и не хотелось этого.

Уже одно появление трёх сестёр на манеже вызывало восторженный топот и аплодисменты публики.

А когда они вскакивали на туго натянутый батут, прыгали всё выше и выше и ещё гораздо выше, делали в воздухе сальто и парили, как птицы, восторгу публики не было предела. Можно было подумать, что эти три девушки весят не больше трёх страусовых перьев. На самом же деле они весили втроем около полутора центнеров, то есть, как ни говори, 150 килограммов!

Роза Марципан, самая красивая, весила пятьдесят два (52) килограмма и пятьсот восемьдесят четыре (584) грамма. Это не очень много. Я сам, например, вежу семьдесят один (71) килограмм, что всего только на восемнадцать (18) килограммов и четыреста шестнадцать (416) граммов больше. Тем не



менее никому не приходит в голову сравнивать меня со страусовым пером или опускаться передо мной на колени и утверждать, что я очарователен и прелестен. Со мною такого никогда не случилось. Разве это справедливо?

Для тех из вас, кто не знает, что такое батут, я замечу, что это штука вроде матраса. Вы тоже, наверное, не раз прыгали в кровати и радовались тому, как здорово пружинит матрас и как легко от него отталкиваться, потому что почти не чувствуешь своего веса. Батут только шире и длиннее матраса, и он очень туго натянут, как кожа на барабане.

Человек, который выучился на нём раскачиваться и прыгать, стрелой взвивается вверх и остаётся в воздухе целых пять, а то и шесть секунд, причём всё это время он кружится и кувыр୍କается в воздухе, словно весит не больше воздушного шарика. Вот что он может, человек! Но только в том случае, если может!

А падать на батут надо тоже умеючи. Потому что если упадёшь не на батут, а мимо, поломаешь все кости. Ну, а три сестры Марципан умели падать. Дети́ми они научились этому искусству у своих родителей, которые тоже были прыгунами.

Но вернёмся к перегуганным фракам. Хоть доказать это было и невозможно, но, по всей вероятности, их обменял Фернандо — музыкальный клоун. Он играл в цирке на губной гармошке, вернее, на двух гармошках: одна была огромная, как доска от забора, другая — такая маленькая, что он её каждый раз проглатывал, а она продолжала играть у него в животе. Публику это очень веселило. Сам же клоун с давних пор был очень мрачен. Дело в том, что он любил Розу Марципан, а она о нём и слышать не хотела. Потому что она любила профессора Йокуса фон Покуса.

И это бесило клоуна. Поэтому однажды за четверть часа до начала представления он обменял в гардеробе два фрака. Фрак наездника и его цилиндр он повесил на вешалку профессора, а волшебный фрак вместе с волшебным цилиндром — на вешалку наездника. А сам незаметно вышел из гардероба на цыпочках.

Маэстро Галопинский влетел на манеж верхом на своём вороном жеребце Нероне. Осадив коня, он приветственно помахал публике цилиндром. В этот момент из подкладки цилиндра вынырнула белоснежная крольчиха Альба, прыгнула на песок и испуганно завертелась по кругу. Лошадь встала на дыбы. Господин Галопинский ласково потрепал её по шее, пытаясь успокоить. Внезапно из левого рукава его фрака вылетела голубка Минна и закружилась над ареной в поисках маленького стола с клеткой, в открытую дверь которой она должна была впорхнуть. Но ведь стола с клеткой вовсе и не было на манеже!

Жеребец, брыкаясь передними и задними ногами, дал козла. Оркестр заиграл вальс из оперетты «Летучая мышь» в надежде, что лошадь проделает под музыку свои знаменитые танцевальные па. Но она вовсе и не думала танцевать, а носилась по всей арене, будто за ней гнался пчелиный рой. Наездник с трудом её сдерживал.

Публика в первых рядах повскакала с мест. Многие громко завопили от страха. Одна дама даже упала в обморок. Голубка Эмма вылетела из правого рукава. Галопинский ещё сильнее натянул поводья. Тогда Нерон подскочил на всех четырёх ногах одновременно и что есть силы заржал. Всадник решил успокоить коня хлыстом. Но в руке у него вместо хлыста оказалась волшебная палочка, которая при первом же взмахе превратилась в роскошный букет цветов. Нерон злобно вырвал цветы из его руки и принялся их жевать,

но тут же с отвращением выплюнул: цветы-то были бумажные!

Публика хохотала до слёз. Крольчиха сидела на задних лапках. Голуби растерянно порхали вокруг цилиндра. Оркестр играл марш. Наездник вонзил в жеребца шпоры, чтобы тот в конце концов пришёл в себя и зашагал в такт. Но Нерон не привык, чтобы его пришпоривали при всём честном народе. Он лягался и тряс туловищем до тех пор, пока маэстро Галопинский — а ведь это был один из лучших наездников в мире! — не вылетел пулей из седла и не шлёпнулся на песок!

Сделав своё дело, жеребец, громыхая подковами, убежал с манежа в конюшню. Всадник поднялся с земли и, крихтя, заковылял вслед за лошадей. Публика словно с цепи сорвалась! Цирк содрогался от хохота. А ведь, что ни говори, в цирке было две тысячи человек. Фокусник верхом на коне, да к тому же выброшенный из седла, — такого здесь ещё никогда не видели!

Господин директор Грозветтер стоял в проходе, соединявшем арену с кулисами.

— Это катастрофа! Это катастрофа! — в отчаянии стонал он.

— Катастрофа, говорите вы? — злобно прошипел Галопинский. — А я бы назвал это просто свинством! Невероятным свинством! И кто только это сделал? Эх, попадись он мне в руки, я бы скормил его львам! Ай!

Он схватился за поясницу и скорчил гримасу от боли.

Профессор выскочил на манеж, поднял крольчиху за уши, приманил голубей и стремглав убежал назад. Он был вне себя от бешенства и с трудом переводил дух.

— Меня опозорили дальше некуда! — возмущался он. — Если об этом узнает президент Общества магов, я погиб. Я предстану перед судом чести за то, что подорвал репутацию фокусника.

— Но вы-то не виноваты! — утешал его директор.

— Я требую возмещения! — рычал Галопинский. — Во-первых, меня высмеяли две тысячи человек, а во-вторых, я свалился с лошади!

— Через десять минут мой выход! — волновался профессор. — Но я и не подумаю выступать. После того как господин наездник сделал мой фрак посмешищем! Да никогда в жизни! К тому же его лошадь сожрала один из самых дорогих моих букетов!

— Не сожрала, а выплюнула она эту гадость! — скрежетал Галопинский. Он даже подскочил от злости, но тут же простонал: — Ай!

— Успокойтесь, господа! — молил директор Грозоветтер. — Нам надо продолжать программу. Господи, что же это со мной будет?!

— Я не выступлю ни при каких обстоятельствах! Даже если вы встанете передо мной на колени! — заявил профессор. — Я забираю своих зверей и еду в гостиницу пить коньяк. Выдую целую бутылку.

— Йокус, миленький, не надо! — послышался отчаянный возглас Маленького Человека из нагрудного кармана профессора. — У меня идея. Подсади-ка меня к уху! Это очень важно!

И когда Йокус его поднял, Максик стал что-то очень таинственно шептать ему на ухо.

Профессор слушал его с удивлением, потом покачал головой и сказал:

— Нет! Тебе надо по крайней мере три месяца тренироваться. Сейчас ещё слишком рано.

Но Максик не успокаивался.

— Они тебя оскорбили, — шептал он, — и этого им нельзя спускать!

— Нет, Максик, сегодня рано!

— Нет, именно сегодня!

— Слишком рано!

— Ну, пожалуйста! Ну, скажи «да»! Ну, пусть это будет мне подарком ко дню рождения! Зато больше мне ничего не дари! Даже кукольной комнаты!

— Но твой день рождения ведь ещё только через полгода!

— Ну всё равно, Йокус, миленький!

В ту же секунду профессор почувствовал, как его большое ухо обожгли две совсем малюсенькие слезинки. Он глубоко вздохнул и сказал:

— Господин директор Грозоветтер. Я передумал. Коньяк я буду пить потом. Я выступаю. Объявите в микрофон. Сделайте это вы лично!

— С огромным удовольствием, — обрадовался директор. — А что мне сказать публике?

— Скажите, что сегодня я впервые выступаю вместе со своим учеником. Номер называется «Большой вор и Маленький Человек!».

Глава 9

Директор Грозоветтер успокаивает публику. «Большой вор и Маленький Человек». Ограбление толстого господина Тонки и доктора Горнбостеля. Коричневые и чёрные шнурки. Максик раскладывается перед двумя тысячами зрителей

Господин директор Грозоветтер сдержал слово. Когда знаменитые скороходы на роликах «2 Вихря 2» под громкие аплодисменты публики покинули манеж, он натянул белые лайковые перчатки и сделал знак дирижёру. Оркестр сыграл туш.

Директор медленно и важно подошёл к микрофону. В цирке стало тихо.

— Глубокоуважаемые зрители! — начал господин Грозоветтер. — Как вы знаете, по программе сейчас должен выступить профессор Йокус фон Покус. Он, если позволительно так выразиться, величайший из современных магов. Но хвалить его — значит ломиться в открытую дверь. А на это занятие нет времени ни у одного директора цирка.

— Очень жаль! — крикнул какой-то озорник из верхнего ряда.

Но на него зашикали, и в зале опять наступила тишина. Лишь где-то вдаль, в конюшне, ржала лошадь. Вероятно, то был Нерон, которому Галопинский, рассёдывая, давал взбучку.

— Вследствие таинственного недоразумения, — продолжал директор, — вместо хлыста маэстро Галопинский выхва-



тил волшебную палочку. При этом он имел возможность убедиться, что верховая езда и магия так же мало подходят друг другу, как... маринованная селёдка и шоколад или, скажем, Кельнский собор и Центральный вокзал.

В публике засмеялись.

— Результат,— разъяснял директор,— вдвойне огорчителен. Дело в том, что наш главный маг теперь решительно отказывается прикасаться к волшебной палочке. Я валялся перед ним на коленях, обещал подарить мой альбом марок. Увы, всё тщетно. Он не хочет.

Публика заволновалась. Послышались свист и возгласы: «Долой!»

— Деньги назад! — крикнул кто-то.

Директор поднял руку.

— Дорогие друзья! Магии сегодня не будет, но он выступит!

Раздались аплодисменты.

— Сейчас вы увидите нечто невиданное. Даже я, директор цирка, не знаю этого номера. Словом, вам, и мне, и нам всем предстоит увидеть номер мирового класса.

Аплодисменты стали громче.

— Мне известно только название номера.

Директор Грозовецтер высоко взметнул руки в белых лайковых перчатках и крикнул во всю мощь своего голоса:

— Итак, Большой вор и Маленький Человек!

Потом он отвесил элегантный поклон публике и удалился. Оркестр снова исполнил туш. Все замерли в ожидании.

— Пора выходить,— сказал профессор.

— Ага,— шепнул Максик в нагрудном кармане.— Ни пуха ни пера, дорогой Йокус!

Профессор три раза плюнул через левое плечо и произнёс:

— К черту! К черту! К черту! И трижды чёрный кот!

Он медленно вышел на манеж. Дойдя до середины, он остановился, отвесил поклон публике и сказал, улыбаясь:

— Магия на сегодня отменяется, господа. Сегодня я буду воровать. Держите покрепче карманы! Берегитесь меня и моего юного помощника!

— Где он, ваш помощник? — крикнул толстый господин из второго ряда.

— Он здесь,— ответил профессор.

— Не вижу! — крикнул толстяк.

— А вы подойдите поближе,— приветливо пригласил его Йокус.— Может быть, тогда разглядите.

Толстый мужчина кряхтя поднялся с места и, тяжело ступая, вышел на манеж. Он протянул профессору руку и представился:

— Моя фамилия Тонки.

Публика оживилась. Толстый господин Тонки внимательно огляделся кругом.

— Я всё ещё его не вижу.

Профессор вплотную подошёл к толстяку, долго смотрел ему в зрачки, наконец похлопал его по плечу и заметил:

— Дело, по-видимому, не в зрении, господин Тонки. Глаза у вас в порядке. Но тем не менее мой помощник здесь. Даю вам честное благородное слово.

Какой-то господин из первого ряда крикнул:

— Это совершенно исключено. Держу с вами пари на двадцать марок, что вы один.

— Всего на двадцать марок?

— На пятьдесят!

— Идёт!—весело согласился Йокус.—И вы тоже подойдите поближе. Места хватит всем. Только деньги не забудьте!

Он взял под руку господина Тонки и, улыбаясь, стал поджидать господина из первого ряда, который поспорил с ним на пятьдесят марок. Господин Тонки тоже улыбался, сам не зная чему.

Господин из первого ряда подошёл к ним и представился.

— Доктор Горнбостель,—произнёс он важно.—Деньги при мне.

Они пожали друг другу руки.

— Ну, как дела?—спросил профессор.—Где же мой помощник?

— Да вздор,—заявил доктор Горнбостель.—Его здесь нет.

В конце концов я не слепой. Готов удвоить ставку. Сто марок?

Профессор кивнул.

— Сто марок. Как пожелаете.—Он похлопал его по груди.—Бумажник толстый. Я это чувствую сквозь пиджак.

Потом он двумя пальцами пощупал материю, отстегнул среднюю пуговицу пиджака и сказал:

— Превосходный материал, господин доктор, немнущийся, чистая шерсть, ни грамма бумаги. И великолепно на вас сидит. Наверное, дорогой портной?

— Даже очень,—гордо подтвердил доктор Горнбостель и повернулся вокруг собственной оси.

— Изумительно! — ещё раз похвалил Йокус. — Простите, я только сниму ниточку.

Он снял нитку и тщательно приладил пиджак.

Тут толстый господин Тонки нетерпеливо кашлянул и заметил раздражённо:

— Всё это чудесно, профессор. Чистая шерсть, дорогой портной и так далее. Но когда же вы начнёте меня грабить?

— Ровно через две минуты, господин Тонки. И ни секундой позже. Пожалуйста, засекуте время на ваших часах.

Толстый господин Тонки привычным жестом поднёс руки к глазам и скорчил удивлённую гримасу.

— Часов нет, — сообщил он.

Йокус стал помогать ему в поисках. Но часов не оказалось ни в карманах, ни на другой руке. Не было их и на полу.

— Очень, очень странно, — задумчиво произнёс профессор. — Мы вдвоём собирались приступить к работе только через две минуты, а часов уже нет.

Йокус пристально посмотрел на другого господина.

— Господин доктор Горнбостель, — сказал он подозрительно, — я ничего не хочу сказать, но не взяли ли вы по ошибке часы господина Тонки?

— Что за чушь! — возмутился доктор Горнбостель. — Я не краду ни по ошибке, ни в шутку! Адвокат с именем не может себе этого позволить.

Зрители засмеялись. Но Йокус оставался серьёзным.

— Можно мне посмотреть? — спросил он.

— Пожалуйста! — буркнул адвокат доктор Горнбостель и поднял вверх обе руки. Он походил на человека, которого грабят гапстеры.

Йокус быстро обшарил его карманы. Вдруг он что-то вынул: в руке его были часы.

— Вот они! — воскликнул толстый господин Тонки и подпрыгнул за часами, как мопс за колбасой. Потом он надел их на руку и, кинув косой взгляд на Горнбостеля, сказал: — Послушайте-ка, доктор... Это уж слишком!

— Клянусь честью, я тут ни при чём! Я их не брал! — обиженно оправдывался адвокат. — У меня есть свои. Он протянул руку, оголив запястье. Но тут лицо его вытянулось. — Часов нет! — крикнул он.

Публика смеялась и громко аплодировала.

— Золотые часы! На восьми рубиновых камнях! Настоящие швейцарские!

Йокус, смеясь, погрозил пальцем господину Тонки и обыскал его карманы. Вскоре он извлёк из его правого внутреннего кармана золотые часы.

— Вот они! — закричал Горнбостель. — Вот они!

Йокус помог ему надеть на руку золотые часы на восьми рубиновых камнях. Потом он подмигнул публике:

— Нечего сказать: достойных джентльменов я себе подобрал! — И, обращаясь непосредственно к обоим достойным джентльменам, прибавил: — Не сердитесь больше друг на друга! Помиритесь, пожалуйста. Протяните друг другу руки. Вот так. Большое спасибо... — Он взглянул на часы. — Ровно через минуту я приступаю со своим помощником к работе. Мы вас так обчистим, что только держитесь! Но потом, возможно, мы вернём вам часть вашего имущества. Вы же знаете поговорку: «Чужое добро впрок не идёт!»

— Вы с вашим помощником, которого нет в природе! — крикнул доктор Горнбостель. — Кстати, мне очень пригодятся ваши сто марок!

— Только терпение! Всему свой черёд, господин доктор! — ответил Йокус. — Через минуту мы начнём! Итак, взгляните на часы. На моих — семь минут десятого. Сравните с вашими!

Горнбостель и толстый господин Тонки одновременно взглянули на часы и ахнули:

— Часов нет!

Действительно, часы исчезли. У обоих!

Зрители ликовали.

Но вот Йокус поднял вверх руку, призывая публику к спокойствию. И в этот самый момент раздался крик маленькой девочки:

— Мама, гляди! У фокусника на руке трое часов!

Взгляды двух тысяч людей устремились на профессора. Он сам тоже уставился на запястье своей левой руки, притворяясь удивлённым: трое часов блестели на его руке! Люди смеялись и кричали, хлопали в ладоши и топали ногами от восторга.

...После того как восторг немного утих, Йокус вежливо вернул часы владельцам и сказал:

— Итак, дамы и господа, теперь надо бы, собственно, пригласить сюда ещё кого-нибудь из вас. В роли наблюдателя, так сказать. Но, откровенно говоря, это ни к чему бы не привело. И знаете почему?

— Потому что вы их всё равно обчистите! — крикнула смеясь какая-то тощая женщина.

— Ошибаетесь! — возразил Йокус. — Просто потому, что брать-то уже больше нечего. Всё их добро у меня!

Он похлопал себя по карманам и подозвал двух униформистов.

Они притащили стол и поставили его рядом с профессором.

— Итак, — сказал он, обращаясь к господам Горнбостелю и Тонки. — Теперь мы с вами будем играть в рождество. Я буду Дедом Морозом. Вы должны повернуться ко мне спиной. Только не подглядывать! А я тем временем разложу подарки на столе. Они вам очень понравятся, уверяю вас. Правда, новых подарков вы не получите. Будет несколько очень полезных вещей, которые вам принадлежат. Я вам дарю не то, что вы желаете, а лишь то, что вы хотели бы получить назад!

— Жаль! — крикнул толстый господин Тонки. — Мне бы очень пригодилась новая пишущая машинка.

Профессор покачал головой.

— Сожалею, — сказал он. — Этот номер не пройдёт. А то господин Горнбостель пожелает, чего доброго, бежштейновский рояль или даже целый орган. Лучше-ка повернитесь ко мне спиной и закройте глаза.

Оба джентльмена не хотели портить игру. Они повернулись спиной к подарочному столу и зажмурили глаза. Профессор убедился, что никто из них не подглядывает.

Подойдя к столу, он начал выворачивать свои карманы и выкладывать на стол их содержимое. Казалось, этому не будет конца. Зрители затаив дыхание не сводили с него глаз.

Оркестр играл старинную, давно забытую вещь под названием «Парад гномов». Вещь с таким названием была сейчас очень кстати.

Все вы, вероятно, помните, как в своё время в Берлине Йокус подшутил над директором гостиницы. Поэтому вы будете несколько меньше удивлены, чем две тысячи зрителей, сидевших в зале. Они ахали и охали, кричали: «Ой, не могу!» и «С ума сойти!» — а один даже крикнул: «Помираю!»

Проще всего, если я составлю список предметов, выложенных профессором на стол. Итак, он вынул из своих карманов:

- 1 записную книжку в красной кожаной обложке,
- 1 календарь в голубой обложке,
- 1 шариковую ручку, серебряную,
- 1 авторучку, чёрную,
- 1 бумажник из змеиной кожи,
- 1 чековую книжку коммерческого банка, голубую,

- 1 кошелёк из коричневой кожи,
- 1 связку ключей,
- 1 ключ от автомобиля,
- 1 коробку ментоловых конфет,
- 1 булавку от галстука, золотую с жемчугом,
- 1 пару роговых очков в чёрном кожаном футляре,
- 1 заграничный паспорт, немецкий,
- 1 носовой платок, чистый, белый,
- 1 портсигар, серебряный или никелированный,
- 1 пачку сигарет, фильтр,
- 1 счёт за уголь, неоплаченный,
- 1 зажигалку, эмалированную,
- 1 коробку спичек, наполовину пустую,
- 1 пару запонок из лунного камня,
- 1 обручальное кольцо из матового золота,
- 1 перстень из ляпис-лазури в платиновой оправе,
- 7 монет, общим достоинством в 8 марок 10 феннигов.

Публика ликовала, а оба господина с зажмуренными глазами при каждом восторженном выкрике и взрыве хохота дёргались так, словно их ударяло током. Они нервно и взволнованно ощупывали свои карманы, с трудом удерживаясь, чтобы не броситься к столу. Ибо карманы их были пусты, как пустыня Гоби.

Наконец профессор встал между ними, положил руки им на плечи и по-отечески ласково сказал:

— Дорогие дети, подарки приготовлены.

Мигом обернувшись, оба господина под смех и аплодисменты двухтысячной толпы бросились к своим вещам и быстро распахали их по карманам.

Смех не смолкал. Тогда Йокус поднял вверх руку, и в зале сразу стало тихо. Оркестр тоже умолк.

— Мне приятно, что вы так радуетесь, — сказал профессор. — И надеюсь, что это радость, а не злорадство. Имейте в виду, что мой маленький помощник и я с таким же успехом могли бы очистить карманы любого из вас.

— Вы со своим маленьким помощником?! — презрительно воскликнул господин Горнбостель. — Курам на смех! Не забудьте о нашем пари!

— Об этом мы еще поговорим, — ответил профессор. — Во всяком случае, я очень признателен вам обоим за вашу столь деятельную помощь.

Он пожал им руки, похлопал их по плечу и добавил:

— До свидания! Желаю вам успехов в вашей дальнейшей жизни!

Оба господина направились к своим местам. Но уже после первого шага доктор Горнбостель споткнулся и удивлённо

посмотрел под ноги. Оказалось, что он потерял один башмак. Он нагнулся, чтобы поднять его. Йокус подоспел к нему на помощь и любезно осведомился:

— Вы не ушиблись?

— Нет,— проворчал доктор, держа в руке башмак.— Но шнурок куда-то делся.— Он нагнулся к другому ботинку, который был ещё на ноге.— И второго шнурка нет!

— И часто это с вами бывает?— спросил участливо Йокус.— Вы всегда выходите без шнурков?

В зале снова захихикали.

— Это какой-то бред,— брюзжал Горнбостель.— Я ещё не впал в детство.

— К счастью, я могу вам помочь,— сказал Йокус.— У меня всегда при себе запасные шнурки.— Он выудил шнурки из своего кармана.— Прощу вас.

— К сожалению, они не годятся. Это коричневые шнурки, а мне нужны чёрные.

— Найдутся и чёрные,— сообщил Йокус и полез в другой карман.— Пожалуйста. Что случилось? Они для вас недостаточно чёрные? Чернее у меня нет.

— Вы мошенник из мошенников!— заорал доктор Горнбостель.— Это же мои собственные шнурки!

— Тем лучше!— заметил профессор.— А что мне делать с коричневыми? Может быть, они пригодятся вам, господин Тонки?

— Мне?— переспросил тот.— Зачем они мне? Правда, у меня коричневые ботинки, но...— Он осторожно пробежал взглядом вниз от живота к башмакам сорок пятого размера и вздрогнул.— Алло! Алло!— радостно заорал он.— Мои шнурки тоже исчезли. Отдавайте-ка их поскорее! А то я на улице вылечу из своих шлёпанцев! Большое спасибо, мастер-вор! Вам бы в карманники пойти, вы бы через месяц стали миллионером.— Я бы не спал по ночам,— возразил профессор.— А крепкий сон— это главное.

— Со мной дело обстоит иначе,— откликнулся толстяк.— Разжиться бы миллионом, только тогда б я уснул спокойно.

Но не успел он нахвалиться своей жадностью, как послышался голос маленькой шустрой девочки, с которой мы уже познакомились.

— Мама! Гляди!— крикнула она, подскакивая на месте от нетерпения.— У того дяди галстук пропал!

Четыре тысячи глаз уставились на господина адвоката доктора Горнбостеля, который судорожно вцепился в свой



воротник. И действительно, его красивого шелкового галстука как не бывало. И так как весь цирк хохотал, Горнбостель рассердился.

— Пошутили, и хватит! — заявил он мрачно. — Давайте мне галстук!

— Галстук в вашем левом внутреннем кармане, глубокоуважаемый доктор, — сообщил ему Йокус. Потом он протянул руку обоим и сердечно поблагодарил их за помощь.

— Не стоит благодарности, — откликнулся толстый господин Тонки. — Отпустите мою руку, а то чего доброго, вы и ее стащите.

Осторожно ступая и боясь потерять башмаки, он направился к своему месту, но на полпути вдруг замер и сказал:

— Что-то брюки сползают!

Он расстегнул пиджак и в ужасе крикнул:

— Подтяжки! Где мои подтяжки?

— Этого ещё не хватало, — забеспокоился Йокус. — Может быть, я их по ошибке...

Он пошарил по карманам и вздрогнул.

— Вот здесь что-то... Одну секунду, дорогой господин Тонки, не могу понять, как это я... С другой стороны, при моей рассеянности... — И он уже держал в поднятой над головой руке подтяжки: — Вот они!

Публика покатывалась со смеху. А когда доктор Горнбостель, завязывавший галстук, нервно распахнул пиджак, ища свои подтяжки, люди захохотали ещё громче. Подтяжки оказались на месте. Он облегченно вздохнул и вытер лоб — от страха он вспотел. Потом доктор Горнбостель поднял башмак,

о который споткнулся, и, прыгая на одной ноге, заковылял к своему месту в первом ряду.

Оркестр играл туш. Трубачи от смеха фальшивили. Толстый господин Тонки принял из рук профессора подтяжки. Профессор Йокус фон Покус элегантно раскланивался.

— Мы—Маленький Человек и ваш покорный слуга,— сказал он с улыбкой,— благодарим публику за образцовое внимание.

Все захлопали и закричали: «Браво!», и «Удивительно!», и «Великолепно!»

Но доктор Горнбостель вскочил со своего места, едва успев на него сесть, и закричал, размахивая руками:

— А наше пари? Вы мне проиграли сто марок!

Профессор сделал знак господину директору Грозоветтеру, со счастливым лицом стоявшему на краю манежа. Директор передал знак дальше. Из люка вокруг арены стала медленно подниматься крутовая решётка, которая обычно отгораживает зрительный зал от манежа, когда выпускают хищников.

— Сейчас я покажу вам моего помощника, Маленького Человека! Все вы можете убедиться, что он существует. Чтобы вы от удивления не раздавили ни меня, ни его, я просил поднять эту решётку...—Затем профессор обратился непосредственно к господину Горнбостелю: — Сейчас вы убедитесь, что пари вы проиграли. Деньги можете не передавать. Они уже у меня. Пересчитайте сдачу, пожалуйста!

Доктор Горнбостель пересчитал деньги и прошептал:

— В самом деле!

Он упал на стул.

Йокус вынул из нагрудного кармана Максика и, высоко подняв его, воскликнул:

— Разрешите представить вам Маленького Человека! Вот он!

Люди повскакали со своих мест и с грохотом побежали вниз по ступенькам. Они толкались, пытаясь протиснуться к решётке.

— Вот он! — раздавались крики.

— Не вижу!

— Да вот же!

— Где?

— Да на ладони профессора!

— Ой, какой маленький! Как спичка.

— Просто не верится!

Маленький Человек, улыбаясь, раскланивался перед публикой.



Глава 10

Вмешательство полицейской машины. Маленькому Человеку присвоено звание подмастерья. Галопинскому нужен новый хлыст. Роза Марципан жидается на шею профессору

Успех был грандиозный, и публика не успокоилась до тех пор, пока не приехала полицейская машина с сиреной и сигнальной лампой на крыше. В машину уселись профессор, Маленький Человек, оба голубя и крольчиха Альба. Они поехали окольными путями, минуя главные улицы, и быстро оторвались от машин, пытавшихся их преследовать.

Некоторое время спустя Йокус и Максик сидели в Красном салоне гостиницы. Они заказали кофе мокко со взбитыми сливками и две ложечки, потом перевели дух и улыбнулись друг другу.

Официант, прежде чем принести кофе, вывесил на дверях табличку с надписью «Просьба не беспокоить!».

Он уже слышал об их сенсационном успехе.

— Ну как? — спросил Максик Йокуса. — Ты мной доволен?

Профессор кивнул:

— Ты очень чисто работал. Ты ведь знаешь, что я хотел ещё несколько месяцев подождать.

— Но ведь надо было что-то делать, — воскликнул Максик, — чтобы все забыли про позорный случай с волшебным фраком!

— Свинство! — буркнул профессор и ударил кулаком по столу. — Галопинский был просто опарашен. Да и лошадь жалко!



— А нашу Альбу! — сказал Максик. — Я боялся, что она помрёт со страху.

— Тебе здорово пришлось попотеть? — спросил, улыбаясь, профессор.

— Самое трудное — подтяжки. Левый зажим никак не поддавался. Я два ногтя обломал. На красавце Вольдемаре это гораздо легче получалось.

— Зато со шнурками всё шло как по маслу, — отметил профессор. — Это был высший класс. И с галстуком у тебя великолепно получилось.

— Да, с галстуком всё шло без сучка без задоринки, — рассказывал Максик. — Узел был не тугой. Раз — и я уже в нём!

— Да, с галстуком нам повезло. Впрочем, иногда надо рассчитывать и на везение.

Маленький Человек наморщил лоб.

— Я хочу тебя кое о чём спросить. Но ты, пожалуйста, не увильвай, ладно?

— Согласен. Спрашивай!

— Для меня это вопрос жизни.

— Ну, так говори же!

— Ты веришь теперь, что я когда-нибудь стану настоящим артистом?

— Когда-нибудь? — переспросил профессор. — Ты уже артист! Сегодня ты выдержал экзамен на звание подмастерья.

— О! — прошептал Максик. Больше он ничего не мог сказать.

— Ты теперь мой подмастерье. И весь сказ.

— Ты думаешь, мне хлопали не только потому, что я такой маленький?

— Нет, сынок. Но, конечно, и это играло роль. Когда слон Юмбо садится на тумбу и поднимает передние ноги, люди ему хлопают. Почему? По двум причинам: потому что он что-то умеет и потому что он такой огромный. Если бы у него был только огромный рост и больше ничего, люди предпочли бы лежать дома на диване, а не сидеть в цирке. Ясно?

— Более или менее.

— Для аплодисментов нужны две вещи, — наставительно

продолжал профессор.— Возьмём другой пример. Когда сёстры Марципан подсакивают на своём батуте на целых пять метров в высоту и делают в воздухе сальто, им восторженно хлопают. Почему? Потому, во-первых, что они что-то могут, и потому, во-вторых, что они такие хорошенькие.

— Прежде всего Роза,— вставил Максик.

— Если бы девушки были некрасивы, то они бы нравились публике вдвое меньше, хотя бы они взлетали на целых два метра выше.

— Ну, а клоун?

— И клоун тоже. Не будь у него толстого красного носа и башмаков с загнутыми кверху утиными клювами, его шутки не казались бы такими смешными. И всегда так.

— А как же с тобой? — с любопытством спросил Маленький Человек.— Ты не такой громадный, как Юмбо, и не такой маленький, как я. У тебя нет красного носа, но ты и не так красив, как марципановые сёстры. Где же две вещи, без которых нет успеха?

Профессор засмеялся.

— Не знаю,— сказал он наконец.

— А я знаю! — торжественно воскликнул Максик.— Во-первых, ты замечательный фокусник...

— А во-вторых?

— Подними меня повыше, я тебе скажу на ухо.

Профессор поднёс Маленького Человека к уху.

— А во-вторых,— прошептал Максик,— во-вторых, ты самый лучший человек на свете!

На короткое мгновение стало тихо. Потом профессор смущённо кашлянул и сказал:

— Так, так. Ну, ведь кто-то должен им быть!

Максик тихонько засмеялся. Но тут же тяжело вздохнул:

— Знаешь, мне иногда хочется быть таким же большим, как все люди. Например, вот сейчас.

— Почему именно теперь? Гм?

— Тогда у меня были бы длинные руки и я смог бы обнять тебя за шею.

— Дорогой мой мальчик! — сказал профессор.

И Максик прошептал:

— Милый, милый Йокус.

Наконец официант принёс им мокко и две ложки.

— Вам сердечный привет от поварихи, которая варила кофе. А маленькую ложечку она дарит Маленькому Человеку. Это самая маленькая ложечка, какую ей удалось раздобыть на кухне.

— А почему мне её дарят? — удивился Максик.

Официант отвесил ему глубокий поклон.

— На память о дне, когда ты стал знаменит. Она иглой нацарапала на ложке сегодняшнее число.

— Иглой? — переспросил Маленький Человек.

— Да, — ответил официант. — Этой иглой обычно пшпигуют зайца или серну. Ничего более острого на кухне не нашлось.

— Большое, большое спасибо, — сказал Максик. — Значит, она решила, что я теперь знаменитый?

— И не только она! — раздался вдруг женский голос. Этот задорный голос принадлежал Розе Марципан. — Вот и я! — объявила девушка. — У гостиницы собрались журналисты и фотографы, а также дяди из телевидения и радио. Но швейцар их не выпускает.

— Его счастье, — буркнул профессор. — Но как же он тебя выпустил?

— А я знаю как! — воскликнул Максик. — Она посмотрела на него вот так и похлопала ресницами.

— Угадал! — подтвердила Роза. — И ещё одна новость: я проголодалась, — заявила она решительно.

Пообедав, она сказала:

— Жизнь прекрасна, друзья: обед был на славу, вы оба очень прославились, а славному маэстро Галопинскому необходим новый хлыст.

— Почему? — поинтересовался Максик.

— Потому что старый разлетелся на куски, — сообщила девушка. — Он сломался о клоуна Фернандо.

— Из-за перепутанных фраков?

Роза кивнула.

— Совершенно верно. При этом клоун вовсе не хотел опозорить всадника и его коня. Его интересовал некто Йокус.

— Йокус? — Маленький Человек был потрясён.

— Фернандо ревнив. Он думает, что Йокус в меня влюблён.

— Но ведь так оно и есть! — воскликнул Максик.

Фокусник покраснел как маков цвет, и, если бы только

мог, он в эту минуту отколдовал бы себя куда-нибудь за тридевять земель отсюда. Или превратился бы в зубную щётку... Но это умеют только настоящие волшебники.

Роза Марципан сверкнула глазами.

— Это правда? — спросила она с угрозой в голосе.

— Да, — мрачно ответил Йокус, разглядывая кончики своих башмаков, словно он их видел впервые.

Через пять минут Роза Марципан шепнула:

— Мне жалко тех дней, что я прожила, не зная об этом.

А ещё через пять минут кто-то за их спиной кашлянул. Это был официант.

— Максик просил передать вам привет.

— Где же он? — крикнули Роза и Йокус в один голос. От страха они стали белыми, как скатерть.

— У себя в номере. Я отвёз его на лифте. Он сидит в цветочном горшке на балконе и просит передать, что ему очень весело.

— Это ужасно, — пробормотал профессор, когда официант ушёл. — Мы даже ничего не заметили. Хороший отец, нечего сказать.

— Как видно, за вами обоими нужен присмотр, — улыбнулась девушка.



Глава 11

Максик в цветочном горшке. Фрау Хольцер читает. У специалиста по недовольным. Маленький Человек вырастает и становится великаном. Он видит себя в зеркале. Второй волшебный напиток. Самый обыкновенный мальчик

А тем временем Маленький Человек сидел на балконе в цветочном горшке. Горшок был из белого фаянса. Садовник посадил в него утром двадцать ландышей, потому что знал, что ландыши — любимые цветы Максика.

— В каких стихах описан запах ландышей? — спросил как-то Максик.

Ни Йокус, ни садовник таких стихов не знали.

— Наверное, сочинить такое стихотворение так же трудно, как сделать четырёхкратное сальто, — предположил Йокус.

— Да такого сальто и не бывает вовсе! — воскликнул Маленький Человек.

— Именно, — ответил Йокус. — В этом-то всё и дело.



Итак, как сказано, Маленький Человек сидел в цветочном горшке, прислонившись к нежно-зелёному стебельку. Задрвав голову, он смотрел на белые чаши ландышей, вдыхал этот неопиcуемый запах и размышлял о жизни. Это иногда случается. Даже с пышущими здоровьем мальчиками. Даже с Максиком.

Он думал о своих родителях и об Эйфелевой башне, о Йокусе, о девушке Марципан, о перепутанных фраках и о клоуне Фернандо, о сломанном хлысте Галопинского

и о подтяжках господина Тонки, о шумном цирке, и о тихих ландышах, и... и... и... Он заснул, и ему приснился сон.

Он бежал, маленький, каким он и был на самом деле, по бесконечной улице и не знал, куда деваться от всех этих башмаков и ботинок. Жизнь его была в опасности. Все прохожие очень торопились, они его не видели и большими шагами проносились мимо него или над ним; и он от страха перед их подмётками и каблуками всё бежал и бежал по тротуару. Иногда, чтобы отдышаться, он вплотную прижимался к стене какого-нибудь дома и потом бежал дальше. Сердце его подскакивало до самого горла.

Вот опять! Маленького Человека настигла пара тяжёлых сапог. В самый последний момент он успел отскочить в сторону. При этом он чуть было не угодил под острые каблочки женских туфель. В отчаянии он подпрыгнул высоко вверх и ухватился за чьё-то пальто. Он быстро взобрался по нему вверх до плеча и удобно расположился на широком воротнике.

Теперь Максик рассмотрел, что воротник этот принадлежал драповому пальто. А драповое пальто принадлежало женщине. Она и не заметила, что у неё появился спутник, и Максик мог спокойно её рассмотреть. Это была пожилая женщина с приветливым лицом. В руке она несла сетку, битком набитую всякой всячиной. Иногда женщина останавливалась перед какой-нибудь витриной и разглядывала выставленные в ней товары. Вдруг она чихнула и громко сказала самой себе:

— Будьте здоровы, фрау Хольцер!

Максик едва удержался от смеха.

Пока она стояла перед магазином белья, изучая цены на скатерти, полотенца, простые и мохнатые, носовые платки и салфетки, Маленький Человек от скуки читал вывески на дверях рядом с витриной. Чего только не было тут: и грязелечебница для немых детских рук, и дом отдыха для надкусанных пряников, и, наконец, вывеска врача, от которой у мальчишка захватило дух. Неужели в это можно поверить? Вот что на ней было написано:

Медицинский советник доктор медицины

КОНРАД ВАКСМУТ.

Специалист по недовольным собой.

Лечение великанов и карликов бесплатное.

Часы приёма — любое время дня и ночи.

2-й этаж слева.

В этот момент женщина ещё раз чихнула.

— Это к хорошей погоде,— сказала она вслух. И тут же снова судорожно вздохнула и произнесла: — Ап-чки!

Тут Маленький Человек сказал:

— Будьте здоровы, фрау Хольцер!

— Большое спасибо!— радостно отозвалась она.

Потом, вздрогнув, осмотрелась кругом и спросила:

— Кто это сказал?

— Я!— бойко откликнулся Максик.— Но вы меня не видите, потому что во мне всего пять сантиметров роста и я сижу у вас на воротнике.

— Только не свались!— сказала она заботливо и подошла поближе к витрине, чтобы рассмотреть отражение.— Вот теперь, кажется, я тебя вижу. Ой, какой же ты маленький, господи! Такое не каждый день увидишь. Хочешь пойти ко мне в гости? Ты ведь, наверное, есть хочешь? Ты устал? Может, у тебя живот болит? Я тебе грелку дам!

— Нет,— ответил Максик.— Вы очень добры, но у меня ничего не болит. Только, пожалуйста, отнесите меня на второй этаж и позвоните в левую дверь к доктору Ваксмуту. А то я сам не дотянусь до звонка.

— Только и всего?— сказала фрау Хольцер и шагнула в подъезд.

На втором этаже она позвонила в дверь. При этом она прочитала табличку.

— Век живи—век учись!— размышляла она вслух.— И чего только не бывает в жизни! «Специалист по недовольным собой»!— Она рассмеялась.— На мне-то он много не заработает. Что касается меня...

Но прежде чем она успела сообщить, что именно касается её, дверь распахнулась, и они увидели старика в белом медицинском халате и с длинной-предлинной бородой. Он быстро с ног до головы оглядел фрау Хольцер и покачал головой.

— Вы, верно, ошиблись дверью?— спросил он мрачно.— У вас такой довольный вид, что у меня голова разболелась.

— Ну и угрюмый же вы господин!— рассмеялась она.— Не сходить ли вам к врачу? Например, к доктору Ваксмуту.

— Бесплезно,— проворчал он.— Я могу помочь всем, но только не самому себе.

— Все вы врачи такие,— заметила фрау Хольцер, собираясь ещё что-то добавить. Но тут она снова чихнула.

— Будьте здоровы, фрау Хольцер! — отозвался Маленький Человек.

Медицинский советник выпучил глаза.

— Чёрт возьми! — пробурчал он. — Вот это пациент по моему вкусу!

И он, схватив Максика, захлопнул дверь перед самым носом фрау Хольцер.

— Ну, чем ты недоволен? — спросил врач, когда они очутились в его кабинете.

— Я бы хотел быть выше ростом, — ответил Максик.

— Какой именно рост тебя устраивает?

— Я не знаю.

— Вечная история, — ворчал медицинский советник. — Каждый знает, чего он не хочет. Но чего он хочет, не знает никто.

Он достал из стеклянного шкафа несколько разноцветных пузырьков и маленькую ложку.

— Два с половиной метра хватит с тебя? — сухо спросил он. — Сделать тебя ещё длиннее я не могу, потому что иначе ты пробьёшь головой потолок. Ну! Отвечай же!

— Два с половиной метра? — Маленький Человек робко взглянул на люстру. — А если... если мне... Если нам это потом не понравится?

— Тогда я дам тебе другое лекарство, и ты станешь пониже.

— Ну ладно, — сказал Максик дрожащим голосом. — Попробуем сначала два с половиной метра.

Медицинский советник, бормоча что-то в свою растрёпанную бороду, взял зелёную бутылку и нацедил в ложку несколько капель микстуры:

— Открой рот!

Маленький Человек открыл рот как можно шире, и вдруг что-то обожгло ему язык.

— Глотай!

Маленький Человек проглотил микстуру. Она обожгла ему горло и огненной струйкой прошла в живот.

Бородач сверкнул глазами на мальчика и буркнул:

— Сейчас начнётся!

И правда.

В ушах у Максика загрохотало. Руки и ноги заломило. Болели рёбра, болели волосы и кожа на голове. В коленных чашечках что-то хрустело. В глазах вертелись пёстрые, как радуга, круги, а в кругах плясали серебряные и золотые шарики и звёзды. Он не узнавал своих рук. Они росли и



становились всё длиннее и шире. Неужели это были его собственные руки?

Как в тумане, он видел, что стеклянный шкаф постепенно уменьшался, а стенной календарь опускался всё ниже и ниже. Вдруг что-то звякнуло — это он кончиком носа задел люстру. Наконец его толкнуло, как в лифте, когда тот резко останавливается.

Пёстрые круги в глазах замедлили своё движение. Шарики и звёзды прекратили свой танец. Гром в ушах затих. Волосы больше не болели. Кости тоже.

Голос медицинского советника произнёс удовлетворённо: — Два метра пятьдесят.

Но куда же он делся, доктор Бородач со своим мрачным лицом? Максик вертел головой во все стороны, но никого не видел. Перед самым его носом был карниз, с которого свисали занавески. Люстра, слегка позванивая, качалась рядом с его грудью. На шкафу лежал толстый слой пыли. Пыль виднелась и на белой лакированной рейке, которая на расстоянии полуметра от потолка окаймляла жёлтые обои. В углу над дзерьми возился в паутине чёрный паук. Максик в ужасе отскочил и рукой задел за высокую книжную полку. С полки слетела книжка.

Доктор Бородач громко смеялся. Смех его походил на бляение старого козла.

— Даже не верится! — насмешливо крикнул он. — Я превратил его в великана, а великан паука испугался!

Максик свирепо посмотрел вниз на письменный стол. Медицинский советник продолжал бляеть.

— Почему вы надо мной смеётесь? — спросил Маленький Человек, который теперь стал большим. — В конце концов я ведь не учился на великана. Только что во мне было всего пять сантиметров роста. А вы никогда не дрожали от страха?

— Нет, — ответил Бородач. — Никогда. Я не из тех, кому нужен страх. Если на меня набросится лев, то я его превращу в зяблика или бабочку.

— Значит, вы вовсе не медицинский советник?

— Нет. Но я и не фокусник, как твой Йокус.

— Так кто же вы?

— Я самый настоящий, взавраваданный колдун и чародей.

— О-о! — прошептал Максик. От страха он крепко ухватился за шкаф. Но так как шкаф был очень неустойчив, то дрожали оба — и шкаф и великан Макс.

— Сядь на стул, чтобы ты мог увидеть себя в зеркале! — приказал волшебник. — Ты ведь даже не знаешь, на кого ты стал похож.

Максик сел на стул и, посмотрев на себя в зеркало, вздрогнул и воскликнул в ужасе:

— Неужели это я? Не может быть!

В отчаянии он закрыл лицо руками.

— А мне кажется, что ты вполне подходяще получился! — заметил волшебник. — Но, видно, на твой вкус мы не угодили.

Максик отчаянно замотал головой и прошептал:

— Я такой противный! Хуже жирафа!

— Так какой же рост тебя устроит? — спросил волшебник. — Только подумай как следует.

— Я с самого начала знал, чего хочу, — ответил Максик сокрущённо. — Но потом меня разобрало любопытство. А теперь я готов рвать на себе волосы.

— Какого же роста ты хочешь быть? — настаивал Бородач. — А то всё ходишь вокруг да около.

— Ах! — тяжело вздохнул Максик. — Ах, господин волшебник, я хотел бы стать таким же, как все мальчишки моего возраста! Не выше и не ниже, не толще и не тоньше. Я не хочу быть чудом вроде редкой почтовой марки или трёхгорбого



верблюда. И не хочу быть смелее или трусливее, глупее или умнее и...

— Ну хорошо, хорошо,— проворчал волшебник и взял в руки красный пузырьрёк и ложку.— Значит, ты хочешь быть обыкновенным шалопаем? Нет ничего проще. Открой рот!

Максик — двухсполовинометровый великан — послушно раскрыл рот и проглотил густую красную микстуру. И даже облизал ложку.

В ушах его сразу засвистело и загремело. Голова разболелась. Сердце бешено колотилось. Пёстрые круги завертелись в глазах, как фейерверк.

И вдруг наступила тишина.

— Посмотри в зеркало! — приказал волшебник.

Сначала Максик струсил. Потом осторожно приподнял веки на два миллиметра. Потом вытаращил глаза, соскочил со стула и с радостным криком вскинул вверх руки.

— Да! — орал он во всю глотку. — Да! Да! Да!

А в зеркале какой-то мальчишка размахивал руками. Это был очень симпатичный мальчуган лет двенадцати-тринадцати. Максик подбежал поближе к зеркалу и вытянул вперёд руки, словно пытаясь обнять собственное отражение.

— Это я?! — кричал Максик.

— Это ты, — крикнул волшебник и засмеялся. — Это Макс Пихельштайнер, самый обыкновенный мальчик тринадцати лет.

— Я так счастлив! — тихо сказал Максик.

— Надеюсь, что навсегда, — заметил медицинский советник. — Ну, а теперь сматывай удочки!

— Как же мне вас отблагодарить?

Волшебник встал и указал на дверь:

— Ступай и не благодари!

Глава 12

«Ну и осёл!» Странные плакаты в городе. Директор Грозоветтер называется Громовержцем, Галопинский — Рысаковским. Йокус его не узнаёт. Макс и Максик. Это был всего лишь сон

Наконец-то он стал ростом с обычного мальчишку. Но то, что другие дети считают совершенно естественным, для него оказалось необыкновенно новым. От радости он готов был остановить любого прохожего и спросить: «Ну, что вы скажете? Разве не здорово?»

Конечно, он этого не делал. Люди, наверное, немало бы удивились и в лучшем случае только ответили бы: «Что же тут особенного? Мальчишек твоего роста что песку морского!»

А кое-кто, может быть, даже и рассердился бы. Но некоторые прохожие всё-таки смотрели на него во все глаза, хотя он их ни о чём и не спрашивал. Лицо его сияло, словно он только что выпирал автомобиль. Кроме того, он как-то странно себя вёл: то и дело вздрагивал и даже отскакивал в сторону, словно боялся, как бы его не раздавили. Хотя теперь перед его глазами мелькали лица, и шляпы, и шапки, а не ботинки и каблуки, как прежде. Вечная история со старыми привычками! От них труднее избавиться, чем от хронического насморка!

Но было и ещё нечто более странное в его поведении: он останавливался чуть ли не перед каждой витриной. И вовсе не



из-за красивых вещей. Нет, он останавливался, чтобы поглазеть на отражение замечательного, как ему казалось, мальчика. Он смотрел и не мог насмотреться досыта.

При этом случалось, что кто-нибудь за его спиной произносил:

— Ну и осёл!

На сей раз это был мальчуган его возраста с волосами соломенного цвета. Спереди у него не хватало одного зуба.

— Это всего лишь десятая витрина, в которую ты на себя лбуешься,— сообщил мальчуган.— Я таких оборотов, как ты, за всю свою жизнь ещё ни разу не видел. Ты поцелуй себя в зеркале. Или объяснись самому себе в любви.

Конечно, Максик разозлился. Но, с другой стороны, не мог же он, этот парень, знать всех обстоятельств дела.

— Отвяжись,— спокойно сказал ему Максик.

Но паренёк с соломенными волосами и не думал отвязываться.

— А шажочки-то у тебя, словно у годовалого младенца, которого ходить учат. Дай-ка, пупсик, свою ручончку, а то головку зашибёшь.

В Максике всё кипело.

— Сейчас ты получишь ручончку! Вернее, ручончкой по роже!

— Ой, испугался!— не унимался мальчуган.— Эх ты, пупсик, ходить не научился, а уж лезешь драться! Ха-ха-ха!

Максик не выдержал. Он закипел, как суп в кастрюле, размахнулся—и как влепит обидчику оплеуху! Тот так и присел на тротуар, держась левой рукой за щеку. Максик даже сам удивился.

— Прости, пожалуйста,— сказал он.— Честное слово, первый раз в жизни дрался!

И пошёл своей дорогой.

Кроме витрин, а вернее, витринных стёкол, его ещё интересовали—и с каждой минутой всё больше—афишные тумбы.

Куда он ни бросал взгляд, всюду он узнавал себя. На афишах, правда, был изображён не тот обыкновенный мальчик, каким он был теперь, а Маленький Человек—ученик

фокусника, крохотный помощник известного профессора Йокуса фон Покуса, с которым они вместе выступали в цирке «Стильке» и приводили публику в такой бешеный восторг. На всех плакатах был изображён Максик Пихельштайнер, но подписи к его портретам были какие-то ненормальные. Казалось, что афишные тумбы вынесли на улицу из сумасшедшего дома.

На одной рекламе он стоял, прислонившись к спичечной коробке (и коробка и сам мальчик были в два метра длиною). Текст рекламы гласил:



На другом плакате он держал обеими руками огромную электробритву серебристого цвета. Надпись рядом нахально утверждала:



Максик подумал: «Что за чушь! Мне ведь ещё по крайней мере четыре года расти, пока на подбородке появится первый пух. Вот уж Йокус удивится, когда прочтёт этот вздор!»

Но и остальные плакаты были не лучше.

Странные люди! Чего только они не выдумывают, чтобы избавиться от своих товаров! Вот теперь они пытаются внушить прохожим, что Маленький Человек ведёт себя как взрослый. А ведь все знают, что он мальчик.

«Ну и бред! — подумал Максик. — Йокус совершенно прав, когда говорит, что у этих рекламных дядей нервы из канатов. Неужели действительно люди, прочитав такую рекламу, сломя голову помчатся в магазины покупать электробритвы,

сигары и шампанское, которые им так настойчиво навязывают?»

Мальчик собрался было бежать дальше. Но тут его взгляд остановился на афише, которая была скромнее и меньше соседних и которую он чуть было не упустил из виду.

На афише не было пёстрых рисунков. Не было и фотографий. Но от текста, который он прочёл, его бросило в дрожь:



«Ой, какой ужас! — подумал Максик. — А вдруг сегодня среда, или суббота, или, может быть, воскресенье?! Только бы не опоздать к дневному представлению! Йокус даже не знает, где я!»

И он помчался, не чувствуя под собой ног.

В цирке посреди манежа сидел господин директор Грозоветтер, в белых перчатках и чёрном цилиндре, и читал газету.

Максик вихрем ворвался в цирк.

— Чтостряслось? — осведомился директор, глядя поверх газеты.

— Простите меня, пожалуйста! — крикнул запыхавшийся мальчик. — Но я не знаю, среда сегодня или нет.

Директор поднял брови.

— А может, суббота? — продолжал мальчик. — Или воскресенье?

— Ты в своём уме? — рассердился директор. — Врываешься в цирк и спрашиваешь, не среда ли сегодня. Ты нарушаешь неприкосновенность жилища!

Потом он снова спрятался за своей газетой.

— Но господин директор Грозовецтер!.. — Максик стоял как громом поражённый. Почему этот человек был так недоброжелателен к нему, к новому любимцу публики?!

— Ты даже не знаешь, как меня зовут!

— Грозовецтер!

— Меня с самого моего рождения зовут Громовержец! — строго поправил его директор. — Понял? Не Грозовецтер, и не Километр, и не Сантиметр, а Гро-мо-вер-жец!

— Громовержец! — чуть слышно повторил Максик. Ему очень хотелось провалиться сквозь землю.

Но тут к ним подошёл наездник Галопинский и спросил:

— Что это вас так рассердило, господин директор Громовержец?

— Да вот мальчишка мне на нервы действует, — ответил директор. — Врывается на манеж, спрашивает, среда ли сегодня, и называет меня Грозовецтером!

— Пошёл вон! — зашипел на него наездник. — Сию же минуту убирайся!

— Но господин Галопинский!.. — испуганно начал Максик.

— Вот вам! Слышите? — закричал директор и всплеснул белыми перчатками над цилиндром.

— Меня зовут Рысаковский, а не Галопинский! — рявкнул наездник.

— И сегодня четверг, нервотрёпщик, — ворчал директор. — Иди домой делать уроки.

— Но я же артист! — робко возразил мальчик.

— Новое дело! — вздохнул директор. — Час от часу не легче. Что же ты умеешь?

— Шнурки развязывать, — прошептал Максик.

Тут оба — и директор и наездник — побагровели; казалось, их вот-вот хватит удар.

Наездник сжал кулаки:



— Ах вот как! Шнурки умеешь развязывать! Я это умел трёх лет от роду.

Директор пыхтел и сопел, как морж.

— Можно сойти с ума,— стонал он.— Умеет шнурки развязывать! Гениальный ребёнок!

— А ещё я могу отстёгивать подтяжки,— прошептал Максик со слезами в голосе.

— Довольно! Всему есть предел! — взвыл директор.— Это уж верх наглости!

— И галстук я умею развязывать,— продолжал Максик тихо и жалобно.

Тут наездник вскочил, схватил Максика за шиворот и стал трясти его изо всех сил.

Директор тоже поднялся, продолжая стонать.

— Всыпать ему как следует! — сказал он.— И выбросить вон!

— С огромным удовольствием! — заявил наездник и по всем правилам искусства положил мальчика к себе на колени.— Эх, жаль, очень жаль, что я не захватил свой новый хлыст,— прибавил он. И стал бить мальчика.

— Помогите! — заорал Максик, и крик его доносился до самой вершины купола.— Помогите-и-тите!

В этот момент на манеже появился профессор Йокус фон Покус.

— Кто это кричит так жалобно? — спросил он.

— Это я, дорогой Йокус! — крикнул мальчик.— Пожалуйста, спаси меня! Они меня не узнают!

Он вырвался из рук наездника, подбежал к профессору и, еле дыша, повторил:

— Они не узнают меня!

— Прежде всего спокойствие! — сказал профессор. Потом он посмотрел на мальчика и спросил:— Они тебя не узнают?

— Не узнают, Йокус!

— А кто же ты? — осторожно спросил профессор. — Дело в том, что я тоже тебя не узнаю.

Словно бездна разверзлась под ногами мальчика. Голова закружилась. В глазах поплыли круги.

— Йокус меня не узнаёт, — прошептал он. — Даже Йокус меня не узнал...

Слёзы ручьями потекли по его щекам.

Стало совсем тихо. Даже директор и Рысаковский молчали.

— Откуда же мне тебя знать? — спросил растерянно профессор.

— Но ведь я же твой Максик, — рыдал мальчик. В отчаянии он закрыл лицо руками. — Я же твой Максик Пихельштайнер!

— Врёшь! — раздался звонкий мальчишеский голос. — Максик Пихельштайнер — это я!

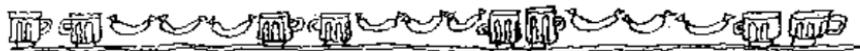
Большой мальчик опустил руки и в ужасе посмотрел на нагрудный карман профессора. Из кармана высовывался Маленький Человек и гневно размахивал руками.

— Пожалуйста, унеси меня отсюда! Я не люблю лгунишек!

— Дорогой Йокус! — крикнул большой мальчик. — Останься здесь! Останься со мной! У меня ведь только ты один на свете!

— Ну, Максик! — сказал профессор. — Почему ты так расплакался? Я ведь с тобой, я всегда с тобой! Тебе плохой сон приснился?

Максик широко раскрыл глаза. На его ресницах ещё висели слезинки. Но он видел над собой озабоченное лицо Йокуса. Он вдыхал запах ландышей и знал, что сидит в цветочном горшке на балконе своего номера. И всё опять было хорошо.



Глава 13

Это был всего лишь сон. Разговор об изобретателе застёжки-«молнии». Отчаянные ребята и загадочные друзья

— Правда, это был только сон?— Маленький Человек облегчённо вздохнул. Словно камешек с его души свалился.— Ох, Йокус, милый, какое счастье, что ты меня опять узнаёшь!

— Я тебя не узнавал? Ну знаешь ли...

— Да, это потому, что я очень вырос,— объяснил Максик.— Я был такого же роста, как все мальчишки моих лет. Но кроме того, я был ещё и маленький, как теперь, и торчал в твоём кармане.

— Значит, ты был и Макс и Максик одновременно? Здорово!

Маленький Человек рассмеялся. Правда, в горле всё ещё стоял комок. Но Максик знал, что скоро ему опять станет весело.

— Пожалуйста, возьми меня в руки,— сказал он.— Тогда мне не будет страшно.

— Кстати, на балконе довольно холодно,— заметил Йокус и вынул его из цветочного горшка.— Искупайся в мыльнице—и марш в спичечную коробку. Перед сном ты мне расскажешь, что тебе приснилось.

— Всё-всё-всё?

— Да, всё-всё-всё. От начала до конца. Потому что сон— дело хитрое.— Вдруг Йокус испугался:— Ты не голоден? Или ты во сне ел сосиски?

— Нет,— ответил Максик,— сон был совсем без еды. Но всё равно я сыт.

При свете ночника Максик рассказал свой сон. Всё до последней мелочи. О доброй фрау Хольцер и о том, как она



чихала. О профессоре Вакмуте, который оказался взаврадашним волшебником и превратил Максика сначала в великана, а после в обыкновенного школьника. Потом он рассказал о драке с мальчишкой с соломенными волосами. И о тумбах с глупыми афишами... О цирке, о директоре Громовержце и наезднике Рысаковском. И наконец, о том страхе, который он пережил, когда к ним подошел Йокус с Маленьким Человеком в кармане и даже не узнал его — настоящего Максика.

Йокус молчал довольно долго. Потом откашлялся и сказал:

— Вот видишь. Сон всё и выдал. Ты мечтал стать обыкновенным мальчишкой, вместо того чтобы оставаться самим собой.

Максик кивнул печально:

— Мечтал уже давно. Только никому не рассказывал. Даже тебе. Хотя я тебе всегда всё рассказываю.

— И вот, когда ты вырос, тебе стало жутко!

— Ага, — подтвердил Максик смущённо. — Ты как-то говорил, что надо кем-то быть и что-то уметь. А тут я вдруг стал никем и ничего не умел. Когда я рассказал директору и Рысаковскому, что умею развязывать шнурки, они смеялись надо мной.

— Просто ты стал большим, как все. Все умеют расшнуровывать ботинки. Но только один Маленький Человек делает так, что никто ничего не замечает.

— Это совсем немного, — сказал Максик.

— Немного, — подтвердил Йокус. — Но всё же лучше, чем ничего. Ибо кто на свете может много? Вот, например, некто, сидя в тюрьме, изобретает застёжку-«молния». Теперь она чуть ли не на каждом чемодане или костюме. Итак, изобретена застёжка-«молния». Это много?

Максик внимательно слушал профессора...

— Или другой пример. Кто-то пробегает стометровку на десятую долю секунды быстрее, чем все остальные спринтеры во всех частях света, — сказал Йокус, — и люди в восторге забрасывают шапками стадион. Но я своей шапки не сниму. Установлен новый рекорд? Хорошо. Я тоже радуюсь и хлопаю в ладоши. Но много ли это?

— Может быть, это и немного, — заметил Маленький Человек, — но что же больше? И что вообще тогда «много»?

— Предотвратить войну, — ответил Йокус. — Победить голод. Избавить человечество от болезней, которые считались до сих пор неизлечимыми.

— Но ведь этого мы с тобой не можем,— заметил Максик.

Йокус кивнул:

— Не можем. И очень жаль. С нашим искусством много не сделаешь. Мы можем добиться лишь двух вещей: удивить и развеселить людей. У нас нет повода зазнаваться. И тем не менее завтра все газеты сойдут из-за нас с ума.

— Ты так думаешь?

— Да, я в этом уверен, малыш. Завтра будет чёрт знает что твориться. А теперь— спать. Утро вечера мудренее.

Йокус положил голову на подушку.

— По-моему, я ещё совсем не устал,— заявил Маленький Человек.

— Глубокоуважаемый господин Пихельштайнер,— обратился к нему профессор.— Я был бы вам чрезвычайно признателен, если б вы не сочли за труд задуть свечу.

Максик засмеялся и выключил свет.

— Значит, я опять маленький,— пробормотал он в темноте.— Но когда ты рядом, мне это нравится.

— Спи, пожалуйста.

— А правда, мы с тобой отчаянные ребята?— подумал вслух Максик.

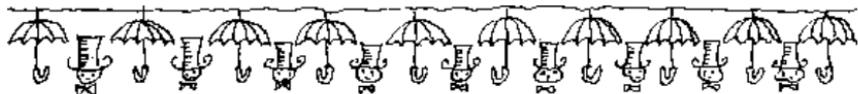
— Да,— пробурчал задремавший Йокус.— Отчаянные ребята и закадычные друзья. А теперь пора спать.

— Закадычные—это от слова «закат», да?— спросил Маленький Человек.

— Нет, от слова «кадык». Сколько раз тебе говорить, что пора спать!— сердитым голосом сказал профессор и так громко зевнул, что даже ландыши на балконе услышали.

— Я уже сплю!— сказал Маленький Человек и закрыл глаза и рот.

Не берусь утверждать, заснул ли он сразу, потому что, во-первых, в комнате было очень темно, а во-вторых, меня там не было.



Глава 14

Слава в первой половине дня. Телефонные звонки. Первый посетитель — директор Грозоветтер. Деньги не главное дело, но важнейшее из второстепенных. Крольчиха в чужом цилиндре. Заголовки и слухи

Следующий день навсегда остался в их памяти. Максим проснулся знаменитостью.

Главный швейцар гостиницы, который за сорок лет службы приобрёл не только солидное плоскостопие, но и солидный опыт, уже в девять утра объявил телефонисткам:

— Небывалый успех, поверьте мне, барышни. Паренёк прославится, как Пизанская башня. Попомните мои слова.

Девушки захихикали, прикрыв ладошками телефонные трубки.

Но времени посмеяться в этот день у них совсем не оставалось. Вызовы следовали один за другим. Весь мир жаждал побеседовать с Маленьким Человеком. Особенно какая-то настойчивая дама. Она интересовалась, женат ли Маленький Человек.

— Я его вчера видела в цирке, и он меня совершенно очаровал,—объяснила она.

— К сожалению,—ответила телефонистка,—он уже шесть лет состоит женихом наследной принцессы Австралии.



— Чего он найдёт в этой Австралии, кроме кенгуру? — раздражённо спросила женщина. — То ли дело я. У меня магазин детской одежды.

Конечно, не все звонки были такими дурацкими. Но ведь и дельные разговоры отнимают много сил и времени. Девушки на коммутаторе и швейцар чуть не падали от усталости.

Тем временем Йокус и Максик сидели на балконе и мирно завтракали.

— Не облизывай ложку от варенья, — сделал ему замечание профессор.

— Мне теперь можно! — уверенно возразил Максик. — Когда человек так знаменит, ему всё можно.

— Странное у тебя представление о знаменитостях, — сказал Йокус.

Обе голубки сидели в ящичке для цветов, а крольчиха Альба высунула голову за балконную решётку. Для всех троих сей славный день ничем не отличался от обычного.

Маленький Человек хитро улыбнулся.

— Минна, Эмма и Альба, — сосчитал он. — Не хватает лишь Розы.

В этот момент в дверь три раза постучали, и вошёл первый посетитель. Но это не была Роза Марципан. Посетителем оказался директор цирка Грозовецтер. В одной руке он держал цилиндр, в другой — пачку утренних газет.

— Успех сенсационный, — задыхающимся голосом произнёс директор и тяжело опустился на стул. — Хотя пресса и не присутствовала на представлении, она безумствует: перед гостиницей толпятся любопытные. Лифтёр сбился с ног, официант отбился от рук, а швейцар потерял голову.

Максик смеялся, а Йокус быстро пробежал первые короткие сообщения о колоссальном успехе — своём и Максика.

— Лавина катится, — отметил он удовлетворённо.

— Да к тому же ещё в гору, — добавил Грозовецтер. — Жалко, что нам придётся расстаться. — И он печально опустил глаза.

— Что-о-о? — удивлённо протянул Маленький Человек. — Я этого не понимаю.

Грозовецтер обвёл перчаткой вокруг цилиндра.

— Вот господин профессор — тот, вероятно, меня понимает.

— Да, — буркнул Йокус и кивнул головой.

— Сегодня ночью я не сомкнул глаз, — сказал Грозовецтер и сунул цилиндр под стул. — Всё считал и подсчитывал.

И знаете, никак не выходит. Наш цирк не балаган, а солидное заведение, снискавшее уважение публики и собратьев по ремеслу. Но вы оба со вчерашнего дня — мировой экстра-класс, а этого я оплатить не в силах.

Йокус заметил:

— Но вы же ещё не знаете наших требований.

— Не знаю. Но я не вчера родился... Я знаю, какие суммы вам теперь предложат. Конкурировать мне не под силу. Я солидный предприниматель. Другой директор на моём месте, возможно, подумал бы: «Мне одним этим номером обеспечен полный сбор. Даже если я выставлю на улицу семью Бамбус...»

— Нет! — крикнул Максик.

— Или если я продам слонов в зоопарк.

— Нет! — крикнул Максик.

— Или если я уволю глотателей огня и трёх сестёр Марципан...

— Нет! Ни за что! — возмущённо кричал Максик. — Этого вы не должны делать!

— Я и не сделаю! — с достоинством ответил директор Грозветтер. — И именно по этой причине нам придётся с вами расстаться.

Йокус сказал:

— Выкладывайте-ка на стол ваши карты! Сколько вы можете нам платить?

— В четыре раза больше, чем сейчас. Но другие предложат вам в десять раз больше.

— Нет, — возразил Йокус. — В двадцать раз. Я этой ночью тоже занимался подсчётами. Вы, высокоуважаемый господин директор, можете нам платить больше, чем в четырёхкратном размере, не закладывая при этом в ломбард цилиндра и слонов.

— Сколько же?

— В пятикратном!

На лице Грозветтера появилась вымученная улыбка.

— В таком случае мне придётся отказаться от моих любимых сигар.

— Ну, положим, этому не поверит даже ваш поставщик!

— Он-то, конечно! — устало усмехнулся директор.

— Ты всё понял, Максик? — спросил Йокус. — Но прежде чем отвечать, отложи в сторону ложку.

Максик отложил в сторону ложку с вареньем. Потом он сказал:

↑

— Я всё понял. В другом месте мы могли бы заработать в пять раз больше, чем у директора Грозоветтера, то есть Грозоветтера. Да и то только, если он бросит курить.

— Какой смышлённый малыш! — заметил директор.

— Что нам теперь делать? — спросил Йокус. — Остаться у директора Грозоветтера? Или ради большего жалованья перейти в другой цирк? Обдумай это как следует. Речь идёт о больших деньгах, а деньги на дороге не валяются.

Максик наморщил лоб.

— Ты сам знаешь, чего ты хочешь?

— Знаю.

— Ну и я знаю, — заявил Маленький Человек. — Я хочу остаться у господина директора Грозоветтера. Он принял на работу в цирк моих родителей и вообще был очень добр ко мне. Как родной дядя.

— Bravo! — сказал Йокус. — Значит, мы едины в нашем решении. — Он обратился к директору цирка: — Решение принято единогласно. Мы останемся у вас.

— О! — прошептал Грозоветтер. — Вот это я называю благородством. — И он растроганно провёл рукой по глазам.

— Подробности обсудим после обеда, — сказал, улыбаясь, Йокус. — Для меня и для моего партнёра деньги, как вы, вероятно, успели заметить, не главное дело в жизни, но всё же...

— Но всё же?... — с любопытством перебил его Максик.

— Но всё же важнейшее из второстепенных, — закончил старший партнёр.

Директор слегка поклонился.

— Ну конечно же, господин профессор. Конечно! Разрешите мне сообщить представителям печати и радио, что вы остаётесь у меня?

Йокус кивнул:

— Пожалуйста, дорогой мой!

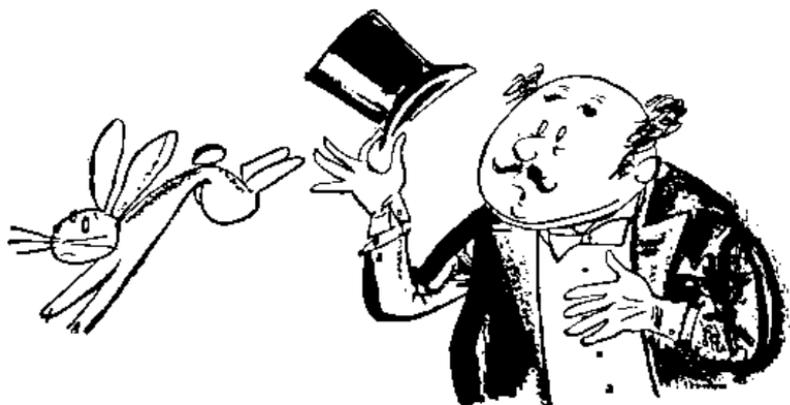
Грозоветтер вскочил со стула:

— Тогда я побежал.

Он вынул из-под стула свой цилиндр и от радости надел его набекрень. Но цилиндр словно с ума спятил — он переваливался с боку на бок.

— Что это значит? — спросил ошарашенный директор и сорвал с головы цилиндр.

Из цилиндра выпрыгнула белая крольчиха Альба. Она до смерти перепугалась и быстро поскакала в комнату к своей корзинке.



— Ай-ай-ай! — Фокус погрозил господину Грозоветтеру пальцем. — Это нечестно! Альбе нечего делать в чужих цилиндрах!

Директор рассмеялся и, в свою очередь, погрозил пальцем.

— Говорите это не мне, а вашему кролику.

И, придерживая на ходу свой живот, директор побежал что есть духу. Он спешил скорее преподнести редакциям, агентствам печати и радио ещё не успевшую остыть новость о том, какое счастье свалилось на голову, а точнее, на купол его цирка.

Уже через несколько часов читатели в городе узнали важное известие. Бульварные листки поместили его на первой полосе. Огромные заголовки гласили:

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

остаётся у «Стильке»

ВЕРНОСТЬ, НЕСМОТРЯ НА НЕВИДАННЫЙ УСПЕХ.

ГРОЗОВЕТТЕР ПОБЕДИЛ КОНКУРЕНТОВ.

ФОКУСНИК И ЕГО АССИСТЕНТ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ.

В этот вечер — перед вторым выступлением Маленького Человека — у цирка толпилось и толкалось больше ста тысяч человек!



Глава 15

Второе представление и вторая сенсация: Максик в роли лётчика. Архив «Стильке». Предложение из Голливуда. Переписка с деревней Пихельштайн. Королевский подарок из королевства Бреганзона

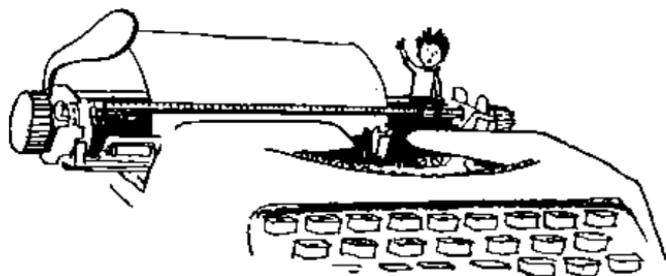
Сто тысяч человек! На девяносто восемь тысяч больше, чем вмещал цирк. Они тотчас же приступили к осаде кассы предварительной продажи билетов, и уже через два часа билеты на все дни были проданы, хотя цирку «Стильке» предстояло ещё сорок дней оставаться в городе, а билеты подорожали на целую марку!

Три специальные автомашины отвезли ночью деньги в несгораемые шкафы городского банка. «Бережёного бог бережёт», — рассуждал директор Грозоветгер.

Само же представление было новым триумфом для «Большого вора и Маленького Человека». Дяди из телевидения явились со своими аппаратами. Повсюду торчали фотографы с камерами. Иностранцы корреспонденты сидели, раскрыв глаза и блокноты.

Для остальных артистов этот вечер, несмотря на полный сбор, не был столь уж приятным. Ведь все они понимали, что нетерпеливые зрители вместе с прессой и почётными гостями ждут только Йокуса и Максика.

Я не ошибся — почётные гости действительно присутствовали: обербургомистр с золотой цепочкой на шее, два его



заместителя, председатель городской палаты, городские советники, американский генеральный консул, три директора банка, целый рой кинопродюсеров, главных режиссёров и главных редакторов и даже один ректор университета, который в последний раз был в цирке сорок лет тому назад!

Поднялась круговая решётка. Йокус представил изумлённой толпе своего маленького помощника и тут же объявил о следующей сенсации.

— Сейчас, — воскликнул он, — Маленький Человек на спине своей приятельницы — голубки Эммы — полетит к куполу и, совершив над нашими головами круговой полёт, опустится ко мне на руку!

Так оно и случилось. Оркестр молчал. Не только потому, что так было задумано. Всё равно от волнения музыканты не смогли бы извлечь из своих инструментов ни единого звука.

И только два живых существа не испытывали во время этого необыкновенного полёта и тени страха — Эмма и Максик. Он держался правой рукой за голубой шёлковый бант, который Йокус перед полётом самым тщательным образом завязал вокруг Эмминой шеи.

Эмма стартовала в полном спокойствии: круто, по спирали набирая высоту, она достигла купола, три раза облетела вокруг него и, наконец, словно маленький белый планёр, плавными, изящными виражами стала опускаться всё ниже и ниже, пока не приземлилась на вытянутую ладонь профессора. Никогда прежде эта рука так сильно не дрожала. И весь цирк облегчённо вздохнул, как очнувшийся от глубокого обморока великан.

В гардеробе Йокус тихо сказал:

— Нельзя было разрешать тебе этот полёт. Ни за что и никогда!

— Это было так чудесно! — воскликнул Максик. — Спасибо, что разрешил!

Обе голубки сидели на зеркале в гардеробе, прижавшись друг к другу, и ворковали.

Маленький Человек потирал руки.

— Знаешь, о чём они говорят? Эмма рассказывает о полёте, а Минна ей завидует. Причём абсолютно напрасно!

— Почему же?

— Потому что завтра очередь Минны!

Вдаваться во все детали этого всемирного успеха я, естественно, не могу. Впрочем, за подробностями можно обращаться непосредственно в архив «Стильке». Заведующий архивом Куниберт Кляйншмидт добросовестно собрал и

разложил по порядку все фотографии, сообщения, интервью, письма и отклики. Он довольно охотно отвечает на вежливые запросы (только не забудьте приложить почтовую марку для ответа!).

Разумеется, в журналах появились целые фотосери́и, частью цветные. Французский еженедельник «Пари-матч» воспроизвёл на обложке цветную фотографию Максика, стоящего на ладони Йокуса. Миллионы людей наблюдали по телевизору, как Максик выдёргивал украдкой шнурки из ботинок обербургомистра. Американский журнал «Лайф» предложил Маленькому Человеку сто тысяч долларов за право первой публикации его воспоминаний. Кинокомпания «Метро-Голдвин-Майер» приступила к переговорам о создании широкоэкранного фильма с Максиком и профессором в главных ролях. Спичечный концерн запросил лицензию на этикетки для спичечных коробок с надписью: «Маленький Человек даёт прикурить».

Что-то Йокус разрешал. От чего-то наотрез, по крайней мере временно, отказывался.

— Но ведь на этот голливудский фильм мы могли бы согласиться,— сказал Максик.

Профессор покачал головой:

— Не горит. Когда-нибудь позднее. Всему своё время.

Всё же кое-что мне придётся рассказать вам подробнее. Например, историю с письмом из деревни Пихельштайн, которое однажды получил Максик.

Вот текст письма:

*Дорогой и многоуважаемый
Макс Пихельштайнер!*

На днях мы восхищались тобой по телевидению. Мы — это хозяин «Голубого гуся» и телевизора, а также остальные тридцать восемь семейств Пихельштайна. Зрелище было в высшей степени замечательное, и мы очень гордились тобой и твоим мастерством. Все мы хорошо знали твоих родителей до того, как они покинули нашу деревню, а ты вылитый Пихельштайнер. Ты гораздо меньше ростом, но зато ты больше похож на родителей, чем они сами на себя. Мы все сразу воскликнули, что ты настоящий Пихельштайнер, и вылили за твоё здоровье. Это было празднично и незабываемо.

Мы следили за тобой, пока у нас не закружились головы, и по этой причине единогласно решили избрать тебя почетным членом нашего Гимнастического союза, коим, да будет тебе известно, ты отныне являешься. Надеемся, что для тебя это такая же радость, как для нас — честь.

Нашему самому Маленькому Человеку и величайшему гимнасту трехкратное: «Смелость, свежесть, сила, слава!»

*Твой Фердинанд Пихельштайнер.
1-й председатель и 1-й инструктор
Гимнастического союза.
Пихельштайн (Г. С. 1872).*

Максик так обрадовался этому несколько беспомощному письму, что обратился к Розе Марципан со следующей просьбой:

— Знаешь что? Я хочу сразу же ответить этому Фердинанду. Можно, я тебе продиктую письмо, а сам сяду на пишущую машинку?

Девушка, помогавшая Йокусу в разборке корреспонденции, сказала:

— Диктуй, дружок!

Роза вставила в машинку чистый лист бумаги, посадила Маленького Человека верхом на каретку и объявила:

— Я вся внимание.

Максик продиктовал ей благодарственное письмо Фердинанду Пихельштайнеру. Роза стучала на машинке, а Максик катался справа налево, пока не раздавался сигнальный звончок. Потом Роза передвигала каретку вместе с сидевшим на ней Максиком до отказа вправо, и катание начиналось сызнова.

Как раз в ту минуту, когда он диктовал последнюю фразу: «Ваш благодарный Максик Пихельштайнер, артист», в комнату вошёл Йокус. Он только что закончил в холле переговоры с представителем Нюрнбергской игрушечной фабрики. Он сказал, входя в номер:

— Рабочий день кончился, господа! Сейчас мы будем пить кофе с яблочным пирогом!

Роза собралась было вынуть бумагу из машинки, но Максик взволнованно закричал:

— Пожалуйста, не вынимай! Осталось совсем немножечко. Очень важное!

И он продиктовал ещё несколько фраз, не имевших ни малейшего отношения к почётному членству Гимнастического союза:

Так как все Пихельштайнеры очень маленькие, то возможно, что в Пихельштайне найдётся девочка моего возраста и одного со мной роста. Если такая девочка у вас есть, я был бы очень счастлив. Йокус, мой самый лучший друг, наверняка позволит мне пригласить её к нам в гости, чтобы она пожила у нас подольше...

— И, конечно, вместе с родителями,— вставил Йокус. И Маленький Человек продиктовал:

Конечно, вместе с родителями. А если у вас в Пихельштайне нет такой маленькой девочки, а есть только мальчик, то это будет почти так же здорово. Хотя, конечно, девочка всё же лучше, потому что ведь я сам мальчик. Чего мне иногда не хватает, так это друга моего роста.

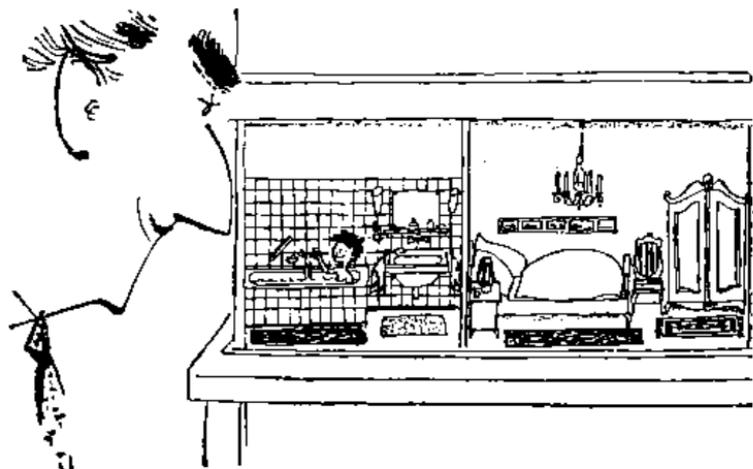
Попутно я должен упомянуть ещё об одном важном письме. Отправителем его был король государства Бреганзона — Билеам. В его королевстве, а также и за границей короля прозвали Билеам Симпатичный. Все, кто с ним знаком, утверждают, что этого ещё мало. По-настоящему, мол, его следует называть Билеам Самый Лучший.

На голове он носит золотую корону и чёрную шляпу, причём и то и другое разом. Украшенная драгоценными камнями, корона пришита к полям шляпы, и получилось совсем не так плохо.

Но хватит о шляпных делах:

Короче, король Билеам тоже прислал письмо. Он писал, что и он, и королева, и наследный принц, и принцесса — все они в восторге от телевизионной передачи. Он выражал надежду, что у цирка скоро начнутся отпуска и тогда Маленький Человек вместе с профессором немедленно и непременно приедут к ним в Бреганзону, где им уже отведены покои в королевском дворце. И принцесса Юдифь и принц Орам — десятилетний наследник престола — с нетерпением ждут их приезда.

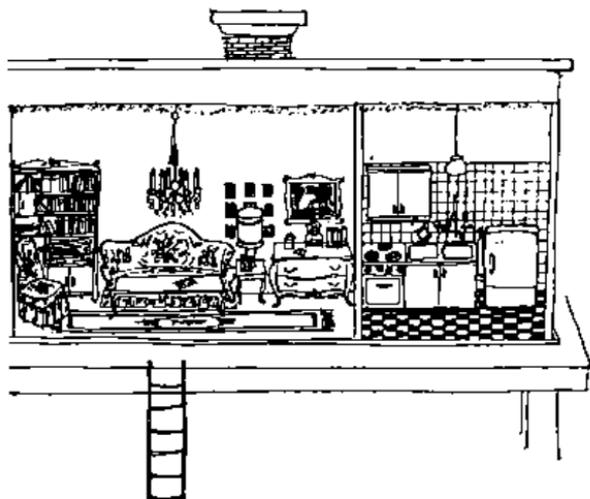
Но для начала дети опустошили свои копилки и выслали Маленькому Человеку подарок, который, как они надеялись, его порадует.



...Уже два дня спустя прибыли два больших ящика с надписью: «Королевский подарок». И это не было преувеличением. В одном ящике помещалась целая игрушечная квартира: столовая, спальня, кухня с электрической плитой и ванная с холодной и горячей водой. Маленькие лампочки, баки для воды, запасные батарейки — ничего не забыли!

Во втором ящике был большой низкий стол, на котором удобно размещались все четыре комнаты. Роза и Йокус чуть не выбросили вместе со стружками маленький целлофановый мешочек. А это было бы очень жалко, потому что в нём была спрятана узкая шелковая лестница, которая прикреплялась к столу: по ней Максик мог взбираться на стол в свою роскошную квартиру.

Он это и сделал, как только квартиру установили на столе. Он даже поджарил на плите в малюсенькой сковородке кусочек говяжьего филе, который вместе с каплей масла и мелко накрошенным луком принёс ему официант. Все, в том числе и официант, попробовали мясо, и всем оно очень понравилось.



Всем, кроме Максика. Потому что ему ничего не досталось.

После представления в цирке Максик выкупался в собственной ванне и сказал Йокусу, наблюдавшему за этой процедурой:

— Совсем другое дело. Не то что эта дурацкая мыльница...

Потом он улёгся в своей роскошной мягкой кровати, сладко потянулся и пробормотал:

— Совсем другое дело! Не то что спичечная коробка...

Но на следующее утро он лежал в своей старой спичечной коробке на ночном столике Йокуса.

— Вот тебе на! — сказал Йокус. — В чём дело?

Максик смущённо улыбнулся:

— Я ночью перебрался сюда.

— А почему?

— Знаешь, спичечная коробка — это совсем другое дело!



Глава 16

Маленький Человек у собственной плиты. Слава утомляет. И слава усыпляет. Второе письмо из Пихельштайна. Нюрнбергская игрушка. Об одной популярной песенке. Страшное открытие Йокуса. Пропал Максик!

Подарок короля Билеама и его наследников оказался, что называется, ценной находкой для журналистов. Они со своими фотоаппаратами толпились в номере, щёлкали изо всех сил и дарили миру новые снимки с роскошными заголовками: «Маленький Человек в фартуке и в поварском колпаке у собственной плиты», «Маленький Человек после обеда в качалке», «Маленький Человек перед маленькой книжной полкой с маленькими книжками», «Маленький Человек в своей новой кровати», «Маленький Человек впервые в жизни принимает ванну», «Маленький Человек демонстрирует голубям Минне и Эмме свой покой» и так далее, и так без конца.



Наконец, эти деятели, с фотокамерами вместо глаз и вспышками вместо мыслей, удалились, а Максик в отчаянии три раза подряд воскликнул:

— Почему я не невидимка?

— Слава утомляет,— заметил Йокус.— Это уж так полагается. А кроме того, мы наклеим все фотографии в альбом и пошлём его в Бреганзону. Король и маленькие корольята наверняка ему обрадуются.

— Так мы и сделаем,— сказал Маленький Человек.— Но приглашение придётся пока отклонить. Слава утомляет.

Надев свой тренировочный костюм, он целый час путешествовал по Вольдемару. Потом улёгся в свою спичечную коробку, широко зевнул и, засыпая, пробормотал:

— Слава усыпляет!

Через несколько дней Максик получил второе письмо из Пихельштайна. Фердинанд Пихельштайнер, первый председатель Гимнастического союза, писал глубокоуважаемому почётному члену того же союза, что в их деревне нет ни девочки, ни мальчика Максикиного роста. Правда, многие молодые семьи странствуют по свету.

Но есть ли у них дети,—говорится дальше в письме,—мы до сих пор, к сожалению, не знаем. Они нам даже не написали, живы ли они ещё или уже умерли.

Если мы узнаем что-нибудь подходящее, мы тебя сразу же известим. Даю тебе честное слово гимнаста. Мне пятьдесят лет, но я всё ещё в хорошей спортивной форме. Особенно на турнике.

*Твой верный тёзка
Фердинанд Пихельштайнер.*

Йокус медленно сложил письмо и сказал:

— Не огорчайся, мой мальчик!

— Ну что ты, Йокус,—сказал Максик. Он сидел на зелёном диване в своей уютной комнатке и болтал ногами.— Конечно, это было бы очень здорово! Особенно теперь,



когда у меня целая пустая квартира. Ведь я всё равно никогда не расстанусь со своей спичечной коробкой.

— Но ведь новая кровать гораздо удобнее!

— Это верно,— согласился Максик.— Но она слишком далеко стоит от твоей постели.

Да, я, кажется, уже упоминал об адвокате, с которым Йокус беседовал внизу, в холле гостиницы. Он приезжал по поручению Нюрнбергской игрушечной фабрики. Они вели переговоры. Соглашение было достигнуто, и они подписали контракт. И вот в один прекрасный день пришла посылка с Нюрнбергской фабрики. А в посылке было десять спичечных коробок.

Десять спичечных коробок? Да. Со спичками? В том-то и дело, что нет. В каждой спичечной коробке на белой вате лежал Маленький Человек. А всего их было десять Маленьких Человечков, как две капли воды, вернее, как десять капель воды похожих на нашего Максика. И все они были в пижамах в серую и голубую полоску, совсем как любимая пижама Максика. Десять Максиков двигали руками и ногами. Их можно было вынимать из коробок и ставить на ноги. Их можно было усадить в кресло. И положить спать.

Короче говоря, это была новая игрушка, которую вскоре стали продавать во всех магазинах мира, а также и в кассе цирка. Эта игрушка принесла игрушечной фабрике много денег.

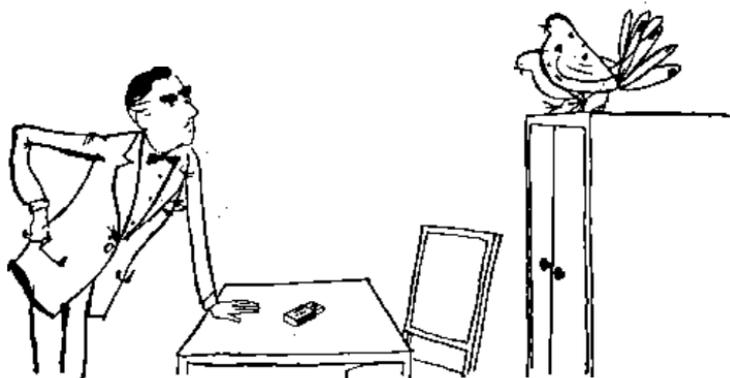
Впрочем, я бы не стал рассказывать о новой игрушке, не сыграв одна из этих проклятых коробок такую важную роль в следующей главе. Но потерпите ещё чуточку. Потому что...

Потому что сначала мне надо рассказать вам о песенке, которая появилась примерно в то же время и вскоре стала очень популярной. Ее записали на пластинку. Её пели по радио, под неё танцевали в ресторанах. Музыку сочинил Романо Корнгибель, дирижёр оркестра в цирке «Стильке». Кто написал слова, я не знаю. Песенка называлась:

ПЕСНЯ О МАЛЕНЬКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Несколько строк я даже запомнил наизусть. Она начиналась так:

Взволнован целый свет.
У каждого из граждан
Выпытывает каждый:
«Вы случайно не встречали
Маленького Человека?»
От полицейских тоже
Ответа ждёт прохожий.
У них один ответ:
«Нет!»



Потом по очереди расспрашивали всех, не видел ли кто-нибудь Маленького Человека. До слов:

Вдруг возглас из трамвая:
«А я о нём всё знаю:
Он, выпив чашку чая,
Ложится по привычке
В коробку вместо спички.
Он весит по утрам
Лишь восемьдесят грамм,
А вечером в нём просто
Пять сантиметров роста.
Ему король и принцы
Шлют письма и гостинцы.
Он в цирке по программе
Ворует вечерами,
А после всё подряд
Он отдаёт...»

На этом месте нить моей памяти обрывается. Я только помню ещё самый конец: кто хочет увидеть Маленького Человека, пусть поспешит, потому что Маленький Человек с недавних пор становится всё меньше и меньше ростом:

Спешите все проворней-ка
Его застать до вторника.
Во вторник же чуть свет
Его простынет след.

Эти две последние строчки вскоре приобрели особый смысл. Причём такой страшный, что я с трудом решаюсь об этом заговорить. Пожалуйста, не слишком пугайтесь! Ведь поправить дела я всё равно не могу. Ничего не поделаешь. Придётся вам всё рассказать. Крепче держитесь за стул или

за край стола, можно и за подушку! Итак, не пугайтесь. Обещайте. Иначе я не буду рассказывать! Согласны? Ну, пожалуйста, не надо так волноваться.

Итак: во вторник след его простыл!

Чей след?

Максика!

Он как сквозь землю провалился!

Йокус вошёл в свой номер и увидел, что Эмма и Минна чем-то очень обеспокоены. Йокус спросил Максика, мирно лежавшего в своей спичечной коробке:

— Что случилось с голубями? Ты не знаешь?

Ответа не последовало.

— Гм, молодой человек, ты что — язык проглотил?

Тишина.

— Максик Пихельштайнер! — воскликнул Йокус. — Я с тобой разговариваю! Если ты мне сейчас же не ответишь, у меня разболится живот.

Ни слова. Ни шороха. Ничего.

И тут Йокуса охватил ужас. Он наклонился над спичечной коробкой, потом распахнул дверь и выбежал в коридор с криком:

— Максик, где ты?! Максик!

Гробовое молчание.

Йокус вернулся в комнату, схватил телефонную трубку и рухнул в кресло.

— Коммутатор? Немедленно соедините меня с полицией. Исчез Максик! Директор гостиницы отвечает за то, чтобы никто не покидал здания. Ни гости, ни служащие! Ни о чём не спрашивайте. Делайте, что вам сказано!

Он бросил трубку, вскочил с кресла, подошёл к ночному столику и изо всех сил швырнул спичечную коробку в стену. Вместе с Максиком... Потому что это был вовсе не Максик, а проклятая нюрнбергская кукла в полосатой пижаме.



Глава 17

Волнение в гостинице. Появление полицейского комиссара Штайнбайса. Пробуждение Максика. Важное сообщение по радио. Отто и Бернгард. Маленький Человек просит вызвать такси. Приступ смеха у Отто

Итак, Максика похитили. Но кто? Зачем? С какой целью? Было ясно, что Максика обменяли на куклу, чтобы его исчезновение не сразу было обнаружено.

Одна из горничных видела, как из комнаты выходил официант. Нет, она не знала его в лицо.

— По-видимому, это был не официант, — сказал директор гостиницы, — а переодетый официантом преступник.

— Почему же мальчик не позвал на помощь? — спросила горничная. — Я бы наверняка услышала крик.

— Его усыпили, — объяснил Йокус. — Разве вы не чувствуете запаха?

Директор и горничная потянули носами. Директор кивнул:

— Вы правы, господин Йокус. Пахнет больницей. Хлороформ?

— Эфир, — ответил Йокус. Он был близок к отчаянию.

Полицейский комиссар Штайнбайс, руководивший расследованием, тоже не мог сообщить ничего утешительного. Он вошёл в комнату с белым кителем в руках.

— Мы нашли его во дворе в мусорном ящике. Преступник успел скрыться через служебный выход.



— А что ещё? — спросил директор гостиницы. — Хоть какой-нибудь след?

— Ровным счётом ничего, — ответил полицейский комиссар Штайнбайс. — Я отослал моих людей. Они битый час обыскивали спичечные коробки у всех выходящих из гостиницы. Всё напрасно. Ни в одной из коробок не было Маленького Человека. Во всех коробках были обнаружены только спички.

— Аэродром, вокзалы, автострады? — спросил Йокус.

— Мы делаем всё, что в наших силах, — ответил Штайнбайс. — Но больших надежд я не питаю. Скорее найдёшь иголку в стоге сена.

— Радио?

— Каждые полчаса сообщается о ходе розыска. Объявление о вашей награде в двадцать тысяч марок передаётся регулярно.

Йокус вышел на балкон и взглянул на небо. Но и там он не увидел своего Максика.

— Увеличиваю сумму до пятидесяти тысяч марок, — сказал Йокус, обернувшись.

— Мы немедленно сообщим об этом по радио, — сказал полицейский комиссар. — Если в дело замешана банда, то, может быть, кто-нибудь из них и запоёт. Пятьдесят тысяч марок — сумма немалая.

— С чего это он станет петь? — спросила горничная.

Комиссар сделал недовольную гримасу.

— Это специальный термин. «Петь» — значит «предать» или «выдать».

— Но всё же я никак не пойму, — начал директор гостиницы, — зачем им понадобился мальчик ростом в пять сантиметров, знаменитый, как Чаплин или Черчилль? Ведь его не продашь ни в один цирк. Частным образом его тоже не покажешь. Тут же явится полиция.

У горничной на лице появилось таинственное выражение.

— Может быть, это способ вытянуть деньги у профессора? — прошептала она. — Может, они ему вернут Максика, если профессор ночью положит деньги в дупло какого-нибудь дерева? Такие случаи бывают.

Директор гостиницы пожал плечами:

— Но тогда кто-нибудь из них позвонил бы или прислал письмо.

— А может быть, это всего-навсего сумасшедший, — увлеклась горничная. — И такие случаи бывают. Тогда мы совершенно бессильны.



Кто знает, что бы ей ещё пришло в голову, если бы в этот самый момент в комнату не ворвалась Роза Марципан.

— Бедный мой Йокус! — зарыдала она и бросилась профессору на шею.

За ней размеренным шагом вошёл господин директор Грозовецтер. В руках у него был цилиндр, а на руках, как всегда и везде, лайковые перчатки. Он снимал их, только ложась спать. Сегодня они были мышиного цвета. Чёрные перчатки он надевал на похороны, а белые — на радостях и в торжественных случаях. В отношении цвета перчаток он был очень разборчив.

— Дорогой господин профессор,— обратился он к Йокусу,— мы все до глубины души потрясены случившимся, и я должен вам передать сочувствие всех наших коллег. Десять минут тому назад мы решили на общем собрании отменить все представления, пока к нам не вернётся Маленький Человек. До тех пор цирк «Стильке» будет закрыт.

— А вы думаете, это поможет? — спросила горничная.

Директор Грозовецтер строго посмотрел на неё.

— Прежде всего, это проявление дружбы и солидарности, моя дорогая.

— Которое может оказаться полезным! — добавил комиссар Штайнбайс.— Поскольку привлечёт всеобщее внимание.

Роза Марципан трянула своими кудряшками.

— Здесь может помочь только один человек.

— Кто же? — удивился директор гостиницы.

— Ты совершенно права,— перебил его Йокус.— Он наша единственная надежда.

— Кто же? — повторил свой вопрос директор гостиницы.

— Сам Максик! — только и сказала девушка.

Наконец Максик пришёл в себя. Голова у него трещала. Он по-прежнему лежал в своей спичечной коробке, но лампа на потолке была чужая. Где же он?

Из радиоприёмника слышалась танцевальная музыка. В воздухе висел голубой табачный дым. Какой-то мрачный мужской голос произнёс:

— Отто, взгляни-ка, не проснулся ли наконец карлик.

Ответа не последовало, и голос недовольно повторил:

— Ты что, ждёшь письменного приглашения?

— Поспешись — людей насмешишь, — спокойно ответил другой голос. — Торопиться вредно, Бернгард.

Послышался скрип отодвигаемого стула. Кто-то тяжело поднялся и стал медленно приближаться. Наверно, человек по имени Отто.

Максик закрыл глаза. Он почувствовал, как кто-то наклонился над ним. Отто кряхтел и сопел. От него несло, как из табачной лавки, расположенной по соседству со спиртным заводом.

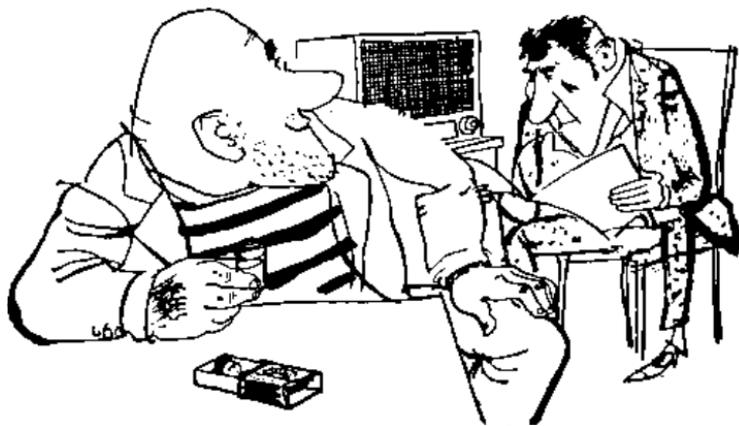
— Всё ещё спит! — произнёс голос. — Надеюсь, Бернгард, ты ему капнул не слишком большую дозу эфира. А то сеньор Лопес прикажет кому-нибудь из своих ребят снять с тебя голову.

— Заткнись! — буркнул другой голос. — Я сделал всё, как положено.

В этот момент танцевальная музыка оборвалась, и третий голос объявил:

«Внимание! Внимание! Повторяем важное сообщение».

— Провалиться мне на месте, если это не полиция, — начал Отто.



— Тихо! — зашипел на него Бернгард.

Максик затаил дыхание, весь превратившись в слух.

«Как мы уже сообщали,— продолжал голос в приёмнике,— сегодня утром из гостиницы был похищен всем вам известный Маленький Человек. Преступник переоделся официантом. Брошенный им белый китель найден. Полиция обращается к населению с призывом оказывать ей активное содействие. Профессор Йокус фон Покус увеличил объявленную им награду до пятидесяти тысяч марок. Все сведения, которые могут нам помочь в розыске, просим сообщать на радио или непосредственно полицейскому комиссару Штайнбайсу. Цирк «Стильке» объявляет об отмене всех представлений до особого распоряжения дирекции цирка. Передача окончена».

Опять раздалась музыка.

Немного погодя послышался полный благоговения голос Отто:

— Здорово, чёрт побери! Этот Йокус-Покус даёт жизни! Пятьдесят тысяч? Вот это называется лёгкий заработок! А, Бернгард? Что скажешь?

— Я скажу, что ты осёл, ослом был, ослом и остался,— проворчал Бернгард.— Пятьдесят тысяч? Ради этого не жертвуют положением.

— Ну ладно, ладно,— пробормотал Отто.— Просто мысль такая мелькнула.

— Тоже мне мыслитель... — заметил Бернгард.— Мыслить предоставь мне, понятно? А теперь я пойду звонить.

Снова заскрипел стул.

— Следи за карликом!

Когда дверь захлопнулась, Максик чуть приоткрыл глаза. Он увидел за неприбранным столом большого лысого мужчину. Тот рассматривал на свет бутылку. Вот, значит, он каков, этот Отто.

— Жажда хуже тюрьмы,— сказал самому себе Отто. И стукнул бутылкой об стол.

«Теперь или никогда!» — подумал Максик и стал изображать пробуждение. Он так сильно потянулся, что чуть было не перевернул спичечную коробку. При этом он кричал:

— Помогите! На помощь! Где я?

Он в отчаянии огляделся вокруг и зарыдал. Это было проделано на высоком артистическом уровне.

Отто был ошарашен. Он спрыгнул со стула и в бешенстве зашипел:

— Заткнись, мерзавец!

Максик заорал изо всех сил:

— Скажите мне, где я? Как вы смеете так со мной разговаривать? Кто вы такой? На помощь! Йокус! На помощь!

Он кричал в надежде, что его услышат. Но кругом было тихо. Его никто не услышал, никто, кроме лысого пьяницы, по имени Отто.

— Попробуй ещё заорать! Я тебе рот лейкопластырем залеплю. Понятно? — мрачно заявил Отто.

— Мне ваш тон не нравится, — ответил Максик. — Вызовите, пожалуйста, такси!

Эта просьба вызвала у Отто припадок смеха. Вернее, это была смесь смеха, кашля и чихания. Казалось, Отто вот-вот взорвётся. Но, к сожалению, этого не произошло. Наконец он успокоился, вытер слёзы и прохрипел:

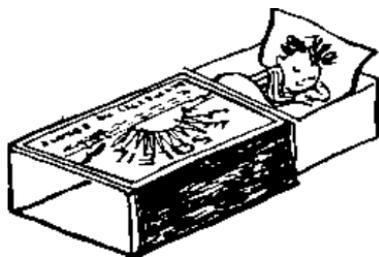
— Такси ему понадобилось. Только и всего! А Бернгард пошёл самолёт заказывать!



Глава 18

Кто купил белый китель? Переполох в «Золотом окороке». Статья в вечерней газете. Лысый Отто громко рычит. Пустой дом. Бернгард опаснее, чем Отто. Максик изучает комнату

Белый китель официанта был куплен в городе за два дня до похищения Маленького Человека в специальном магазине. Полиция это в конце концов установила. В магазине продавались фартуки для мясников, шапочки для кондитеров и медсестёр, медицинские халаты, комбинезоны для землекопов, водолазные шлемы, нарукавники для бухгалтеров, наколенники для паркетчиков — короче говоря, это был очень большой магазин. Продавцы очень хотели бы помочь полиции. Но кто купил белый китель и как выглядел покупатель, они не знали.



Роза настояла на том, чтобы Йокус пошёл с ней в ресторан.

— В конце концов ты должен что-то съесть, — объясняла она. — Нельзя же всё время сидеть неподвижно в своём номере и смотреть на стены. И делу это не поможет. Ещё заболеешь, не дай бог.

И вот они сидели в «Золотом окороке» — так назывался ресторан, — Йокус на сей раз смотрел не на стену, а в свою тарелку. Но он по-прежнему не открывал рта ни для еды, ни для разговора.

Так продолжалось уже более суток, и девушка всерьёз обеспокоилась. В конце концов она заставила его выпить чашку горячего бульона.

Чтобы хоть немного утешить его, она сказала:

— Завтра, самое позднее — послезавтра Максик будет с нами. Он слишком хитёр и ловок, чтобы долго сидеть взаперти. Ни одна собака его не удержит.

— В том-то и дело, что это не собаки, а преступники, — возразил Йокус. — Кто знает, что они сделали с бедным мальчиком.

Он вздохнул. Потом покачал головой.

— Ведь их даже вознаграждение не соблазнило. А я, признаться, очень надеялся на это.

— Они боятся полиции.

— Я бы их не выдал ради Максика... — пробормотал Йокус, глядя в свою тарелку.

И у Розы Марципан тоже пропал аппетит. Но она старалась не показывать виду и даже немножко поела, надеясь, что Йокус по рассеянности тоже что-нибудь возьмёт в рот. Не тут-то было.

Пока она тыкала вилкой в гуляш, из-за соседнего столика внезапно выскочил какой-то человек и залепил затрецину газетчику, который продавал газету.

— Это ещё что за новости! — орал господин. — Немедленно верните мне спички!

— Bravo! — крикнул кто-то за соседним столиком. — Сейчас я ему тоже съезжу по уху.

— Он и у меня хотел стащить! — крикнул третий. — Официант, позовите скорее заведующего.

Начался переполох. Продавец газет держался за щеку. Гости держали продавца. Официант привёл заведующего. Заведующий вызвал младшего официанта. Младший официант привёл постового. Полицейский вытащил из кармана записную книжку.

— Я не понимаю, что вам всем от меня надо? — возмущался продавец газет. — Всё время твердят по радио, что надо быть бдительным, потому что похитили Маленького Человека. А когда вот я, например, проявляю бдительность и заглядываю в чужие спичечные коробки, меня бьют. Мне это очень не нравится, господин полицейский.

Услышав это, посетители ресторана и полицейский сразу успокоились. Все стали просить друг у друга прощения. И даже продавец перестал возмущаться. Он вмиг распродал все номера газеты и, довольный, покинул ресторан. Полицейский же бесплатно выпил кружку пива.

Все углубились в чтение вечерней газеты. Хоть газета и была свежей, но свежих новостей о Максике в ней не

оказалось. Тем не менее один репортёр поместил небольшую статью об этом нераскрытом преступлении. Её читали все посетители ресторана «Золотой окорок». У всех остыла еда. Роза Марципан и Йокус тоже читали газету. На первой странице в правом верхнем углу было напечатано следующее:

ЗАГАДКА ВОКРУГ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

Где он? Где его скрывают? На какой улице? В каком доме? В какой комнате? Огромный город затаил дыхание. Огромный город в растерянности. Комиссар полиции Штайнбайс пожимает плечами. Он и его подчинённые сбились с ног. Что им удалось обнаружить? Белый китель офидианта в помойном ведре. Магазин, в котором был куплен китель.

А что ещё? Больше ничего. Как выглядел покупатель? Был ли он похитителем? Или одним из его сообщников? Сел ли похититель в машину? Или затерялся в толпе пешеходов?

Население помогает полиции советами. Круглые сутки звонит телефон. Поток писем не прекращается. Работа невероятная. Результаты ничтожны. В итоге — ноль. Тем не менее мы не должны ослаблять бдительности. Только тогда всеобщий любимец населения — Маленький Человек будет найден.

Да, дела были плохи. Даже очень плохи. Никто не знал ни улицы, ни дома, ни комнаты, в которой держали в плену Максика. А сколько улиц, домов и комнат в городе с миллионным населением?!

Но даже сам Максик не знал, где он находится. Он знал лишь комнату, в которой его сторожили Бернгард и лысый забулдыга Отто. Это была одна из тех дешёвых мебелированных комнат, которые похожи друг на друга, как костюмы в магазинах готового платья. Но будь то даже салон с венецианскими зеркалами и автопортретом Гойи на стене, какой толк был бы от всего этого маленькому пленнику? Ведь это не помогло бы ему узнать ни номера дома, ни названия улицы!

Правда, одно преимущество в сравнении с Йокусом, Розой Марципан, цирком и всем остальным миром у него всё-таки было: он точно знал, что всё ещё жив и здоров! А мир этого не знал! И Максик очень страдал, потому что думал, что из-за него страдает Йокус. Да, плохи были дела. Очень плохи.

Оба жулика не спускали с него глаз. Ни днём, ни ночью. Они не покидали его ни на секунду. Один из них всё время дежурил возле спичечной коробки. Есть они ходили по

очереди. И сли, чтобы не обращать на себя внимания, каждый день в другом ресторане.

Отто готовил Максику еду на керогазе. Он делал это скорее плохо, нежели хорошо, хотя и очень старался.

— Ешь как следует,—приговаривал он каждый раз.—Потому что, если ты заболеешь или загниёшься, Лопес с нас три шкуры сдерёт.

— А кто он такой, ваш сеньор Лопес?—спрашивал Максик.

— Не твоего ума дело!—раздражённо отвечал Отто, поблёскивая узкими воспалёнными глазками.

Максик молча улыбался. Потом ни с того ни с сего требовал:

— Открой окно, пожалуйста! Мне нужен свежий воздух!

Отто, кряхтя, вставал, открывал окно и также тяжело садился на место.

Через пять минут Максик притворялся, будто он мёрзнет:

— Я замёрз. Закрой окно, пожалуйста!

Отто, кряхтя, вставал, закрывал окно и тяжело опускался на стул.

Через пять минут Максик снова обращался с вопросом:

— Осталось что-нибудь от ананасного торта?

Отто, кряхтя, подымался, подходил к шкафу, садился на место и ворчал:

— Нет, ты всё сожрал.

— Пожалуйста, сходи в кондитерскую и купи новый.

— Нет,—рявкал Отто, да так, что стены дрожали.—Нет, дилигут!

Потом он вдруг вспоминал, что отвечает за здоровье мальчика, и, сделав над собой усилие, произносил как можно мягче:

— Ладно, принесу, когда Бернгард вернётся с обеда.

— Заранее благодарен,—вежливо говорил Максик и с нетерпением ожидал каких-нибудь событий. Например, чтобы кто-нибудь постучал или позвонил в дверь или чтобы сосед устроил скандал по поводу крика среди бела дня. Ведь только ради этого он и доводил Отто до белого каления. Пусть рычит, как пёс на цепи!

«Странно,—подумал Маленький Человек.—Неужели в доме всего две комнаты? Должны же здесь жить ещё и другие люди. Никто не стучит и не звонит! Где же я?»



Он старался не показать, что у него на душе. Но ему было страшно, очень страшно.

Больше всего он боялся Бернгарда, потому что тот никогда не орал. Но он разговаривал всегда таким ледяным тоном, что казалось, будто голос его раздаётся из холодильника. Каждый раз, когда он раскрывал рот, у Максика мурашки пробегали по коже. И мальчик остерегался злить его. К счастью, Бернгард часто отлучался из дому. Когда он возвращался, Отто каждый раз спрашивал:

— Есть новости?

И Бернгард обычно отвечал:

— Нет!

Или:

— Будут новости — скажу!

Или:

— Заткнись!

Или:

— Проваливай жрать!

Однажды Отто не вытерпел и заорал на Бернгарда:

— Мне надоело быть нянькой при карлике! Понятно?

Когда мы наконец полетим?

Бернгард посмотрел на него, как на дряхлого цепного пса, и ответил холодно:

— Нам надо подождать, пока полиция ослабит контроль. Ещё несколько дней!

— Чёрт подери! — ругался Отто. — Если бы всё шло по моему, мы бы уже давно не сидели здесь!

Бернгард кивнул:

— Правильно! Мы бы уже давно сидели в тюрьме.

Отто быстро вылакал стакан водки, крихтя, встал со стула и, ворча что-то себе под нос, отодвинул миску с едой.

Бернгард сел в освободившееся кресло и от нечего делать стал читать газету.

Немного погодя Максик с невинным видом спросил:

— Куда же мы едем?

— Я иногда бываю тут на ухо,— ответил Бернгард, не опуская газеты.

— Это ничего,— заметил Максик.— Я могу и погромче.— И он гаркнул во всё горло:— Куда же мы едем?

Тогда Бернгард медленно отложил в сторону газету.

— Теперь я тебя понял,— сказал он тихо. Он даже позеленел от бешенства.— Зря стараешься, лилипут! Тебя здесь никто не услышит.— Он опять взялся за газету.— Тем не менее советую тебе вести себя прилично, потому что я получил задание сдать тебя живым. Живым и здоровым. Как можно более здоровым. За это я получу очень много денег. Следовательно, в моих интересах, чтобы ты не заболел или случайно не помер. Понятно?

— Понятно,— сказал Максик, изо всех сил стараясь не лязгать зубами.

— Но если у меня с тобой будет слишком много возни, то я могу и плюнуть на деньги. Были люди и побольше тебя ростом, которые умирали внезапно.

У Максика мороз пробежал по коже.

— Поэтому будь послушным мальчиком,— продолжал Бернгард,— и подумай о своём драгоценном здоровье.

Он снова раскрыл газету и стал читать спортивную хронику.

Заботы и страхи Максика увеличивались. Полиция и Йокус его не находили. Объявление о высоком вознаграждении не давало результатов. Сам он тоже не мог придумать выхода.

Конечно, по ночам, когда лысый Отто спал на кушетке, Максик изучал комнату. Он спускался по скатерти вниз, а потом взбирался вверх по шторам на подоконник. Но что он видел? Дома на другой стороне улицы. За ними — церковную башню. Окно было закрыто наглухо.

Он ползал по полу и тщательно изучал стены и двери. Нигде ни малейшей щёлки! Ну, а если бы ему даже удалось в конце концов выбраться в коридор? Там ведь тоже двери! Дверь от квартиры, входная дверь с улицы! По крайней мере две!

Но бесполезно думать о щелях, которых не существует. Он сидел теперь в этой проклятой комнате. И сидел прочно, как гвоздь в стене! А время шло, и остановить его было невозможно. Скоро оба мошенника, которых он и знал-то лишь по имени, сядут в какой-нибудь самолёт. Со спичечной коробкой в кармане куртки.

А в спичечной коробке будут вовсе не спички. В ней будет лежать усыпленный хлороформом Максик Пихельштайнер — знаменитый Маленький Человек, о котором мир больше никогда ничего не узнает. И не только мир, а что в тысячу раз хуже — о нём не узнает знаменитый фокусник профессор Йокус фон Покус.

Максик стиснул зубы. «Ни в коем случае не падать духом, — подумал он. — Бежать! Не выйдет? Ну мы ещё посмотрим!»



Глава 19

Подробный отчёт о сеньоре Лопесе. Крепость в Южной Америке. Картины Трибрата и Инкассо. Билеты на пятницу. Колики в желудке. Лысый Отто мчится в аптеку. Максик стоит на заборе

Среда оказалась богатой событиями. Отто уже с утра солидно надрался и по собственной охоте стал рассказывать Максикку разные вещи про таинственного сеньора Лопеса. Позднее из города вернулся Бернгард. Он показал Отто билеты на самолет, вылетающий в пятницу, но вскоре опять ушёл.



— Я поем в «Кривом кубке»,— сказал он,— и через час тебя сменю.

— Хорошо,— согласился Отто,— закажи мне двойную порцию свинины с кислой капустой. И больше ничего. Аппетит что-то пропал.

Когда Бернгард ушёл, у Максика вдруг ужасно разболелся живот. Он кричал и стонал так громко, что Отто пришлось зажать уши. Но об этом потом. Сначала я выполню своё обещание и передам вам разговор о таинственном сеньоре Лопесе.

...Итак. Отто уже за завтраком успел перехватить. Он напился, что называется, в дым. Наверное, спутал кофейник с бутылкой. Или просто решил прополоскать горло спиртом. Так или иначе, но вдруг ни с того ни с сего он заговорил:

— Сеньор Лопес—это персона. «Сеньор»—по-нашему «господин». Так сказать, важная особа. Хозяин, одним словом. Он богаче английского банка. На каждом пальце у Лопеса по два кольца. А на некоторых—три. За одно такое кольцо

можно купить всю Швейцарию. Что Швейцарию! Лопес владеет по меньшей мере половиной Южной Америки. Медь, олово, кофейные плантации, серебряные рудники и фермы. Одних быков — целая пропасть. Они по конвейеру идут в консервные банки. Шагом марш! Ать-два, ать-два, ать-два! У него своя крепость. Между Сантьяго и Вальпараисо. Собственный самолёт и собственная охрана. Отчаянные стрелки. Целая сотня. Они у мужи сигару изо рта отстрелят.

Тут Максик не выдержал и захихикал.

— Брось,— сказал Отто.— Над Лопесом не посмеёшься. Если где украли картину, которой цена миллион, будь спокоен: она уже висит у него в подземной галерее. Будь то Адольф Тюря, Трибрат или такой нынешний художник, как сам Инкассо.

— Пикассо,— поправил его Максик,— и Рембрандт, и Альбрехт Дюрер.

— Мне плевать,— сказал Отто и опрокинул ещё стакан.— Главное, чтобы картины висели в его подвалах. Только об этом никто не знает. Даже Интерпол. А если даже и узнают, ничего не смогут поделать. Его охрана их близко к крепости не подпустит.

— Какой это Интерпол? — спросил Максик.

— Интерпол — это Международная полиция. Один раз она меня и Бернгарда чуть не сцапала. Это было, когда мы украли цыганку и на лиссабонском аэродроме собирались сесть в личный самолёт Лопеса. Но, слава богу, всё обошлось хорошо. Теперь она вот уже два года в его крепости и по утрам гадает ему на картах. Покупать ли ему акции на бирже или обождать. Или про его печень, например, потому что он сильно зашибает, даже чересчур. Или выиграет ли какая-нибудь из его скаковых лошадей.

— А я ему на что? — заинтересовался Максик.— Зачем он велел украсть меня?

Отто налил себе ещё стакан. Бутылка была почти пуста. Он прополоскал водкой горло, потом стал откашливаться. Наконец он произнёс:

— Человеку скучно, вот он и коллекционирует. Картины и людей. Вроде почтовых марок. За любую цену. Он даже целый балет украл. Одни красотки. Они ему каждый вечер танцуют. Ты думаешь, Лопес их отпустит на волю? Чёрта с два. Даже когда старухами станут. Потому что они его тогда сразу выдадут. Думаешь, я не прав? У него даже есть один знаменитый профессор: он всегда отличит настоящую картину от подделки.



— А если профессор его надует?

— Пробовал однажды! Это отразилось на его здоровье. Сеньор Лопес шутить не любит.

— А на что я ему сдался? — спросил Максик дрожащим голосом.

— Понятия не имею. Захотелось ему тебя видеть. И баста. Потому что ты чудо природы. Вроде телёнка с двумя или тремя головами.

Максик смотрел на уши Отто. «У него уши такие оттопыренные, потому что он Отто: «Отто-пыренные». И в голове его пронеслось молнией: «Надо скорее бежать отсюда. Теперь самое время!»

Потом пришёл Бернгард (об этом я упоминал).

— В пятницу мы летим, — сказал он, входя и показывая билеты.

Вскоре он опять ушёл. Он торопился в «Кривой кубок», чтобы через час сменить Отто, хотя лысый и потерял аппетит: он ведь сказал, что ему хватит двойной порции свинины с кислой капустой.

«Через час вернётся Бернгард, — подумал Максик. — Надо действовать. Билеты уже у него. Сейчас или никогда!»

Поэтому-то так и разболелся живот у Маленького Человека. Это были колики, и мальчик громко плакал и стонал от боли. Отто даже пришлось зажать свои пыренные, вернее, оттопыренные уши — так громко вопил Максик.

Если вы мне обещаете, что не расскажете пьяному Отто, я вам раскрою один секрет. Договорились? Никто нас не подслушивает? Ну вот: только пусть это останется между нами. На самом деле у Максика живот вовсе не болел. И вообще у него ничего не болело. Нисколько это не были колички, вернее, нисколько это не были колики. Просто это входило в его планы.

— А-а-а! — кричал он. — Ой-ой-ой! — вопил он. — У-у-у! — стонал и орал он во всю мочь, извиваясь, как гусеница, в своей спичечной коробке. — Доктора! — кричал он. — Скорее доктора! Ой-ой-ой! Доктора!

— Где я тебе возьму доктора! — нервничал Отто.

— Доктора! — ревел мальчик. — Немедленно!

— Ты совсем спятил! — прикрикнул на него Отто. — Тебя весь город ищет, а я пойду за доктором, чтобы он нас выдал полиции.

— А! — стонал Максик, корчась и катаясь от боли. — Умираю! Спасите!

— Не смей! — в отчаянии закричал Отто. — Ещё этого не хватало! Да он нам шею обоим свернёт, если мы тебя живым не доведём! — Лысый даже вспотел от ужаса. — Где у тебя болит?

Максик держался за живот.

— Вот здесь! — причитал он. — Ой-ой-ой! Это колики! Доктора скорее! Или валерьяновых капель!

Он выл, как целых восемь гиен.

— Валерьяновых капель? — кричал Отто, носовым платком стирая пот с лица. — Где я их возьму?

— В аптеке! — заходиллся Максик. — Скорее! Скорее! В аптеку! Ой-ой-ой!

— Я же не могу оставить помещение! — волновался Отто. — Выпей водки! Это помогает! — Он поднял бутылку к свету. Бутылка была пуста. — Проклятье!

— В аптеку! — стонал Максик. — А то... — Он весь как-то сразу сжался, тяжело глотал воздух и уже почти неподвижно лежал в своей спичечной коробке.

Отто испуганно смотрел на коробку. Он совершенно обалдел.

— Ты в обмороке?

— Ещё не совсем, — шептал Максик. Глаза его закатились, и он стучал зубами.

— Я запру дверь, побегу в аптеку и сразу же вернусь. Понял?

— Да.



Отто нахлобучил шляпу, выбежал из комнаты, дважды повернул ключ в двери, сунул его в карман брюк, потом открыл вторую дверь, захлопнул её за собой, повернул другой ключ, сунул и его в карман и сбежал вниз по ступенькам. Из дому. Через палисадник и железную калитку. В поисках аптеки. Или хотя бы аптечного киоска.

«Валерьянку для карлика,—кряхтел он про себя.— И пол-литра для бедного Отто».

Комната была заперта. До возвращения Отто никто не мог в неё войти. И выйти никто не мог. Включая Максика. Но ему уже это было вовсе не нужно.

То есть почему не нужно? Сказать вам почему? Наверное, вы уже сами догадались! Нет ещё? Тогда слушайте!

Максику это было не нужно по той простой причине, что его уже не было в комнате. Он её покинул одновременно с Отто. Как же ему это удалось? Очень просто — на его спине! Ведь это как раз и был тот самый план, который про себя составил Максик.

Он, конечно, ни минуты не верил, что Отто пойдёт за доктором. Но так надо было. Лысый Отто в миллион раз охотнее согласится побежать в аптеку. Так думал Максик. Так оно и случилось.

†

Только Отто повернулся спиной к столу, чтобы достать с вешалки шляпу, как Максик одним прыжком оказался у него на пиджаке. Это был прыжок, достойный такого знаменитого артиста, каким был Максик. И уже совсем простым делом было забраться по пиджаку на плечо. Пока Отто запер на ключ дверь комнаты и входную дверь, пока он спускался вниз по лестнице и перебежал палисадник, Максик сидел на его плече. У калитки он спрыгнул на один из чугунных прутьев решётки. И этот прыжок был удачным. Школу, как мы знаем, Максик прошёл отличную.

Правда, немного побаливал лоб: чугун всё-таки не резина! Наверное, останется шрам или шишка на лбу или и то и другое. Ну и что!

Максик теперь стоял на каменном столбе у калитки. Столб был украшен большим каменным шаром. Максик прислонился к шару и дышал полной грудью. Пахло жасмином. А главное — свободой!

Максик блаженствовал. Но для жасмина и блаженства время ещё не подошло! Надо было отсюда уходить. И поскорее! Меньше чем через час вернётся Бернгард из «Кривого кубка». Сейчас минута была ему дороже, чем год!

Улица была пустыня, будто людей на свете вовсе никогда и не было. Дома по другую сторону улицы словно вымерли.

Максик, обернувшись, посмотрел на входную дверь, через которую он незадолго перед тем проходил, сидя на спине у Отто. Рядом с ней висела голубая табличка с белым номером. А под номером маленькими белыми буквами было выведено название улицы.

— «Петушиная улица, двенадцать,— пробормотал Максик.— Петушиная улица, двенадцать».

Когда он в третий раз подряд произнёс название улицы, окно на первом этаже в доме напротив отворилось. На подоконник вылез мальчик. В руке у него был кулёк с вишнями. Он кидал их одну за другой в рот и выплёвывал косточки прямо на улицу, пытаясь попасть в маленький зелёный мячик, лежавший на мостовой. Надо сказать, ему это неплохо удавалось.

Глава 20

Мальчик, по имени Эрих, плюётся вишнёвыми косточками и злится. Максик разговаривает по телефону и ждёт развития событий. Машины 1, 2, 3. Лысый Отто едет в машине. Максик едет в машине. Эрих едет в машине. Тихая улица опять стала тихой

— Алло! — крикнул Максик.

Но мальчишка на окне даже и ухом не повёл. Он продолжал упражняться в стрельбе. Надо сказать, что вовсе не так просто попасть в мячик. Матрос бы, конечно, попал. Матросы — и это знает каждый ребёнок — мастера плевать. Но когда они становятся штурманами и капитанами, у них это получается уже не так хорошо. Видно, мастерство с годами слабеет.

— Алло! — крикнул Максик ещё громче.

Мальчик кинул взгляд на улицу, но, никого не увидев, продолжал свои упражнения.

Максик забеспокоился. Время шло. Что делать? Как отвлечь парня? «Идея! Я буду дразнить его до тех пор, пока он не разозлится!» — решил он.

Он ещё раз крикнул:

— Алло.

Парень не отзывался, Максик добавил:

— Ты что, старая тетеря, совсем оглох?

Парень вздрогнул и поперхнулся косточкой. Он мрачно посмотрел в сторону Максика.

— Где этот нахал?

— Что глазами хлопаешь? — продолжал Максик. — Эх ты, ворона!

Тут парень перекинул ноги через подоконник.

— Сам ты ворона! — крикнул он. — Ну, берегись!



Он перебежал мостовую, остановился перед калиткой, сжал кулаки, но так никого и не обнаружил.

— Покажись, трус! — кричал он в бешенстве. — Вылезай из-за кустов! Сейчас я сотру тебя в порошок!

Максик громко рассмеялся.

Парень поднял голову и увидел Максика, который стоял на столбе, прислонившись к шару. От изумления парень широко раскрыл рот. Он пытался произнести что-то, но у него отнялся язык.

— Ты знаешь, кто я? — спросил Максик.

Парень кивнул.

— Хочешь мне помочь?

Парень опять кивнул. Глаза его засветились.

— Мне пришлось тебя разозлить, — оправдывался Максик, — иначе бы ты ни за что не подошёл. Прощу прощения.

Парень опять кивнул.

— Пустяки, Маленький Человек! — наконец чуть слышно сказал он. — Меня зовут Эрих.

— А меня Максик. У тебя есть телефон?

Эрих кивнул.

— Протяни руку, — попросил его Максик. — Но только не сотри меня в порошок!

Эрих густо покраснел и протянул Максиму руку. Максик спрыгнул на протянутую ладонь.

Эрих перебежал улицу и посадил Маленького Человека на подоконник, а сам через окно пролез в комнату, потом подхватил Максика и подбежал к письменному столу. На столе стоял телефон.

— Куда ты хочешь звонить? — спросил Эрих.

— В полицию, — ответил Максик, — потому что если я позвоню в гостиницу к Йокусу... Но ты ведь не знаешь Йокуса?

— Не знаю? — обиделся Эрих. — Профессора Йокуса фон Покуса? Я вас обоих знаю. По цирку, по телевидению, по газетам и вообще...

— Потому что если я позвоню Йокусу, то он тут же прибежит сюда и свернёт лысому Отто шею. А потом и Бернгарду. А это сильно помешает делу.

— Я всё понял, — сказал Эрих. — Отто и Бернгард — похитители. — Он взглянул на газетную вырезку, лежавшую под стеклом на письменном столе. — Вот обращение полиции. С номером телефона и так далее.

— Молодец, Эрих,— сказал Максик, потирая руки от радости.— Когда дозвонишься, положи трубку на стол. Ладно? Я сам хочу говорить.

Эрих набрал номер, потом сказал:

— Соедините меня, пожалуйста, с полицейским комиссаром господином Штайнбайсом. Ему некогда? Очень жаль! Передайте ему привёт от Маленького Человека! — Эрих подмигнул Максиму и шепнул:— Проняло! Дежурного чуть удар не хватил.

Через три секунды из телефонной трубки загредел голос, словно комиссар находился здесь же, рядом с ними:

— Штайнбайс слушает! Что случилось?

Максик встал на колени перед микрофоном и крикнул:

— Говорит Маленький Человек! Я удрал! Из дома номер двенадцать по Петушиной улице. Отто сейчас вернётся. Я нахожусь в доме напротив...

— Дом номер семнадцать,— быстро подсказывал Эрих.— У Шустриков. Первый этаж слева.

— Дом номер семнадцать, у Шустриков, первый этаж слева. Вы меня поняли? Одну минутку, я только перебегу к другому концу трубки.

Мальчик помчался к слуховому концу трубки.

— Сейчас мы к тебе приедем! — кричал полицейский комиссар.— Будь осторожен! Что ещё?

Максик отбежал назад к микрофону и от волнения чуть не просунул голову внутрь.

— Не включайте, пожалуйста, сирену и сигнальную лампу. Отто ещё в аптеке и может пронюхать про опасность. А самое главное, господин комиссар, ничего не говорите Йокусу! Пока ещё ничего не говорите! Очень, очень, очень вас прошу! А то он будет очень, очень, очень волноваться! А как он себя вообще чувствует? А Роза Марципан? А...

Эрих прижал к уху трубку и сказал:

— Всё. Тишина. Наверное, дежурный с третьего этажа прыгнул прямо в машину. С двадцатью пистолетами в кобуре.

— Мы живём в век скорости,— заметил Максик.— Отнеси меня на окно, пожалуйста.

Эрих положил трубку на аппарат.

— Благодарю за честь, господин фон Пихельцтайнер.

Они сидели у раскрытого окна и с нетерпением ждали развязки. Кто первым подойдёт к финишу? Полицейский

комиссар Штайнбайс со своими людьми? Или лысый Отто с валерьянкой?

Эрих продолжал плевать косточками в зелёный мячик, но всё ещё не мог попасть.

— Плевать в цель очень трудно,— сказал он.— Почти так же трудно, как жить.

— Почему же ты решил, что жить ещё труднее? — спросил Максик.

— Мой дорогой друг,— вздохнул Эрих.— Перспективы довольно мрачные. Родители уехали. Сын питается ягодами. Это, по-твоему, пустяки?

— Когда же они тебя бросили?

— Сегодня утром.

— Навсегда?

— Не совсем. Завтра вечером они вернутся.

Тут оба мальчика рассмеялись.

— Тёте Анне аист принёс ребёнка,— рассказывал Эрих.— Они во что бы то ни стало решили посмотреть на аиста, или на корзинку, или на ребёнка. Я, конечно, не стал их отговаривать.

— И они тебе оставили одни вишни?

— Ну что ты! — сказал Эрих обиженно.— Я был богат, как три полные копилки. И должен был три раза в день питаться в кафе. Сегодня днём, и сегодня вечером, и завтра в обед. Но...

— Но что?

— Но по пути в школу я встретил Фрица Грибица. Он стоит и ревет, а на руках у него такса, которая его всегда в школу провожала. А такса-то мёртвая. Её машина переехала. Пуффи её звали.

— Ой...— вздохнул Максик.

— Ну, мы и стали ему деньги собирать. На похороны и на новую Пуффи. А когда пришли в класс, учитель посмотрел на часы. Ну, в общем, нам здорово влетело. А тут еще бедняга Фриц, и несчастная такса, и жалкие восемьдесят пфеннигов на жизнь. И эти вишни... Вот и скажи теперь: трудно жить человеку или нет?

Максик молча кивнул. Он ел вишню, держа её обеими руками, словно это была не вишня, а огромная тыква, получившая золотую медаль на всемирной выставке.

При этом он заметил:

— Ещё чуточку потерпи, и нам достанется ананасный торт!

— Опять сладкое! — сказал Эрих печально.

Полицейский комиссар Штайнбайс и инспектор Мюллер Второй шли быстрым шагом по Петушиной улице. Три машины ждали за углом в переулке.

— Вон там, напротив, дом номер двенадцать, — сказал инспектор. — Здесь они его прятали.

— Очень тихая улица, — заметил полицейский комиссар. Вдруг он схватился за щеку. — Кто это тут вишнёвыми косточками стреляет?

— Это я, простите! — крикнул мальчик. — Я метил в зелёный мячик.

— С каких это пор я похож на зелёный мячик?

— Номер семнадцать, первый этаж слева, — пробормотал инспектор Мюллер Второй. — Мы у цели.

Комиссар подошёл к открытому окну:

— Тебя случайно не Шустриком зовут?

— Да, Шустриком, — последовал ответ, — но о случайности не может быть и речи.

Инспектор Мюллер Второй усмехнулся.

— Мы из уголовного розыска, — проворчал комиссар. — Нам нужен Маленький Человек.

Эрих сказал:

— Он всем нужен. Покажите-ка ваше удостоверение!

У комиссара вдруг очень зачесались руки. Но ничего не поделаешь: он вынул удостоверение и предъявил его дерзкому мальчишке.

Эрих внимательно прочёл документ.

— Бумаги в порядке, Максик, — сказал он.

Только теперь они увидели на окне Максика.

— Добро пожаловать, господа! Как он себя чувствует?

— Кто он?

— Йокус!

— Привыкает к голоду, — сухо ответил комиссар.

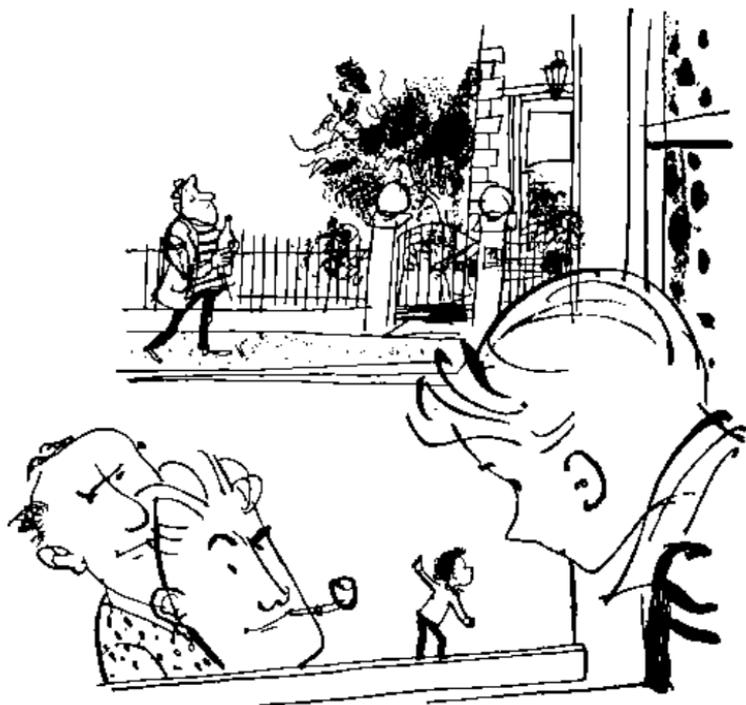
Лицо Максика омрачилось. Но только на секунду. Потом он вновь просиял и стал потирать руки.

— Сегодня вечером Йокус съест не меньше четырёх пшителей. Вот будет зрелище!

Послышались быстрые неровные шаги. Максик вылез на самый край подоконника.

— Вот он, лысый Отто, — сказал Максик.

Отто шёл зигзагами по другой стороне улицы; в руке у него была большая бутылка.



— Столько валерьяновых капель? — спросил обомлевший Эрих.

Максик захихикал.

— Это водка! У него вся водка кончилась. Поэтому он так быстро и собрался в аптеку.

— Ну что ж, примемся за дело, — сказал господин Штайнбайс господину Мюллеру Второму.

— Одну минутку, — шепнул Максик. Через мгновение он уже стоял на рукаве комиссара, а ещё через мгновение — в его нагрудном кармане.

Отто как раз собирался войти в калитку дома номер двенадцать, но ему преградили дорогу.

— Что надо? — спросил он, искоса посмотрев на обоих мужчин.

— Уголовный розыск, — сказал комиссар. — Вы арестованы.

— Что вы говорите! Неужели? — удивился Отто и повернул назад.

Но господин Мюллер Второй оказался проворнее. И схватил его за руку.

— Ай! — сказал Отто и выронил из рук бутылку.

Она вдребезги разбилась. Господин Штайнбайс свистнул. Из-за угла выскочили три машины и резко затормозили. Шестеро полицейских в штатском прыгнули на мостовую.

— Машина номер один отвезёт арестованного в управление, — приказал комиссар. — Инспектор вместе с командой машины номер два обыщет дом и квартиру.

— Первый этаж налево, — сказал Максик. — Ключи у Отто в правом кармане брюк.

Ключи сразу же оказались в руках одного из полицейских.

Лысый Отто как громом поражённый взглянул на карман комиссара. Потом зарычал:

— Мухомор карликовый... Как ты сюда...

Он докончил фразу, уже сидя под надёжной охраной в машине номер один.

А из машины номер два доложили:

— Господин комиссар! Мы только что получили по радио сообщение: дом номер двенадцать по Петушиной улице принадлежит южноамериканской торговой фирме.

— А как же иначе! — опять раздался голос Максика. — Ведь всё это связано с сеньором Лопесом.

Инспектор Мюллер Второй удивлённо спросил:

— Что тебе известно о Лопесе?

— Немного, — ответил мальчик. — Но на сегодня достаточно.

Господин Штайнбайс кивнул.

— Он прав. А нам надо очень спешить. Машина номер два брёт на себя этот дом. Машина номер три отвозит меня и Максика к профессору в гостиницу.

— Нет, — сказал Максик, — сперва арестуем в «Кривом кубке» Бернгарда. Он сейчас там обедает. Он в десять раз опаснее лысого Отто. Знаете, он был тем официантом в белом кителе...

Комиссар засмеялся.

— Ай да Максик! Всё умеет, всё знает. Итак, машина следует в «Кривой кубок».

Он сел в кабину рядом с шофёром и нащупал в кармане пистолет.

— Минутку! — крикнул Максик, высунувшись из кармана. — Пусть машина номер два захватит мою спичечную коробку, а то мне придётся спать в королевской постели.

— Какой ужас! — воскликнул инспектор Мюллер Второй и вместе со своими людьми бегом направился к дому.

— Ну, а вы чего ждёте? — обратился комиссар к шофёру машины номер три.— Посхали! Марш!

— Не так-то просто! — сообщил шофёр.— Мальчишка стоит на подножке.

Эрих заглянул в кабину:

— А как насчёт ананасного торта?

Максик вздохнул так, словно это был последний или по крайней мере предпоследний вздох в его жизни.

— Какой стыд,— вымолвил он,— только выбрался из беды и сразу же забыл о друзьях!

Эрих Шустрик мигом залез в машину.

Машина номер один повезла Отто в Главное полицейское управление. Машина номер три помчалась по направлению к «Кривому кубку». Машина номер два по-прежнему стояла перед домом номер двенадцать. Петушиная улица и зелёный мячик посреди мостовой выглядели так же, как и полчаса назад.

И только на тротуаре сверкали осколки бутылки.



Глава 21

Волнение в «Кривом кубке». Эрих предпочитает телячью отбивную. Слезы или тренировка? Острая горчица. Кто получит награду? Максик изображает лысого Отто. Самое маленькое пятнадцатичисленное число

«Кривой кубок» не особенно изысканное заведение, но кормят там вкусно. Тут ничего не скажешь. Ведь если бульон сварен из свежей курицы, не так уж обязательно подавать его в фарфоровой тарелке.

Гости сидели за чисто выскобленными столами. И еда им нравилась. Только Бернгарду она была не по вкусу. Суровая хозяйка, подавая ему сладкое, мрачно спросила:

— Опять не по нутру?

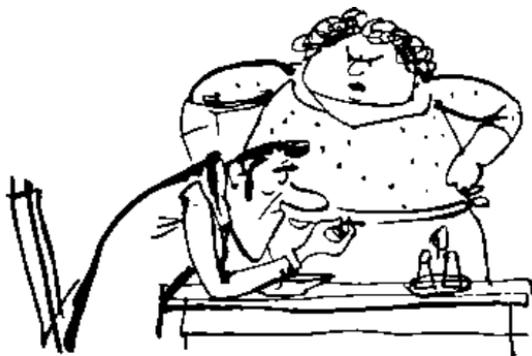
— Самое время улететь туда, где готовят по-человечески!

— Самое время убраться из моего ресторана! И чтоб ноги вашей здесь больше не было, — сказала хозяйка и выхватила у него из-под носа тарелку. (Кстати сказать, на тарелке был творожный пудинг с малиновым сиропом.)

— Немедленно поставьте на место эту дрянь, — холодно приказал Бернгард.

Вы же знаете этот голос, раздававшийся словно из холодильника!

— Проваливайте отсюда, и поскорее! — сказала она спокойно. — Две порции свинины с кислой капустой, так и быть, я оставлю вашему плешивому другу. А сами ступайте вон! Денег



не надо! Считайте, что я вас пригласила и сама же вышибла! Вон, висельник!

Бернгард пытался выхватить тарелку из её рук.

Хозяйка отступила на шаг и запустила ему тарелку прямо в лицо.

Конечно, творожный пудинг с малиновым сиропом любят не все. Я, например, тоже не большой поклонник такого пудинга. А когда пудинг летит вам в физиономию... Такое угощение вряд ли кому понравится. Тем не менее Бернгард высунул язык и стал слизывать со щёк малиновый сироп. Он боялся за свою белую сорочку, светло-серый костюм и щегольской галстук. Но пудинг — а он был отличного качества — склеил бандиту волосы и залепил глаза.

Гости смеялись. Хозяйка смеялась. А когда девочка за соседним столом воскликнула: «Мама, посмотри, какая свинья!» — всеобщему восторгу не было предела.

И вдруг стало совсем тихо. Что же произошло?

Бернгард кое-как разлепил склеенные пудингом ресницы и остолбенел. Надо сказать, что для этого у него были все основания. Трое мужчин стояли вокруг него и совсем не смеялись.

Но это ещё не всё. Из нагрудного кармана у одного из них выглядывал маленький знакомый, который, указав на Бернгарда рукой, отчётливо произнёс:

— Господин комиссар, это он!

После того как вымазанный пудингом Бернгард был препровождён в Главное управление, Максик должен был отправиться в гостиницу. Эрих Шустрик остановился у машины и сказал:

— Ну, больше я вам мешать не буду!

— Ты едешь со мной, — сказал Максик. — Из-за ананасного торта. И вообще...

— Конечно, ты едешь с нами, — сказал комиссар, — я же должен записать все твои данные. И вообще...

— Идёт, — сказал Эрих. — Всё равно мои родители у тётки Анны, у младенца и вообще...

Тут все трое рассмеялись и быстро покатали в гостиницу.

А в гостинице — инспектор Мюллер Второй уже позвонил туда — собрался весь персонал, начиная от директора и кончая лифтёрами. Все они столпились в вестибюле и кричали:

— Слава Маленькому Человеку! Трижды слава!

Девушки-телефонистки размахивали огромными букстами. А главный кондитер протянул Максиму ананасный торт. Он был величиной с автомобильное колесо.

— Ну, что я тебе говорил? — обратился Максик к Эриху. — Ананасный торт!

Эрих поморщился:

— И ничего другого? Мисья бы больше устроила телячья отбивная!

Максик подозвал директора:

— У вас найдётся телячья отбивная?

— Не меньше трёх дюжин, — ответил директор, — нежные, как масло.

— Сколько ты съешь? — спросил Максик.

— С меня хватит одной, — ответил Эрих. — С картофельным салатом, если можно.

— Прекрасно. Значит, телячью отбивную для молодого человека, — повторил директор гостиницы.

— Не для какого-то молодого человека, а для меня, — поправил Эрих.

Роза Марципан поднялась с Максиком на лифте. Она крепко держала Маленького Человека обеими руками, нежно прижав его лицо к своей щеке.

— Он знает? — спросил Максик.

Роза кивнула.

— Уже целых пять минут. Только он не хочет спускаться.

Лифт остановился. Роза пошла по коридору. Постучала в дверь.

— Это мы!

Дверь отворилась. Профессор протянул к ним навстречу руки.

— Проходите! — сказал он чуть хриплым голосом, словно был простужен.

Роза, смеясь, покачала головой.

— Не могу видеть плачущих мужчин. Через час я за вами зайду.

Она вручила Йокусу Маленького Человека, сделала реверанс и побежала к лифту.

Ровно через час она прижала ухо к двери. И не поверила этому уху: из комнаты слышались команды. Просунув голову



в дверь, она увидела, что Максик тренируется на красавце Вольдемаре. Он старался что было сил.

— Быстрее, сынок! — командовал Йокус. — Проворней! Я гляжу, ты растолстел. Вот чего б я не хотел! А чего бы я хотел?

— Чтобы я не растолстел! — радостно рифмовал Максик, исчезая в Вольдемаровом галстуке.

Узел вмиг развязался, и Максик вместе с галстуком, незаметно направляемый рукой Йокуса, исчез в левом внутреннем кармане куклы.

Красавец Вольдемар тупо смотрел перед собой, но ничего не чувствовал. Роза просунула голову в дверь.

— Bravo, артисты! — воскликнула она и захлопала в ладоши.

Эмма и Минна, обе голубки, прыгали взад-вперёд по шкафу и восторженно хлопали крыльями.

— Ещё два часа таких упражнений, и он обретёт прежнюю форму, — удовлетворённо сказал Йокус. — В пятницу мы сможем выступить.

Максик высунулся из кармана профессора.

— Ваша милость, это невозможно! В пятницу я лечу с Отто и Бернгардом к сеньору Лопесу в Южную Америку!

Обед состоялся в Голубом салоне и понравился даже Эриху. Правда, когда дело дошло до отбивной, у него на глазах выступили слёзы. Но этому была виной английская горчица, с которой он раньше не был знаком.

— Век живи, век учись, — сказал он, обмахивая язык салфеткой, как веером.

Йокус съел не четыре шницеля, а только два. Впрочем, обед и так затянулся. Потому что на Йокуса сразу свалилась куча дел: надо было обсудить с директором Грозветтером предстоящее в пятницу представление. А тут ещё беседы с репортёрами, то и дело врывавшимися в ресторан. И наконец, хотя и не в последнюю очередь, разговор с полицейским комиссаром Штайнбайсом, который с небольшим опозданием, но всё же явился в гостиницу из Главного полицейского управления.

— А кто, собственно, получит объявленную мной награду? — спросил профессор у полицейского комиссара.

— Эрих! — вмешался Максик. — Это ясно как день!

— Я? Почему же я? — возражал Эрих. — Если бы Максик меня не дразнил, я бы до сих пор сидел у окна и ничего не знал. Лучше уж послать деньги Отто в тюрьму. Вот кто на самом деле освободил Максика!

— По недосмотру,— сказал директор Грозветтер.— Он пошёл за валерьянкой. Только и всего.

— А я разве собирался его спасать?— спросил Эрих.— Я его хотел как следует отлупить, вот и всё!

— Не отлупить, а стереть в порошок!— весело крикнул Максик. Он сидел на столе и уплетал торт, которым его кормила Роза.

Но комиссар отодвинул тарелку и решительно заявил:

— Маленький Человек обязан спасением только самому себе. Он был пленником и освободителем в одном лице. Докажите, что это не так, и с вашего позволения я тут же пойду в трубочисты.

Конечно, никто не захотел ему этого позволить, и всем опять стало весело. Максик превзошёл самого себя. Он изображал лысого Отто: расхаживал пьяной походкой по столу между тарелками и чашками и повторял рассказ о сеньоре Лопесе, о его крепости в Южной Америке, о подземной картинной галерее, о цыганке, о личной охране сеньора, о его балете.

Единственный человек, который не всё время смеялся, а только изредка усмехался, был полицейский комиссар Штайнбайс. Он застенографировал весь рассказ Максика, громко захлопнул блокнот и быстро распрощался со всеми.

— Придётся продолжить допрос,— сказал он.

— С Лопесом даже Интерпол не может справиться!— крикнул ему вдогонку Максик.— Он слишком богат.

Комиссар, уже стоя в дверях, обернулся.

— Мал, да удал,— сказал он, не скрывая восхищения.— Хочешь стать моим ассистентом?

Максик отвесил элегантный поклон.

— Нет, господин комиссар, я был и останусь артистом.

Когда Эрих Шустрик стал раздеваться, чтобы лечь в постель, и повесил пиджак на спинку стула, он услышал, как во внутреннем кармане зашуршала бумага. Он обнаружил в нём заполненный на его имя чек и произнёс вслух:

— Вот это да!

Он сел на край постели.

К чеку была приложена записка. В ней было сказано:

Дорогой Эрих!

*Сердечное спасибо за помощь.
Твои новые друзья Максик и Йокус.*

Число состояло из пяти цифр. И даже если это было бы самое маленькое из всех пятизначных чисел на свете, то и тогда оно составляло бы огромную сумму для мальчика, чей отец работал агентом по продаже мебели.

Кстати: назовите-ка самое маленькое пятизначное число?!

Когда Йокус с Максиком вернулись в свой номер, они обнаружили на ночном столике старую добрую спичечную коробку. Под ней лежала записка. В ней говорилось:

Дорогой Маленький Человек!

При сем, согласно твоему пожеланию, прилагается твоя кровать с Петушиной улицы. Мюллер Второй, инспектор уголовного розыска.

Максик, потирая руки, сказал:

— Ну, теперь у меня опять есть всё, что надо.



Глава 22

Почему парадное представление затянулось на двадцать семь минут. Директор Грозоветтер оглашает три телеграммы. Эрих сердится. Полиция раскланивается. Выступление главных действующих лиц. Восторг без конца. Конец

В пятницу директор Грозоветтер был, что называется, в ударе. Вечер пришёлся ему по душе. Он бы с удовольствием надел на руки целых три пары белоснежных перчаток и два цилиндра. И понять его легко, потому что о таком парадном зрелище можно только мечтать! В этих делах он знал толк.

Программа длилась на двадцать семь минут дольше обычного. Ни львы, ни слоны, ни артисты в этом неповинны. Всё у них шло гладко.

А причин — две.

Во-первых, господин Грозоветтер огласил несколько важнейших поздравительных телеграмм, полученных Максиком. Три из них я запомнил. Гимнастический союз Пихельштайна в своей телеграмме писал:

МАКСИКУ ПИХЕЛЬШТАЙНЕРУ
ЦИРК «СТИЛЬКЕ»
БЕРЛИН
ПИХЕЛЬШТАЙН Т 13

ВЕРА И НАДЕЖДА СТОЯЛИ НА ПОДХВАТЕ КАК ПРИ
СОЛНЦЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ СОСКОКОМ ТЧК БРАВО
ТЧК ГОРДИМСЯ ТОБОЙ ТЧК
ВСЕ ПИХЕЛЬШТАЙНЕРЫ ИЗ ПИХЕЛЬШТАЙНА



Вторая телеграмма была из королевства Бреганзона. Она особенно понравилась публике. Ведь королей-то теперь совсем мало осталось на земле! И они не так часто подают признаки жизни.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕЛЕГРАММА

БРЕГАНЗОНА К 1435

МАКСИКУ ПИХЕЛЬШТАЙНЕРУ

ЦИРК «СТИЛЬКЕ»

БЕРЛИН

ОЧЕНЫ ВОЛНОВАЛИСЬ ТЧК СНАЧАЛА ОТ СТРАХА ПОТОМ ОТ РАДОСТИ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДВЕРНАЯ ЦЕПОЧКА ДЛЯ ГОСТИНИЦЫ СЛЕДУЕТ

ЭКСПРЕССОМ ТЧК ОТДОХНИ БРЕГАНЗОНЕ ТЧК ПРЕЛЕСТНЫЙ

ЗАМОК ПРЕЛЕСТНЫЕ ЛЮДИ ТЧК ПРИВЕТЫ

ПРОФЕССОРУ ЙОКУСУ ТЧК

ТВОЙ КОРОЛЬ ВИЛЕАМ ДОМОЧАДЦАМИ И

ПОДДАННЫМИ

Третья телеграмма была из Голливуда. Киностудия сообщила:

ГОЛЛИВУД

МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

ЦИРК «СТИЛЬКЕ»

БЕРЛИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОХИЩЕНИЕМ И САМОСПАСЕНИЕМ ТЧК ВЕЛИКОЛЕПНО

ПОДХОДИТ ДЛЯ ФИЛЬМА ТЧК

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПУТИ ТЧК НАЧАЛЬНИК

ЕВРОПЕЙСКОГО ОТДЕЛА ВСЕМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

ПРИВУДЕТ ПОНЕДЕЛЬНИК

А во-вторых, директор Грозветтер до начала выступления Йюкуса и Максика представил публике почётных гостей этого вечера. Их ложи были озарены лучами прожекторов.

Первым был представлен школьник Эрих Шустрик. Как только раздались аплодисменты, он начал раскланиваться,



подняв руки над головой. Как борец, который только что победил знаменитого лесоруба из Миннесоты!

Потом Эрих послушно уселся между своими любимыми родителями.

— Не сутулься! — шепнула ему мать, толкнув его в спину. (Ну, это нам всем знакомо!)

Лицо Эриха омрачилось. Он подвинулся поближе к отцу и шепнул ему на ухо:

— Разве так обращаются со знаменитостями?

Тем временем снова раздались аплодисменты. Директор Грозоветтер представил команды трёх полицейских машин, инспектора Мюллера Второго и, наконец, лично полицейского комиссара Штайнбайса.

Не успели стихнуть аплодисменты, как послышались громкие возгласы группы молодых людей, которые хором скандировали:

— Покажите лысого Отто и Бернгарда!

А так как все зрители читали газеты и слушали радио, то стены огромного шатра затряслись от смеха. Ведь каждый знал, что Отто и Бернгард сидят за решёткой и не могут быть показаны публике!

Но вот директор Грозоветтер поднял руку. Зал сразу затих, как перед бурей.

— Дамы и господа! — воскликнул директор Грозоветтер. — Наконец-то вы сами сможете увидеть и поздравить, восхититься и полюбоваться вашим, и нашим, и всеобщим любимцем, величайшим маленьким артистом в истории мирового цирка — им и его приёмным отцом и воспитателем Йокусом фон Покусом, профессором и тайным советником прикладной магии. Овазия — я знаю это наперёд — будет беспрецедентной. Можете не беспокоиться! Если кто-нибудь при этом отобьёт себе руки, он может после окончания представления получить в кассе пару новых рук.

Грозоветтер поднял правую руку. Так поднимает руку кавалерийский генерал, подавая сигнал к атаке. Потом он помчался вон с манежа галопом.

Оркестр исполнил туш. Это был самый настоящий металлический гром.

На манеж вышел подтянутый, гибкий и элегантный, как всегда, профессор Йокус фон Покус. На его вытянутой руке стоял Максик и, улыбаясь, приветствовал публику. Ну что я могу ещё добавить? Ведь у этой книги, в отличие от восторга публики, есть

К О Н Е Ц

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. З. Харитонов. Уроки Эриха Кестнера</i>	5
<i>Когда я был маленьким. Перевод В. Куреллы</i>	16
<i>Эмиль и сыщики. Перевод Л. Лугиной</i>	160
<i>Эмиль и трое близнецов. Перевод Л. Лугиной</i>	252
<i>Мальчик из спичечной коробки. Перевод К. Богатырева</i>	350

Кестнер Эрих

К 36

Повести: Пер. с нем. / Сост. Н. Бунина; Вступ. ст. М. Харитоновна; Ил. Х. Лемке.—М.: Правда, 1985.—480 с., ил.

В книгу включены лучшие повести известного немецкого писателя-антифашиста Эриха Кестнера (1899—1974): «Когда я был маленьким», «Эмиль и сыщики», «Эмиль и трое близнецов», «Мальчик из спичечной коробки».

К 4703000000—915
080(02)—85 915—85

84.4 Ф

Эрих Кестнер

ПОВЕСТИ

Составитель

Николай Николаевич Бунин

Редактор Н. А. Галахова

Художественный редактор Е. М. Борисова

Оформление художника Г. И. Саукова

Технический редактор К. И. Заботина

ИБ 915

Сдано в набор 30.05.84. Подписано к печати 15.02.85.
Формат 60×84¹/₂. Бумага книжно-журн. Гарнитура «Эксельсиор».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,90. Усл. кр.-отт. 28,13. Уч.-изд. л. 25,61.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 250 000—500 000).
Заказ № 762 Цена 2 р. 80 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 123865, ГСП, Москва, А-137,
улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии Издательства ЦК Компартии Латвии,
226081, Рига, ул. Валаста дамбис, 3.

Цена 2 р. 80 к.

